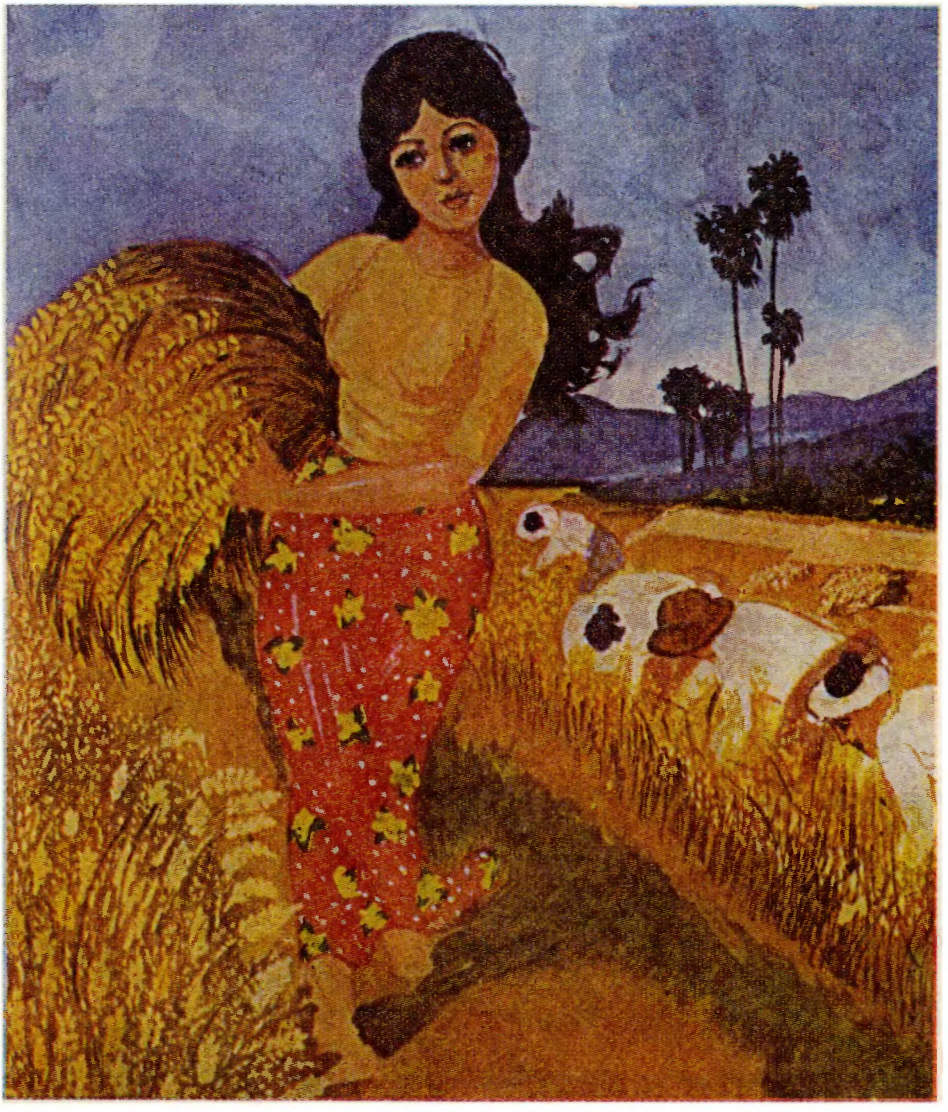
ISSN 0130 – 6545

6. 1986

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ПАРТА РОЙ (12 лет). Индия. «Праздник огней»

Цветные иллюстрации номера — рисунки лауреатов делийского международного конкурса детского рисунка

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

6 июнь 1986

Содержание

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — Билек *(Рассказ. Перевод с польского Н. Подольской)* 3

Из болгарской поэзии

МЛАДЕН ИСАЕВ, БОЖИДАР БОЖИЛОВ, ПЕТР КАРААНГОВ *(Перевод Лорины Дымовой)* 15

НАНТАС САЛЬВАЛАДЖО — Акробат *(Роман. Перевод с итальянского Л. Самохвалова)* 21

Рассказы румынских писателей

ГАБРИЭЛА АДАМЕШТЯНУ, ИОН Д. СЫРБУ *(Перевод Татьяны Ивановой и Андрея Ковача)* 74

ЭРИХ ФРИД — Стихи *(Перевод с немецкого В. Куприянова)* 120

ДИТЕР ВЕЛЛЕРСХОФ — Победителю достанется все *(Роман. Перевод с немецкого М. Рудницкого и Н. Федоровой)* 125

Публицистика

ГЕОРГИЙ ШАХНАЗАРОВ — Как одолеть дьявола 173

ГЕОРГИЙ ЗЛОБИН — Реплика редакторам журнала «Энкаунтер» 185

АНРИ АЛЛЕГ — SOS, Америка! *(Главы из книги. Перевод с французского Валентины Жуковой)* 190

К нашим иллюстрациям

И. Доронина — Незамутненный мир детства 204

Антирубрика

Научно-фантастические рассказы

ДАИНА ЧАВИАНО, ГЕРБЕРТ В. ФРАНКЕ *(Перевод с испанского и немецкого Ростислава Рыбкина)* 207

Критика

М. ЛАНДОР — Мастер для нашего времени *(Проза Горького на Западе)* 217

П. ТОПЕР — Дитер Веллерсхоф и его новый роман 225

Наши интервью

Л. Савельева — Антоние Исакович (Югославия) 233

Среди книг

По страницам поэтических переводов

Издано в СССР

А. Аникст — О переводческом искусстве *(Ю. Д. Левин. Русские переводчики XIX века и развитие художественного перевода)* ✦ И. Дюшен — И мысль, и чувство *(Поль Элюар. Стихотворения)* ✦ Н. Федоренко — Живое дыхание традиции *(Синь Цицзи. Стихи)* ✦ А. Кабанов — Меняясь и обновляясь... *(Времена года. Из современной японской поэзии классических жанров)* ✦ Е. Горбань — ...Напряженная поэзия жизни... *(Современная ангольская поэзия)* 235

Издано за рубежом

А. Николюкин — Новые работы американских пушкинистов ✦ Роман Гринев — «Магический кристалл» Пушкина *(Ниота Тун. Образы Пушкина. Булгаков, Тынянов, Платонов, Зощенко, Цветаева)* 243

Советская литература за рубежом 119, 203

Из месяца в месяц 247

На 1-ой и 4-й страницах обложки — МЭЙ ЗАН (14 лет. Бирма) «Сбор урожая». СЯОСОН ЧЖУ (12 лет. КНР) «Игра».

© «Иностранная литература», 1986

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ

Билек

РАССКАЗ

Перевод с польского Н. ПОДОЛЬСКОЙ

Погожим июльским днем пан Игнаций отправился в Лодыжин к ветеринару. Войтек со спортбазы «Отдых в седле», примыкающей к саду пана Игнация, запряг Билека в старую-престарую бричку, знававшую лучшие времена; она тарахтела, постукивала, как колотушка ночного сторожа, рассохлась от старости, но легче от этого не стала. И как с самого начала была тяжелая на ходу, такой и осталась, и Билек с трудом тащил ее, в особенности поначалу, когда выехали из Кукулки. Игнаций с грустью поглядывал на торчащие мослаки своей лошади, и у него не хватало решимости погонять ее; лишь слегка подстегивая ее одной вожжой, он приговаривал: «Но, но!»

Утро было чудесное и не очень жаркое. Небо глубокое, синее, как в августе. Со стороны Варшавы время от времени приплывало легкое облачко; гонимое ветром, там, в вышине, оно катилось, точно мячик.

Молодая зелень была густого, теплого оттенка. «У дедушки это, пожалуй, получилось бы,— подумал пан Игнаций,— хотя зеленое ему как раз хуже удавалось». То слишком ярко выйдет, то слишком бледно, то чернотой отливало, то желтизной. «Зеленое трудно передать на полотне»,— решил про себя Игнаций, глядя на ярко-зеленые дубы, уцелевшие кое-где в садах от прежних здешних лесов.

Дорогу эту он знал хорошо еще со времен своей молодости, и, хотя с тех пор она сильно изменилась, для него перемены не были разительны: они все совершались на его глазах. Когда-то ее покрывал толстый слой пыли, легкой, летучей, как пепел, а в ненастье — непролазная грязь; потом середину дороги замостили булыжником, и, бывало, всю душу вытрясет, если повозка не на резиновом ходу. Потом эту полоску заасфальтировали, но асфальт крошился, образовались дыры, выбоины, и предпочтительней было ехать обочиной, по мягкому грунту.

Теперь дорога была широкая, прямая (ради этого кое-где пришлось даже передвинуть заборы), отчего, по мнению пана Игнация, она утратила прежнюю живописность, но по обеим ее сторонам так

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — JAROSZAW IWASZKIEWICZ (1894—1980)

Выдающийся польский писатель; лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», Государственных премий ПНР. Советским читателям хорошо знакомо творчество Я. Ивашкевича. На русский язык переведены его трехтомный роман «Хвала и слава», исторический роман «Красные щиты», книга о Шопене, неоднократно выходили сборники его избранной прозы, вышло и восьмитомное собрание сочинений писателя. Прозу и стихи Ярослава Ивашкевича много раз печатала «Иностранная литература».

Рассказ «Билек» взят из журнала «Твурчость» («Bilek». «Twórczość», 1979, № 2).

пышно разрослись сады, деревья вытянулись в вышину, кусты цвели — и она тем не менее стала еще краше. Правда, не все домики вдоль дороги радовали глаз, но жасмин и сирень скрывали облупившиеся стены, и об эту теплую пору, когда кругом все зеленело, звенело от птичьего щебета, они словно лучились светом и безмятежностью.

Над дорогой всегда носилось множество ласточек. И хотя они и сейчас летали с дивной своей быстротой, пану Игнацию показалось, будто они потолстели, раздулись, точно лягушки, и ему отчего-то пришло в голову: а может, теперь ласточки зимуют подо льдом в здешних озерах и прудах?

Игнаций был несколько озадачен тем, что Билек не радуется погожему летнему дню и ступает как бы нехотя. Здоровье единственной лошади беспокоило его, хотя он понимал: иначе быть не может. Ведь Билек очень стар.

Городок неожиданно восхитил Игнация, словно он увидел его впервые. Но восхитительным было как раз то, что он был таким, как обычно. Пустынные улицы, около сельмага больше подвод, чем машин; как и над дорогой, рассекая воздух, носились ласточки, хромой пес, которого он знал уже много лет, яростно облаял лошадь и бричку, две бабы переругивались на опустелом школьном дворе. Какая-то женщина с воинственной миной выскочила из-за забора, сжимая в руке палку. «Погоди, я тебе задам!» — кричала она. Все посмотрели, кому это она грозит палкой, и увидели белую дворнягу с подпалинами, удиравшую, поджав хвост. В чем провинился пес, Игнаций так и не узнал.

Величественный костел в стиле ампир с овальными окнами покоился в тени лип. Напротив заброшенная корчма с вывеской на воротах, гласившей, что это памятник архитектуры, зияла пустыми глазницами окон и распахнутой настежь дверью в запакощенные, замусоренные сени.

В садах стояли яблони, усыпанные плодами. И пан Игнаций с удовлетворением отметил, что в этом году будет урожай яблок. Откуда-то издалека, как в добрые старые времена, донеслось кудахтанье курицы. А товарка ее в поисках зерна как ни в чем не бывало разгуливала по шоссе. Кое-где расцветали мальвы, розовели ажурные космеи.

Прозрачный, легкий воздух легко, точно играючи, перемещал по небу перистые облака.

Игнацию пришлось тащиться через весь город. На другом конце его он свернул в боковую уличку, в начале которой виднелись ворота, а на них — вывеска: «Ветеринарная лечебница».

За воротами был небольшой опрятный дворик. По одну его сторону под липами стоял дом ветеринара; липы уже отцвели и распространяли запах подгоревшей коврижки. Напротив дома помещалось строение, напоминавшее ригу с огромными выбеленными известью воротами. Они были так велики, словно предназначались для слонов или мамонтов, а не для смиренных наших буренок и низкорослых лошадей местной породы.

Он въехал в ворота, запертые обычно на большой висячий замок. Сразу же за воротами была площадка, подобие платформы, которая служила одновременно весами. Молодой парень выпряг Билека. Вышел ветеринар.

Билек — тощий, кожа да кости — стоял на платформе, понуря голову и принюхиваясь к рассыпанному на весах овсу.

Ветеринар равнодушно посмотрел на лошадь.

— Усыпить хотите? — спросил он у Игнация.

— Боже упаси! Я хочу, чтобы вы его осмотрели.

— Да я и так вижу. Еле-еле душа в теле.

— Доктор, пожалуйста, осмотрите его. Он совсем ничего не ест.

Ветеринар ухватил Билека за храп и сунул руку ему в пасть.

— А чем вы его кормите? — спросил он.

— Овсом, ячменем. Чем придется.

— Да что вы! Разве вы сами не видите? Ему жевать нечем — у него зубов нет. И десны распухли.

— Я так и думал,— миролюбиво сказал Игнаций.

— Ему отруби давать надо. Болтушку из муки.

Ветеринар поднес к конской морде раскрытую ладонь. Билек прикоснулся к ней бархатистыми губами, словно искал чего-то.

— Нет у меня ничего,— сказал ветеринар.

Билек с шумом выдохнул воздух в пустую ладонь ветеринара.

— Давно он у вас?

— Почти двадцать лет,— сказал Игнаций.— Привязался я к нему.

— Он недолго протянет,— произнес ветеринар.

— Красавец был конь.— Игнаций вздохнул.

— Были когда-то и мы рысаками,— засмеялся ветеринар.

Глядя теперь на Билека, не верилось, что он был красив в молодости. Сивый, в гречку, со спутанной гривой, клочьями свисавшей на лоб. Ветеринар сочувственно похлопал его по выступающему храпу. А Билек раздувал бело-серые бархатистые ноздри,— принимая во внимание его возраст, зрелище было трогательное. Игнацию захотелось похвалить свою лошадь.

— Посмотрите, какие бабки! — сказал он.

— Как у барышни,— пошутил ветеринар.— Небось еще ваш почтенный дедушка его рисовал.

— Лошадей-то он рисовал, да только не Билека.

— У вас еще есть его картины? — поинтересовался ветеринар.

— Одна. Но какая!..

Билек повеселел, когда на него надели сбрую. И в обратный путь шел резвей.

— Глупый, думал, я тебя на смерть веду.— Игнаций засмеялся.— Отруби будешь есть или болтушку. Овес уже не для тебя.

Когда он распряг Билека, тот лениво поплелся к колодцу. Напился из колоды, долго, со свистом втягивая воду бархатистыми губами.

У них с Билеком с давних пор была одна игра. Но Игнаций давно уже никуда на нем не ездил и думал, Билек забыл ее. Оказывается, нет. Все было по-прежнему.

Игнаций остановился в воротах конюшни. Когда-то конюшня была знатная, а сейчас крыша прохудилась, остался всего один денник — теперешняя резиденция Билека.

Итак, Игнаций стоял в воротах, спиной к дому, а Билек, тяжело ступая, медленно двинулся к конюшне от колодца. Подошел сзади, легонько ткнул хозяина мордой в спину, отодвинул с дороги и замер выжидательно у пустых яслей.

— Погоди, погоди,— бормотал Игнаций.— Сейчас чего-нибудь помягче принесу. Бедняга, жевать ему нечем.

Игнаций, как это бывает с одинокими людьми, иногда подолгу оживленно разговаривал, даже спорил сам с собой.

— Дай-ка привяжу тебя, не то опять удерешь.

Он повторял это изо дня в день, возясь с Билеком, а тот с наступлением сумерек всякий раз умудрялся каким-то образом сорваться с привязи и уходил в дальний конец сада.

В прежние времена Кукулка была довольно большим имением, но сейчас от него осталось около двух гектаров земли при доме. Между домом и конюшней был двор, от веранды участок спускался вниз, а вверх расширялся, как фартук, пестрея темно-красной свекольной ботвой и светло-зелеными полосками салата. Участок прорезала дорожка, когда-то усыпанная гравием и обсаженная цветами. Сейчас по сторонам ее кое-где росли оранжевые гайлардии да лиловые колокольчики. Стойкие растения наперекор времени все еще

продолжали цвести. Там, где «фартук» задирался кверху, стояло несколько одичавших черешен и две уже не плодоносящие яблони, дальше шли заросли малины и барбариса, среди них — заброшенный за ненадобностью садовый колодец, а за ними тянулся деревянный забор. Он отделял Кукулку от участка, проданного владельцам «Отдыха в седле»; отсюда трудно было что-нибудь увидеть на беговых дорожках с несложными препятствиями для наездников-любителей. Там в конюшне из красного кирпича стояли четыре соседские лошади.

И вот Билек, когда срывался с привязи (а это ему всегда удавалось), устремлялся к забору, днем не спеша, а ночью так даже вскачь, подолгу простаивая там и завороженно глядя на лошадей или просто вдыхая долетавший оттуда конский запах. До него доносилось покрикивание тренеров, топот идущих шагом или бегущих рысью лошадей, щелканье кнута, стека.

Игнацию было очень досадно, что Билека так привлекает это зрелище. Сам он делал вид, будто вовсе не замечает ни «Отдыха в седле», ни неуклюжих балбесов, которые тряслись на плохоньких лошадях, ни нагловатых молодых конюхов оттуда. Один только Войтек был немного лучше остальных, он помогал пану Игнацию обихаживать Билека. Бегство его коня к своим собратьям мешало Игнацию спать и нарушало его привычное farniente[1].

Свободного времени у него было много, и он целыми часами просиживал перед картиной своего деда. Это было последнее полотно из богатого наследия художника. Остальное было разворовано, сгорело, кое-что пришлось продать: Кукулка требовала затрат; и вот здесь, в Кукулке, в скромной «хате» — в маленьком, крытом соломой домишке, Игнаций наслаждался погожими летними и осенними днями, зимой и весной страдал от сырости и холода, согреваясь воспоминаниями о прошлом; так он и жил, порой даже с улыбкой глядя на солнышко. На эту последнюю картину великого художника зарились многие коллекционеры-любители и спекулянты, предлагая за нее большие деньги. Но картина была слишком дорога Игнацию, слишком прикипел он сердцем к великолепному творению — к этим крохам былого богатого наследия деда, которое разметало время без малейшего его участия.

Называлась картина «Купание коней», и, видимо, изображен был на ней уголок здешнего пруда, а над прудом, над несколькими лошадьми, стоящими в мутной воде, широко раскинулось небо Мазовии. Лошадей было пять: на заднем плане две, склонив морды, пили воду, на переднем — красавец жеребец гнедой масти и пегая кобыла с лебединой шеей подняли головы, словно прислушиваясь к чему-то, а немного в стороне на мелководье верхом на молодом вороном коне сидел нагишом мальчишка-пастушонок. Теперь, да и всегда, сидя перед картиной, Игнаций задавался вопросом: уж не наважденье ли эта музыка? Ибо картина полнилась звуками. И сочные луга, и вода в пруду, и торс голого мальчика, и голубой полог неба, по которому лениво плыли, навевая покой, предвечерние, летние облака,— все сливалось в один чистый звук. В чем это особое очарование дедовских картин, думал он, откуда берется тот чистый, неизменный звук, этот cantus firmus[2], как в мазурках Шопена. Ведь мазурки Шопена такие разные, непохожие, с причудливыми переходами из одной тональности в другую, объединяет общее настроение, и оно сообщает им очарование осени. А картины деда объединяет атмосфера лета, чистая, проникновенная мелодия мазовецких просторов.

Как раз вчера приехала Елена, по ее словам, отдохнуть у дяди, и с ней — незнакомый молодой человек, который с места в карьер заговорил о знаменитом «Купанье коней». Пан Игнаций поправил

---

[1] Ничегонеделанье *(итал.)*.

[2] Здесь: постоянный лейтмотив *(лат.)*.

его: не «купанье», а «купание» — именно так говорил дедушка. Как же, картина тут, у него, и довольно хорошо сохранилась, потому что он поддерживает в комнате постоянную температуру — разумеется низкую, поскольку зимой не в состоянии отапливать комнату. Но картина в хорошем состоянии. И он попросил Елену показать ее гостю. Самому ему было просто невмоготу присутствовать при том, как из праздного любопытства глазеют на картину, с которой связана вся его жизнь, воспоминания и которая, по сути, составляет смысл его теперешнего существования. Невыносимы были глупые вопросы, банальные замечания. Где, к примеру, дедушка мог видеть таких замечательных лошадей? А ведь в былые времена в Кукулке держали лошадей арабской породы и английских чистокровных и дедушкина конюшня была отнюдь не из последних в округе.

Игнаций улыбнулся растроганной, печальной улыбкой. А ведь это та самая конюшня, где сейчас стоит в одиночестве Билек. Конь-пенсионер, которого лишь изредка используют для окучивания картофеля в огороде. Одно название что огород — торчат там десятка два картофельных кустов, которые сажают из года в год на одном и том же месте. Окучивай не окучивай, а картошка все равно родится с грецкий орех. Что хочешь, то и делай!

Елена с незнакомцем обошли владения пана Игнация. Впрочем, это у них не отняло много времени. Они даже в конюшню заглянули и внимательно осмотрели ее.

Наконец, около полудня незнакомец куда-то исчез, и старуха Каролина в час подала им обед. Елена, в сером, простеньком на вид платье, подпоясанном шелковым шнуром пепельного цвета, с алым полевым маком в волосах, походила на бабочку.

Пан Игнаций с восхищением посматривал на нее, когда они сидели за столом. Пар от тарелок легкой вуалью затенял ее лицо. Игнаций коснулся ее руки.

— Это похвально, дорогая, что ты навестила старого дядюшку,— прочувствованно сказал он, прибавив: — Старого и нудного.

— Дядюшка, мне кажется, ты очень одинок. Все тебя забыли. Поэтому я считаю своим долгом хоть изредка навещать тебя.

— Ты очень добра ко мне,— сказал Игнаций.— Но я уже привык к одиночеству. К тишине, к покою. Старому человеку ничего больше и не нужно, а ты, детка, тут соскучилась бы.

— А у меня, дядя, как раз есть к тебе разговор,— сказала она, поправляя красивый кружевной воротник,— вернее, просьба... Мне бы хотелось провести у тебя несколько недель. Тут так тихо...

Игнаций недоверчиво посмотрел на нее.

— Ты в самом деле хочешь пожить у меня? Это очень мило с твоей стороны... Но тут ведь никаких удобств нет и еда преотвратная... Старухина стряпня оставляет желать лучшего. Да и готовить особенно не из чего, и общества никакого...

Елена покраснела:

— Мне, дядюшка, общения в Варшаве хватает. Мне покой нужен. В наше время это самое важное...

— Ну а как же твоя служба?

— Я взяла на шесть недель отпуск. Четыре мне полагается, а две я получила по справке от врача, ну и т. д. и т. п. Позволь мне, дядюшка, поухаживать за тобой.

— А что скажет твой муж?

— Муж? Он на рыбалку отправился в Сувалки... И будет там торчать до тех пор, пока пятикилограммовую щуку не поймает...

— Долгонько же придется ему ждать.

— Чем дольше, тем лучше. От него мне тоже не мешает отдохнуть.

— Впрочем, поступай как знаешь,— заключил Игнаций.

Он был не против того, чтобы Елена провела у него день-два. Но шесть недель? Это его пугало.

«Видно, ей от меня что-то надо»,— подумал он, вставая из-за стола.

Елена снова завела речь о картине:

— Смотрю и никак не налюбуюсь. Какая красота! И эта загадочная фигура на вороном коне. Какое настроение, какой глубокий смысл...

Суждения Елены не отличались оригинальностью.

После обеда Игнаций решил заглянуть в конюшню к Билеку. Там застал он Михала. А Билек лежал на соломе, и это очень встревожило Игнация. Билек раньше никогда днем не ложился, разве иногда ночью.

Лошадь посмотрела на своего хозяина выразительным, прямотаки человечьим взглядом. Но в глазах ее не было тревоги. В них читалась как бы мучительная сосредоточенность.

— Что это, Михал? Билек лежит?

Михал работал теперь у соседей, у владельцев «Отдыха в седле», но по старой памяти регулярно заходил в конюшню. Да старик один никогда бы и не справился.

— Не хочет жрать дерть.— Так, по сохранившейся еще с войны привычке, Михал называл отруби.

У пана Игнация ни сил не было, ни возможностей обеспечить лошадь кормом, в особенности сеном. Кормить Билека издавна входило в обязанность Михала, и он продолжал это делать как нечто само собой разумеющееся. А пан Игнаций полагал, даже готов был присягнуть, что он единственный опекун Билека. Вообще Игнаций не любил присутствия Михала на конюшне. Но на этот раз он обрадовался, так как нуждался в поддержке ввиду плохого состояния Билека. Михал, тоже уже старик — жизнерадостный, завидно бодрый, с лукавым взглядом и, что бы ни случилось, неизменной улыбкой на тонких губах,— всегда оказывал благотворное действие на Игнация. Правда, имелась на то и другая причина: Михал знал, в каких домах по окрестным деревням тайно гонят самогон, и снабжал пана Игнация самогонкой всевозможных сортов — из сахара, картофеля и даже из яблок. Игнаций пристрастился пить в трудные, военные годы.

— Что с ним, черт возьми? — спросил Игнаций.

Михал снисходительно посмотрел на него: чего, дескать, задаешь глупые вопросы.

— Почему же Вонсицкий (то есть ветеринар) не дал ему никакого лекарства?

— У него зубов нема, ему лекарство не поможет.

— А по ночам еще по саду шастает.

— Не только по ночам, он и днем подойдет к забору и все глядит на наших лошадей.

— На каких это «наших»?! —раздраженно переспросил Игнаций.

— Да пана Мазуркевича, из «Отдыха в седле».

— Значит, они для тебя уже «наши»?

— Да ведь я там работаю.

— Но раньше-то ты у меня работал.

— А теперь-то там,— как бы простонал Михал.

— И до сих пор еще у меня работаешь.

— Да какие тут дела при доходяге этом? Много ли ему нужно!

— Напоил его?

— Он в речке напился.

— А больше не хотел?

Оставив и этот вопрос без ответа, Михал лишь пристально посмотрел на пана Игнация.

— Одолжите нам то седло, что у вас в кладовке лежит.

— Какое еще седло? — Игнаций не сразу сообразил, о чем речь.

— Ну, то, ладное, красивое. В самый раз будет для молодого пана, что с нашей Еленой приехал.

— Да кто он такой?

— А я почем знаю? Его все паном Себастьяном зовут.

Игнаций помнил это свое, еще довоенное седло. Ему делал его на заказ седельник Тшинский с Трембацкой улицы. Замечательное седло! А было это вскоре после смерти деда, и у Игнация тогда водились деньги.

— Значит, он приехал к вам, в «Отдых»?

— Ну да, тренером станет работать. Он знаток по этой части.

— А откуда он?

— Кто его знает. Поди, из Варшавы.

— С Еленой приехал?

— Говорят, уже полгода с ней живет.

— А как же муж?

— Да что муж? Сами знаете, какую они нынче моду взяли. Раз в костеле не венчаны, он ей вроде и не муж. Отправила его на машине рыбу ловить, а сама сюда подалась, на лошадях кататься.

— Разве она ездит верхом?

— Сегодня в первый раз на лошадь села. Ей тоже седельце бы сгодилось.

— Заладил: седло да седло!

Михал похлопал Билека по тощей шее.

— Спи, Билек, спи,— сказал он.— Тебе уже никакое седло не понадобится.

— Типун тебе на язык,— рассердился Игнаций.

— Право слово, ему недолго осталось.

— Знаешь, Михал,— сказал Игнаций другим, задушевным тоном,— я давно уже никого не люблю так, как эту лошадь.

— Люби не люби, а смерть все одно отымет,— назидательно произнес Михал и выпрямился.

Игнаций пошел было к двери. Потом приостановился и, смущенно улыбаясь, сказал:

— Михал, принеси мне как обычно, ладно?

— Принесу, отчего ж не принести? — сообщнически ухмыляясь, ответил тот.— Сколько?

— Литра хватит,— как-то стыдливо сказал Игнаций.

Он направился к двери; от конюшни к дому дорога шла в горку через сад. В саду повстречал он Елену — легкая, плавная походка придавала ей какую-то особую прелесть. Высокая, статная, она торжественно несла над собой зонтик, словно красный балдахин.

— Как хорошо, что я тебя встретила, дядя,— сказала она, и на Игнация повеяло от нее жаром, как от раскаленной печки.— Себастьян спрашивает, может ли к тебе зайти Подлевский — ну, тот, который из Швейцарии приехал. С отцом Себастьяна он был хорошо знаком.

— Подлевский в Польше? — спросил Игнаций.

— Он каждый год приезжает. У него мать в Кракове живет, и он, как примерный сын, навещает ее.

— А чего ему от меня надо?

— По правде говоря,— с простодушной улыбкой сказала Елена,— ему хочется увидеть «Купание коней».

— «Купание коней»? Откуда же ему известно, что картина у меня?

— Как «откуда»? Это всем известно.

— А когда он собирался зайти?

— Да прямо сейчас. Он в Варшаву торопится.

Елена пошла было дальше той же дорогой.

— Куда ты? — спросил старик.

— Тут в заборе есть лаз, надо только доску в сторону отвести,— так ближе всего в «Отдых».

— Все-то ты знаешь,— проворчал Игнаций.

В глухом углу сада росло ореховое дерево, единственное уцелевшее из тех, которые дед Игнация привез из Парижа. На нем вызревали на редкость крупные грецкие орехи, а ветви с продолговатыми темно-зелеными листьями сплетались в густую крону, как на картинах XVII века. Другого такого дерева не было во всей Кукулке.

Под орехом стояла старинная чугунная скамья, из тех, что используют при киносъемках, чтобы воссоздать атмосферу эпохи. Пан Игнаций с Еленой сели на эту скамейку.

— Дорогая...— начал Игнаций, пристально глядя на блики, которые щедро рассевало солнце, пробиваясь сквозь густую листву; трепетали они и на серебристом Еленином платье.— Я, конечно, очень рад твоему приезду, но ты вносишь столько... беспокойства...

— Дядюшка,— перебила его Елена,— радость доставляет это прежде всего мне. А что касается беспокойства, я поступаю так намеренно. Нельзя жить затворником, нелюдимом, как живешь ты.

Игнаций засмеялся.

— Дорогая,— продолжал он,— ни люди, ни общество мне не нужны. Я стар уже. Неужели ты этого не понимаешь? Я свою жизнь прожил. Хорошо ли, плохо ли, не имеет значения, но все уже позади, и у меня больше нет никаких желаний...

— А ты уверен в этом, дядюшка? Как же так, никаких желаний?

— А вот так...

— А новую лошадь тебе разве не хочется купить? Посадить еще ореховых деревьев? Полюбоваться и на другие картины, а не все только смотреть на этот мазовецкий пейзаж?

— Для тебя это просто «мазовецкий пейзаж», а для меня — вершина нашего искусства. Меня эта картина притягивает, я в ней растворяюсь и часами просиживаю перед ней.

— Признаться, я этого не понимаю.— Елена вздохнула и привычным жестом поправила в волосах пунцовый мак.— А тебе не хочется, к примеру, поехать в Рим, в Париж?

Игнаций взял Еленину руку в свою.

— О чем ты толкуешь? Старость — это сон, оцепенение. Спать — вот единственное мое желание: спать, и больше ничего.

— Это никуда не годится, дядюшка. Так нельзя.

— Я ощущаю вокруг себя пустоту. Но самое скверное, что внутри меня тоже пусто. Как в риге перед жатвой...

— Но ригу можно наполнить... снопами.

— Теперь снопы машина связывает веревкой, а не перевяслом.

Игнаций встал. Елена посидела еще с минуту. Знала, что эффектно выглядит в солнечных бликах под старым ореховым деревом. Среди продолговатых листьев виднелись большие твердые шарики зеленых плодов. Потом она тоже встала и пошла в сторону «Отдыха в седле». А Игнаций медленно поплелся к дому.

«Какие-то планы вынашивает она в красивой своей головке,— подумалось ему.— И куда это Михал запропастился? Ох и тошно...»

Со стороны сада к дому была пристроена небольшая деревянная веранда. На балюстраде висели связки чеснока, лука, сушеных грибов. А на перилах дозревали помидоры.

Игнаций опустился в продавленное кресло и задумался. Перед верандой было некое подобие круглого газона. И собаки притаскивали сюда кости и клочья бумаги. Вот и сейчас муругий Шарик грыз коровью челюсть.

«Интересно, откуда она у него?» — подумал Игнаций.

На веранду вело несколько деревянных ступенек. Когда Билек был моложе, вспомнил Игнаций, он приходил сюда за сахаром. Бы-

вало, поднимется осторожно на две ступеньки, на третьей остановится и ждет. Потом, едва касаясь ладони бархатистыми губами, берет кусочек сахара.

Вскоре со стороны главного входа послышались голоса. Игнацию не хотелось двигаться, но оживленная, разрумянившаяся Елена чуть не насильно заставила его подняться с продавленного кресла.

— Дядя, вставай,— сказала она.— Подлевский пришел.

В столовой он застал высокого, элегантно одетого пожилого мужчину с проседью в волосах. На нем все было заграничное. И даже выговор, хотя по-польски изъяснялся он правильно, был у него заграничный. И манера выражаться очень старомодная.

«У нас уже так не говорят»,— промелькнуло в голове у Игнация.

— Простите великодушно, что осмелился потревожить вас в вашем тускуле[1], куда еще знаменитый дед ваш скрывался из Парижа от суетной славы.

Подлевский произнес «Пагижа», словно мысленно перенесся туда, хотя вообще-то говорил не грассируя.

— Но мне бы очень хотелось,— продолжал он,— увидеть знаменитую картину вашего деда. Она как будто все еще находится у вас?

Пан Игнаций несколько опешил.

— Да, у меня,—сказал он.— Висит в гостиной.

Гостиной Игнаций по старой памяти называл комнату направо от сеней, рядом с его спальней.

— Присядьте, пожалуйста,— раздался сытый, звучный баритон Себастьяна.

Игнаций только сейчас заметил молодого человека и окинул его взглядом. Он был вызывающе, прямо-таки до неприличия красив.

— Тогда лучше в гостиной посидим перед картиной,— предложила Елена.— Прошу сюда!

Стройная, красивая — само очарование, будто в волшебную страну, ввела она мужчин через сени в «гостиную», где висела чудесная эта картина.

Подлевский, однако, не присел на диван; он остановился перед картиной и воскликнул вполголоса:

— О-о-о!

Стоя рядом с Подлевским, Игнаций новыми глазами увидел картину. Взгляд его приковался к вороному коню в лучах закатного солнца, и фигурка голого мальчика внезапно исполнилась смысла.

— Картина действительно замечательная,— сказал гость из Швейцарии,— и по размеру больше, чем я полагал.

— Ценность картины определяется не размером,— заметил Игнаций.

— Ну, не скажите,— счел нужным вмешаться Себастьян.— И обратите внимание на лошадей: как выписана шерсть! — Это уже относилось к Подлевскому.

Игнация покоробило от этих слов. А Елена одобрительно посмотрела на писаного красавца и улыбнулась.

«Черт побери! — выругался мысленно Игнаций.— Для этакого ничтожества... куска мяса — и такая улыбка... А, черт!»

— Видите ли,— начал Подлевский,— я хочу купить эту картину и передать в дар музею в Познани. У них там картинная галерея не слишком богатая, а полотен вашего деда и вовсе нет.

Игнаций случайно взглянул на росшие под окном кусты. Из них выглядывал Михал и делал ему какие-то таинственные знаки. В ответ Игнаций только пожал плечами.

— Даю за картину шестьсот тысяч злотых,— сказал Подлевский.

За окном Михал левой рукой поманил Игнация, а правой — отвернул полу пиджака, и оттуда выглянула внушительных размеров бутылка. Больше, чем литровая.

[1] Тускул — ставшее нарицательным название роскошной виллы Цицерона.

— Простите,— сказал Игнаций Подлевскому,— но я не намерен продавать картину.

— Но, дядюшка...— промолвила Елена.

— Восемьсот тысяч...— набавил цену Подлевский.

— Сколько всего можно сделать на эти деньги. Сколько лошадей купить, отремонтировать конюшню...

— Билеку новая конюшня уже не нужна,— сказал Игнаций и снова посмотрел на кусты, где притаился Михал, по-прежнему показывая из-под полы бутылку самогона.

Себастьян счел нужным высказать свои соображения по этому поводу:

— Разрешите обратить ваше внимание на общественно-полезный характер предложения пана Подлевского. Гениальная картина вашего деда останется в Польше. И в то же время для вас это выход из затруднительного материального положения.

— Но я не собираюсь продавать картину. Мне хочется сохранить ее для себя. И никаких денежных затруднений я не испытываю.

— Это своего рода эгоизм.— Подлевский улыбнулся.

Игнаций почувствовал, что его начинает бить дрожь. В результате на него напал нервный смех, и он никак не мог его унять. Он делал незаметные знаки Михалу, чтобы тот спрятался в кустах.

— Сегодня страшная жара,—сказал он наконец.— И, казалось, такой пустяк, как поездка в Лодыжин, очень меня утомила.

Нервное состояние пана Игнация заметила только одна Елена. Она положила руку ему на плечо.

— Ты устал, дядя. Тебе надо отдохнуть,— сказала она.— А тут еще, как на беду, заболел Билек. Обдумай предложение пана Подлевского и скажи мне. Ты ведь знаешь, я тебе добра желаю.

«При чем тут добро?» — подумал Игнаций.

— Вот и отлично,— сказал на прощанье Подлевский.— Пускай нашей посредницей будет пани Елена.

— Конечно, это самое лучшее,— обронил красавец Себастьян.

С тем они и удалились.

Елена на миг задержалась в дверях и обворожительно улыбнулась Игнацию.

«До чего же хороша!» — подумал он.

На ней было уже другое платье — длинное, из тонкой кремового цвета материи с крупными темно-синими цветами; на подоле они сплетались в сплошную кайму. И легкий сквознячок в дверях всколыхнул эту гирлянду.

— Успокойся, дядя, все будет хорошо,— промолвила она напоследок и скрылась за дверью.

Игнаций еще некоторое время смотрел на стоящих в воде лошадей. И на этот раз вытянутые в одном направлении конские шеи в глубине картины не показались ему, как бывало раньше, неким недостатком, от которого картина проигрывает,— напротив, благодаря параллельным наклонным линиям намеренно подчеркивалась, становилась очевидной усталость лошадей.

«Бедные лошадки, как они устали!»

Он ощутил озноб, легкую дрожь, словно уже глотнул омерзительную, но столь вожделенную жидкость. И, как бы захмелев немного, со слезами на глазах притронулся к картине. Полотно, с нанесенными на него красками на ощупь было шероховато.

«Столько всего выразить с помощью кисти и красок! Просто невероятно!» — пробормотал он. Затем отвернулся от картины и от резкого движения покачнулся и чуть не упал. «Что это со мной?»

В окно сияло солнце и освещало картину, подчеркивая бездонную глубину высокого, ясного неба, но вместе с тем от нее веяло чем-то мертвенным, искусственным.

«Живой, из плоти и крови, Билек во сто раз красивей»,— сказал про себя Игнаций и пошел к себе в комнату. Там уже поджидал его Михал с бутылкой в руке. Он сообщнически улыбался, как бы искушая его.

— Ты что, спятил, под окном торчишь! У меня важные гости, а он в кусты залез и бутылкой размахивает.

— Вовсе и не размахивал, а под пиджак спрятал.

— Разные услуги! Вспомнил сорок лет спустя! И какое это имеет отношение к самогону?

— Никакого.

Пан Игнаций достал с полки стакан и, выхватив у Михала бутылку, налил его вровень с краями.

— Выпьешь? — спросил он.

Михал, не говоря ни слова, протянул руку и залпом выпил сивуху. Потом отер рукой губы и вернул стакан.

Игнаций сел на кровать, налил себе и выпил вонючую, обжигающую жидкость. Он ощутил жжение в пищеводе, и одновременно его охватило блаженное чувство.

— О-о-о! — издал он протяжный звук.

Затем прилег на кровать. Он слышал, как из комнаты вышел Михал. Но больше не слышал уже ничего.

Бутылку и стакан он привычно поставил возле кровати, устроился поудобней и ощутил, как обжигающее тепло расходится по всему телу, лишая его памяти, способности думать, всего-всего. И ему представилось все в более радужном свете, чем это было на самом деле.

Он провалился во мрак, но не сразу. Сначала из темноты выступили очертания картины деда, потом краски и линии расплылись мутным пятном, и оказалось, это не пятно, а кремовое платье с синими цветами. Потом он вдруг явственно увидел лицо матери, ее тонкие, сжатые губы, когда она, слегка пришепетывая, произносила сакраментальные слова: «Игнаций, что ты вытворяешь?». А потом, лежа в темноте, он осознал, что ничего в жизни не достиг, не совершил (восстание не в счет), не довел до конца; точно мыльные пузыри, ускользает все от него, разлетается в разные стороны, и напрасно пытается он ухватить это нечто, что кружится вокруг и зовется жизнью; напрасно хватает руками воздух, он задыхается, хрипит в этой многоцветной круговерти. Вращение голубых облаков, синих цветов, слов: «Дядя, все будет хорошо» убыстряется, куда-то увлекает его, и вдруг на него опускается черное покрывало. И он отчаянно закричал: «Не хочу! Не хочу!»

Он лежал в прострации: его развезло от одного стакана. Второй он налил себе спустя час.

Настала ночь, ночь страданий и блаженства. Он впал в забытье, но чувствовал, что живет: горло сжимала спазма, мучила тошнота, голова была как в тисках, но тем не менее он испытывал радость. Ему казалось, он сыграл злую шутку с Подлевским, и, громко смеясь, он повторял: «Накось выкуси!» — и колотил кулаком по подушке. После еще одного стакана у него глаза полезли на лоб. Перед ним замаячили зеленые пятна. «Почему зеленые? Откуда взялась эта зелень?» — спрашивал он себя, а пятна расходились, сходились, превращались в правильной формы большие круги, которые вертелись все быстрей и быстрей. Потом наступила непроглядная ночь. И в этой непроглядной тьме он едва уловил звук приближающихся шагов.

— Я еще бутылку принес,— раздался голос Михала.

Он услышал, как дно бутылки стукнулось об пол, но налить себе у него не хватило сил.

Ужасающая слабость, изнеможение, ломота во всем теле и — точно шныряющие мыши — последние проблески сознания.

— Мыши,— проговорил он вслух.— Мыши... Надо их истребить...

Тут Михал толкнул кровать (или ему только так показалось?).

— Пан Игнаций, уж третий день пошел...— сказал он.

Игнаций глухо застонал, и над ним снова распростерлась ночь — ночь блаженства. Подобная смерти, она придавила его, точно камнем.

Но мало-помалу в кромешную эту ночь тоненькой струйкой стал просачиваться ручеек сознания. Он пошевелился, кто-то тряс его за плечо.

Но глаз он еще не открыл.

— Вставайте,— услышал он,— вставайте скорей, пан Игнаций! Идите посмотрите, что случилось.

С трудом разлепив веки, он увидел Войтека.

— Скорей! — плача, кричал Войтек.— Не спите, пан Игнаций...

Игнаций, как подброшенный пружиной, сел на кровати.

— Что случилось?

— Ой, пан Игнаций, Билек сдох,— все еще плача, сказал Войтек.

— Билек? — переспросил Игнаций.— Где он?

— За забором. Идите скорей! И штакетник сломал... Напоролся на него и сдох. Ой, идите скорей!

Игнаций вскочил с постели, сунул ноги в шлепанцы и пустился бежать. Войтек едва поспевал за ним. По протоптанному следу бежал он вниз, в густые заросли; след привел его к разнесенным в щепки штакетинам, а в нескольких шагах в сосняке, на низкорослом кустарнике он увидел конский труп. Мертвый Билек казался огромным. Голова его лежала на земле в луже крови. Кровь хлынула горлом и, отливая чернью, застыла.

Игнаций опустился на колени подле его головы. Положил обе руки на мягкое, как бархат, место между ушами, потом наклонился и, поглаживая бархатистые, уже холодные ноздри, поцеловал Билека в лоб. Войтек стоял рядом и плакал.

— Увидел, как пан Себастьян объезжает лошадей, как гоняет их на корде по кругу, и хотел бежать к ним, хотел вместе с ними... Прыгнул на ограду... и сразу упал. Внутри у него екнуло, будто лопнуло что-то в середке, кровь хлынула изо рта и из носа. Что у него лопнуло? Сердце, да?

Игнаций большими скорыми шагами устремился через сад. Как безумный, влетел он в дом и упал в кресло перед «Купанием коней». И застонал от ужаса — картины не было.

Он чувствовал, как Елена гладит его по голове, по лицу. Прикладывает руку ко лбу. И больше он ничего не ощущал, не видел.

— Дядя, не расстраивайся, пожалуйста,— ласково приговаривала Елена.— Мне тяжело видеть, как ты огорчаешься. Мы купим новых, белых лошадок, вместо старой колымаги приличный экипаж купим. Ты теперь очень богатый: я продала картину за миллион злотых. Подумай только: миллион злотых! Мы отремонтируем дом, конюшню. Себастьян приобретет «Отдых в седле». Надо идти в ногу со временем. Все будет хорошо... Вот увидишь, как хорошо будет...

Она гладила пана Игнация по волосам.

— Хорошо... без Билека?..— сказал он.

■

ПОДОЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВНА

Советский переводчик с польского. В ее переводе опубликованы романы Э Ожешко «Господа Помпалинские» (М., 1966), Т. Брезы «Валтасаров пир» (М., 1976), Я. Корчака «Король Матиуш Первый» (М., 1978), Г. Сенкевича «Семья Поланецких» (М., 1985) и др.

Из болгарской поэзии

Перевод ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

МЛАДЕН ИСАЕВ

Слово о революции

1

В тревожный век мы жили на земле,
Балканы хмуро высились над нами.
Мы шли дорогой трудною во мгле,
исхлестанные злобными ветрами.
А мир был беспощаден и суров,
швырял нас в бездны горя и страданий.
Война и смерть. Разруха, голод, кровь.
Земля дымится... Взрывы и рыданья...
Тот грохот вдруг сменила тишина —
и вот иные звуки раздаются.
Как с громом к нам является весна —
так ты пришла с грозою, Революция.
Тебя на алых крыльях принесла
в наш горный край далекая Россия.
Сияешь ты, священна и светла,
и озаряешь все пути земные.

2

Страна нужды, страданий, нищеты,
восставшая из пепла и из праха,
уверенно шагаешь к солнцу ты,
не ведая сомнения и страха...
Вершины гор видны издалека,
долины расстилаются весенние.

© Младен Исаев, 1985

МЛАДЕН ИСАЕВ (род. в 1907 г.)

Болгарский поэт и прозаик; лауреат Димитровской премии, народный деятель культуры. Автор многих книг стихов, сборников рассказов, книг для детей. На болгарском языке в его переводе изданы «Евгений Онегин» и «Кавказский пленник» А. Пушкина, «Избранные стихотворения и поэмы» А. Блока. На русском языке вышел сборник стихотворений М. Исаева «Лирика» (1964), стихи печатались в антологиях и периодических изданиях, в том числе в «Иностранной литературе». Публикуемые стихотворения получены от автора в рукописи.

И пьют твои сыны из родника
живительного ленинского гения.
Балканы слышат гордый плеск знамен
и прославляют подвиг Человека.
А он идет, бессмертьем озарен,
он смотрит в дали будущего века.
И взгляду его жадному открыт
прекрасный мир грядущих поколений,
где голос Революции звучит
все с той же страстью, с тем же вдохновеньем!

■ ■ ■

Да кто посмеет жизнь убить,
ее цветенье и кипенье?
Ее обязан защитить
ты, человек, твой светлый гений.
Пусть мудрость властвует везде
и в бесконечном мирозданье.
Там, где она,— не быть беде,
там радость жизни и сиянье.
В космическом пространстве мы
одни — и было так от века.
Наш светлый мир средь вечной тьмы,
чем был бы ты
без ЧЕЛОВЕКА?

Время

Ты, суровое, трудное время,
я в твоем неразрывном кругу.
Но твои грозовые проблемы
я решить не могу.
Дни быстрей, чем мгновенья, несутся,
но дела нас большие манят.
Не успеешь вздохнуть, оглянуться,
как уже наступает закат.
Но другие идут вслед за нами —
им трудиться, надеяться, сметь.
Нашей правды мятежное пламя
не погасит никто — даже смерть.
И для следующих поколений
сохранятся на веки веков
изо всех наших лучших творений
те, что нам диктовала любовь.

БОЖИДАР БОЖИЛОВ

Достойно

Ах, братец мой, ты просто бредишь славой,
аплодисментов жаждешь и букетов,
венков лавровых, лентами обвитых...
Пойдем со мной, послушаем орган —
орган во тьме старинного собора!

Достойно, друг, быть органистом Бахом,
невидимым среди колонн собора,
спиной сидящим к божеству и к тем,
кто слушает торжественную фугу,
пронзающую плоть и вечный камень.

Достойно, друг, быть Моцартом и просто
лежать среди других в могиле братской,
пускай без собственного праха,
без своего цветка над головою —
ведь это значит быть частицей всех.
Аллилуйя!

Смерть динозавров

Вымирают динозавры, вымирают!
В боях погибли первые из них —
в сражениях с фашизмом ненавистным.
Они не приняли его и не смирились.
Не приняли ни воздуха, ни хлеба,
ни книг его, ни лозунгов, ни женщин.
Они погибли в тюрьмах и застенках,
в окопах и отрядах партизанских.

Победа озарила гордым светом
глаза и лица их — живых и мертвых.

© Божидар Божилов, 1983, 1984, 1985

БОЖИДАР БОЖИЛОВ (род. в 1923 г.)

Болгарский поэт, прозаик, драматург. Лауреат Димитровской премии, народный деятель культуры. Автор многочисленных стихотворных сборников. На русский язык переведена его книга стихов «Весенняя поэзия» (М., «Прогресс», 1986); стихи Б. Божилова печатались также в советской периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

Публикуемые стихи взяты из сборника «Поезия, 84» (София, Български писател), «Избрани произведения» (Български писател, 1983) и «Нежност и ярост» (Български писател, 1985).

Свобода к нам пришла. И дни иные.
Уже не нужно было ненавидеть.
И умирать уже не нужно было.
А стали нам нужны теперь лопаты.
Не тюрьмы — а квартиры. И работа.
И были мы должны теперь трудиться
или хотя б слагать стихи и песни.

Пришло на свет другое поколенье,
не знающее испытаний битвой,
ни ненависти страшной, ни восторга.
Они не назывались — динозавры.

А динозавры исчезают постепенно,
но гордо и не жалуясь, поскольку
они другими ценностями жили.
Давно их эра кончилась, и ныне
приходится им уступать дорогу
тем, кто моложе, людям новой эры.

Они остались, как следы на камне,
следы невероятного размера.
Еще остались песни и романы,
картины, лозунги и мемуары.

Последние уходят динозавры.

Прекрасным, страшным было ваше время.
И время, что пришло за вами следом,
великолепно тоже и огромно.
И все-таки оно совсем другое.
Жизнь совершенствуется, и шагает
вперед безжалостная эволюция.

Свою вы совершили революцию —
и этого довольно! Будет помнить
земля тепло ладоней ваших темных.

Прощайте же, прощайте, динозавры!

Улицы Варны

Улицы эти когда-то меня посвятили
в темные тайны любви, подарили радость и боль.
Улицы эти когда-то во мне убили
страх, который весна приносит с собой.

Здесь, сочетая любовную и гражданскую темы,
впервые я полюбил и вступил в РМС [1]
и так доказал сложнейшую теорему,
которую доказать было нужно мне позарез.

И до сих пор она помогает мне быть молодым
и влюбленным,
всегда шагать с высоко поднятой головой,
даже когда улицы с каменной грудью, насквозь
пропыленной,
исчезают, скрытые синевой.

[1] Рабочий союз молодежи.

ПЕТР КАРААНГОВ

В начале лета

И снова солнце раскрывает
свои высокие врата.
В начале дня оно не знает,
что вновь наступит темнота.

Печь отливает синевою,
ягненок жертвенный в крови.
И словно флаг над головою,
плывет полотнище зари.

Торжественно восходит тесто
в квашне — не удержать его.
О жаркой печи неизвестно
ему покуда ничего.

Спешат по свету телеграммы.
Мир полон радостью хмельной.
Затягивает время раны,
болота осушает зной.

Домой вернувшиеся стаи,
путь проложившие во мгле,
в начале лета и не знают,
что будет осень на земле.

Они вернулись! Но к скитаниям
готовы снова два крыла.
Натянут лук — и ожиданием
полны пространства и стрела.

Пусть летний праздник мир наполнит
сияньем, радостью, огнем.
Никто из нас не хочет помнить
о грусти, что придет потом.

И помнят только гнезда черные
о пустоте осенних дней...
Еще плечо мое, которое
все помнит о руке твоей.

© Петър Караангов, 1980, 1983

ПЕТР КАРААНГОВ (род. в 1931 г.)

Болгарский писатель, заслуженный деятель культуры. Автор многих поэтических сборников. На русском языке его стихи печатались в антологиях болгарской поэзии и в периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

Публикуемые стихи взяты из журнала «Пламък» (1983, № 12) и сборника «Континент» (София, Български писател, 1980).

Оркестр

Холмы, долины, косогоры,
деревья к небу тянут ветки.
Вновь предо мной пейзаж, в котором
живу и буду жить вовеки.

Во глубине моей отчизны,
в так называемой провинции,
оркестр играет в поле чистом —
предпраздничная репетиция.

О, август! Пестрый, яркий, синий!
И лето надвое расколото.
Заходит солнце, но в долине
светло и радостно от золота
поющих труб... Звучит мелодия,
между холмами замирает.
Средь синевы, в глубинах родины
предпраздничный оркестр играет.

Хоть мир, войною искалеченный,
все так же слеп и безрассуден —
но люди все-таки доверчивы,
но все же зла не помнят люди.
Они смеются беспричинно
и старые бинты стирают
в реке, где новые плотины,
где рыба чешуей сверкает.

На ветках, на стволах столетних
орехи зреют, вянут листья.
Играют люди, словно дети,
под вечно юным древом жизни.

Нет золота у них в помине,
Клондайк — сердца их и седины.
Белы рубашки летом синим,
и музыка звучит в долине.

Играют люди. А над ними
встают, как сказочные тени,
спокойно и неумолимо
огромной фабрики строенья.

Играют люди в чистом поле,
достойны и светлы их мысли
о мире, о добре, о воле.
И зеленеет древо жизни.

■

ДЫМОВА ЛОРИНА ЕВГЕНЬЕВНА

Советская поэтесса, переводчица с болгарского. Автор сборника стихов «Журавль в небе» (М., 1982). В ее переводе публиковались стихи многих болгарских поэтов.

НАНТАС САЛЬВАЛАДЖО

Акробат

РОМАН

Перевод с итальянского Л. САМОХВАЛОВА

1

Нет, это не солнечный луч, отраженный в донышке стакана. Ведь он сверкал до рези в глазах, а был не больше виноградной косточки. Едва я растянулся на песке у пляжной кабинки, чтобы обсохнуть на солнце, как увидел его. Алмаз или бриллиант? У меня перехватило дыхание: сколько же он может стоить, миллион? Стараясь не привлекать внимания, я подполз к нему на коленях и осторожно взял двумя пальцами, но не смог оторвать от песка. Боже милосердный, будто гвоздями прибит. Я потянул сильнее, и вместе с бриллиантом из песка появилась рука. Женская рука. Женщина возлежала в песке, как в ванне, спрятав голову в тени от кабинки.

В ту пору, когда я познакомился с ней, Магда Делла Ровере уже пребывала в презренной категории молодящихся старух. Ее бедра натурщицы, разжигавшие когда-то ленивое вдохновение художников с виа Маргутта[1], раздулись до невероятных размеров, как бока туго набитого чемодана. Году в тридцать девятом она была в большом фаворе у высокопоставленных фашистских чинов, обвешанных медалями за имперские войны: тогда она играла на сцене в Будапеште, ее родном, как она говорила, городе. Венгрия в те времена была в моде. Потом, уже в войну, она путалась с каким-то немецким генералом. Освобождение застало ее врасплох — сорокалетней. Она казалась перед выбором: монастырь или политика. И она отдала свою руку одному из деятелей Христианско-демократической партии.

Первое, что бросалось в глаза при встрече с ней,— ее манерность кинозвезды тридцатых годов. Голову она держала высоко поднятой и, чтобы подчеркнуть презрение к собеседнику, смотрела поверх его глаз, на крайнюю линию лба, там, где начинаются волосы,— так она ловко скрывала свой двойной подбородок.

Оттавио Делла Ровере, ее муж, был министром заморских территорий. В то время я плохо разбирался в политике и редко читал газеты. Я покупал только «Гадзетта делло спорт»[2]. Меня больше интересовали результаты эстафеты четыре по сто, чем речи в палате депутатов и правительственные кризисы. Феличе К., мой друг, журналист, говорит, что я «не страдаю комплексами». Мне нравятся покер, женщины, теннис. Я не терплю митингов. Трудящиеся, жаждущие сплотиться, наводят на меня скуку. К тому же толчея в Риме действует на нервы. И без того жарко.

[1] Улица в центре Рима, где расположены галереи и мастерские художников. *(Здесь и далее прим. перев.).*

[2] Широко распространенная спортивная газета.

НАНТАС САЛЬВАЛАДЖО — NANTAS SALVALAGGIO (род. в 1923 г.). Итальянский писатель и журналист. Работал репортером, редактором, был специальным корреспондентом газет в Лондоне, Нью-Йорке, Париже. Известность Н. Сальваладжо принес его роман о послевоенном Риме «Усатый» («Il baffo», 1961). Автор сборников рассказов, отмеченных литературными премиями, «Америка пешеходов» («America a passo d'uomo», 1963), «Отравленная провинция» («La provincia avvelenata», 1969), романов «Мальпага» («Malpaga», 1972; премия Виареджо), «Затопленная площадь» («Il campiello sommerso, 1974; премия «Кампионе д'Италия»; перевод напечатан в «ИЛ», 1980, № 12), «Корабль миллиардеров» («La nave dei milliardari», 1978), «Три заколдованных дня» («Tre giorni stregati», 1981).

Роман «Акробат» печатается по изданию книги «Новые акробаты» («I nuovi acrobati». Milano, Rizzoli, 1971).

Я нашел бриллиант в песке в конце июня, в воскресенье. В тот день я приехал во Фреджене[1] с Линой. Лина Больди — девушка с многочисленными достоинствами: у нее машина, живет одна в квартире на Париоли[2], к тому же она — любовница кинопродюсера Кастаньи. Когда продюсер присылал ей два билета на премьеру во «Фьямметте»[3], она брала меня с собой. Но честно предупреждала. «Франко,— говорила она,— запомни, если встретим его, ты — мой двоюродный брат!» Такие родственные чувства меня особенно трогали.

Может быть, она изменилась с тех пор, я давно не видел ее. Но тогда Лина отправлялась на море вовсе не развлекаться. Лето было для нее сезоном безмолвного мученичества. Она раскладывала на песке подстилку, которую давал ей служитель на пляже, надувной матрас и махровое полотенце. Затем натиралась маслом и кремом и поджаривалась на солнце часами, неподвижная, как статуэтка из лакированного дерева. Когда она ложилась лицом к солнцу, то клала на веки ракушки. В такие моменты быть с ней рядом было абсолютно невозможно: ее раздражало все. Стоило лишь шевельнуть пальцем, как она начинала ворчать:

— Не можешь и минуты посидеть спокойно. Из-за тебя у меня полон рот песка.

Я обычно заплывал подальше от берега или играл с кем-нибудь в мяч. Но часа в четыре, когда солнце начинало клониться к горизонту, мы встречались снова. В то утро я тоже оставил ее одну. Это-то утро и перевернуло всю мою жизнь. Помню, на мне были узенькие плавки, как у игрока в водное поло. Я шел по кромке воды и чувствовал на себе, словно скользящее дуновение ветра, взгляды девушек и женщин...

Было, наверное, часов около одиннадцати, солнце слегка пригревало, и в прозрачной дымке блестел песок. Уже больше часа я следил за Магдой. Теперь она стояла у самой воды, держа за руку ребенка. Рядом был ялик, вытащенный на песок. По тому, как она смотрела в сторону купален, было ясно, что она кого-то ждет.

Я подошел к ним ближе, делая вид, будто что-то разглядываю вдали. Мальчик, худой и бледный, отцепился от Магды и пошел мне навстречу.

— Кого ты там увидел, служителя? — спросил он.

— Нет,— ответил я. И поклонился Магде.

На ее запястьях висело с полкилограмма золота. А бриллианта не было, она оставила его в кабинке (или, чтобы чувствовать себя спокойней, в «камере хранения ценных вещей»). Я сказал ребенку:

— Ты о чем-то хочешь спросить?

Он посмотрел на меня снизу вверх и произнес писклявым голосом:

— Можешь столкнуть лодку в море?

— Эннио,— заговорила Магда, когда ялик закачался на волнах,— что же нам теперь делать? Нужно подождать служителя.

Воспользовавшись тем, что Эннио уже залез в лодку, я сказал:

— Не беспокойтесь, синьора, я могу покатать его.

Магда сдалась; она тоже села в лодку, но я чувствовал, что она мне не доверяет.

То было трудное для меня время. Началось лето, а значит, прощай, заработок. В этом состояла трудность моего положения — я преподавал гимнастику в средней школе. Я не числился в штате и потому с июля по октябрь должен был искать другую работу. С приближением лета, едва на римских балконах начинали развеваться купальники, у меня начинало сводить живот. Приходилось потуже затягивать пояс.

В прошлые годы я перебивался, давая уроки тенниса в клубе на Порта Метрониа[4]. Там я зарабатывал мало, набирая к концу месяца несколько тысяч лир — сумму, позволявшую расплатиться за квартиру в небогатом квартале, где жили служащие, мелкие торговцы и репортеры.

Я смотрел на Магду так, как, думаю, смотрит неаполитанский безработный на первого попавшегося иностранного туриста в ботинках на толстой подошве и с золотыми часами на запястье. Может, думал я, мальчишке нужен репетитор. Кроме того, я преподаватель гимнастики и некогда посещал лекции по филологии, правда, курса не окончил. Я смотрел на его ножки, сухие, как соломинки.

— Черт возьми, как ты гребешь! — воскликнул Эннио, крепко держась за скамейку.

---

[1] Курортное местечко под Римом.
[2] Престижный район в Риме.
[3] Кинотеатр в центре Рима.
[4] Площадь в Риме.

Я приналег на весла, и легкий ветерок всколыхнул пепельные локоны Магды, которая сидела словно изваяние.

— Можно подумать, что ты воспитывался на улице,— сказала Магда строго. Она говорила с сильным иностранным акцентом, но без ошибок. Ее вид и голос наводили на мысль о венских балеринах, которых толпами вербуют наши ревю.

Магда держала руки сплетенными на коленях и время от времени как бы случайно поглядывала на напряженные мускулы моих рук. Мне не нужно было перехватывать эти взгляды. Я их чувствовал. Так смотрит тучная синьора на пирожные с кремом, не смеющая себе их позволить из боязни еще больше располнеть.

На берегу нас встретил смущенный служитель.

— Извините, графиня, я ходил за пивом и льдом,— сказал он. Потом взглянул на меня, как дикий зверь:

— Я беспокоился... очень... боялся, что синьор не умеет грести.

— Ты бы посмотрел, как он гребет! — крикнул Эннио своим писклявым голосишком. Он тыкал хрупкими кулачками меня в бок. Служитель сделал вид, что не слышит его.

Я провел с Эннио всю вторую половину дня. Он угостил меня бутербродом с ветчиной и чашкой кофе с молоком. За это я сыграл с ним в тамбурелло[1], построил из песка замок, походил на руках и сделал сальто-мортале.

— Никогда бы не подумала,— сказала Магда,— что человеку в вашем возрасте могут нравиться дети.

Полпути было пройдено. Ее былая недоверчивость рассеялась.

— Это моя профессия: я преподаю в гимназии Гарибальди, а сейчас у меня отпуск.

Когда солнце начало клониться к горизонту, а морской воздух посвежел и стал почти прохладным, я сказал Магде, что должен идти.

— А завтра ты придешь? — крикнул мне Эннио.

Лины на пляже не было. Перед кабинкой валялись подстилка, полотенце, купальник, бутылочка с маслом для загара, баночка с кремом и горка ракушек. Я постучал в дверцу, посвистел. Лина принимала душ.

— Вернулся наконец,— сказала она.

Шум воды стих. Она появилась, обернув полотенце вокруг груди и оставив открытыми бедра. Ногой я захлопнул дверь.

— Люди же смотрят,— сказал я.

Она молча оделась, потом вышла причесаться. Пока я мыл в ведре ноги, она спросила:

— Можно узнать, чем это ты был занят целый день?

— Я нашел бриллиант, который стоит миллионы.

— Как зовут?

— Если не ошибаюсь, Делла Ровере. Служитель назвал ее графиней.

— Наверное, жена министра, шляпа.

Остальное она объяснила мне в машине. Вдоль дороги тянулась изгородь из цветущего кустарника. Заходящее солнце садилось в затейливые красные облака.

— Ты правильно поступил,— сказала Лина,— это твой шанс.

Наступило долгое молчание. Она, видимо, думала о своей давней мечте сыграть главную роль в фильме Кастаньи. А я лишь надеялся, что это лето будет не таким, как предыдущие.

Молчание не тяготило ни меня, ни Лину. Наши отношения строились на удобном для нас эгоизме. Это была дружба, практичная и современная, страховка от опасности провести воскресенье в одиночестве.

— Чао, дурачок! — сказала Лина, затормозив у моего дома.— Я уже вижу тебя в постели с этой развалиной.

Поднимаясь по лестнице, я понял, что поездка на море не пошла мне на пользу: я ощущал такой голод, что готов был съесть бутерброд с бритвенными лезвиями.

2

Такси остановилось у дома номер 39 по улице Паизьелло, где обитало семейство Делла Ровере. Незадолго до этого прошла гроза, и ветер сбивал с деревьев дождевые

[1] Игра в мяч, похожая на теннис.

капли. Ровно в восемь я нажал кнопку звонка. Мое сердце сильно стучало, и я пару раз глубоко вздохнул, чтобы успокоить его. Горничная проводила меня в гостиную.

— Графиня выйдет через несколько минут,— сказала она.

Горничная была крепко скроенной блондинкой с мощными руками дровосека. Она могла быть уроженкой Венето — голос ее вибрировал, как бы покачиваясь на волнах, а улыбалась она, как улыбаются крестьянки из Фриули: немного лукаво и чуть-чуть дурашливо.

Мне, привыкшему к меблированным комнатам, где за ширмой стоит кувшин с водой, гостиная казалась обставленной с тонким вкусом. Теперь, когда я вспоминаю это, побывав в домах настоящих джентльменов, могу сказать, что дом Делла Ровере походил всего лишь на лавку антиквара. Мрачная люстра испускала лиловый свет. Повсюду стояли мраморные и бронзовые бюсты, напоминавшие Магду «в великолепии плоти». На стенах висели картины, рисунки, офорты, для которых моделью служила она же. Одни были вполне целомудренными, другие — менее. Министру явно удалось во имя искусства найти удачный компромисс.

В тот вечер я чувствовал себя смущенным, растерянным, точь-в-точь как человек, проникший без приглашения на чей-то праздник, чтобы съесть несколько пирожных за чужой счет. Мне не удавалось контролировать свои движения. Синий шерстяной костюм угнетал меня, как физический недостаток. Я не знал, куда девать руки и, что еще хуже, куда ставить ноги. Дважды я споткнулся об угол ковра, который загнулся при этом, как ухо охотничьей собаки. Я буквально застыл на месте: должен ли джентльмен нагнуться и поправить ковер или же лучше сделать вид, будто ничего не случилось?

Стиснув зубы, я прогонял сомнения. Смотри, говорил я себе, это выигрыш в лотерее жизни. Вот уже две недели я «обрабатывал», как выражалась Лина, «жену его превосходительства». Две недели мы играли в разноцветный мячик, строили замки из песка, плавали в море на ялике. Я был клоуном для Эннио, кавалером для Магды. Я чередовал сальто-мортале с литературными разглагольствованиями о Рембо и Д. Г. Лоуренсе. Напустив на себя застенчивость и меланхоличность, я прочитал ей несколько строк из «Алкиона». Это был точно рассчитанный удар, мне показалось даже, что она пришла в волнение. Она почти не знала Д'Аннунцио, и стихи его звучали для нее как откровение. Она будто родилась для того, чтобы стать жертвой поэта, она была из тех натур, которые воспринимают скорее звуки, чем мысли. Ее представление, ее мир были крепко связаны с эпохой, когда в моде были пылкие жесты и экзотические туники. Прочитав ей «Прогулку», я почувствовал, что держу ее сердце в руках: теперь я мог бы выжать его, как лимон. («Вы не любите меня, и я вас не люблю... Быть может, выздоровеете вы когда-нибудь, туманным апрельским утром?»)

Как-то раз после обеда Магда исповедалась мне. Эннио в это время жевал вместе с другими детьми хлеб, варенье и пляжный песок.

— Я не могла иметь детей, поэтому мы усыновили его. Отец мальчика умер в Африке, мать погибла во время бомбежки. Когда в пятьдесят восьмом мы взяли его к себе, он был тощий, как скелетик. Как-то муж был в Апулии[1], вел там предвыборную кампанию, Эннио подошел к нему и протянул письмо. «Господин депутат, я один на всем свете. Позаботься обо мне» — было написано в нем.

Она вздохнула, посмотрела на свои ногти, покрытые ужасающим перламутровым лаком, и произнесла:

— Я думала над вашими словами: Эннио необходимо заниматься спортом, а не жить на одних уколах! Но я не могу доверить его этим скотам, рекламирующим себя в газетах. Здесь нужен человек тонкий, человек, который поощрял бы его любовь к учению, я ясно говорю?

Она прекрасно выразила свою мысль, но мне хотелось, чтобы она ее продолжила.

— Тогда я подумала о вас, доктор[2] Амброзиа,— сказала она,— если, конечно, вы свободны сейчас и у вас нет других планов...

Я улыбнулся, не показывая своей радости.

— Да, пожалуй, у меня нет других планов... А такого ученика, как Эннио, нельзя не любить.

---

[1] Область на юге Италии.

[2] «Доктор» — распространенное среди итальянцев обращение к людям с высшим образованием.

Уже не менее четверти часа я ожидал в гостиной дома Делла Ровере. Сотню раз я обследовал состояние своих ногтей и едва не удавился, поправляя узел галстука. Магда вошла бесшумно. На ней было декольтированное платье из черного шелка с длинными и узкими рукавами. Светлые волнистые волосы были собраны на затылке точно так же, как у статуи, неподвижно смотрящей на нас из угла комнаты. Рядом с ней Магда выглядела ее матерью.

Ее голубые глаза, большие и раскосые, с пикантной складкой в уголках век, придавали ее лицу, слегка тронутому загаром, обманчивую свежесть. На груди сиял огромный изумруд в золотой оправе. Умелая косметика, нанесенная опытной рукой реставратора, стерла с ее лица и шеи складки, которые на пляже так подчеркивало солнце. В бледном свете гостиной она стала более привлекательной. И еще мне нравился ее запах

— Добрый вечер, я как раз говорила с мужем по телефону. Заседание совета министров закончится не раньше одиннадцати. Мы сейчас сядем за стол. А муж выпьет с нами стаканчик виски позже.

Не думаю, что сила характера может быть отнесена к числу моих лучших качеств. Во мне есть инстинктивное стремление обхаживать сильных мира сего. Неизменным предостережением в жизни служит мне, пожалуй, пример отца, который потерпел фиаско, потому что шел против течения. Я иногда спрашиваю себя, какой совет дал бы он мне в определенных обстоятельствах. Придирчиво осмыслив его, я делаю все наоборот. Бедный Эрнесто, он являл собой ярчайший пример неудачника. Представьте: в течение двадцати пяти лет он боролся с фашизмом и позволил себе умереть спустя две недели после освобождения, когда его должны были назначить членом городского совета.

В тот вечер я с подчеркнутым уважением глядел на Магду и говорил только то, что могло ей понравиться. В какой-то момент я почувствовал, что можно поведать ей одну старую историю, которую я другим рассказывал уже раз сто.

— Из всех профессий, которые я перепробовал, лишь об одной я вспоминаю с сожалением: я был акробатом. Акробатом в цирке.

— Вы? В цирке? Это серьезно? — произнесла Магда с нескрываемым кокетством, широко распахнув свои светлые глаза.

— Мне было пятнадцать. Я учился в Венеции. В то время я состоял в одном спортивном обществе, его содержали священники, помнится, оно называлось «Летиция». Однажды вечером наш тренер, синьор Антонио, заговорил с каким-то типом из Милана. На этом человеке было пальто из верблюжьей шерсти и ботинки на каучуке. Четверть часа спустя синьор Антонио отозвал меня в сторону и сказал: «Слушай внимательно, можно подзаработать. Сделай-ка на четвертой перекладине гранвольто и сальтомортале...»

— А что такое «гранвольто»? — прервала Магда.

— Ничего особенного, просто цирковой трюк, нужно раза три-четыре прокрутиться вокруг перекладины, это производит впечатление на зрителей. Человек в верблюжьем пальто был цирковым импресарио, он искал акробата-подростка, «ангелочка»; три месяца по сорок лир в день — целое состояние. Так я все лето ездил по Европе. Я был самым молодым среди акробатов, борцов и клоунов. Мы давали представления в провинциальных театрах и кино. Помню, как-то вечером мы приехали в Порденоне, на вокзале у меня открылся чемодан, в нем лежала моя униформа из белой шерсти. Это была настоящая катастрофа, потому что шел дождь и брюки упали в грязную лужу В тот вечер я выступал «в белом и черном»...

— Ешьте, пока не остыло. Доскажете потом.

После ужина мы вернулись в гостиную.

— И ваш отец разрешил вам уехать? — спросила она.

— Отец слепо верил в бойскаутов. Я убедил его, что уезжаю в международный лагерь. Он погладил меня по голове: он всегда так делал, когда гордился мною.

— Так вы — опасный человек? — Магда улыбнулась.— Мне надо набраться храбрости, чтобы доверить вам Эннио.

Она налила виски с содовой, потом села рядом со мной на софу.

Часов около одиннадцати громко захлопали двери и раздались голоса, разлетавшиеся, как эхо, по коридорам: «Хорошо, ваше превосходительство», «Сию минуту, ваше превосходительство». Мне показалось, что в дом как бы проникла некая субстанция, быть может, это была сама власть или слава: как леденящий порыв ветра с горной вершины.

— О, мой муж, наконец-то!

Сложив руки, Магда застыла как изваяние.

Министр любезно поздоровался с нами, поцеловал руку Магде, пожал мою. Он был в темно-синем в серую полоску костюме, такие обычно служат своеобразной униформой нашим политикам. У него были гладко зачесанные седые волосы и желтоватая кожа.

— Вы — синьор Амброзиа,— сказал он, продемонстрировав ряд длинных и острых зубов,— жена мне все рассказала. Надеюсь, извините меня, если я посижу с вами всего несколько минут: завтра утром улетаю в Париж. Там состоится заседание Атлантического совета. К тому же моя жена лучше меня все знает, я на нее полностью полагаюсь.

В дверях появилась горничная-фриулка.

— Аида,— распорядился министр,— принеси стакан холодного молока.

Затем, обращаясь к жене, добавил:

— Если бы все итальянцы пили молоко вместо вина из Фраскати [1], мы бы не были самым хилым народом в Европе, не считая испанцев и албанцев.

— Оттавио,— сказала Магда шутливым тоном,— не забывай о речи, которую ты произнес на выставке вин. Помнишь, как ты говорил? Что Ной был первым благодетелем человечества.

— Есть вещи, для понимания которых необходимы годы,— подвел черту министр.— Пока крестьяне их не понимают. Они приходят в ярость, когда что-то касается их интересов. И у них хорошая память: такое припоминают на выборах. Я не о себе говорю, моя персона на втором плане. Но демократия в Европе так хрупка, что любая ошибка может оказаться для нее роковой. Этого только и ждут коммунисты.

Оттавио Делла Ровера обладал красивым голосом и манерами солидного человека. Адвокат по профессии, землевладелец, он постоянно говорил, что «борется за мир наших отцов». Держа в руке стакан молока и утопая в кресле из темной кожи, он вскользь спросил меня, какой из политических партий я больше симпатизирую.

— Понятия не имею,— ответил я.— О политике знаю только понаслышке. Чтобы вы могли представить обстановку, в которой я жил, должен сказать, что мой отец двадцать пять лет был коммунистом. Потом он умер.

— Понимаю,— сказал министр.— Понимаю, что вы не хотите иметь неприятностей из-за политики. И понимаю, что ваш отец был коммунистом. В юношеском возрасте я тоже им был. Но итальянский коммунизм, друг мой, хорош только для застольных шуток. Левые умны, было бы глупо отрицать, что ум в парламенте находится слева. Но запомните,— тут он подмигнул,— правительство всегда составляют правые.

Он поднялся из кресла, я тоже встал.

— Нет, прошу вас,— сказал он,— не беспокойтесь, я иду работать. А вы еще посидите.

Мы с Магдой проговорили до трех часов ночи. Как только я допивал виски, она вновь поспешно наполняла мой стакан. В доме царила тишина. Бронзовые и мраморные бюсты, выставив крепкие груди, не сводили с меня глаз. Министр, наверное, спал и грезил об объединенной Европе.

В какой-то момент Магда оказалась так близко от меня, что я едва не касался ее колена. Она неотрывно смотрела на меня своими раскосыми глазами с пикантной складкой в уголках век. Под действием виски мой мозг размяк и стал удивительно податлив к сентиментальности. Грудь Магды была совсем близко от моей руки. Что бы произошло, если бы я дотронулся до нее? Будь я уверен, что поцелуй решит все мои летние проблемы, я бы, пожалуй, решился. Но она не выходила за рамки точно отмеренной, рассчитанной симпатии. Может быть, она понимала, что я был больше не ягненком, а молодым волком.

Послышалось, как хлопнула ставня.

— Неужели снова гроза! — воскликнула она и поднялась, чтобы взглянуть на небо.

Когда она обернулась, я был уже на ногах. Она пробормотала, когда я почти торжественно поцеловал ей руку:

— Позвоните мне завтра. Поговорим о делах.

3

Вечером двадцатого июля мы — я, Эннио и служанка Аида — отбывали в спальном вагоне в Кортина д'Ампеццо. Мне положили двести тысяч в месяц плюс бесплатное жилье и питание.

[1] Местечко под Римом, славящееся белым вином.

Это было неплохо.

За четверть часа до отхода поезда Магда вручила мне желтоватый конверт со штампом министерства заморских территорий.

— Здесь пятьсот тысяч лир,— сказала она,— из них двести тысяч ваш аванс. Остальное — на дорожные расходы. О счетах на жилье и питание не беспокойтесь, я их буду оплачивать сама. К тому же надеюсь навестить вас недели через две.

Эннио был так возбужден, что его лицо и шея пошли красными пятнами. Он смеялся, хлопал в ладоши, вертел головой на тонкой шейке. Я велел купить ему теннисную ракетку, горные ботинки, футбольный мяч. Хотел привить ему вкус к спорту. «Эннио,— наставлял я его,—слушай меня и через несколько лет ты побьешь всех чемпионов. Всех этих Риверу, Факкетти, Маццолу ты отправишь в нокаут». Чтобы не разочаровывать меня, он пытался выпятить впалую, узкую грудь. И, сжимая маленькие кулачки, сказал:

— Еще я хочу стать боксером.

— Эннио, поцелуй маму.— Магда подняла вуальку.

Эннио чмокнул мать и снова уставился в окно. Раздался пронзительный свисток кондуктора, и над перроном взметнулись платочки: так выстрел из ружья поднимает в воздух птиц, сидевших на дереве. Магда вышла из вагона.

— Эннио, смотри, делай все, что говорит учитель,— крикнула она.

Поезд тронулся. Еще несколько мгновений я видел Магду, она прижимала скомканный платочек к носу. Потом ее загородила тележка торговца напитками и газетами.

Аида стояла рядом со мной навытяжку в ожидании приказа.

— Отдохните немного, я позову вас, когда Эннио пора будет укладывать спать,— сказал я.

Качаясь из стороны в сторону, от одной стенки вагона к другой, она пошла по коридору. Я посмотрел на ее раздутые щиколотки и короткую шею. Никакая революция не спасла бы ее от рабского состояния. И она и я, мы оба, принадлежали к числу тех, кто носит тяжести, кто говорит «сию минуту, ваше превосходительство», кто рано встает.

Эннио приспичило узнать о том, кто же величайший теннисист мира, но я не отвечал ему. Я наблюдал, как за окном воцаряется ночь. Я смотрел на голые лампочки, свисавшие с потолков в тратториях и проплывавших мимо вагона деревенских домах. Я испытывал смешанное чувство радости и горечи. Мне исполнилось двадцать семь лет, а еще не было лета, которое принадлежало бы только мне. С того дня, когда я закончил лицей, так и пошло: работа, и только работа. У меня не было ни одного отпуска, ни одного свободного месяца. С восемнадцати лет я возился с чужими детьми и учил их, избалованных и надоедливых, дефективных. Я ел и спал на виллах промышленников, биржевых спекулянтов и министров, везде меня держали близко к повару и далеко от хозяина.

Вспомнилось лето 195... года. Мне было шестнадцать. Я только что закончил лицей, выиграл чемпионат Венето по прыжкам с шестом и издал книжку стихов. Но в кармане не было ни лиры. И когда лопалась струна на ракетке, я заменял ее простым шнурком. Дней двадцать я прослужил в гостинице «Де Бэн» в Лидо[1]. С ней связаны самые тяжелые воспоминания в моей жизни. По четырнадцать — шестнадцать часов в день я сидел и записывал в огромные книги порции виски и мартини, выпитые постояльцами. Комната у меня была под самой крышей и до того тесная, что нечем было дышать.

Однажды я почувствовал, что больше не могу. И вместо того, чтобы отправиться на работу, я надел плавки и вошел в подземный переход, которым могли пользоваться только постояльцы гостиницы. Швейцар догнал меня и схватил за руку:

— Амброзиа, ты с ума сошел?

Я продолжал идти вперед. Оттуда тянуло свежим морским воздухом: там был рай для свободных людей, которые не считали порции виски, а только поглощали их. На пляже я смешался с толпой. В таком виде, в плавках, я мог сойти за одного из постояльцев. Я растянулся на песке. Он был чуть теплый, солнце стояло еще невысоко. Не знаю, сколько времени я пролежал так, слушая чужие голоса. Было много англичан или американцев, так мне показалось. Девочка со светлыми косичками, длинным и гибким телом, остро торчащими грудками прутиком писала на песке «Love». Я отдал бы десять лет жизни за то, чтобы стать ее братом.

---

[1] Курортный район в Венеции.

Несколько раз я переходил с места на место, опасаясь, что служители обнаружат меня. Вдруг я увидел парочку, занятую чтением. Может быть, они были любовниками, в шестнадцать лет все вокруг кажутся любовниками, даже люди, состоящие в законном браке. Они смеялись, читая объявления в «Гадзеттино»[1].

— Послушай вот это,— сказала она.—«Графиня Л. ищет наставника для четырнадцатилетнего мальчика. Предложения направлять в почтовое отделение Стра. Фото обязательно».

Я всегда верил в счастливую звезду, в лотерейный выигрыш, в судьбу. Я вскочил на ноги.

— Извините,— сказал я,— вы не могли бы повторить то, что сейчас прочитали? От какого числа газета?

Они с удивлением посмотрели на меня.

— Сегодняшняя,— сказала девушка.

Я бросился бежать как сумасшедший, перепрыгивая прямо через головы почтенных синьор. В десять минут я уложил чемодан и ушел из гостиницы, ни с кем не попрощавшись. Через неделю я был принят графиней Л. на ее огромной вилле в Стра. Она подозрительно долго разглядывала меня, обследовала сквозь лорнет мое свидетельство об образовании, потом поинтересовалась, сколько мне лет.

— Девятнадцать,— соврал я.

Моего воспитанника звали Пиппо, он приходился графине племянником. Потрясающий парень. Я научился больше у него, чем он у меня. Он был сыном итальянского посла в Бонне.

С того лета началась моя жизнь «интеллектуального раба». Меня допускали даже на приемы, но там все было так, как если бы мое тело не имело объема. Никто не разговаривал со мной.

Ни одного слова не сказала мне сестра Пиппо. Ее звали Аннадора, и меня восхищало ее презрительное отношение к остальному миру, которое отличает тех, чьи предки давно уже перестали быть рабами. Она так и не узнала, что я любил ее. Не узнала, как я, спрятавшись за изгородью, следил за каждым ее шагом, когда она гуляла с подругами по парку, и в сладком забытьи рифмовал слова, сочиняя стихи в ее честь.

Я постучал в дверь купе Аиды. Мне захотелось сказать ей: «Обними меня. Ты и я, мы оба рабы, мы, как коровы, носим на себе это клеймо». Но она не поняла бы меня и наверняка бы обиделась; нет ничего хуже, чем сказать рабу, что он раб.

Эннио спал на нижней полке, свернувшись клубком и обняв подушку. «Футбол» выскользнул у него из рук и упал на пол, на всю страницу красовался огромный заголовок: «Ювентус[2] теряет остроту игры».

Шум движущегося поезда взбудоражил меня. Путешествие всегда вызывало во мне желание быть рядом с женщиной. Я вновь увидел Магду в черном вечернем платье, видел ее восхитительную нежную грудь, ее полулукавые, полуобманчивые глаза. Я говорил с ней. Я тихо сказал: «Спаси меня от рабства, я сыт им по горло. Купи меня, как покупают рабов в Багдаде». В конце концов я уснул, и мне приснилось лето, я свободен, я на море и со мной рядом изумительно красивая женщина, но это была не Магда.

Ни разу еще мне не встречался ребенок более неспособный к спорту, чем Эннио. Ему недоставало силы, страсти, он даже не ощущал радости движения. Но не только это. Он был лишен чувства ритма и самых необходимых рефлексов. Я говорил ему: «Согни ноги в коленях, раз, два». Он сгибал их на счет «три» и уже не мог подняться. Садился на землю.

Дом, снятый Магдой в Кортина д'Ампеццо, был совсем неплох, он находился в верхней части города, в нескольких сотнях метров от гостиницы «Кристалло». Он был деревянным, выглядел крепким и удобным. Окна выходили в сад с мягкими лужайками, покрытыми светлой травой.

Я объяснил Аиде, что отныне Эннио будет спать с открытым окном.

— А если он заболеет воспалением легких? — озабоченно сказала Аида.— Мальчик и так чудом жив. Если ночью случится гроза, он помрет.

Эннио был слишком слаб для теннисной ракетки, он не смог бы удержать ее в руках. Поэтому я купил необходимые приспособления и терпеливо начал с упражнений для рук. В одиннадцать лет Эннио был маленького роста, похож на семилетнего ребен-

---

[1] Издающаяся в Венеции газета правого толка.

[2] Популярная футбольная команда.

ка. Врачи считали его практически здоровым, но ему не хватало дыхания, а сердце не выдерживало длительных нагрузок. Иногда после пятидесятиметровой пробежки лицо его становилось пунцовым, а на висках начинали пульсировать вздувшиеся вены. Я уговаривал его: «Тихонько, Эннио, нам некуда торопиться». На самом деле я боялся, как бы с ним чего не случилось.

Эннио явно не чувствовал разницы между своими физическими возможностями и желаниями. Он не понимал, что ему под силу, а что — нет. Силы его, как я уже говорил, были ограниченны. Однажды утром он крикнул мне из окна второго этажа:

— Прыгаю!

В холодном поту я принялся объяснять ему, что даже самый ловкий акробат сломал бы себе ноги, прыгнув с такой высоты. С трудом он дал себя уговорить, хотя до конца убедить его мне так и не удалось.

Магда звонила мне из Рима каждый вечер. Она хотела знать, как Эннио ест, прибавляет ли в весе. Однажды она сказала:

— Синьор Амброзиа, вы совсем не отдыхаете. Пожалуйста, не приносите себя в жертву. Сходили бы в кино.

Эннио не был способен сделать ни одного движения, даже самого простого с минимумом изящества. Он был из тех, кого спортсмены называют «бревнами». Поэтому я вынужден был учить его самым простым вещам: ходить, садиться, бросать. Однажды после обеда я объяснял ему, как надо двигаться, бросая мяч, когда услышал, что кто-то зовет его: «Эннио, Эннио!» Это была Магда. Эннио побежал ей навстречу; растрогавшись, она крепко прижала его к себе и быстрым жестом промокнула глаза, чтобы не потекла краска. Действительно, подумал я, Эннио был жив только чудом.

Я пошел ей навстречу.

— До последнего момента не знала, приеду ли. Вы получили мою телеграмму? — спросила она.

Никакой телеграммы не было. Может быть, она хотела застать меня врасплох?

Магда намеревалась остаться в Кортина д'Ампеццо на неделю, вместо этого она провела с нами весь август. Стояла удивительно хорошая погода, один безоблачный день сменял другой. После обеда мы устраивались с Магдой на солнышке. Она рассказывала истории из своей актерской жизни со сногсшибательными подробностями: вспоминала давние турне в Нью-Йорк, дебют на Бродвее, ночи в Гарлеме. Она говорила о небоскребах как о сказочных чудовищах, об их очаровании, преследовавшем ее с детства. Я не понимал этой ее страсти уходить в прошлое, отдаваться воспоминаниям. Я не слышал дрожи в ее голосе, не чувствовал намеков в ее взглядах. Если она и испытывала ко мне что-то, то выдержка ее была сильнее. Часто в ее улыбке читалась меланхолия человека, который не может позволить себе забыть о необходимости соблюдать приличия.

Как-то вечером, когда Эннио лег спать раньше обычного, Магда пригласила меня поужинать в ресторане. Ухаживания мои были довольно сдержанными, я осторожно дозировал знаки уважения и деланной робости. Взгляды, которые я бросал на нее, надо было понимать однозначно: «Жаль, Магда, что вы так далеко от меня, так высоко стоите» Я пытался избежать даже намека на отказ и держал дверь приоткрытой, чтобы вовремя улизнуть.

Ресторан был самого высокого класса: свечи на столах и зеркала в золоченых рамах по стенам. За соседним столиком оказался мой старый приятель, преподаватель тенниса Аничето Манни, который меня тут же узнал и рявкнул:

— Эй, старина! И ты здесь?

Я смутился и, надеясь, что он поймет, ответил только:

— Чао.

Как ни в чем не бывало, он продолжал забрасывать меня вопросами.

— Чего ты скрываешься? — вопрошал он.— Ты в Кортина и не показываешься?

Потом он легонько пошлепал по щеке девушку, которая ужинала с ним, и, подмигнув вслед Магде, отошедшей с официантом, сказал:

— Надеюсь, хоть деньги у нее есть?

Магда не спросила у меня, кто это, но я сам принялся объяснять ей, что он — великолепный теннисист и что одно время мы играли в паре. Она терпеливо слушала. Я добавил:

— Мы, спортсмены, все такие, всегда запанибрата. Так мы пытаемся скрыть свою неотесанность.

— Вот и хорошо. И продолжайте в том же духе,— сказала Магда.

Она смотрела на меня, как будто все понимала, или, по крайней мере, мне так показалось. Ее жесты, ее голос — все говорило о том, что она догадывалась, какие «козыри» у меня в руках. И это, судя по всему, не огорчало ее. Она наблюдала за моей игрой так, будто все мои трюки были ей известны и давно испробованы ею самой.

В углу зала пианист и скрипач старались создать «атмосферу интима». Так называют ее хозяева ресторанов. Моя рука коснулась руки Магды, Магда не убрала свою. Она не шевельнулась, но была все же далека от меня. Я чувствовал, как она затаилась в своем коконе, сплетенном из благоразумия и осторожности. Она ничего не хотела и ничего не просила. Ей было достаточно наблюдать за мной, она предпочитала продолжать эту игру в полутьме, не доводя дело до грехопадения. Ей нравилось смотреть, как я живу, как если бы она уже знала, что стоит на другом берегу; так старики вечерами сидят на скамейках в парке, подглядывают за влюбленными парочками и молчат.

4

Эннио не умер. Хотя в первые дни нашей жизни на природе, видя, как он с высунутым языком по полчаса пытается отдышаться после пробежки по холмам, я серьезно побаивался, как бы он не испустил дух у меня на глазах. Однако он выдержал это спортивное лето. Он поправился на два килограмма, лицо его из желтого стало почти розовым. При виде его Оттавио Делла Ровере заявил, что произошло чудо. Магда добавила:

— Дорогой Амброзиа, сразу видно, что вы старались от всего сердца!

— Извините, синьора,— ответил я,— я не могу сказать, что сердце ни при чем. Но в нашем случае требовалось как раз обратное. Если бы я слушался голоса сердца, я бы, наверное, не устоял перед слезами Эннио, который никак не хотел спать с открытым окном.

— Магда,— прервал министр, сгоравший от желания покрасоваться,— синьор Амброзиа прав. Новое поколение не нуждается в том, чтобы его пичкали сантиментами. Оставим сердце в покое, в чулан его!

Он взял разбег, и уже никто не смог бы остановить его. Магда решила было сделать жалкую попытку, но он уже слушал только себя, напоминая вышедшую из берегов реку, сметающую все на своем пути.

— Оттавио, не говори парадоксами,— сказала Магда.

Но его несло.

— Если мы не излечимся от сентиментальности,— продолжал его превосходительство,— мы навсегда останемся страной, которая может развалиться при первом же несчастье. Мой коллега Трабаллони, военный министр, утверждает, что каждый вечер в римских казармах можно обнаружить по крайней мере двух матерей, которые приходят лечить своих сыночков, солдатиков, от насморка...

Он вывязывал фразу одну за другой и испытывал от этого просто-таки физическое наслаждение. Это была словесная гимнастика, прогулка по просторам собственного тщеславия.

— Мы должны объяснить новым поколениям,— поучал он,— что пора производить на свет больше тракторов, чем мандолин. Меньше теноров и больше квалифицированных рабочих...

Став в позу демократа, он повторял то, что двадцать лет назад говорили фашисты.

— Господин депутат,— хотел было сказать я,— я не собирался так углубляться...

Но министр был загипнотизирован потоком собственных слов.

— Дорогой друг,— продолжал он,— не знаю, слышали ли вы, что говорят о моей речи перед студентами-католиками, но я им так прямо и сказал: похороним мелодраму. Я не сказал им, что Пуччини, Масканьи и Леонкавалло привили дурной вкус итальянцам — для этого еще слишком рано. Придет время, и я скажу им это. Скажу, что в провинции совершенно не знают Корелли, Вивальди и Монтеверди. Над Италией все еще властвует это «сердце красавицы» — дымящееся рагу на нотной бумаге, спагетти под музыкальным соусом.

Такого человека было легко завоевать. Он нуждался только в молчаливом друге, который в узком домашнем кругу поддерживал бы его иллюзии в том, что с... отважный антиконформист, чтобы на следующий день в парламенте безо всякого стыда оставаться обыкновенным ханжой.

Начались занятия в школе. Дважды в неделю я водил Эннио в спортивный зал и почти каждый вечер проверял его домашние задания. Министр теперь уверовал в мой талант. Он записал меня в Христианско-демократическую партию, заставив принять участие в конгрессе за свободу и объединение Европы. Именно тогда я обнаружил, что Оттавио Делла Ровере не был единственным в своем роде, другие говорили точно так же, как и он. Хуже того, они подражали ему.

В конце сентября министр устроил меня редактором в еженедельник ХДП. Назывался он «Солидита». Меня поразило прежде всего то, что под таким идиотским названием он выходил уже два года. Но Рим — город загадок.

По утрам я давал уроки в гимназии Гарибальди, а во второй половине дня работал в редакции. Работа не отнимала много сил, я вел рубрику «Письма читателей». Главный редактор посоветовал мне перво-наперво не острить. «Наша аудитория,— сказал он,— добрые христиане. И они обидятся, если мы станем смеяться над ними».

«Солидита» давала мне примерно сто двадцать тысяч лир в месяц — вовсе не лишняя добавка к зарплате учителя. Но деньги не были единственным достоинством новой работы: она давала удостоверение сотрудника редакции. Я никогда не подозревал, что простой кусок картона может иметь такое значение. Это был пропуск в привилегированный мир. И если теперь какая-нибудь полицейская собака пыталась задержать меня в парке Пинчо в тот момент, когда я целовался с девушкой, я тыкал ему в физиономию удостоверение журналиста, и он оставлял меня в покое.

Я забросил теннис и больше не ходил на тренировки. Президент клуба «Тибрские львы» звонил мне каждый день и говорил, что не ожидал от меня такого свинства.

— Мы проиграем кубок Бертокки! — орал он в отчаянии.— Если ты не вернешься, мы пропали.

— Президент,— говорил я ему,— мне пора взяться за ум. Мне уже скоро двадцать восемь. Я должен хоть немного подумать о себе. Не могу же я бегать с мячиком всю жизнь.

— Ты обманываешь меня, Франко,— сказал он мне как-то вечером.— Ты обленился, что-то растерял. Да, да. Года два назад ты побежал бы играть даже с температурой сорок.

Он бросил трубку, не попрощавшись. Вот тогда-то я на мгновение понял, на что решился. Понял, что никогда больше не вернусь в клуб. Я оседлал тигра, тигр понес, и кто знает, когда он остановится.

Я сел в кресло, потертая кожа которого напоминала лицо прокаженного. Мысленно я выстроил в ряд всех своих друзей по команде. Увидел красноватый грунт теннисных кортов с только что нанесенными линиями разметки. Тележку, в леднике которой охлаждались бутылки кока-колы. Лицо Эмилио, сторожа, лицо его жены, которая называла меня «хитрецом». Услышал смех Франко, рев Серджо, ругательства Аничето. Я уходил от них, как, впрочем, раньше ушел и из дома, и из родного города, дезертировал из батальона во время больших маневров, притворившись больным. Я не хотел этого признавать, но я (и позже я хорошо понял это) инстинктивно стремился к бегству.

Я был дезертиром от рождения.

Магда решила съездить на море. Дело было в конце ноября, в воскресенье, солнце для этого времени года палило неправдоподобно жарко. Пляж в Остии был пуст, но рестораны на берегу полны людей. За столами сидели актеры, политики, танцовщицы, сводни. Под бесконечные поклоны официанта мы пообедали в «Веккья Пинета». Магда заказала «спагетти с моллюсками» и жаркое из рыбы. От вина и солнца, светившего сквозь стекла террасы, выходившей на море, кровь в жилах Оттавио Делла Ровере побежала быстрее. Он почувствовал прилив добра, оптимизма и счастья. До тех пор пока «христианская цивилизация» нуждается в защитниках, его жизнь будет удовольствием, а вместе с ней, быть может, и моя.

Он сказал:

— Мы думаем создать информационное бюро в Нью-Йорке. Оно должно стать тончайшей антенной для нашего правительства. Вы знаете, ведь Нью-Йорк — второй «итальянский» город. Почти два миллиона его жителей — итальянцы. Короче, нам нужен человек, который присылал бы нам «свеженькие» и, скажем даже, конфиденциальные донесения об американской жизни и о возможностях, которыми располагает там Италия...

Магда сосредоточенно разглядывала мои руки, как будто заранее знала, о чем пойдет речь. Министр продолжал:

— Будьте откровенны: что бы вы ответили, если бы я порекомендовал вас? Вы говорите по-английски?

Магда смотрела мне в глаза. Сейчас я не могу сказать, как долго я колебался. Теперь, когда я вспоминаю об этом, мне кажется, очень долго. Помню, я сидел на соломенном стуле; вспоминаю другое, то, что происходило в тот момент вокруг меня: перед нами стоял официант с карандашом за ухом, в небе кружились чайки, а море было зеленым. Но сколько я колебался, не помню. Наконец я решился:

— Неплохо, разговорный не блестяще, но уже давно читаю английские газеты и книги.

Магда достала из сумочки зеркальце и подкрасила губы. Министр одобрительно кивнул:

— Хорошо, что вы знаете английский. Я учил его еще в школе, но теперь об этом у меня остались одни воспоминания. Ах, если б вы знали, как порой кусаю себе локти: можно было бы разговаривать с Джонсоном или Вильсоном так же, как я говорю с Фанфани!

Маленькая авантюра заканчивалась, я начинал азартную игру. Я крупно блефовал, имея лишь жалкую пару валетов. На самом деле я не имел представления даже об азах английского и лишь благодаря американской оккупации едва представлял себе значение слова «welcome». Один бог знал, как я буду выкручиваться в Организации Объединенных Наций, в редакциях, на официальных приемах.

Я отчетливо представил себе все это, но ни на мгновение не шевельнулась во мне неуверенность, не промелькнуло ни тени страха. Каким бы образом ни повернулись дела, мне удастся повидать Америку. Что мне было терять? «Поеду,— сказал я себе,— а там видно будет».

— Если приказ о назначении подпишут сразу,— продолжал Делла Ровере,— то вылететь нужно будет до рождества.

Я не защищаю себя, но я действительно надеялся выкрутиться. Жулики, лгуны, авантюристы всегда уповают на случай. «Попробуем,— сказал я себе,— а там что-нибудь да придумаем». Я читал где-то, что есть способ научиться английскому за две недели; может быть, это была реклама «Berlitz school». Кроме того, существовала еще Элизабет, моя английская подружка, работавшая в ФАО[1]. «Сегодня же вечером начну заниматься английским,— подумал я в то время, как министр расплачивался по счету.— Завтра куплю учебник и снова буду встречаться с Элизабет».

Только итальянец может до конца понять эту историю. Мое положение напоминало ситуацию, в которую попал один неаполитанский сержант в Абиссинии в 1941 году, когда наша армия развалилась. Тогда, как, впрочем, и сейчас, каждого интересовала лишь собственная судьба. Неаполитанский сержант, о котором идет речь, решил укрыться в деревне, а чтобы с него там не спустили шкуру, объявил, что он — врач. Во всей округе даже за деньги нельзя было увидеть белого человека, и сержант поэтому стал хозяином всей деревни. Самые красивые девушки принадлежали ему. Несколько месяцев он лечил и подбадривал больных, скармливая им какую-то странную микстуру. Однажды к нему привезли старуху с нарывом на ноге. Сержант помолился святому Януарию[2] и стал вскрывать нарыв. К его большому удивлению, старуха выздоровела.

Когда пришли англичане, сержанта судили. Выяснилось, что он никогда не был врачом и не имел ни малейшего представления о том, что такое ланцет или пинцет.

Англичане сказали местным жителям, что их обманули. Но те, подстрекаемые «исцеленной» старухой, гневно протестовали. Для них неаполитанский сержант был лучшим из врачей, а англичане, по их мнению, ненавидели его только потому, что он был их врагом. Много ночей девушки проплакали у палатки пленника. Пока его не увезли в Кению.

5

Стюардесса помогла мне пристегнуть ремни. Теперь уже я почувствовал себя «привязанным» к этой американской авантюре. Скоро самолет взлетит, у меня уже не будет иного выхода. В иллюминатор я видел аэропорт Фьюмичино, напоминавший черную классную доску, расчерченную фарами джипов. Мелкие капли дождя стучали

[1] Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, расположена в Риме.

[2] Покровитель Неаполя.

по стеклу. Самолет вздрогнул, заработал мотор слева, потом другой. Второй и четвертый завелись одновременно. В салоне все дрожало. Самолет тронулся.

Я открыл новую кожаную сумку и вытащил книги на английском языке, купленные перед отъездом. Одна из них, карманного формата, называлась «Изучайте английский шутя». Открыл ее наугад и прочитал: «This little girl eats more jam than bread». Приступ отвращения охватил меня при виде этих непонятных буквосочетаний. За две недели я выучил только, что означает «girl» и «little». А остальное? Я перевернул страницу и отыскал перевод: «Эта девочка ест больше варенья, чем хлеба».

Самолет был наполовину пуст. Я взял из сетки одеяло и завернулся в него. Но сомкнуть глаз так и не смог, как будто веки мои были утыканы гвоздями. Как и предыдущей ночью, меня не покидал страх, что мой план провалится. Повсюду мне мерещились настоящие дипломаты в брюках дудочкой и цилиндрах, кричащие в микрофон с крыш, с мостовой, что я мошенник.

Я стойко держался эти последние две недели, а теперь нервы начали сдавать. Я пытался скрыть свое невежество, как контрабандист прячет чемодан с сигаретами под вагонной полкой: Вспоминалась настоящая пытка в американском консульстве. Консул беседовал со мной минут пятнадцать, наверное, о чем-то интересном, предлагая мне кофе и сигареты. В ответ я только монотонно повторял «thank you». В конце концов, заметно помрачнев, он проводил меня до двери и вручил бумаги Боюсь, что если до встречи со мной у него не было точного представления об итальянских дипломатах, то я тоже не внес ясности.

Министр иностранных дел захотел увидеть меня до моего отъезда. Я приехал во дворец Фарнезина [1] за пять минут до встречи. Поскольку министр был занят, я ожидал своей очереди в обществе советника Калотты, черноволосого неаполитанца с глазками маленькими и быстрыми, как у продавца турецких ковров. На нем был серый в белую полоску костюм — «послеобеденная униформа» итальянских дипломатов. Калотта предложил:

— Пойдемте ко мне, поболтаем.

Несколько мгновений он разглядывал меня без тени стеснения, потом сказал:

— Вы знаете, что родились в рубашке?

Он смотрел на меня, продолжая через силу улыбаться.

— Знаете, сколько людей мечтает оказаться на вашем месте? Такое место, как ваше, нам снится по ночам. Никаких обязательств перед посольством, дипломатический паспорт, деньги, Нью-Йорк... Извините за любопытство, но вам уже известно, сколько... я хочу сказать, вы знаете размеры вашего жалованья?

«В конце концов, его можно понять»,— подумал я. Уже лет пятнадцать, а может и больше, он диктует нелепые письма глупой секретарше которая была еще любовницей Сфорцы. Его жена, наверняка южанка с лоснящейся кожей и низким задом, каждый вечер говорит ему, что он — остолоп, которому лучше бы не родиться вовсе, и что в то время, как другие отхватывают себе тепленькие местечки, он по-прежнему прозябает в Риме за двести тысяч в месяц.

Вошел посыльный и объявил, что министр ждет меня. Я пересек приемную с позолоченными статуями из алебастра вдоль стен и овальным столом посередине. Быстро провел рукой по волосам, приглаживая их, и проскользнул в кабинет Я говорю «проскользнул», потому что посыльный совсем чуть-чуть приоткрыл дверь, мне пришлось буквально протискиваться в кабинет. Министр поднялся, опершись кончиками пальцев о полированный и совершенно пустой стол.

— Мой друг Делла Ровере говорил мне о вас,— сказал он.— Я надеюсь, что работать вы будете с большим усердием. Советую быть совершенно откровенным в ваших докладах. Наши сотрудники, погрязшие в текучке, в конце концов перестают замечать что-либо вокруг. Рассказывают о каком-то выдуманном мире и считают, что это может нам понравиться. Представляете, что за удовольствие читать такие доклады. Итак, горькую правду, но правду!

Я слушал его с растерянным выражением лица, типичным для итальянца, который хочет сдать экзамен. Но вдруг меня отвлекли собственные переживания, и я задумался...

Очнулся я как раз вовремя.

— Вы все подготовили? — спросил он.

— Спасибо, ваше превосходительство, все готово.

[1] Так в Италии называют министерство иностранных дел.

— Помните,— продолжал он,— это новое информационное бюро — конек нашего председателя совета министров. Не забывайте, что, быть может, осенью вас переведут в Вашингтон; нужно ли объяснять, насколько полезной будет ваша исследовательская работа! Мой вам совет: налаживайте тесные связи с большой прессой. Подружитесь с издателем «Нью-Йорк гаймс». Близится момент, когда это сослужит нам добрую службу.

Он достал из стола тюбик темного цвета, приблизил к носу и с силой вдохнул.

— Делла Ровере,— сказал он с улыбкой,— рассказал мне все. Да вы не только публицист, но и чемпион по теннису. Делла Ровере утверждает, что и это тоже пригодится, потому что американцы — нация спортсменов. Возможно, он и прав, не знаю; однако я бы не стал особенно рассчитывать на свои физические достоинства. У американцев и так сложился определенный стереотип: итальянцы все такие — красивые ребята, играют в мячик, покоряют женщин. Извините меня за откровенность, но прежде всего мы должны показать им свою серьезность. Наши представители за рубежом должны быть точными, строгими, педантичными. Амброзиа, нам нужны педанты, чтобы вновь подняться на ноги.

Мне хотелось ему ответить, что такой тип итальянца, о котором он мечтает, нам следовало бы вместе с каменным углем импортировать из Германий. Но тогда бы я утратил его расположение.

За неделю до отъезда я увидел Магду в последний раз. Это было вечером шестнадцатого декабря, по телевидению показывали старый фильм, и Оттавио хотел посмотреть его вместе с друзьями. Потом, сказал он, поужинаем все вместе в «Трастевере». Фильм был американский, я видел его впервые: он назывался «Аллея заката». Замысловатая история. Немного мрачная. В какое-то мгновение я съежился в кресле, потому что мне показалось, что я увидел нечто похожее на мою жизнь. Героем фильма был молодой сценарист, сильный, но испорченный человек, который в отчаянии пытается воспользоваться долларами старой и знаменитой актрисы. Он становится ее любовником. Актер, Уильям Хоулден, был очень естествен в сценах, где он презирал самого себя. Старая актриса, Глория Свенсон, в конце концов теряет голову и убивает любовника в припадке ревности.

Когда фильм закончился и в гостиной зажгли свет, друзья Оттавио невольно уставились на Магду, а потом на меня, пристально смотрел на нас и Оттавио. Я похолодел, мне показалось, что я разоблачен и всем все стало ясно: я еду в Америку, потому что так хочет «старуха». Я не знал, куда деть руки, куда спрятать глаза. «Хороший фильм,— сказал кто-то,— актуален до сих пор. Очень правдивый». На меня так и устремились (или мне так показалось) насмешливые, презрительные, двусмысленные взгляды.

Дурные поступки, как черешня, всегда родятся парами; я вернулся к Элизабет, моей старой английской подружке. Естественно, я знал, что причиню ей боль, возобновляя нашу связь, и все же позвонил ей. Я пригласил ее поужинать в старую тратторию на Виа делла Кроче (где подешевле) и наконец проводил ее домой. Было что-то циничное в этой истории. Может быть, Элизабет оставила друга, который любил ее, чтобы возвратиться ко мне этого выяснять я не хотел. Меня обжигает воспоминание (обжигает холодным огнем стыда) о том, как я, испытывая скуку, раздевал и целовал ее. Эта скука была мучительней, чем тяжесть любого наказания. Сложена Элизабет была совсем неплохо, у нее длинное, хорошо вылепленное тело; густые волосы имели оттенок ржавчины. Хуже обстояло с лицом (на мой взгляд, это был ее главный недостаток) — слишком ясное, пресное и покорное. Она была невыносимо великодушна, добра, наивна и простодушна до такой степени, что вызывала глухое раздражение.

После того как она дала волю себе и заплакала от счастья, прижавшись к моей щеке, я сказал ей, что видеться мы будем недолго и что не нужно грустить, потому что я уезжаю в Америку. Несколько минут спустя, укутав плечи моим пальто, она уже учила меня произносить названия дней недели: «Monday, Tuesday...»

Всего за семь-восемь дней меланхоличной любви и угрюмых уроков английского Элизабет помогла мне понять значение поступка, который я должен был совершить: чтобы научиться разговаривать с издателем «Нью-Йорк таймс», мне потребовались многие бы месяцы, если не целые годы.

— Что ты скажешь, если я тоже приеду в Америку? — спросила Элизабет как-то вечером.— Не сразу, конечно. Я могла бы поехать за свой счет, не буду тебе в тягость. Я английская гражданка, мне быстро дадут визу.

Я не ответил, молча прикидывая опасности и выгоды ее предложения. Потом сказал с подчеркнутой деликатностью:

— Мне было бы очень приятно, да, конечно, мне было бы очень приятно. Но ты уверена, что тебе все равно, в каком городе жить? Ведь жизнь... Потому что жить в Нью-Йорке — это совсем не то, что жить в Риме!

— Франко,— произнесла она, глядя на меня глазами преданной собаки,— мне нравится быть там, где ты. Я еще молода, не беспокойся обо мне. К тридцати стану серьезнее и поймаю себе мужа.

— Ты ангел, Лиз, Поступай, как знаешь. Честно скажу тебе: на твоем месте я не терял бы времени на такого типа, как я... Прежде чем принимать решение, подумай хорошенько.

— Я уже подумала, Франко,— прошептала она, начиная чистить мои ботинки.— Раз ты говоришь, что тебе будет приятно, я приеду. Что мне стоит? Какая разница где работать — здесь или там?

В аэропорт провожала меня одна Элизабет. Обещали приехать друзья по клубу, но в тот день была встреча «Италия — Венгрия», и ни одна собака не явилась.

— Не могла бы ты на несколько недель взять моего пса? — спросил я Элизабет.— Не знаю, что ждет меня там. Лучше оставить бедняту дома!

Это был щенок таксы черно-коричневой масти, мне подарил его приятель. Я назвал щенка Домани[1], в шутку, конечно, а может быть, и потому, чтобы ежедневно подбадривать себя надеждой на завтрашний день.

Когда я прошел таможню, объявили, что самолет Рим — Нью-Йорк вылетает через несколько минут.

Я обернулся, зал ожидания был почти пуст. Громкоговоритель еще раз прокудахтал: «Внимание, внимание». Элизабет стояла и махала рукой. Щенок, которого она прижимала к себе, жалобно скулил.

6

— Все святые, дайте мне мужества! — воскликнул я, очутившись в Нью-Йорке. Аэропорт Айдлуайлд оказался асфальтовым лабиринтом под крышей из тумана. Туман висел метрах в двадцати над землей, как потолок из грязной ваты. Приземляясь, наш лайнер как будто пробил его. Глядя, как самолет идет на посадку с зажженными, несмотря на день, фарами, я думал, что катастрофы не избежать.

Странно, но в Айдлуайлде не было слышно рева отдельных самолетов. Он терялся, тонул в общем мощном грохоте аэропорта, непрерывном, глухом, напоминавшем гул штормящего моря. Постепенно шум превращался для вас в звуковой фон и в конце концов казался тишиной.

Вы знакомы с нью-йоркскими таможенниками? К иностранцам они относятся как к прокаженным. Повсюду им чудится запах контрабанды. Они говорят сквозь зубы, смотрят угрюмо и подозрительно. Между нью-йоркскими таможенниками и статуей Свободы такая же разница, как между лепестком лилии и листком копирки.

Подталкиваемый очередью, я очутился перед лицом гиганта, который поджидал меня, сняв пиджак. Он принялся быстро задавать вопросы, на которые я отвечал «Yes, yes», чтобы побыстрее отделаться. Но это, как выяснилось, был не лучший прием, если судить по тому, что лицо таможенника стало красным, как сигнал семафора, и он грохнул кулаком по столу. Стюардесса бросила свои дела и пришла мне на помощь:

— Вы понимаете, что он говорит?

Таможенник, потеряв терпение, барабанил по столу ножом для разрезания бумаги.

— Он хочет знать,— перевела стюардесса,— есть ли у вас драгоценности или благородный металл... жемчуг, бриллианты, золото... Если есть, заявите о них, пожалуйста, в декларации.

— Нет, нет...— пробормотал я,— у меня нет ничего...

Девушка объяснила, мне так показалось, что я — итальянский правительственный чиновник. Говоря это, она поднесла руку ко лбу с выражением страдания на лице. Наверное, она пыталась уверить его, что я плохо себя почувствовал в самолете.

[1] Завтра *(итал.)*.

Таможенник поднял руку и сказал что-то, чего я не понял. Стюардесса в свою очередь подняла мою руку и прошептала:

— Поклянитесь!

Я поклялся. Меня выпустили на свободу.

Меня встречают, так мне сообщила стюардесса. Встречавшим был высокий, худой итальянец с седыми волосами. Он курил трубку.

— Глауко Ландольфи,— представился он.— Министр Делла Ровере написал мне о твоем приезде...

На нем было серое пальто с едва различимым рисунком, напоминавшим рыбий скелет. В его сильном и спокойном голосе сквозила ирония.

— Если что-нибудь нужно, скажи.

Движения его рук отличались грациозностью. Казалось, слова он рисовал. Это был человек, каким мне никогда не стать, он получил хорошее воспитание в одном из самых респектабельных домов Италии. И в самых лучших домах. Могу поспорить, что, когда он был ребенком, римский папа дал ему и его аристократической маме частную аудиенцию и потрепал его по щеке. Свое образование он завершил в Оксфорде. Там же, в Оксфорде, как поправляют цветок в петлице, поправил и свое произношение.

По тому, как он подозвал носильщика и приказал ему отнести мой чемодан в такси, я понял, что путешествовать для него было делом не более сложным, чем завязывать галстук. Он сказал всего несколько слов, и носильщик, загипнотизированный его несравненным превосходством подчинился, словно робот.

— Я забронировал тебе номер в «Пьере». Это в центре. Там удобно. Через пару недель решишь, стоит ли тебе снять квартиру.

Того, кто подъезжает к Нью-Йорку со стороны Айдлуайлда, сначала постигает разочарование. По обе стороны дороги стоят низкие дома грязно-серого цвета, некрасивые и бедные. Ландольфи угадал мое удивление.

— И эта страна воюет во Вьетнаме? — сказал я.

— Да, здесь, хотя и в меньших масштабах, происходит то же самое, что было у нас во времена фашизма. Автострады и дворцы в Триполи и Аддис-Абебе, нищета и малярия на Сардинии и в Калабрии. Американцы тратят миллиарды в Африке и Азии, а нищие переполняют дно Нью-Йорка и Чикаго.

Дома вдоль шоссе были низкими, низким казался и Рокфеллер-центр. Небоскребов не видно, будто их смел ночной ветер. Из-за густого и низкого тумана были видны только нижние этажи зданий.

«Пьер» находился на Пятой авеню. Из его окон виден, когда нет тумана, Центральный парк. Администратор проводил нас, как я до сих пор помню, в номер 607, и хотя он был небольшой, но удобный и со вкусом обставленный. Ванная выложена голубым кафелем. Телевизор, как глаз Полифема [1], смотрел на нас из темного угла.

Ландольфи, еще не зная, в какую историю я впутался, старался сделать приятной мою первую встречу с городом. Но именно его любезность вызывала во мне раздражение. Тогда я желал только одного: побыть в одиночестве. Я хотел как можно скорее избавиться от комплекса неполноценности. Но Ландольфи не уходил. Он стоял неподвижно, подняв красивую седую голову и опустив свои длинные и худые руки — как у цыганского скрипача. И то, что он говорил, тоже вызывало раздражение. В его речи сквозила легкая ирония. Так обычно говорят в министерстве иностранных дел. Он спросил, не запахло ли в оффисе кровью. «Ходят слухи,— сказал он,— министра, как невинного агнца, принесут в жертву еще более прожорливым доротейцам»[2].

Я ответил, что ни с кем из министерства не знаком.

— Вот,— сказал Ландольфи,— это карта Манхэттена. Нет ничего проще: с одной стороны — Вест-сайд, с другой — Ист-сайд. Пятая авеню делит остров пополам.

Голова раскалывалась, меня мутило. Уши отказывались слышать любое иностранное слово. Хотелось закричать: «Ландольфи, оставь меня в покое!»

Наконец до него дошло, что я устал.

— Если захочешь, позвони. Можем вместе поужинать.

Как только он закрыл за собой дверь, я рухнул на кровать. Было жарко, сухой воздух, типичный для американских гостиниц, был раскален сверх всякой меры. Я рас-

---

[1] Циклоп, которого Одиссей лишил единственного глаза *(греч. миф.)*.

[2] Одна из группировок внутри Христианско-демократической партии.

стегнул ворот рубашки. У меня пересохли губы и глаза покалывало от усталости. В этот момент в дверь постучала горничная-негритянка.

Трудно описать нелепую беспомощность, которая охватывает тебя из-за того, что ты не в состоянии на другом языке произнести слово «войдите». Что может быть проще, банальнее, глупее этого «войдите»? А ты не знаешь, как сказать его, стоишь словно истукан перед закрытой дверью.

Я открыл ее сам. Горничная принялась (конечно же быстро — или мне так казалось) что-то говорить. Непонятные слова ударяли меня, словно камешки. Видя, что я смотрю на нее, как паралитик, не произнося ни слова, она ушла, что-то бормоча и делая конвульсивные движения руками.

«Силы небесные,— сказал я себе,— спасите меня». Несмотря на жалкое впечатление, произведенное на таможенника, стюардессу и чернокожую служанку, я все же всерьез строил иллюзии относительно того, что выучу язык за пару недель. «Оставьте меня,— говорил я себе,— и я вам покажу, на что способен человек в отчаянном положении».

Я подтащил проигрыватель к кровати, на его футляре еще виднелись следы крестов, которые таможенник поставил мелом. Чертыхаясь, нашел под кроватью розетку и вставил в нее вилку. Затем поставил первую пластинку лингафонного курса. Это был урок номер один. Я уже слушал его несколько раз в Риме. Господин, говоривший немного в нос, важно называл предметы и людей в воображаемой комнате. «Это — стол. Это — стул. Дядюшка Эмилио взял точилку для карандашей». Но ужас! Как только я запустил пластинку, случилось непредвиденное. Голос был совсем не тот, что в Риме. Голос явно не принадлежал человеку. Это было ни с чем не сравнимое клокотанье звуков, как если бы пластинку запустили наоборот. Я подумал, что она могла испортиться во время перелета. От жары. Или от холода. Кто знает? Я попробовал другую пластинку — еще хуже. Это была запись Эдит Пиаф. Бедная французская певица запела голосом мрачным и угрюмым, как оперный бас. Более того, нельзя было понять ни слова из того, что она пела.

Признаюсь, у меня возникла мысль, быть может, несколько кощунственная, что сам господь бог решил немного порезвиться. Всю вторую половину дня я проходил в поисках магазина музыкальных инструментов. Там, слава богу, нашелся один человек, понимавший по-итальянски.

— В Америке напряжение другое, в общем, проигрыватель крутится медленнее,— объяснил он.— Нужно его отрегулировать. За неделю сделаю.

Я пересек Манхэттен пешком. Дул пронзительный ветер, понемногу разгоняя туман. Начали проступать контуры небоскребов. Хмурые, высокомерные гиганты. Пожалуй, лучше бы они навсегда оставались в тумане.

В гостинице, у двери номера, я снова наткнулся на горничную-негритянку. Мое лицо обещало так мало хорошего, что бедняжка, бормоча, быстро удалилась.

Я вошел в комнату. Включил телевизор. Сел в кресло. На экране появилось лицо толстого и глупого человека. Он вещал о чем-то непонятном, а публика беспрерывно смеялась. В моем подсознании возникло подозрение, что весь Нью-Йорк, чтобы позлить меня, заговорил на несуществующем языке.

На следующий день в десять часов за мной заехал Ландольфи. Он сообщил, что на борту «Бьянкамано» из Италии прибыл министр Дзебрини.

— Во что бы то ни стало и немедля он хочет выступить перед нью-йоркцами,— сообщил он.— Сопротивляться бесполезно. Он говорит, что желает установить контакт с городом. Мы сказали ему, что по воскресеньям люди уезжают за город. Но министра не переубедишь. «Соберите итало-американцев»,— распорядился он. Он хочет говорить о «роли итальянского морского флота как инструмента мира». Он так и сказал.

— А кто придет его слушать?

— Справедливый вопрос,— улыбнулся Ландольфи, разжигая трубку.— Именно это и пытался объяснить ему Бароччи. Но министр настаивает. Он жаждет обратиться к сердцам итало-американцев.

— Ну и что же будет?

— А вот что. Посол упросил привратников и служащих итальянского посольства прийти на встречу со своими женами, а по возможности пригласить и любовниц. За границей нет ни одного привратника-итальянца, у которого бы не было по крайней мере одной любовницы... О, совсем забыл: мы должны быть тоже. Посол рассчитывает на нас. Нужна аудитория. Ты знаком с Дзебрини?

— Нет, я его не знаю. Скажи-ка, мне просто интересно, как это привратники и сотрудники посольства так легко согласились на это мероприятие в воскресенье?

— Бароччи обещал им засчитать по два часа сверхурочных.

Конференц-зал итальянской делегации при Организации Объединенных Наций был почти полон: молодые люди в синих костюмах, толстые женщины с упругим, как резина, перманентом и дети. Министр Дзебрини вошел в зал ровно в одиннадцать. (Итальянцы пунктуальны, только когда сами выступают в роли ораторов.) В руках он держал пачку бумаг. Он вошел быстрым и энергичным шагом. С нескрываемым удовлетворением огляделся. И заговорил красивым тенором. В его голосе звучало тщеславие мальчишки, запускающего воздушного змея.

— Друзья-американцы,— начал он, — и вы, американцы, чьей родиной была когда-то Италия, благодарю вас за то, что вы пришли сюда. Я, министр морского флота, оперируя всего несколькими цифрами, утверждаю, что итальянские суда опять бороздят океанские просторы. Наш флаг вновь развевается над Атлантикой, над Тихим и Индийским океанами. Вы должны гордиться этим.

По незаметному знаку посла Бароччи привратники и клерки в синих костюмах аплодировали в самых патетических местах речи оратора.

— Велики предпринятые нами усилия,— продолжал министр,— но еще большие ждут впереди. Поэтому я обращаюсь к вам, тем, кто в прошлом так великодушно помогал Италии: знайте, мы нуждаемся в капиталах.

— Это он нам-то говорит! — прошептал курьер со второго этажа, судя по акценту, уроженец Абруцци. К счастью, он сидел в последних рядах, и к тому же в этот момент грянули аплодисменты.

Затем последовало роскошное угощение. В понедельник утром в самых влиятельных газетах Рима и Милана появились небольшие комментарии под заголовком: «Сердечная встреча министра Дзебрини с крупнейшими промышленниками Нью-Йорка».

— Вот видишь,— сказал я себе по окончании церемонии,— ты не хуже и не лучше других. Ты — частица Италии. Ты — одна из загадок этой загадочнейшей страны.

7

Работу итальянской делегации при Организации Объединенных Наций направлял барон Лоренцо Бароччи ди Сан-Сильвестро. «Направлял» — именно это слово пришлось ему по вкусу и часто мелькало в его докладах министерству. Он был мягок и педантичен, холоден и одновременно слащаво-вежлив, а в общем — невероятно напыщенный тип. Во время официальных церемоний, приемов и банкетов барон не упускал случая заговорить о Христофоре Колумбе, или — как он произносил — Хлистофоле, потому что как многие китайцы не выговаривали букву «р». Такие понятие, как римский дух, родина права, колыбель святых и поэтов и тому подобное служили для барона тем же орудием, что и слеза в голосе лирического тенора. Любовь к родине раздувала ему вены на шее и заставляла подрагивать квадратные усики. Коллеги прозвали его «голячим патлиотом».

«Лим — не только селдце Евлопы,— говорил он.— Это нечто больсее и плекласное».

Этот неврастеник был небольшого роста, худоба его свидетельствовала о его высоком происхождении. Сорочки были ему широковаты, зато накрахмаленные воротнички, как тугие ошейники, оставляли красный след на шее.

— Он худеет из-за жены,— сообщил мне один привратник вскоре после моего приезда.— Не от любви, от злости.

Другой служащий, тоже намекая на барона Бароччи, доверительно сообщил:

— Представляешь, он стал атеистом в пику жене-святоше. Этим я все сказал.

Баронесса Клелия Бароччи ди Сан-Сильвестро служила неистощимой темой для разговоров. Речь о ней неизбежно заходила между тремя и четырьмя часами пополудни, когда секретарши готовили кофе-эспрессо в неаполитанских кофеварках, блестевших алюминием на горах зеленоватых папок. Говорили, что баронесса жила в постоянном страхе перед грабителями. Каждое утро она подчеркивала красно-синим карандашом газетные сообщения о похищениях и грабежах. Она настороженно ходила по дому, вслушиваясь в самые отдаленные шорохи. На поясе у баронессы висело не менее сотни ключей. Время от времени она шептала прислуге:

— Лаура, слышишь?

— Что, баронесса?

— Шаги... там, внизу... этажом ниже.

Баронесса Клелия не переносила даже вида незапертого ящика.

Она все держала под замком: варенье, зубную пасту, точилку для карандашей. На смазку замков уходило больше масла, чем на салат. Спала баронесса сном беспокойным, предварительно уложив десятки ключей под подушку.

В конце концов барон страстно полюбил свою работу — лишь бы находиться подальше от супруги. Он появлялся в кабинете раньше, чем уборщица успевала смахнуть утром пыль с его письменного стола.

Барону, поглощенному собственными неприятностями, было не до меня. А если бы он занялся мною, то определенно заметил бы, как я плохо выгляжу. Я мало спал и худел. По ночам штудировал английскую грамматику.

Преподавательница из «Berlitz school», уделявшая мне по часу в день, советовала избегать итальянских друзей, не смотреть итальянских фильмов, не посещать итальянских ресторанов. «Пытайтесь,— говорила она,— объясняться только по-английски. Не бойтесь окунуться в язык, как в воду. Понимаю, что в первое время это вызывает только головную боль и желание вышвырнуть учебник в окно. Но другого пути нет».

Я с покорностью подчинялся ей. Я следовал советам учительницы, этого очкастого существа с плоской грудью и парой бамбуковых палок вместо ног,— она была самым несексуальным созданием в этой стране, помешанной на сексе.

В общем, моя жизнь походила на ад. Помню отраву, которую скармливали мне в кафе: я просил салат с курицей, буфетчица шлепала на стойку перед моим носом тарелку редиски с вареньем. А времени протестовать не было, как не было ни сил, ни необходимых слов. Сзади напирала неумолимая очередь, и ты чувствовал себя болтиком, винтиком, зубчиком в механизме, которому нет до тебя дела и который тебя не понимает.

Однажды на Таймс-сквер я натолкнулся на разукрашенный подъезд, по матовым стеклам двери которого бежали кричащие красные буквы: «Dance hall» и «Taxi-girls». По обе стороны от двери висели фотографии полуголых женщин с острой и рвущейся напоказ грудью. Я почувствовал какое-то брожение в крови, как будто в нее бросили таблетку содовой шипучки. Я толкнул дверь и поднялся по крутой и темной лесенке. Наверху, на площадке, выложенной черными и красными плитками, за деревянным барьером сидел старик, карауля несколько пальто, висевших на латунной трубе, заменявшей вешалку. Старик приглашающе кивнул и взял мой плащ.

— Six dollars, all included[1], — сказал он.

«Dance hall» являл собой зал с блестящим паркетным полом. Зал был погружен в зловещий полумрак. С потолка лился голубоватый свет. В углу разместилось многоцветное чудовище: огромных размеров музыкальный автомат, извергавший из своей хромированной пасти накаленные докрасна звуки. Четыре или пять девушек в расстегнутых на груди блузках, в основном толстушки, стояли, прислонясь к стене, в ожидании клиентов. Это были taxi-girls.

Клиентов, по правде говоря, было немного, а те, что были, не относились к лучшим: согбенный человечек, старый, в мятых, без стрелки брюках, худосочный солдат с увядшим лицом и, наверное, пустым карманом и молодой мулат с курчавыми волосами и горящим взглядом — он смотрел на груди девиц, и его глаза сверкали, как лезвие ножа.

Старик из гардероба дал мне бумажную ленту из десяти билетиков — на десять танцев. В зале царила атмосфера третьеразрядного кинотеатрика: запах мятных конфет, застоявшегося дыма и дешевого брильянтина. В углу напротив музыкального автомата находился бар. Бармен — китаец с раскосыми, как у всех китайцев, глазами — стоял, опершись локтями о стойку, обхватив голову руками, погруженный в свои мысли.

Не теряя времени, я направился к taxi-girl, которая показалась мне понежнее. Теоретически я руководствовался не сладострастием, моей целью было попрактиковаться в английском языке в не очень тоскливой обстановке. Я хотел говорить с людьми, попытаться понять их, черт бы их побрал.

Девица забрала все десять билетиков, засунула их в чулок, обнажив при этом добрую часть бедра. Потом, не говоря ни слова, начала танцевать, касаясь меня

---

[1] Шесть долларов, включая все *(англ.)*.

грудью, сначала легонько, затем более назойливо. Она спросила у меня что-то, чего я не разобрал. Чтобы она поняла, что имеет дело не с немым, я ответил:

— I'm Italian.

Она засмеялась, перестала танцевать, как будто сделала важное открытие, и предоставила меня своей подружке со словами:

— She speaks Italian[1],— и улизнула.

Ее подруга дала мне понять, что без билетов она не двинется с места. Это было чисто итальянское надувательство, экспортированное в Америку. Я сходил к старику на лестничной площадке, тот забрал у меня еще шесть долларов. Вторая девица знала итальянский, как я английский. Даже хуже.

— You italiano spaghetti mama mia![2] — сказала она. И больше уже не открывала рта. Она умела объясняться лучше, двигая ногами, как ножницами. Потом, держа меня за руку и выглянув на площадку — нет ли полицейских,— она отвела меня этажом выше, где стояла софа, стол и кресло из темной кожи.

— Fifty dollars[3],— запросила она в конце концов, держа в руке как залог мои брюки.

Она не научила меня ничему, чего бы я уже не знал сам.

К этому времени барон Бароччи ди Сан-Сильвестро выделил в мое распоряжение кабинет, пишущую машинку и секретаршу. Секретарше могло быть лет тридцать, она выглядела недурно: черные пронзительные глаза, маленькая невысокая грудь, которая гордо подрагивала под свитером из ангорской шерсти. Несколько дней я общался с ней учтиво, угощая ее сигаретами и шоколадками. Иногда я смотрел ей в глаза долгим взглядом, в котором ясно читалось желание лечь в постель и от которого итальянцы не могут избавиться даже на торжественной мессе. Она не реагировала. Не реагировала даже тогда, когда я задерживал ее руку в своей. Может быть, она воспринимала «нежности» начальника как извечный и неизбежный факт, как зиму, налоги или насморк.

Я же хотел подружиться с ней не для того, чтобы затащить ее к себе в гостиницу, а решил воспользоваться ее практическим опытом американской жизни, ее знанием английского языка. Однако мой план лопнул. Секретарша совершенно не понимала английского. Или, говоря ее словами, она «его забыла».

Когда я не знал, чем заняться, я отправлялся в Организацию Объединенных Наций, в огромный спичечный коробок, похожий на «стеклянный дворец». Там я часто встречал Ландольфи, который «наблюдал». Его задача состояла в том, чтобы подсказывать Риму предложения для дипломатических демаршей на высоком уровне. (Правда, в палаццо Киджи[4] могли бы иметь более ясную и скорую информацию, если бы подписались на «Нью-Йорк таймс». Но подобные замечания выходят за рамки нашей истории.)

Ландольфи объяснял мне (прежде всего с помощью своих выразительных рук), в чем заключалась его работа. Днем он на час появлялся в ООН, пил в баре виски, перебрасывался парой слов с индийским, египетским или польским наблюдателем и, наконец, обменивался с коллегами новостями о фильмах и театральных постановках, которые стоило посмотреть. Но хороших фильмов и спектаклей, по правде говоря, было мало, и поэтому разговор переходил на женщин.

— Девочки, которых снимают в «Вог» и «Харперс», пользуются популярностью, вечером после десяти их можно встретить в «Марокко»,— обстоятельно разъяснял он.

Терпением, с которым Ландольфи вел беседы о женщинах, можно было только восхищаться, особенно если принять во внимание, что на него самого женщины наводили скуку.

— Нужно чем-то жертвовать ради карьеры,— повторял он.

Вечером я возвращался в гостиницу как побитый. Когда я был не в силах открыть учебник английского или слушать пластинку лингафонного курса, я думал о Риме, о друзьях по теннисному клубу, о гимназии Гарибальди. Вспоминал Элизабет,

---

[1] Она говорит по-итальянски *(англ.)*.

[2] Так ты итальянец, макаронник, мамочка! *(Смешение англ. и итал. слов.)*

[3] Пятьдесят долларов *(англ.)*.

[4] Резиденция главы правительства Италии.

мою молоденькую и скромную английскую подружку, которой доверил свою собаку. Из-за разделявшего нас океана я чувствовал себя слабым и беззащитным. «С Элизабет,— думал я,— все было бы проще. Я ничего бы не боялся». Но поскольку рядом со мной не было женщины, в мечтах я возвращался к Элизабет. Даже хотел, чтобы она скорее приехала или, на худой случай, писала чаще.

Не реже двух раз в неделю в посольстве меня ждало письмо. Это был аккуратный и размеренный рассказ о ее жизни. Она писала мне о том, как уехала из Рима, как приехала в Лондон, встретилась с друзьями, домом, кошками и отцом, генералом в отставке.

«Надеюсь быть в Нью-Йорке в конце марта,— сообщала она.— Поплыву на «Рафаэлло». Домани чувствует себя хорошо». (Домани — это моя собака.)

Прошло рождество. С божьей помощью прошли Новый год и крещение. В конце января преподавательница английского сказала, к моему большому удивлению, что я уже «кое-что понимаю».

— Может быть, это и так,— ответил я,— сам я ничего не заметил.

Боже мой, какой это труд — говорить не так, как научила тебя мама. Язык упирается в нёбо, как упрямый осел. Я помню званый обед, устроенный итало-американским обществом в «Уолдорф-Астория»[1]. Присутствовал весь «свет». Даже наш посол прибыл из Вашингтона. Я сидел за столом в центре зала между перезрелыми дамами, увешанными драгоценностями. Справа от меня, как я смог разобрать на стоявшей у прибора карточке, находилась госпожа Ульмер — Джордж Ульмер, ее супруг, был владельцем «Оушиник бэнк». Первые полчаса я провел, замкнувшись в добропорядочном и смиренном молчании, чтобы не привлекать внимания к собственной персоне. Я надеялся остаться незамеченным.

Но вдруг поймал на себе взгляд посла, его взгляд я бы сравнил с нацеленным на меня ружьем. В переводе он означал: «Что за дурака прислали в Нью-Йорк?».

В отчаянии я собрался с силами и, слегка склонившись вправо, попробовал улыбнуться госпоже Ульмер. Та принялась быстро говорить, думаю, она что-то спрашивала у меня. Я ответил ей на тут же придуманном языке, на котором изъясняются дети, подражая Станлио и Олио[2]. Я открывал рот, издавал бессмысленные слоги и улыбался.

Сначала госпожа Ульмер оторопела. Затем она взглянула на меня с едва сдерживаемым ужасом и сказала, думаю, что-то очень темпераментное. Не теряя присутствия духа, я продолжал речь на эсперанто слабоумных, продолжая улыбаться.

Посол, сидевший за столом для почетных гостей между госпожой Льюис и мэром Нью-Йорка, казалось, остался удовлетворен моей беседой и занялся другими делами.

8

Зима выдалась суровой, из тех, что входят в историю метеорологии: самая низкая температура, самый толстый снежный покров за последние тридцать лет. Скрывая свой порок, я проводил большую часть времени в одиночестве. Одиночество в Нью-Йорке угнетающе, оно тяжестью ложится на сердце.

Из моих коллег по итальянской делегации, я думаю, только один разгадал мою печальную тайну — это был Ландольфи. Так мне кажется. Впрочем, у него хватило такта не показывать этого. С утра по воскресеньям он поднимался ко мне в номер и, присев на край кровати, просматривал «Нью-Йорк таймс». Из новостей то-то и то-то, сообщал он. Потом предлагал программу на вторую половину дня.

— Хороший концерт в Карнеги-Холл,— говорил он.— Или, быть может, хочешь в кино?

Среди моих плебейских привычек осталась привычка спать голым. Пижама связывала меня и действовала на нервы. Так что случалось, что Ландольфи входил ко мне, когда я лежал еще в постели, чем ставил меня в неловкое положение, так как мне приходилось натягивать халат в его присутствии. Однажды, смущенно разглядывая ногти, он сказал:

— Если ты стесняешься меня, то считай, что меня здесь нет.

Ландольфи был из числа тех людей, что скрывают собственную застенчивость за

[1] Фешенебельный отель в Нью-Йорке.

[2] Герои популярных в Италии детских фильмов.

дымовой завесой слов. Он часто повторялся, рассказывая, как заученный стишок, одно и то же.

— Не понимаю,— хмыкал он,— зачем ты уехал из Рима. В Риме находишь радость в каждом пустяке, она прячется в траттории, в монастырском дворе. Рим так же грязен и животворен, как воздух, которым дышишь. Каждый день, проведенный вдали от Рима, кажется мне навсегда потерянным. Ты заметил, как скучно жить в такой цивилизованной стране, как Америка? Это американское общество, кичащееся своим богатством, это affluent society [1], знающее, чего оно хочет: видеть страну на подъеме. Благословенны страны, переживающие упадок. Счастливы страны, где ширится коррупция, где государственный флаг опускается все ниже, а число проституток все растет. Ты увидишь, что за серость этот Вашингтон, город, где бьется пульс мира. Итальянцы вызывают раздражение из-за сотен причин: они предатели в тысячах союзов, настоящие дезертиры с гитарой. Но в них есть и некое величие — они учат врагов: не всегда стоит добиваться победы.

— Почему же ты не живешь в Риме, если он тебе так нравится?

Ландольфи опустил глаза:

— Деньги, дорогой мой, все дело в вульгарном металле. В Риме министр назначит мне жалованье школьного учителя. Понятно? Дай-ка подумать. В Риме сейчас,— он посмотрел на часы,— четыре часа дня. Могу поспорить, что там светит солнце. Я бы прошелся по бульвару Юлия Цезаря, где служанки нетерпеливо ожидают, когда солдат отпустят в увольнительную. Пахнет опавшей листвой и армейским брильянтином. Волнующая смесь.

— Ты где жил?

— На Прати, конечно.

— А что в Прати особенного?

— Чего же тут непонятного? На Прати течет сытая, не совсем праведная жизнь, которая всегда соседствует с казармами. Мне нравится каптенармус, торгующий тайком припасами со склада. Я люблю музыку горна по ночам. Мне по вкусу и проститутка, дразнящая обнаженной грудью часового.

— Интересно, и это ты, ты, признающий только Вивальди и Дебюсси, сходишь с ума по примитивным трубачам.

— Не только по горнистам. Я симпатизирую всем солдатам. Мои лучшие друзья носили форму — калабрийцы, сицилийцы, апулийцы. Не забуду одного парнишку, блондина из Кальтаниссетты, он пошел в солдаты добровольцем в восемнадцать лет. Жил у меня дома несколько месяцев. Знаешь, кто меня с ним познакомил? Стефанони, режиссер. Он был похож на греческого бога.

— Говорят, этот Стефанони не совсем нормальный,— сказал я.

— «Нормальный», в каком смысле?

— Он немного, как бы сказать... педераст.

— Дорогой мой, все мы немного педерасты, дело лишь в нюансах.

— Ну...

— Никаких ну... Это плоды эмансипации. Я хотел сказать, ее осуществления. Вот послушай: у меня никогда не было дороже друга, чем Туллио, пехотного капрала. Так вот, он не был педерастом в полном смысле слова, у него даже была девушка, такая глупая и волосатая коротышка из Трастевере.

— А этот Туллио и денег не брал?

— О, сущую ерунду... Только на сигареты и аперитив. Довольствовался совсем малым. Я его предупредил: если будешь на мои деньги делать подарки этой стерве, я проломлю тебе голову.

Однажды утром рассыльный итальянской делегации принес мне заказное письмо с пометкой «личное». Письмо из министерства заморских территорий. От Делла Ровере. После почти двухмесячного молчания министр сообщал мне, что мои доклады не лишены интереса и, более того, некоторые из них пошли «наверх», к главе правительства. Но министр иностранных дел ждал от меня большего. «Не останавливайтесь на поверхностном анализе,— писал Делла Ровере,— вторгайтесь в глубь американского общества. Избегайте перечисления статистических данных и старайтесь обстоятельно комментировать факты».

Письмо сулило перемены. Действительно, три дня спустя пришла официальная бумага за подписью генерального секретаря министерства иностранных дел о моем пе-

[1] Общество процветания *(англ.)*.

реводе в Вашингтон. В Вашингтоне, говорилось в письме, меня уже ждали, посол был «счастлив» видеть меня. Пришло и адресованное мне «лично» письмо от министра иностранных дел Алипрандо Дзандзари. Он нуждался в конфиденциальных докладах, поскольку был приглашен посетить Соединенные Штаты с официальным визитом в середине мая. Я должен был сообщать ему о том, что происходит «за фасадом» конгресса, о распрях в государственном департаменте, о разногласиях в Пентагоне. Министр Дзандзари писал буквально следующее: он желает «знать тайны, секреты американской политики». Я ответил ему, что он может рассчитывать на меня и что его рекомендации были для меня просто бесценными. Потом я заплатил по счету в «Пьер» и первым же самолетом вылетел в Вашингтон.

Вашингтон — если позволите — настоящая шарада. Не сразу ее разгадаешь. Вы пребываете в неизвестности, переполненные всего лишь избитыми представлениями. Вам говорили, что это скучный, закостенелый, пуританский город, что женщины там предпочитают заниматься общественной, благотворительной и политической деятельностью и что для любви отводят только субботние вечера, когда все постели в столице скрипят в унисон?

На самом деле Вашингтон — это Мекка современного «боваризма». Флоберовская Эмма нашла бы здесь себе подруг. В затерянных среди зелени белых и розовых виллах вашингтонские женщины пускаются в международные авантюры. Под предлогом того, что их столица, мол, не может предложить им ничего интересного («Это же не Париж!»), жены дипломатов, чиновников и простых атташе затевают светские игры, которые наши неотесанные предки назвали бы прелюбодеянием. Любовь и дипломатия сталкиваются там, как ласточки в небе.

Некоторые изящно формулируют это — «полезными контактами вне службы». Они, мол, укрепляют связи между народами. Они превращают дипломатические круги в одну большую, сплоченную семью. Без них, утверждают, ООН, ОЭСР[1], ЗЕС[2] и НАТО давно бы испустили дух.

О, вашингтонские посольства, постоянно действующие выставочные павильоны коктейлей. Теперь коктейли проходят с азартом спортивных состязаний. Ловким дипломатам за один вечер удается побывать на пяти-шести приемах, которые постоянно устраивают то там, то сям без всякого на то повода. Как и искусство, они представляют собой вещь в себе. Часто чиновник не может объяснить, какой удивительный случай привел его в семь часов вечера в гостиную, где он оказался зажатым между благоухающим лавандой святым преосвященством и пьяной вдовушкой. Все жадно пьют и едят с той естественной склонностью к шарамыжничеству, которая так явно проявляется у людей с положением. Я видел, как виски мешают с шампанским, икру едят с сыром. К восьми часам уши приглашенных горят, как стоп-сигналы. В этот час все остальные посольские гостиные пустеют, лавочки закрываются.

Я почти уверен, что с Челестиной я познакомился на приеме в посольстве Испании. Этот пышный дворец на Шестнадцатой улице я почти не помню. Всякий раз, когда я пытаюсь восстановить в памяти его широкий фасад, я неизбежно представляю обширную, как у всякой уроженки Эмилии, грудь Челестины. В стране, где индустрия секса держится на каучуковой основе, ее телеса подействовали на меня как освежающий душ. Помню, как Челестина стояла у бутафорного камина. На ней было что-то зеленое, купленное в магазине готового платья, очки, в ушах — цыганские серьги, прямые черные волосы, на лбу челка. Прежде всего меня поразили очки — бледно-розовая оправа была инкрустирована фальшивыми бриллиантами.

Челестина родилась в Ферраре, ей двадцать шесть лет, она замужем, у нее дочь. Девочку звали Сандра, она живет с бабушкой и дедушкой в деревне. Челестина уже давно устала от Вашингтона, жаждет путешествий и приключений. Она так и сказала: «Жажду путешествий и приключений».

— Счастливые вы, дипломаты,— вздохнула она, смочив губы шампанским,— сегодня здесь, завтра там.

Все это она мне изложила в первые десять минут нашего знакомства. Она сказала еще, что ее отец был полковником, но в голосе ее было столько неуместной гордости, что я сразу понял, что это неправда. (Через несколько недель я случайно узнал, что отец Челестины служил фельдфебелем.) С мужем она познакомилась после войны, он был тогда офицером американской ракетной части в Виченце.

— Я была еще совсем девчонкой. Мне нравилась форма. И я вышла за него.

---

[1] Организация экономического сотрудничества и развития.

[2] Западноевропейский союз.

Официант с подносом, уставленным закусками, часто останавливался возле нас, должно быть мы ему понравились. Неожиданно к нам подошел полноватый вспотевший мужчина с двумя фотоаппаратами через плечо. Он что-то сказал по-английски. Челестина представила:

— Джованни, мой муж.

Джованни приветствовал меня с чрезмерной горячностью. Он подал толстую потную руку и хлопнул пару раз по плечу. Потом, продолжая болтать по-английски, он взял Челестину за руку, направляя к людям в центре зала. Он хотел увести ее, но Челестина сказала, что устала и у нее нет желания двигаться, она предпочла бы остаться поговорить «о своих итальянских друзьях». Поскольку мы не могли говорить об общих друзьях, так как у нас таковых не было, я заподозрил, что лгать для нее было так же легко и привычно, как дышать. Я всегда прихожу в восторг, когда вижу, как женщина фантазирует. Сама мысль сражаться с ней тем же оружием воодушевляет меня.

В пять минут девятого салон был почти пуст. Челестина взяла с каминной полки бокал и, откинув волосы назад и придав лицу мечтательное выражение, допила свое шампанское. Она слегка раскраснелась, в голосе появилась хрипотца. Странные очки делали ее демонической. Подошел муж, растрепанный и уставший. Под пиджаком была видна намокшая от пота рубашка. Он сказал:

— Пойдем, Нини.

— Куда? — спросила жена, припудривая нос.

— Едем в «Чезаре».

— Почему бы и вам не присоединиться! — воскликнула Челестина. Слова она произносила как-то по-детски, нараспев.— Вы заняты? А знаете, «Чезаре» — единственный в этом городе приличный ресторан.

В автомобиль Джованни кроме нас сели еще двое, я не был с ними знаком: корреспондент итальянского радио по имени Артуро, говоривший в нос и постоянно цитировавший Ариосто, и молодой военный атташе Родольфо Бьонди, на лбу которого была начертана свойственная всей нашей армии лицемеров полная покорность судьбе.

В ресторане Челестина устроила так, чтобы сесть рядом со мной. Я хотел было улизнуть, но вот уже несколько месяцев, как я не видел настоящего женского бюста. Челестина поинтересовалась, давно ли я из Италии (под столом я чувствовал жар ее колена), она хотела знать, женат ли я или живу один (ее рука часто касалась моей).

Ужинали мы почти до полуночи. Челестина сняла очки и, уставившись на меня выпуклыми близорукими глазами, сказала:

— Почему бы не заехать к нам? На рюмочку коньяка. На полчасика.

Я один принял приглашение. Артуро и Родольфо отправились спать, так по крайней мере они сказали.

Квартира Челестины была скромной, в далеко нереспектабельном квартале, «зараженном» неграми. Немного потертая современная мебель. Пахло кухней. Челестина протянула рюмку «Курвуазье».

— Выпивка нам обходится недорого,— признался Джованни.— Достает один приятель из посольства.

По тому, как на лице Джованни появилась некрасивая гримаса, я понял, что Челестина пнула его под столом ногой. Потом она скрылась в другой комнате.

Я остался наедине с Джованни. Я не знал, о чем говорить. Он рассеянно листал фотографический журнал.

— Извини,— сказал он вдруг, вставая (все итало-американцы сразу же переходят на «ты»),— но завтра рано вставать. Нужно проявить фотопленки, я отснял их сегодня вечером.

Я посмотрел на его ногти, почерневшие от гидрохинона, и мне стало жаль его, не знаю, право, почему.

Челестина и Джованни встретились в коридоре. Я видел их тени на стене сквозь оставшуюся открытой дверь. Услышал звук быстрого поцелуя. Потом Челестина вернулась в гостиную. Она надела тонкий, облегающий свитер, так что ее грудь явилась настоящим вызовом моему затянувшемуся вынужденному целомудрию.

Челестина зажгла сигарету, вставленную в черный мундштук. Без очков она казалась раздетой, беззащитной. Намеками и недомолвками стала рассказывать о своей жизни. У нее оказалось много знакомых среди дипломатов, общалась она не только с американцами. Но и с русскими: «Такие странные люди!»

Часто Челестина перескакивала с одного на другое. Она показала мне фотографии, снятые во время свадебного путешествия: Капри, Искья, Эльба.

— Ностальгия? — спросил я.

— Да, по островам.

В ее глазах не было иронии, скорее одержимость.

Мне показалось, что она разыгрывает меня, чтобы я забыл о ее скромном доме, потертой мебели, запахах кухни. Ну зачем же так стараться?

9

Прожив несколько дней в гостинице, я снял квартиру в «Вагнере», самом элегантном в то время жилом доме.

Чернокожие слуги прозвали его «пристройкой конгресса» из-за того, что депутаты и сенаторы занимались там сверхурочной работой со своими секретаршами. Это было современное здание — эдакое железобетонное светило в центре парка. У него был, так сказать, парадный вход, со швейцарами в красно-золотых ливреях, украшенный цветочными клумбами и фонтанами, и другие, более скромные, с выходом в парк. Ими, как правило, пользовались постояльцы с собаками и любовники.

«Вагнер» обладал и другими достоинствами. Его управляющий развил интенсивную культурную и светскую деятельность. Зимой и летом, безо всякого отдыха, организовывал он конгрессы геофизиков и фтизиатров и слеты песенников. В субботние вечера выступали блестящие лекторы, которые с одинаковым равнодушием разглагольствовали и о диете современной женщины, и об американской трагедии Ф. Скотта Фицджеральда.

Мало-помалу я привыкал, покупая мебель в рассрочку в магазинах «Пирлесс». Мне уже доставили прекрасный шезлонг цвета барвинка, на который я наглядеться не мог, раскладную софу приятной серой обивки, две настольные лампы с подставками под мрамор, создатель которых нашел вдохновение в авангардизме, четыре черно-белых столика ромбической формы, проигрыватель и телевизор.

Я научился вызывать по телефону «room service». Теперь я знал, как заказывать «club sandwich» или что-то другое. В высоком, как шкаф, холодильнике я всегда держал немного икры, гусиной печенки и шампанского. Действительно, нельзя погибнуть, пока у тебя в холодильнике икра и шампанское. Кто это сказал?

В тот вечер я возвратился из посольства. Клянусь, что дело было в пятницу, потому что я чувствовал себя как накануне уик-энда. Растянувшись на софе (шезлонг предназначался исключительно для гостей), я закурил английскую сигарету и окунулся в мемуары Казановы.

Зазвонил телефон. Сначала я не понял, кто меня спрашивает. Какая Челестина? Это была она, девушка в очках, жена фотографа. Я никак не ожидал, что она может мне позвонить из холла «Вагнера». Я даже не был уверен, что говорил ей, где живу.

— А, это вы,— пробормотал я.— Что вы делаете в «Вагнере»?

— Я здесь по делам... Вот решила сделать вам сюрприз.

— Джованни с вами?

— Нет, а что? — спросила она удивленно.

Она захотела подняться ко мне. Я пошел в ванную, размышляя о том, что эмигрируют только полоумные. Я быстро почистил зубы. Подушился лавандой. Посмотрел на часы — было половина шестого. «Теперь спокойно,— сказал я себе,— держаться как ни в чем не бывало».

По-детски улыбаясь, вошла Челестина, как будто явилась с визитом к своей престарелой тетке.

— О, как мило... Вы сами выбирали мебель? Какой вкус! Даже парк виден. Какой прекрасный вид! Не знаю, сколько вы платите за квартиру, но только поверьте, вид из окна стоит всех этих денег.

Мы с преувеличенным интересом стали рассматривать черные деревья и огоньки далеких домов.

— А что у вас там? — рассеянно произнес я.

Челестина посмотрела на большую коробку, которую, войдя, поставила у стены.

— Вечернее платье,— улыбнулась она,— я его только что взяла у портнихи.

— Оно вам идет? На вашем месте, прежде чем отнести его домой, я бы продемонстрировал его другу.

Естественно, я пошутил. Челестина не поняла. Решив показать мне, как я ее недооценивал, принимая за пугливую ханжу, она схватила коробку и скрылась в спальне.

Эта опереточная выходка удивила и позабавила меня. Похоже, Челестина принадлежала к категории непредсказуемых «импульсивных натур». Я поставил пластинку

Фрэнка Синатры. Песни старых лет. Он пел о странной девушке — «My funny Valentine»; мелодия была медленной и грустной, похожей на брак по расчету в день всеобщей забастовки. Я приготовил два мартини и закурил.

Челестина появилась из спальни в голубом вечернем платье.

— Единственный экземпляр,— улыбнулась она и, взмахивая руками, приблизилась ко мне. Затем взяла стакан с коктейлем и сделала большой глоток.

— Боже, так можно и лошадь свалить! — Теперь она стояла посредине гостиной, просторной и тихой, все здесь казалось фальшивым и неуместным: нервная улыбка Челестины, ее обнаженные руки, даже бретелька розовой комбинации, вылезавшая из-под платья.

— Слушайте же! — произнесла Челестина высокопарно.

Фрэнк Синатра тихо пел о фиалках, неожиданно расцветших зимним вечером прямо на снежном нью-йоркском тротуаре. Допивая второй мартини, Челестина спросила:

— Вы верите в чудеса?

Я не успел обнять и прижать ее к себе, Челестина сделала это сама. Я почувствовал прикосновение ее щеки к моему плечу, ее пальцы гладили мой затылок. Страсть глуха? Думаю, да: не заметил, как остановился проигрыватель. Чувствовал только, что ее губы нежны и опытны. Ее груди были большими и тугими, они не нуждались в бюстгальтере. Растянувшись на софе, Челестина сбросила туфли, они упали, издав еле слышный стук.

— Пусти,— сказала она голосом человека, которому не дают уснуть,— который час?...

— Четверть седьмого.

Было семь.

— Надо бежать, Франко,— произнесла она, не двигаясь.— Не могу же я сказать Джованни, что так поздно задержалась в клубе...

— Не уходи, еще пять минут.

— Знаю я эти пять минут...

Я взял ее руку и провел ею по своему телу. Вдруг я почувствовал себя школьником, когда я прятался с маленькой кудрявой портнихой Риной на темных окраинах. Челестина напомнила мне Рину и тем, что, доходя до определенной черты, она не уступала больше. Возможно, в тот вечер она и не думала доходить до греха, придерживаясь известной буржуазной философии адюльтера: измена, хотя бы в первый день, должна остаться еще в рамках определенной респектабельности.

В таких случаях упрашивать бессмысленно. Не помогли бы и пощечины. Сохраняя трезвость мысли, я заученно произнес:

— Ты не можешь так поступить, Челестина. Не можешь так жестоко играть чувствами мужчины. Ты слишком желанна, Челестина. Ты необычная женщина. Разве ты не видишь, до чего ты меня довела?

Мое притворство, достойное осуждения с точки зрения морали, больше подействовало не на ее сластолюбие, а на ее тщеславие. Как будто я сумел подобрать ключ к сейфу. Челестина вдруг пришла в неистовство, как куртизанка в немом кино. Ее дрожащие руки скользили по моему телу. В конце концов я сдался, рассудок больше не управлял мною.

Потом все успокоилось, даже приобрело невинность. Челестина прижалась ко мне, и я еще раз удивился ей, почувствовав ее слезы на своем лице. (Много лет спустя это воспоминание меня взволнует. Но шевелился назойливый вопрос: до какого же предела она играла?)

Челестина легонько потрясла меня, пытаясь разбудить.

— Телефон — ты подойдешь?

Зевая, я направился в соседнюю комнату.

— Говорит Джованни, Джованни Вентура...

— Джованни... какой Джованни? — спросил я, хотя уже прекрасно понял какой.

— Вентура, забыл? Ты был у меня дома на днях...

Я сказал, что возьму трубку другого аппарата, в гостиной. Мне необходимо было собраться.

— Твой муж,— прошептал я Челестине испуганно. И про себя подумал: почему же я вовремя не отпустил ее!

— Я в «Вагнере»,— продолжал Джованни.— Был уверен, что встречу здесь Челестину, но она уже ушла.

— Жаль,— сказал я,— очень жаль, а то мы могли бы поболтать все вместе. Что ж, до следующего раза.

— Послушай,— настаивал Джованни,— говорят, ты хорошо здесь устроился? Очень интересно посмотреть.

У меня свело желудок. Я посмотрел на Челестину. Она курила сигарету и невозмутимо рассматривала свое изображение в круглом зеркале.

— Джованни, дорогой, мне было бы очень приятно... Но сейчас я ухожу. Если ты подождешь внизу, в вестибюле, я буду там через две минуты.

И положил трубку. У меня пересохли губы.

— Что делает здесь твой муж? — спросил я Челестину, стараясь казаться спокойным.— Ты знала, что он заедет за тобой?

— Да нет же, не знала,— ответила Челестина, пожимая плечами.— Джованни почти каждый вечер приезжает в «Вагнер». Привозит фотографии клиентам.

Я все еще не понимал, что за работа у этого Джованни.

Он говорил, что работает фотографом в «Ивнинг стар», но в редакции его никто не знал. У него было маленькое «художественное» ателье в бедном квартале, он специализировался на фотографиях для документов. В конце дня, повесив на шею аппарат, он объезжал гостиницы и посольства в поисках интересных снимков, которые «Ивнинг стар» брала без обязательства напечатать.

— Спущусь вниз. А ты не двигайся с места, чтобы не было неприятностей. Будут стучать, не отвечай. Жди меня здесь.

Только в вестибюле я заметил, что забыл повязать галстук. Но было поздно возвращаться, и я поднял воротник пальто, хотя и было очень жарко. Я обежал все углы и лестницы. Джованни нигде не было. Я прождал минут десять, может быть больше. Он не появился.

«Не пошел ли он ко мне?» Теперь меня преследовала мысль, что в этот момент он стучит в мою дверь. А если Челестина откроет?

Я поднялся наверх. Челестина пребывала в одиночестве. Спокойно листала журнал, как будто происходящее ее не касалось.

— Ну и что?

— Его нет. Я его не нашел. Может быть, тебе лучше уйти.

— Хорошо. Чао.

Она поцеловала меня в щеку. На ней было уже не вечернее платье, а твидовое пальто. Она взяла коробку и направилась к двери.

— Постой,— сказал я, передумав.— Лучше выйду я. Если он идет сюда, я его встречу. Ты подожди еще минут десять. Если не вернусь, уходи через выход в парк.

И после этого говорят, что телепатии не существует! Едва я завернул за угол коридора, как столкнулся лицом к лицу с Джованни.

— Четверть часа ищу тебя по всей гостинице. Я опаздываю.

Ему пришлось, понурив голову, пойти за мной. Наконец мы вышли на улицу. Как сладок холодный воздух ночи! Я попросил швейцара подозвать такси.

— Тебе в какую сторону? — спросил Джованни.— У меня машина за углом.

Я ответил, что еду в центр. За лекарствами. Всю дорогу Джованни болтал не умолкая обо всех своих несчастьях: о жене, которая доставляет слишком много хлопот, умничает и думает только о нарядах, о газете, где его «не ценят».

— Видишь ли, потому что у меня нет имени, меня беспардонно эксплуатируют. Должен с утра до вечера за других мотаться по городу. Мне тридцать шесть, а я все еще на побегушках.

Должен сказать, что слушал я его с интересом, чувствовал расположение к нему — ведь я был спасен.

10

Когда у посла не предвиделось важных встреч, что было часто, тяжелое болотное спокойствие воцарялось в итальянском посольстве на Фуллер-стрит. С удовольствием говорили об автомобилях, о женщинах и о коммунизме. Чаще спорили, держит ли «олдсмобиль» дорогу лучше, чем «плимут». Всегда находился кто-нибудь, чей голос нарушал послеобеденную тишину и мягкую умиротворенность зимнего дня.

— Ну, как тебе та рыжая?

— Какая?

— Которую ты вчера подпоил во французском посольстве.

— А, ничего особенного. Холодна как рыба. Любовь интересует ее, если она напьется. Я ей так прямо и сказал: красотка, если хочешь пить, поедем ко мне, это обойдется мне дешевле, чем в ночном баре. Здесь ты стоишь слишком дорого!

— А она что?

— Не возражала.

Больше всего меня забавляли разговоры о политике. Нальди был неповторим, когда стоял у окна и, глядя на голые и мокрые деревья, выдавал несвежие парадоксы, пуская кольца дыма:

— Не могу объяснить, почему именно, но чувствую, что они никогда не придут к власти. Некоторые вещи ощущаешь инстинктивно. Коммунистам не хватает, как бы тебе это объяснить, la souplesse[1]. Они начисто лишены фантазии. И потом, они не умеют смеяться. Достаточно посмотреть на их фотографии в Пекине с книжечками Мао в руках. А кто не смеется, тот конченый человек.

В свои сорок пять лет Нальди рассуждал о Китае, о марксизме с большой самонадеянностью, с таким человеком было бы интересно где-нибудь в баре поговорить о нашествии марсиан. Честно говоря, его легковесность объяснима: половину жизни он провел, катаясь на лошади, вторую половину — в спорах о книгах, которых никогда не читал, и статьях, которых не понимал. Никогда он не видел ни завода, ни неаполитанского «дна», ни безработного из Полезине. Его самые удачные шутки посвящались кухне на английских пароходах (только в первом классе), одежде массового производства и современным квартирам. Единственное, что связывало его с трудящимся людом, скажем даже, его единственной точкой соприкосновения с рабочими массами были ягодицы его служанки из Кампаньи.

Кое-кто возражал ему, говоря о том, что Нальди не может судить ни о коммунизме, ни об Италии, потому что последние восемь лет безвыездно прожил в Америке. На это Нальди отвечал, что как раз в прошлом году провел три месяца в Италии — на Капри, в Кортине, Позитано и Портофино[2]. У него даже состоялась интереснейшая беседа с министром внутренних дел, когда тот приехал во Фьюджи на воды. Министр тогда ему сказал:

— Будьте спокойны, дорогой Нальди, и передайте своим американским друзьям: коммунисты теряют влияние.

Четыре или пять раз в году посла принимал государственный секретарь. Это было напряженнейшее время. За сутки до встречи в посольстве начинали раздувать пары. Растрепанные курьеры с расстегнутыми воротничками бегали, разнося приказы, как будто разразилась новая мировая война. Личному шоферу посла ни в коем случае не разрешалось выключать мотор автомобиля. В Рим отправляли шифрованную телеграмму: «На завтра назначена беседа с государственным секретарем». За два часа до условленного времени посылали новую, не менее секретную депешу: «Встречу подтверждаем». Затем посол отбывал с мрачным видом человека, идущего навстречу неумолимой судьбе.

На обратном пути, после пустого и ничего не значащего свидания с государственным секретарем, которое длилось минут десять, посол приказывал шоферу сделать большой круг вдоль Потомака, чтобы создать у сотрудников посольства впечатление длительной встречи.

Посланнику Бертолли, который обычно курировал связи с государственным департаментом, поручалось набросать текст первой информации для министерства иностранных дел. Посол вызывал его в кабинет. Над дверью зажигалась красная лампочка.

— Сколько времени вы беседовали? — спрашивал Бертолли.

— Около четверти часа.

— Что же скажем журналистам?

— Как и в прошлый раз — пятьдесят минут.

— Пошел ли он на уступки в вопросе о Вьетнаме? Как подадим это министерству?

— Мне, по правде говоря, не удалось вставить ни слова о наших посреднических усилиях. Как только я начинал говорить, ему приносили какую-нибудь записку. Дорогой Бертолли, разрывается сердце от такого признания, но поверьте, наша страна больше нигде ничего не значит.

— Все давно знают это, ваше превосходительство, но что мы сообщим прессе?

---

[1] Гибкость *(франц.)*.

[2] Фешенебельные курорты.

— Будьте уклончивы. Намекните, что имел место полезный, детальный обзор событий.

— Еще один обзор...

— Бертолли, что я могу поделать? Выдумывать? Когда я решил приблизиться к сути дела, он вдруг попросил меня запастись терпением и как-нибудь встретиться с ним в ближайшее время. А его уже ждали послы Бирмы и Саудовской Аравии.

Посланник Бертолли был мастер по спасению неудачных встреч. Никто не мог превзойти его по части произнесения пустых речей перед журналистами. Слова «ничего нового» он элегантно обволакивал скептическими репликами. Не случайно в посольстве его считали лучшим острословом, самой светлой итальянской головой за рубежом. Он говорил: «Задача дипломатов состоит в том, чтобы уметь о чем-нибудь рассуждать в перерыве между войнами».

Ниже среднего роста, лысый, в очках с толстыми, как донышко стакана, стеклами. Всего лишь за несколько минут его анекдоты обходили итальянскую колонию. Однажды на приеме в Белом доме он попробовал рассказать один из них президенту Кеннеди, тот, что имел большой успех на приеме у военного атташе Кастеллетти. Кеннеди, к сожалению, не засмеялся. Для Америки это обернулось настоящей катастрофой Престиж Соединенных Штатов сильно упал в глазах Бертолли. Он утверждал, что американцы переживают кризис и что они теряют «sense of humor»[1].

Корреспонденции итальянских журналистов о встрече государственного секретаря с послом вопреки реальности всегда отличались оптимизмом и обилием подробностей. В газетах появлялось по меньшей мере по две колонки, в которых встречу называли то «конструктивной», то «деловой», то «решающей». Корреспонденты выделяли «динамизм новой итальянской внешней политики». Не колеблясь, предсказывали в самом скором времени блестящие результаты. При этом всегда находился журналист с большим воображением, который живописал портрет гордого, негодующего посла, вступившего в схватку с присмиревшим и угодливым государственным секретарем. В интерпретации такого журналиста «Италия вновь обретала роль великой державы», в моду вошла журналистика, восхваляющая правительство.

По праву или нет, но итальянские дипломаты в Вашингтоне считались «цветом» Фарнезины. В костюмах от Карачени и галстуках от Франческини блистали они на официальных приемах. Их секретным оружием было целование женских ручек: вызывающе много выше, чем принято. Не приученные к этому американки трепетали от удовольствия и шептали: «Ах, эти латинские дипломаты!»

Умберто Нальди производил, пожалуй, наибольший эффект. Он вышагивал как если бы торс его был в гипсе. Он был красивый и легкомысленный. В двадцать лет он занял пост начальника отдела печати в африканском штабе маршала Грациани и женился на дочери известного изобретателя. Он искренне верил в пресловутые восемь миллионов штыков. Ему хватало малейшего повода, чтобы пуститься в мельчайших подробностях объяснять, могла ли Италия завоевать Египет, Сирию и Кавказ, если бы, разумеется, не предатели. Он был занят самой разнообразной деятельностью: утром совершал прогулки верхом, вечером писал рассказы.

— Почему ты их не печатаешь? — спросил как-то Бертолли, не скрывая иронии.

— Они слишком смелы, —ответил Нальди,— и наделают много шума. Лучше подождать до отставки.

Единственным, кто всячески избегал разговоров с Нальди, был граф Джулио Дельфини Кантони,— они претили его вкусу и тонкой натуре. Граф Дельфини жил с дочерью и пуделем в стоявшей особняком вилле. Если ему удавалось уклониться от приглашения на обед, граф оставался дома и читал Драйзера и Генри Джеймса. Нальди ненавидел его, даже готов был отравить. Он ненавидал его, потому что Дельфини, хотя и приехал сравнительно недавно, уже сумел нарушить покой самых красивых женщин Вашингтона и окрестностей.

— А вы,— спросил однажды Нальди у секретарши,— вы тоже находите Дельфини интересным мужчиной?

— О да,— девушка вздохнула.

В профиле Джулио Дельфини, так же как на многих портретах работы Эль Греко, проглядывало явное благородство. У него были черные грустные глаза, вьющиеся волосы, седые виски и удлиненные кисти рук, подтверждающие породу. О его появлении в гостиных можно было догадаться по тому, как женщины прекращали болтовню

[1] Чувство юмора *(англ.)*.

и вытягивали шеи. Однажды вечером за ужином одна красивая и неглупая дама отвела меня в сторону и спросила:

— Скажите мне как его друг, есть ли на свете что-то такое, что могло бы его заинтересовать?

На самом деле Дельфини не был бесчувственным, он вообще ничем не отличался от других людей. Он просто грустил. Он проходил в толпе женщин, мечтавших о нем, думая только о той, которая оставила его — о своей жене. Он, наверное, все еще обожал ее, достаточно было увидеть, как он любовался своей дочерью — вылитой матерью.

Сослуживцы рассказывали о нем странные истории. Я знал, что это неправда, но не останавливал их. Иногда испытываешь острое удовольствие, наблюдая за тем, как похожие на тебя (созданные по образу и подобию бога) глубоко зарываются в навоз.

— Какой там любимец женщин,— ухмылялся Нальди,— у него такие огромные рога, искры сыплются, когда он задевает ими за электрические провода.

Самые лояльные подозревали, что он просто импотент.

— Боже мой, вот где собака зарыта,— говорил один дипломат-моралист.— Ну, что за удовольствие разжигать иллюзии у стольких бедняжек, если в нужный момент оказывается, что у тебя козырей-то нет?

А Джулио Дельфини хотел, чтобы его оставили в покое. Пытался говорить умные вещи и при этом никого не задевать. Что, естественно, требовало усилий.

Лучшие вечера я провел у него, слушал пластинки, читал или беседовал. Дочь спала. На ковре, свернувшись и не спуская с него глаз, лежала собака. Тихо тикали часы и потрескивали поленья в камине. Время от времени Джулио вставал, звенел льдом в моем пустом стакане.

— Выпьешь еще?

— Пожалуй.

Он один знал мою историю.

— Женщины любят тебя как дипломата или как акробата?

— Женщины всегда плачут по тому, кто уже в прошлом.

— А ты смог бы теперь прыгнуть с шестом?

— Нет, и очень жалею. Когда взлетаешь в воздухе на высоту четырех метров, словно флажок на флагштоке, испытываешь почти физическое наслаждение. Многие женщины стоят даже меньше хорошего прыжка с шестом.

Я был в Америке уже больше трех месяцев. Немного говорил по-английски: в такси, в ресторанах, в магазине. Насмотревшись гангстерских фильмов, я уже понимал кое-что и на сленге. «Если выдержу еще,— думал я,— министерство наконец получит достоверный доклад». И все же каждый день был чудом. К моему удивлению, никто и не замечал, что я не в состоянии «информировать», уж не говорю правительство, но даже какую-нибудь контору или частное лицо. Только подумать, как я на протяжении многих месяцев выискивал материалы для докладов министерству. В киоске в центре города я покупал газеты, которые доставляли самолетом из Италии, и вырезал из них статьи об Америке. Статьи бывали хорошие и плохие, простые и непонятные. Я перемешивал их, как коктейль в шейкере, и подавал свеженькими начальству. Доклад писал сухой прозой, слегка разбавленной просторечием — в стиле Моравиа, чуть-чуть от Сарояна, Хемингуэя или Стейнбека. Одним словом, как в послевоенном кино: и нравоучительно, и немного в лоб.

Однажды утром в дверь постучал курьер.

— Посол немедленно хочет вас видеть,— сказал он.

Он был серьезен и тяжело дышал. Не знаю отчего, но у меня появилось ощущение беды.

Посол — нужно ли говорить об этом? — жил в постоянном страхе. Его доклады в министерство, если верить злым языкам из палаццо Киджи, представляли собой литературные упражнения в духе Алессандро Мандзони. «Если новости плохие,— приказывал он своим сотрудникам,— нет нужды включать их в доклад: они уже известны из газет». Он мечтал стать президентом республики, поэтому оттачивал свою природную склонность к компромиссам. Много лет назад он тоже считался «левым». «Юношеская невоздержанность»,— так потом объяснял он.

Когда я вошел в кабинет, посол сидел с ничего не выражающим и отчужденным лицом. Казалось, он позвал меня для того, чтобы я полюбовался его новым двубортным костюмом, коричневым, в едва заметную серую полоску. Повертев стеклянное

пресс-папье на своем письменном столе восемнадцатого века, он произнес с довольно кислой миной:

— Тот факт, что вы, дорогой Амброзиа, представляете мир политики, а не дипломатии, меня нисколько не смущает. На протяжении вот уже многих лет я твержу в министерстве: умных людей следует находить повсюду. И все же, если уж говорить по существу, я бы хотел выяснить: чем вы все-таки занимаетесь в посольстве?..

— Ваше превосходительство, мне и самому это хотелось знать,— пролепетал я как бы в шутку, ища его защиты.

— Хорошо, дальше выяснять не стану. Вы пользуетесь доверием министра, и этого достаточно. Но если что-нибудь случится — мне больно говорить об этом,— я вынужден сделать вид, что я тут ни при чем. Так сказать, свалюсь с облаков. Скажите правду, Амброзиа, вы служите в секретной службе? В СИФАР?

— Все мы служим, как можем, ваше превосходительство.

Он улыбнулся, но невесело. Я чувствовал, как в нем закипает раздражение. У него вызывал досаду чужак, пробравшийся в святая святых, в ряды профессиональных дипломатов, чужак, который к тому же не позволяет никому совать нос в свои дела.

11

Легкомысленные женщины завораживают, это неново. Так же, как «русская рулетка», пропасти и наркотики. Меня влечет к ним та же темная сила соблазна, какая притягивает старомодных девиц к «плохим мальчикам».

Я поклялся больше не видеться с Челестиной. У нее, точно, не все шарики были на месте. «Если она позвонит, я отброю ее»,— думал я. Но вот она звонила, и в моем воображении тут же возникала ее упругая, как каучук, грудь девушки из Эмилии, которую так редко встретишь в Америке, ее большие, чувственные губы, и я уступал.

С супругами Вентура я встречался на неделе в одном из итальянских ресторанчиков «даунтауна»[1]. Хозяин — Чезаре Сфорна, бывший тенор из Пескары, приехал в Америку с намерением завоевать «Метрополитен-опера», но в конце концов вынужден был довольствоваться «омарами а-ля Чезаре».

Джованни и Челестина частенько приводили кого-нибудь из своих американских друзей, мы обменивались общими фразами о погоде, битниках, фильмах. В общем, было чертовски скучно.

Не требовалось много времени, чтобы отнести Джованни к категории прилипчивых людей. Он страдал той самой манией, которую принято называть «болезнью служанки» и которая проявляется в стремлении вмешиваться в чужие дела. После двух часов, проведенных с ним, испытываешь настоятельную потребность в уединении и тишине. Если кто-то из его друзей жаловался на больное горло, Джованни кидался его лечить. Пользуясь своим физическим превосходством, он совал приятелю в рот ложку и мучил его, пока тот не начинал задыхаться. За один вечер он мог предложить своей жертве помочь купить земельный участок, пройти курс весеннего лечения китайским грибом, приобрести подписку на неизвестный журнал или отправиться на автомобиле в путешествие по Мексике.

К середине марта погода устоялась. Солнце растопило остатки снега в парке. И вот в это самое время у меня на плече вскочил огромный фурункул. Ночью он не давал мне уснуть — ныло все плечо. Я несколько дней не появлялся на работе и избегал Челестину. Слушал радио, писал письма друзьям в Рим и принимал антибиотики. Фурункул был признаком плохой крови, которую я испортил на новой службе. Я не был рожден для такой жизни. Достаточно было взглянуть в зеркало, чтобы убедиться: у меня вырос живот, как у какого-нибудь начальника отдела. Удел всех, кто раньше много времени занимался спортом: они должны продолжать заниматься им всю жизнь. Гибнут на глазах балерины, когда выходят замуж, боксеры, покинувшие ринг, и преподаватели гимнастики, когда меняют спортивный зал на дипломатическую службу.

В дверь постучали. Пришла Челестина. В солнечных очках, на голове шляпка в форме корзины, а на ногах ботинки мужского фасона. В одной руке букетик желтых цветов, а в другой — альбом пластинок.

— Чем обязан? — спросил я.

— Буду тебя лечить.

[1] Центральная часть города.

— Знаешь, брось свою манию врачевать всех... и вся. И мужу посоветуй. Почему не позвонила заранее? А если бы у меня была женщина?

— Угодил бы в газеты.

Она поставила цветы в вазу.

— На что жалуетесь, ваше превосходительство?

— Ни на что,— буркнул я,— небольшое воспаление. Пустяк.

— Покажи-ка.

Я не люблю, когда меня видят больным. Ненавижу, когда между мной и остальными навечно втискивается какая-нибудь нелепость, вроде гастрита или стафилококковой инфекции.

— Челестина,— запротестовал я,— час назад был врач. Чего еще?

— Я не верю. Покажи плечо.

Я разделся, тихонько ругаясь.

— Боже,— воскликнула Челестина, как будто по лицу ее пробежала мышь.— Какой огромный! Врач ничего не прописал? Чем только он думал!

Я пытался защищаться. Но не было еще такой плотины, которая могла бы сдержать натиск пылких материнских чувств Челестины. Она непременно хотела лечить меня соляными примочками.

И вот уже из кастрюли, которую Челестина поставила кипятить на электроплиту, поднялся столб пара Она погрузила тампон в горячую воду, отжала его и, целуя меня, приложила к моему плечу.

Я заскрежетал зубами. Жгло, как адова сковорода. Но Челестина продолжала целовать меня с той напористостью, с какой всовывают ложку касторки в рот ребенку. Ее поцелуи были с привкусом больницы и дезинфекции. В пару, резком запахе бинтов, спирта и соли Челестина наконец почувствовала себя человеком, исполнявшим важную миссию.

— Ты мне не говорила, почему вышла замуж за Джованни,— заметил я несколько минут спустя.

— Есть еще сотня интересных тем для беседы.

— Боишься?

— Нет, просто ни к чему.

— Тебе — да, а я хочу тебя понять.

— Что понять? Какой зеленой я была в шестнадцать лет? Ну да ладно,— продолжала она,— я влюбилась в него, что называется, с первого взгляда. Он мне так нравился в летной форме! Помню, было это в субботу вечером у подруги, много народу, танцевали. Подошел, заговорил. Боже мой — у него был голос Амедео Надзари. Сказал, что у него дом в Техасе. Я была так взволнована!

Она поднялась, взяла пластинку из альбома, который принесла с собой. Пританцовывая и напевая, она поставила пластинку.

— Это «Порги и Бесс». Дарю тебе.

— Лучше продолжай.

— Ну и упрям же ты... Хочешь знать все? Мне нравился он сам, его форма, его белый «тандерберд», нравилось, как от него пахло. Кто поверит, что может нравиться запах лосьона? Но меня он просто возбуждал. И мне грезилась новая Америка, без предрассудков, без нищеты. Ах, какое это было хорошее время! Я говорю серьезно: в шестнадцать лет я верила во всякие россказни. Если бы мне сказали: выбирай между Америкой и раем, я бы выбрала Америку.

— Что ты делала тогда?

— Работала в маленькой экспедиционной конторе, получала гроши. Я интересовалась в то время только гулянками... Машины, танцы, любовь. Джованни был приятным парнем, от него пахло мылом «люкс», и он был романтиком. Мне нравилось загорать на берегу озера и говорить с ним об Америке. Однажды он сказал: «Челестина, не открывай глаза, ответь: ты выйдешь за меня?»

— И ты, не открывая глаз, сказала ему «да».

— Если бы я даже открыла их, то ничего бы не изменилось. Тогда я боялась состариться, так ничего и не сделав, не познав жизни. А мне хотелось путешествовать, летать на самолете, иметь норковую шубку, танцевать на Копакабане. Мне очень надоело ездить на велосипеде с латаными шинами. Что, не веришь? Мне надоели ссоры отца-фашиста и дяди-антифашиста. Америка была моей страной. Уже в начальной школе я великолепно разбиралась в географии — все каникулы разглядывала в атласе

де Агостини берега Флориды. Сочиняла стихи о цветах Южной Каролины, о лошадях Техаса, о реках штата Колорадо. Тебе не нравится Колорадо? Мне нравится. Если бы у меня был сын, я бы назвала его Колорадо.

— Ну, хорошо: значит, ты вышла замуж за Америку.

Челестина выключила плиту, и вода в кастрюле уже остыла. Умолкли голоса Порги и Бесс. Несколько минут я прислушивался к дыханию механических легких кондиционера. Он издавал плавный звук, похожий на шум текущей воды.

— Не понимала, почему он скрывал от меня свою профессию. «Америка — большая страна,— сказал он,— с голода не умрем». Он говорил, что его отец — богатый человек, что у него есть свое собственное дело. И только когда мы приехали в Хьюстон, штат Техас (а мы уже были женаты), Джованни сказал мне, что некоторое время ему придется бальзамировать вместо отца.

— Кого бальзамировать?

— Христиан. Его отец уехал в деревню и оставил сыновьям похоронное бюро. На первом этаже располагались ритуальные залы, а наверху жили мы.

Челестина достала из сумочки зеркальце и поправила свою прическу «под мальчика», модную в двадцатых годах, затем немного хрипловатым голосом заговорила снова:

— Джованни подробно рассказывал, как это делают. Может, он надеялся, что и я «войду во вкус». Сначала, говорил он, необходимо выпустить из трупа кровь, чтобы избежать разложения...

— Челестина, нам скоро ужинать.

— ...потому что американцев так пугает бледность умерших, покойников гримируют. Румянами, пудрой и тушью. Частенько по желанию родственников покойного мы вставляли сигару или трубку. Тогда он был совсем как живой.

— Сколько же это продолжалось?

— Три года. Но там было не так мрачно,— засмеялась она.— В доме не носили черных вуалей, не пели молитв, не пахло ладаном. Ритуальные залы были розовые, лиловые и зеленые. Во время церемонии родственникам и друзьям покойного предлагали сандвичи и напитки. Мы называли это «последним коктейлем».

В голосе Челестины послышались истерические нотки.

— А в день похорон,— продолжала она, смеясь,— никаких лошадей с черными султанами. Это слишком медленно. Покойник должен исчезать мгновенно. Он мчится на кладбище со скоростью семьдесят километров в час, с помадой на губах, в машине серо-голубого цвета.

— Почему вы переехали в Вашингтон?

— Не могла там жить, совсем потеряла сон. Знаешь, что мне иногда приходило в голову? По ночам я слышала, как Джованни вставал. Какой ужас! Как сейчас вижу его в полосатой желто-красной пижаме. И я представляла, как он спускается вниз и делает уколы мертвецам. Каждому два: один — в сердце, другой — в поясницу. Потом снова ложился в постель, и я чувствовала его ледяные коленки, холодные руки. Мне хотелось убежать. Как только он прикасался ко мне, я дрожала, и он понимал, что я не сплю. Тогда его охватывало желание близости. Скажи, можно ли быть более развращенным? Только что переворачивал трупы, боже мой! Нет, нет! А он насильно целовал меня. Однажды я закричала: «Пошел вон, ты мне противен...» Он расплакался! «Ты изменилась, говорит, больше не любишь меня». Наглость какая!

Она закурила «Пэл Мэл».

— И вот,— сказала она, пуская дым,— я ушла. Поехала в Вашингтон работать. Джованни подозревал, что у меня любовник. Потом он оставил во главе «дела» брата и приехал ко мне. По объявлениям он несколько раз находил работу. Но он ничего не умел делать, и его увольняли. К счастью, один его приятель открыл фотостудию и взял Джованни...

Я позвонил в бар.

— Закажу себе чая, а ты?

— Я тоже,— пробормотала она, глядя куда-то в пустоту, как будто бы предчувствовала, что ей подадут цикуту.

Воцарилось тягостное молчание, мы не знали: что же дальше? Между нами были бальзамированные трупы в ритуальных залах... Я закрыл глаза, и шум кондиционера напомнил мне море. Оно было печальным и скорбным: волны выносили на берег трупы утопленников...

Вошел официант. У него было неприятное лицо человека себе на уме: с тонкими усиками и косыми глазами. Он окинул нас тем взглядом, каким умеют смотреть только наши соотечественники: «Притворяйтесь, притворяйтесь, но мне-то все известно».

Официант ушел, и я сказал:

— Если бы у твоего мужа была другая профессия, любила бы ты его сейчас?

— Не знаю. Любовь приходит и уходит без предупреждения.

Она вздохнула, погладила лодыжку и закашлялась.

— Что тебе сказать еще? Мы не созданы друг для друга. Джованни не выдерживает длинных дистанций, он не стайер. И потом, я не знаю, как с ним говорить. У него нет воображения! Сколько раз я просила: поедем за границу, в Индию, в Африку, там ты сможешь прекрасно фотографировать, это заинтересует газеты. Но он боится рисковать, говорит, что я толкаю его в долговую яму.

Она подошла ко мне вплотную, я почувствовал ее упругую грудь. Целуя меня, она обвила руки вокруг моих бедер. Мне стало страшно — вдруг она сделает мне больно?

— Ты не побоялся бы поехать в Африку? — прошептала она.

— Нет. Но почему именно в Африку?

— К слову пришлось. Чтобы испытать тебя.

У меня снова заболело плечо.

— Любимый, единственный мой,— шептала она.— Когда я ухожу от тебя, мне кажется, что я переношусь в... в... не знаю куда...

Не знал этого и я.

— В пустыню,— сказала она.— Представь, я снова стала изучать атлас. Смешно? Но теперь я уже не ищу Южную Каролину, берега Адриатики — Фано, Каттолика... Пляжи, где бегала девочкой. Тогда у меня не было головы на плечах, как, может быть, и счастья. Моя Америка оказалась химерой, а мой Техас — землей мертвецов. Как-то я купила диск с неаполитанскими песнями... Прокрутила его тысячу раз.

«Чокнутая, но не злая»,— подумал я.

— Пей чай, а то остынет,— сказал я вслух.

Она положила два кусочка сахара в чашку, все так же уставившись в одну точку.

Когда постучали, я подумал, что это официант. Конечно, он пришел за подносом. Я взял поднос, чтобы отпустить официанта побыстрее, и пошел к двери. Но это был Джованни. Он стоял, опираясь на косяк, возбужденный, пальто нараспашку. Он, разумеется, не лечить меня пришел.

— Могу я посмотреть на твою квартиру? — Он презрительно улыбнулся.

— Погоди чуть-чуть,— я сильно смутился,— я думал, что это официант.

И захлопнул дверь перед его носом.

Надо быть слабоумным, чтобы не понять, что я не один. В комнате темно и дымно. Джованни заметил две чайные чашки на подносе.

Челестина узнала голос мужа. Она поднялась с софы, на удивление спокойным жестом поправила волосы и пошла в спальню.

— Пойди, пройдись с ним.

— Но он хочет войти... Я уверен, что он догадывается!

— А ты скажи, что у тебя гости,— холодно и раздраженно возразила Челестина.— Спроси, что ему нужно.

Делать было нечего. Я надел свитер, зажег лампочку в передней и осторожно открыл дверь.

Джованни поступил неожиданно. Он стремительно ворвался в квартиру и, не дав мне опомниться, вышвырнул меня в коридор и запер изнутри дверь. Все произошло в считанные секунды. Я ничего не понял, только услышал, как Джованни истошно закричал:

— Челестина, выходи! Челестина! Не то я убью тебя!

Я был выброшен из своего жилища в домашних туфлях и без ключей. Страх пригвоздил меня к ковру в пустом коридоре. В квартире кричала Челестина. Она кричала так, будто ее резали. Затем послышался звон разбитого стекла и удары в стену. И вдруг наступила тишина.

Я подумал: надо вмешаться. По крайней мере, хоть бы постучать. И стал стучать в дверь. Ничего другого я не мог. Челестина кричать перестала.

Странно: тишина внушала больший ужас, чем крик. «Может, Джованни воору-

жен,— подумал я.— Он убьет меня». Я побежал по коридору. Вошел в лифт. Внизу подумал, не лучше ли было предупредить кого-либо из служащих гостиницы. Но сама мысль о скандале охладила мой пыл. На 16-й улице я поймал такси.

Только когда шофер спросил, куда ехать, я понял, что не знаю сам. Конечно, это было бесчестное, бесславное бегство. Сначала я позволил выбросить себя из собственного дома, а потом разрешил, чтобы мою любовницу избил ее муж.

— Wait a moment, please![1] — попросил я ворчавшего шофера. Я сделал вид, что ищу записную книжку. Вихрь авантюры, о котором рассказывают друг другу коммивояжеры в поезде Падуя — Фельтре, захватил меня.

Наконец, я назвал адрес Дельфини, на Росс Плэйс. Только он мог помочь мне. Беда не приходит одна: водитель не знал, куда ехать. У каждого светофора он останавливался. Короче, нам понадобился битый час, чтобы добраться до места.

Увидев меня в толстом свитере и домашних туфлях, Дельфини с трудом сдержал смех:

— Разве ты не в постели? А температура?

Мы прошли в кабинет, боясь, что прислуга подслушает.

— Надо немедленно ехать в отель. Я не пессимист, но представь, что он ее прикончил. Что ты скажешь полиции? Что ты сбежал, никому не сказав ни слова?

— Погоди, дай сначала узнаю, там ли она?

Я набрал номер своего телефона. Челестина взяла трубку.

— Джованни с тобой?

— Нет, не бойся. Он ушел. Он избил меня... У меня распухло лицо. Разбил зеркало в спальне. Извини.

— Да бог с ним, с зеркалом,— я был великодушен.— Скажи лучше, как ты себя чувствуешь?

— Приезжай... не бойся...

Дельфини, слушавший разговор по параллельному телефону, отрицательно замотал головой.

— Пусть лучше она спустится,— прошептал он.— А ты жди внизу. Джованни загонит тебя в ловушку и арестует.

— Может, спустишься? — попросил я.— Встретимся у входа в парк.

Было страшно. Я чувствовал себя персонажем из детектива. Дельфини отпустил таксиста. И мы уселись в его машину.

— Сын мой, не забывай, мы не в Италии. Здесь не любят шутить, когда наставляют рога. Здесь закрывают глаза, если ты ограбил банк, но коль ты обесчестил семью, тебе крышка. Уж не говоря о том, что история эта дурно пахнет. Я чего-то не понимаю. Тебе не приходило в голову, что они сговорились?

— Сговорились? — прошептал я.— Почему?

— А ты подумай: он точно решил шантажировать тебя. Он не первый: почитай газеты. Они знают, что ты дипломат, они загонят тебя в угол: плати, или мы заявим в полицию.

— Этого еще не хватало!

Мы проезжали мимо «Вагнера». У ярко освещенного входа стояли парочки в вечерних туалетах. Женщины в платьях, широких и немнущихся, напоминали манекенов в тире луна-парка.

Я был в шоке. Мерещилось лицо Джованни: в автомобиле, на улице. Наконец мы подъехали к парку. Челестина стояла в тени у края лужайки. Она была в пальто с поднятым воротником.

— Чао! — сказал я Дельфини.

— Смотри не угоди в больницу.

— Постараюсь. Спокойной ночи.

У Челестины распух лоб. Я никогда не видел такого, даже на матчах по боксу. Я повернул ее к фонарю. Но она положила голову на мое плечо и сказала:

— Видел, что сделал со мной этот могильщик?

Я подумал, что если Джованни так сильно ее отдубасил, то сговориться они не могли. Это меня обнадеживало.

— Как он догадался, что ты у меня?

— Сказал, что заподозрил еще тогда, когда ты его не впустил. И еще сказал, что ошибка итальянцев в том, что они принимают американцев за дураков.

---

[1] Подождите минуту, пожалуйста! *(англ.).*

— Он очень злился?

— Нет. Я сказала ему, что если он хочет развода, то может его получить.

— Ну, а он? Что он?

— Он не хочет. Из-за дочери.

— Э-э... это мило с его стороны...

— Какое там мило, он просто лицемер. Правда лишь то, что он любит меня. Он не может меня бросить. Женщины хорошо чувствуют это.

— Больно? Ты бы выпила аспирин.

— Лучше я пойду домой.

— Подожди, я провожу. Только поднимусь за деньгами и заодно переобуюсь.

Челестина посмотрела на мои домашние туфли и улыбнулась, но тут же поднесла руки ко рту.

— Не могу,— произнесла она,— больно, губы разбиты.

Я поднялся к себе, зашел в спальню. Осколки зеркала от платяного шкафа валялись на полу. Уж лучше зеркало, чем моя голова. Через минуту я вышел.

— Никогда не думал, что Джованни палач. Он раньше тебя бил?

— Никогда.

Я остановил такси.

— Он что, выяснял, была ли ты со мной?

Челестина назвала шоферу адрес.

— Да, он спрашивал.

— И что ты ответила?

— Что между нами только дружба... Ах, Франко, знал бы ты, как мне хотелось сказать: «Я ухожу. Буду разводиться». И осталась бы с тобой на всю жизнь...

— В таких делах лучше вести себя осторожно. Развод — дело серьезное, гораздо серьезнее, чем женитьба,— сказал я.

Челестина задумалась, словно меня не понимала.

— Приехали.

Я поцеловал ей руку с бесшабашностью Дон Жуана, бросающего вызов опасности ради женской улыбки. И тут же я увидел белый «шевроле» Джованни. Сердце готово было выскочить из груди. Я подумал, что Джованни поджидает нас на повороте, спрятавшись в машине. Но машина, слава богу, была пуста.

12

«Наконец-то увидишь своего пса»,— писала мне Элизабет, моя английская подружка, в длинном письме из Лондона. Благодаря муравьиному терпению ей удалось уладить абсюлютно все: американское посольство включило ее в эмиграционную «квоту», мать купила билет первого класса на теплоход «Микеланджело». Через три недели она могла быть в Нью-Йорке.

«Все как в кино,— писала Элизабет.— Я с трудом верю, что двадцать второго апреля одновременно увижу тебя и небоскребы. Это так волнует, что на ночь мне приходится принимать снотворное. Отвечай, прошу тебя. Обещай, что я не застану тебя с другой».

Письмо пробудило во мне забытые добрые чувства, я вспомнил простые советы священника, потускневшие наставления тетушки Йоланды, которая утверждала, что в женщине прежде всего нужно ценить любовь к дому: иголка, плита и метла — ее украшение. «Кто женится на Венере, тот рано или поздно раскается»,— любила она повторять.

Не надо быть пророком, чтобы представить жизнь, которую уготовила бы мне Элизабет: порядок в доме, стерильная чистота, а по субботам и воскресеньям — пикники на природе. Мы ели бы только витамины и пили пивные дрожжи. По утрам вдыхали бы полной грудью свежий воздух. Как в доме моей кузины Ванды, мы ходили бы в войлочных туфлях, чтобы не портить паркет. Ночью, если бы я вдруг проснулся, я увидел бы, как Элизабет, подобно ангелу-хранителю, следит за мной из темноты. По утрам она терла бы мне под душем спину, чистила апельсины, заставляла бы употреблять лосьон собственного изготовления. Дождливыми вечерами она выводила бы прогуливать собачку. Никаких нездоровых эмоций. Никаких таинственных звонков. А друзья — увы! — как садисты, хотели толкнуть меня в бездну. «Тебе почти тридцать,— упрекали они.— Пора образумиться». Впрочем, рассуждал я, мужчины, по

крайней мере дважды в своей жизни, выбрасывают белый флаг: когда женятся и когда зовут священника. Боже, может, пришло время выбросить первый флаг?

Конечно, я нюхом чувствовал опасность. Чтобы избавиться от Челестины, я мог бы затащить к себе свою английскую подружку. Но одному господу богу известны усилия, которые надо будет приложить потом, отваживая женщину, которая уже много раз готовила тебе кофе с молоком, гладила рубашки и пришивала пуговицы.

Прошло несколько дней с тех пор, как Челестину избил муж. Не имея никаких вестей ни от нее, ни от ее мужа, я почувствовал было себя вне опасности. «Джованни,— думал я,— выбил наконец у нее дурь из башки».

Однажды после полудня курьер Арденци заговорщически сообщил, что внизу меня ждет гонщик.

— Гонщик?

— Да, автогонщик. Он в шлеме и на гоночной машине.

Я спустился вниз, но там никого не было.

— Должно быть, уже уехал,— ухмыльнулся Арденци.

Перед посольством стояла красная машина. За рулем сидел гонщик, о нем говорил Арденци. Он был в голубом комбинезоне, на голове — стальной шлем. Огромные очки закрывали половину лица.

Только по голосу я узнал Челестину.

— Франко,— сказала она,— мне совершенно необходимо поговорить с тобой. Только не ломайся, а то хуже будет.

Ошеломленный детективным бредом Челестины, я посмотрел в сторону посольства — не следит ли кто за мной. За стеклянной дверью было видно, по крайней мере, пять или шесть голов. Лучше, подумал я, сделать вид, что ничего необычного не происходит: улыбаться Челестине, как если бы я не видал ее много лет. Я сел в машину.

— Что ты еще придумала? — зашипел я, продолжая улыбаться посольской публике.— Хочешь, чтобы меня уволили?

— Надо срочно поговорить с тобой. Нельзя терять ни минуты,— тоже прошипела она, не поворачивая головы.

Она рванула машину с места, и та, как пробка от шампанского, вылетела на 16-ю улицу, напугала какую-то негритянку, встречное такси заскрежетало тормозами. Мы выехали на Миссисипи Роуд, а затем на южную автостраду. Мотор ревел невыносимо, на поворотах мы проехали по самой кромке кюветов, едва не задевая за корни огромных столетних дубов.

— Куда мы? — проорал я, захлебываясь от ветра.

— Что ты говоришь? — прокричала в ответ Челестина.

— Куда ты меня везешь?

Она не ответила. Наконец она сбросила скорость, съехала на узкую дорожку, шедшую по опушке леса, и спрятала машину под плотный свод ветвей и листьев. День выдался теплым, но я окоченел во время гонки в открытом автомобиле.

— С каких это пор у тебя гоночный автомобиль? — Я содрогнулся от пережитых ощущений.

— Он не мой, я его опробываю. Хотела выяснить, купит ли мне его Джованни.

— Челестина, оставь меня в покое. Купит его тебе Джованни или нет, меня не касается.

— А я тебя считала не таким, как все,— она сняла шлем. — Но мужчины все одинаковы. Они любезничают, когда это им выгодно.

— Послушай, за каким дьяволом ты явилась ко мне?

— Франко, не такая уж я дура. Если заехала за тобой, значит, есть причина...

— Как раз это-то я и хочу знать.

— Успокойся, дай мне сказать. За тобой следят... Не прерывай меня. Может, сегодня вечером ты сам заметишь, что за тобой следят. Я хотела тебя предупредить. Но ты не бойся. А если тебя спросят, что между нами было или что произошло тогда, скажи правду. Не бойся признаться в том, что было.

Я посмотрел на нее. Волосы в беспорядке, очки задраны на лоб. Мне пришла в голову мысль: а не привязать ли ее к дереву и самому возвратиться на ее машине? Но я сказал:

— Объясни, почему за мной должны следить?

— Помнишь,— как-то двусмысленно улыбнулась она,— тот вечер, когда я тебе рассказывала о русских? Помнишь розы, которые они присылали мне?..

— Челестина,— я терял терпение,— у меня есть с собой номер телефона психиатрической клиники. Пожалуйста, подбрось меня до ближайшей телефонной будки.

— Ты не веришь!

— Мне наплевать, правда это или нет. Хватит с меня твоих русских, розочек и гоночных автомобилей!

Я вышел из машины.

— Франко, погоди. Мне хотелось оградить тебя от неприятностей.

Я оглядел пустой лес и подумал, что не смогу возвратиться пешком.

— Неприятностей? — переспросил я.— От каких таких неприятностей?

— Только не кипятись. Лучше послушай. Для меня важно, чтобы ты сказал правду...

— О чем?

— О нас.

— Кому я должен что-то сказать?

— Я не говорила, что должен. Если только тебя остановят. Если тебя спросят.

— Челестина, ты уверена, что чувствуешь себя хорошо? Кто должен меня остановить?

— Люди из секретной службы. Может, они хотят проверить, верно ли то, о чем я им говорила.

— А ты что, из секретной службы?

Она потупила взор и, слегка смутившись, ответила «да».

Тут я хочу заметить, что от американцев можно всякого ожидать. Но история с Челестиной — это уж слишком. Я даже подумал, что Джованни выбил у нее последние мозги.

— Челестина, надень шлем и отвези меня в посольство.

— Ты презираешь меня,— запротестовала Челестина. — Да, да... я знаю, презираешь. Презираешь, потому что я — шпионка. Но не торопись меня осуждать.

Я растерянно вздохнул.

— Помню,— продолжала Челестина с невинной улыбкой,— Джованни и я, мы были в русском посольстве. Один русский, важный такой тип, ухаживал за мной весь вечер... Приятный мужчина, ничего не скажешь...

Она поправила зеркальце заднего обзора и стала себя разглядывать.

— Люди из ФБР узнали, что русский ходит к нам. И тогда они поставили условие: или вы даете нам информацию, или я — Челестина — возвращаюсь в Италию. Вот как было дело, Франко. Видишь, мне не оставили выбора.

— У вас у всех в ФБР гоночные машины?

— Я же сказала, что взяла ее опробовать...

Я не исключал, что Челестина придумала всю эту историю со шпионажем, читая комиксы в «Дейли ньюс».

— Вам платят?

Она утвердительно кивнула.

— Много?

Она замялась:

— В общем, достаточно.

Рассказ ее был настолько невероятен, что на мгновение я даже перестал раздражаться.

— А с этим русским,— спросил я, делая вид, что все еще сержусь,— ты встречаешься?

— Да,— вздохнула она.

— И бываешь у него дома... в общем, как ближайший друг,— сказал я с сарказмом.

— Ты не хочешь понять! Ты такой же ревнивец, как и Джованни. Ты не отличаешь личную жизнь от служебных обязанностей.

— Думаешь, мне приятно узнать о том, что ты — шпионка?

— Каждый делает что умеет. Мир разделен надвое: ты здесь или по другую сторону.

— Ты принимаешь подарки от мужчины, позволяешь ухаживать за собой только

потому, что тебе говорят, что так надо. Ты вводишь его в заблуждение: он уверен, что ты влюблена в него, а на самом деле это совсем не так.

Мне было трудно притворяться, будто я возмущен. Челестина в это время «терзала» свои огромные гоночные очки.

— Ты никогда не думала,— продолжал я,— что другие женщины, занимающиеся тем же, отнюдь не считаются добродетельными?

На мгновение она замерла. Затем нацепила очки, надела перчатки и шлем. Сумасшедшими рывками она развернула машину, и вскоре мы выбрались на автостраду.

Он высадила меня на углу у посольства.

— Не думай обо мне слишком плохо, прошу тебя,— пробормотала она.

Я смотрел вслед удаляющейся машине. В лучах заходящего солнца стальной шлем Челестины был похож на спелое яблоко.

13

Согласно светским хроникерам Вашингтона, прием можно считать удавшимся, если стоимость драгоценностей, навешанных на дамах, превышает полмиллиона долларов. С этой точки зрения коктейль во французском посольстве стал историческим, явился несравненной выставкой благородных металлов и драгоценных камней. Бриллианты и жемчуга, рубины и алмазы переливались на обнаженных плечах миллионерш.

С дипломатической точки зрения прием прошел в лучших традициях девятнадцатого века. Все: французы, англичане и итальянцы,— захлебываясь, врали друг другу, делая вид, будто трудятся только ради мира, разрядки, разоружения и мирного сотрудничества. Американцы в этой глупой комедии исполняли свои роли хуже всех. Но только лишь из-за отсутствия хороших актеров.

Вдруг кто-то тронул меня за плечо:

— Выпьем и мы за всеобщий мир.

Это был Джованни. Он высоко держал бокал шампанского, был красный и потный. Скорее всего, уже под хмельком.

На животе болтались две кинокамеры.

— Давненько мы не видались.

— Если быть точным, то с того дня, как ты сам вломился ко мне,— ответил я.

Он взял меня под руку и вывел на просторную террасу, выходившую в сад, разукрашенный статуями, газонами и фонтанами.

— Что было, то быльем поросло. И не будем больше вспоминать.— Он пожал мне руку и, как бы благословляя, окропил шампанским мои ботинки.

— Джованни, тут на днях я хотел разыскать тебя. Мы должны серьезно поговорить.

— Ты о чем?

— О твоей жене.

— Опять?

— Нет, не о том, о чем ты думаешь, успокойся. Я хотел спросить, не кажется ли тебе, что за последние дни она несколько изменилась?

— В каком смысле?

— Ну, вот послушай, она приехала в посольство на гоночной машине.

— Я знаю,— сдержанно кивнул головой Джованни.— У нее появилась страсть — гоночная машина. Но она же не украла ее.

Разговаривая с Джованни, всегда было трудно найти нужный тон.

— Знаешь, я не собираюсь говорить ни о ком плохо. Я люблю ее как брат.

— Понятно,— ответил Джованни.

— У тебя не возникало подозрения, что у нее расстройство нервной системы?

— Ты шутишь? Челестина в полном порядке. В прошлом месяце она была на рентгене: абсолютно здорова.

— И все же она мне кажется беспокойной, нервной... Извини, что говорю тебе об этом. Но взять хотя бы эту страсть к приключениям... потребность что-то выдумывать, изобретать заговоры...

— Заговоры?

— Ну да... Ты лучше знаешь, на что... она способна...

— Да, это верно. Если бы она осталась в Италии, то уже достигла бы многого.

— Может быть, стоит обратиться к психоаналитику? Иногда речь идет о таких простых вещах, что невольно спрашиваешь себя: почему не подумал об этом раньше...

— Например?

— Не знаю. Может статься, что ее так никто и не понял...

— Что? — прервал меня Джованни с видом уязвленного в своем мужском достоинстве итало-американского петуха.— Я удивляюсь, что ты говоришь об этом именно в таком тоне. Ты должен знать лучше меня, почему нервничает Челестина.

— Я? Но почему?

— Потому что она мне все рассказала. Она призналась мне в то воскресенье, что влюблена в тебя.

Его слова подействовали на меня так, как ведро воды, внезапно выплеснутое в лицо. Я молча сглотнул слюну.

— Давай внесем ясность,— продолжал Джованни,— у меня к тебе нет претензий. Мужчина — всегда охотник. Челестина увлеклась. Это пройдет.

— Джованни, может, ты преувеличиваешь?..

— Точно, увлеклась. У тебя хорошие манеры, ты много читал, а у Челестины всегда была слабость к интеллектуалам... Но если ты джентльмен, то не бросай меня в беде. Ты должен помочь?

— Что я могу сделать?.

— Я не прошу тебя исчезнуть — так было бы еще хуже. Если ты уйдешь, увлечение перерастет для нее в наваждение, болезнь. С ней уже такое бывало. Два года назад она влюбилась в одного французского дипломата, Андрэ. Так он сменил квартиру и как в воду канул. Никто не знает, чего мне стоило, чтобы Челестина забыла о нем!

— Джованни, не хочу спорить. Но боюсь, что ты не все знаешь. Она тебе никогда не рассказывала, чем занимается днем? Не говорила о каких-то таинственных типах?

— А, вот ты о чем,— ответил Джованни серьезно.— Она рассказала об этом русском... Может, она говорила и о своем решении высадиться с парашютом в Албании...

— По правде говоря, про Албанию речи не было...

— Старая история. Два года назад она была в ФБР. Она хотела поступить туда на службу. Если я правильно понял, у нее был план освободить некоторые страны. Естественно, мне она не сказала и полслова. Только однажды утром мне позвонили на работу и пригласили в ФБР. Я пошел. Мне говорят: ваша жена нуждается в отдыхе. Я попросил объяснить, в чем дело. И тут мне выложили все. Баста, отправляю Челестину на пару недель во Флориду, и навсегда забудем об этом. Но через несколько месяцев она принялась изучать азбуку Морзе. Из гостиной всю ночь только и слышно было: та-ти-ти-та-та-та-ти... Затем она подружилась с инженером, жившим неподалеку от нас, и вместе с ним собрала радиопередатчик. Но этим дело не кончилось: прошлым летом ей взбрело в голову посещать курсы парашютистов. «В нужный момент, говорит, меня забросят за железный занавес». Хотя внешне это и незаметно, но смелости Челестине не занимать.

— Может быть, ей лучше угомониться? У нее все же муж, дочь и телевизор.

Тут в одном из салонов мы увидели Челестину. Она опиралась на руку капитана Персикетти, военно-воздушного атташе нашего посольства.

— Ты мне не сказал, что Челестина тоже на приеме,— заметил я.

— Но я и сам не знал!

Челестина вышла на веранду. На этот раз у нее были огромные очки в тяжелой черной оправе и набекрень надетая розовая шляпа, напоминающая «летающую тарелку» (по рисункам из журнала «Тайм»). Сияя от радости, она подошла к нам.

— Джованни, знаешь, капитан любезно обещал мне настоящую ракету. Маленькую. На пасху.

— Уже четверть часа Челестина расспрашивает меня про ракеты,— слабо защищался капитан,— и я пообещал подарить ей одну...

— Капитан,— обратился я к нему, указывая на его медали,— будьте осторожны — мы не имеем права сорить нашими ракетами, они должны преградить путь коммунизму!

Капитан покраснел и заговорил с Джованни о кино. В то время итальянские дипломаты и военные (правда, с опозданием на несколько лет по сравнению со своими коллегами из других посольств) увлекались узкопленочными короткометражными фильмами. Челестина поправила поля своей огромной шляпы.

— Ты все еще злишься? — Она прикусила нижнюю губу.

— Послушай, твой фокус не удался. Джованни уже рассказал мне о твоей авантюре с ФБР.

Она превосходно выдержала мой выпад и засмеялась:

— Ну и что? Признаюсь даже, что я им не понравилась. Но я-то знаю почему. Потому что они не доверяют нам, итальянцам. Мы слишком эклектичны. Они опасаются, что мы ведем двойную игру.— Она облокотилась о балюстраду.— Если желаешь добра Италии, то подружись с послом!

Я несколько растерялся:

— Бога ради, угомонись и не морочь мне голову, прибереги басни для дочери.

— Ты не воспринимаешь меня всерьез, и поэтому ты не прав. Об информации, которую я могу получать, тебе даже не мечтать. Например, военной... Знаешь ли, что на днях я целый час провела в доме генерала Смита?

— И ты говоришь об этом мне?

— Конечно. Все, что нам становится известно, мы обязаны доводить до сведения нашего правительства. Это наш долг. И делаю я это не корысти ради. Запомни хорошенько!

— Но я же работаю в посольстве, ты что, не поняла этого до сих пор? Мы не занимаемся контршпионажем!

— Рассказывай своим внучатам,— буркнула она.

— Что ты этим хочешь сказать?

— Что я не вчера родилась. Газеты читаю. Не проходит и месяца, чтобы какой-нибудь дипломат не был выслан за шпионаж.

Вечерело. Первые звезды, появившиеся над верхушками деревьев, как мне показалось, с издевкой улыбались, глядя на нас.

На террасе появились капитан Персикетти и Джованни.

— Челестина,— обратился к ней Джованни,— Тилли ждет нас на ужин, уже поздно. Попроси Франко, чтобы он не ломался и пошел с нами.

Мне в голову как будто угодил бронебойный снаряд.

— Нет, большое спасибо, я лучше пойду домой.

Джованни взглянул на меня сердито. Но тут вмешался капитан Персикетти:

— Ну же, Амброзиа, не заставляйте себя упрашивать. Перекусим и разойдемся. Обещаю.

Тилли Франкетти занимала белокаменную виллу в пригороде Вашингтона. Уже в машине Челестина объяснила мне второпях, что Тилли — ее школьная подруга, вышедшая замуж за врача — итальянского еврея. Было около девяти вечера, когда наконец мы приехали. Тилли открыла нам дверь, держа в руках белого карликового пуделя.

— Если спагетти переварились, то не взыщите,— предупредила она.

— Дорогая, мы запоздали? — Джованни звонко засмеялся и шлепнул ее по заду.

— Джованни,— резко повернулась к нему Тилли,— почему ты не поступаешь так, когда дома мой муж?

— Да ладно тебе, я пошутил,— оправдывался Джованни,— я не виноват, что ты такая аппетитная...

— Ты все такой же хам,— вздохнула Челестина с глубоким отвращением человека, оказавшегося вдруг среди людей низкого ранга.

— Позволь представить тебе Франко,— обратился к Тилли Джованни.— Будь с ним осторожна — личность темная.

— Очень рада! — изрекла Тилли, пожимая мне руку чуть дольше положенного. Она удалилась, вихляя задом, обтянутым узкими брюками.

Мы с жадностью патриотов набросились на спагетти, курицу, салат и сыр. На Тилли были ковбойские штаны из грубой ткани и красно-белая клетчатая рубашка. С завидной рассеянностью она оставила незастегнутыми по крайней мере три верхние пуговицы. Джованни время от времени погружал туда свой взгляд и изрекал: «Если не ошибаюсь, цвет лифчика не совсем подходит к брюкам...»

Тилли протестовала с заметным удовольствием. Можно было даже предположить, что муж не занимает все ее мысли. Он, как мне сказали, был в это время в Сан-Франциско на каком-то конгрессе. Он — один из лучших вашингтонских фтизиатров. Но Тилли вовсе не была от этого в восторге. По ее разговорам можно было заключить, что ей больше нравятся футболисты — прекрасные защитники из команды «Ювентус».

После ужина решили составить партию в покер. Тилли дала каждому горсть фасоли, потому что забыла, куда Эрминио, ее муж, спрятал фишки. Это был покер только по названию, так как мы беспрерывно болтали. Джованни все время рассматривал лифчик Тилли, а Челестина со скукой следила за ним.

— Ты шутишь и веселишься,— Джованни кивнул Тилли,— а в это время твой муж смакует шампанское в ночных кабаках Сан-Франциско. Ставлю десять против одного, что сегодня вечером он «склеит» себе какую-нибудь блондиночку...

— Помоги ему бог! Может, она его хоть немного расшевелит! — воскликнула Тилли.

Это было явно не по душе Челестине. Она потянула меня за рукав:

— Пойдем посмотрим, что там показывают.

Мы вошли в темную гостиную. Включив телевизор, Челестина набросилась на меня с поцелуями. Но она не рассчитала, и ее поцелуй «ударил» меня с силой вырвавшейся из бутылки пробки. На экране, стреляя в невидимого врага, скакали краснокожие.

Через несколько минут вошли Тилли и Джованни.

— Все так, как я тебе говорю,— Джованни допивал последние капли виски.— Твой муж уделяет больше времени собаке, чем тебе...

— Не знаю, не знаю,— отвечала Тилли, закатывая штанины до колен.— Может быть, когда я сплю...

— С каких это пор вы не спите вместе? — грубо спросил Джованни.

— Джованни,— запротестовала Челестина,— ты совсем не считаешься с присутствующими. Что подумает капитан!

— Эрминио настаивал, чтобы собака спала в нашей спальне,— продолжала Тилли,— но я запротестовала: «Я люблю животных, но должна быть мера...»

Джованни, усмехаясь, откупорил новую бутылку.

— Он возится с собакой все время.— Тилли положила руку на сердце. (Теперь ее рубашка была расстегнута еще ниже).— Я спрашиваю: разве я не права, что терпеть его не могу?

Капитан Персикетти не отличался красноречием:

— Конечно, тут...

— Может, потанцуем?! — хлопая в ладоши, воскликнула Тилли. Она поставила пластинку.

Затем Тилли подошла ко мне. В то время как капитан приглашал на танец Челестину столь же церемонно, как в старомодных фильмах, Тилли, кривляясь, бросилась ко мне в объятия.

Тилли была довольно сложной натурой. В этом, по крайней мере, она нас уверяла. Естественно, она поведала свою историю. Она рассказала о том, что была помолвлена с одним неаполитанцем, которого обуревали все страсти, кроме одной-единственной — жениться. Когда появилась возможность выйти замуж за врача из Америки, вся родня объединилась, чтобы убедить ее, что это — милость всевышнего и что ее бедная покойная маменька там, в раю, конечно же, помолилась за нее. Короче, Тилли вышла замуж. Ее звали Матильдой, по паспорту, но доктор Франкетти окрестил ее Тилли в иллюзорной надежде привезти в Америку совершенно новую женщину.

— Если бы у меня не было безработного брата,— вздохнула Тилли,— может, я до сих пор жила бы в Ферраре. Но они там были едва живы от голода. У меня не было ни одного приятеля, который мог бы повести меня в кино, угостить сигаретой. Я смотреть уже не могла на этих дармоедов. Вот так я и вышла замуж за Эрминио.

Доктор Эрминио Франкетти, известный фтизиатр и невезучий в любви человек, улыбался с поставленной на рояль фотографии в серебряной рамке.

— Мои подруги просто-таки смешны,— продолжала Тилли,— они просят меня найти им мужа в Америке. Если бы они знали, как это тяжело, сколько слез...

Нам так и не удалось уйти раньше двух часов ночи. На пороге Тилли вручила мне тетрадочку в красном переплете.

— Прочтите,— она скромно улыбнулась,— и скажите мне откровенно, что вы об этом думаете.

В тетрадке были собраны сонеты, которые посвятил ей бывший жених из Неаполя. На первой странице оттиснуто посвящение: «С немеркнущей любовью — сержант Доменико Палумбо».

В самое напряженное время моих отношений с Челестиной в Вашингтон прибыли Кот и Лис. Первым окрестил их так Бертолли, и клички эти тут же пошли гулять в самых авторитетных правительственных кругах, по кабинетам посольств и коридорам Белого дома. Выведали, что Кот и Лис ненавидели друг друга до такой степени, что даже не скрывали этого. Снедаемые тщеславием, фанатично активные, до крайности обидчивые, они только внешне отличались друг от друга.

Лис, или Алипрандо Дзандзари, был министром иностранных дел. Сухопарый, с круглым черепом и глазами навыкате, он неуемно жаждал власти. Когда-то он преподавал в лицее, занимал разные министерские посты. Его непредсказуемые поступки и тосканская склонность к грубым шуткам сделали его непопулярным в консервативных кругах. В парламенте его именовали не иначе как Змеиное Жало. Вдобавок ко всему он приезжал в министерство в восемь утра, когда старший рассыльный видел еще сны.

Кот, или Франческо Паллотта, был президентом. Высокий и прямой, с глазами небесно-голубого цвета, он был хорошим оратором и большим любителем выпить. У него мороз пробегал по коже каждый раз, когда к нему обращался непьющий, набожный, непоколебимый, неутомимый Дзандзари. Хотя оба они и принадлежали к так называемым «демократическим кругам», у них были совершенно противоположные взгляды на то, как делать политику,— два совершенно разных мировоззрения. Если Кот был человеком светским, прагматиком, проамериканцем, социал-демократом, то Лис по своим внутренним убеждениям «держал руль влево», был интегралистом, склонялся к радикализму и втайне старался приблизить время неизбежного альянса — Согласительной республики католиков и коммунистов.

Но что же все-таки привело в Америку Кота и Лиса? Неоспоримым фактом явилось то, что со времени окончания войны итальянские государственные мужи всегда использовали Соединенные Штаты в качестве большого рекламного барабана, даже в своих личных и партийных целях. Де Гаспери и Сфорца, Пелла и Мартино, Шельба и Сеньи — все политические деятели Италии время от времени обращались за светским благословением к Трумэну, Эйзенхауэру, Кеннеди и Джонсону так же, как у себя на родине они вымаливали материальную помощь у церковных приходов и разнообразных гражданских комитетов

Сегодня, однако, что-то изменилось в «традиционных узах дружбы», связывающих Рим с Вашингтоном. Война во Вьетнаме, бомбардировки школ и заводов Ханоя, напоминавшие нацистские налеты, постепенно разрушали доброе старое представление о свободной Америке. Статуя Свободы потеряла былой глянец. И в итальянском правительстве, как и среди всей европейской общественности, произошел раскол. Фарнезина стала двуликой: иначе говоря, у нас появились целых две внешних политики. На одной стороне, в соответствии с послевоенной традицией, был президент Паллотта, решительно настроенный проатлантически и антикоммунистически. По другую активно хлопотал Дзандзари, стоя одной ногой здесь, а другой как бы даже за «железным занавесом».

Оба, как Паллотта, так и Дзандзари, болтая в коридорах итальянского посольства, рассчитывали прежде всего извлечь для себя пользу из своей миссии в Вашингтоне. Как два достойных потомка Макиавелли, они собирались разговаривать с самим американским президентом на своем особом шифрованном языке с единственной целью — быть понятыми в своем собственном доме. С безумным пылом новоявленного Дон Кихота Паллотта рассказывал каждому встречному, как до последнего вздоха он будет сражаться за свою Дульцинею, то бишь Запад. Дзандзари, напротив, действовал полисьи, выдвигая такие же не поддающиеся расшифровке лозунги, которые можно было сравнить с выражением лица загадочного сфинкса: он призывал к диалогу на совершенно неопределенные темы: братание народов, упразднение границ. «Чем больше туману,— сказал он как-то одному из своих приспешников,— тем меньше риску».

Лис и Кот с полуторачасовым опозданием сошли с трапа четырехтурбинного самолета «Алиталиа». Стояло холодное мартовское утро, дул пронизывающий ветер. В аэропорту, окруженный почетным караулом, на красной ковровой дорожке блистал своим отсутствием американский президент. Действительно, Джонсон отказался ехать на заледенелый аэродром, как только узнал, что самолет опаздывает более чем на час. Вместо себя он послал персональный вертолет, который и доставил обоих напыщенных

прилипал к нему домой. Там он должен был их принять в перерыве между послом Ганы и перуанским генералом.

После краткой встречи с Джонсоном, которая скорее была прохладной и формальной (три четверти часа, включая монологи переводчиков, позирование перед фотокамерами, рукопожатия и поклоны), Кот и Лис разместились в Блэр Хаус. Это трехэтажная бело-желтого цвета вилла начала прошлого века. Она расположена поблизости от Белого дома, и до нее, как говорят в Америке, «два шага». История гласит, что в былые времена там останавливались Черчилль и Де Гаспери, Иден и де Голль. Архитектурно она маловыразительна, безлика, напоминает некоторые лондонские дома в стиле эпохи Регентства с воротами из кованого железа и лестницами темного мрамора. Убранство строгое, самое простое: несколько комнат с мебелью а-ля «чиппендейл», разрозненные стулья, столы, кое-где французские зеркала, несколько картин художников-академистов, из тех, что не тревожат мысли и навевают сон.

Свита итальянцев, такая же внушительная, как и цирковая труппа актеров первой категории, сразу же внесла с собой оживление и своеобразную обстановку далекой родины. В комнатах, на лестничных площадках и в салонах стоял гомон, как в каком-нибудь кафе «Спорт». Заглушал всех громкий голос коммендаторе Перголы, старшего посыльного Фарнезины, отдававшего распоряжение официантам: «Эй, Нико, чашечку крепкого кофе министру, да побыстрей! Как самому господу!..»

Вечером в день прибытия президент пригласил меня в свои апартаменты. Ему было известно, что я курировал пресс-службу посольства. Зная его тщеславие и то, что в этом он уступал лишь Дзандзари, я опасался, как бы он не устроил мне выволочку из-за скупости газеты «Нью-Йорк таймс», которая отвела всего десять строк его приезду, причем назвала его «Паллетта».

Он пригласил меня к себе в двенадцатом часу ночи. В памяти прекрасно сохранился его шелковый халат цвета павлина, накинутый поверх серой шерстяной пижамы. У кровати на столике красного дерева поблескивал золотом массивный портсигар. На кресле стоял открытый кожаный портфель, набитый бумагами.

Президент долго не сводил с меня своих грустных водянистых глаз.

— Признаюсь вам: я обеспокоен, очень обеспокоен. Мы в опасности. Вокруг одна неизвестность.

Редкие седые волосы на его черепе были похожи на серебристую стружку. Он беспрерывно приглаживал их опухшими холеными пальцами. Он нервничал, был недоволен. Изо рта его несло табаком и виски. Казалось, он с трудом приводил в порядок свою речь, которую, вероятно, заготовил еще в Риме.

— Я знаю, что смогу положиться на вас. Мы с Делла Ровере вместе сидели в тюрьме, мы боролись в Сопротивлении. Поэтому не бойтесь открыться мне. Рассказывайте обо всем. Я люблю только откровенность. Как воспринимают мою внешнюю политику в Белом доме? Испытывают к ней доверие или же опасаются ее? Не думаю, что они принимают меня за какого-нибудь Дзандзари...

— Синьор президент, вас очень любят в Америке. Здесь знают, что если бы не вы...

— А что Раск? Как он оценил мою последнюю речь в Бари?

— Превосходно. «Прекрасная речь,— сказал он одному нашему другу,— программная речь...»

— Амброзиа,— резко прервал он меня,— если даже есть какие-то отрицательные моменты, предубеждения... Вы говорите о них! Не бойтесь рассердить меня. Я уважаю критику. Договорились?

Он открыл портсигар, набитый с двух сторон сигаретами «Турмак» с золотым мундштуком.

— Ну, они-то хотя бы поняли? — наступал он. Его голос звучал приглушенно, но вены на шее вздулись.— Поняли ли они, что если бы не я, не моя настойчивость, не мой престиж, то эти ханжи из левых католиков давно помогли бы уже коммунистам вывести Италию из Атлантического пакта?

— Синьор президент. они поняли, поняли. И к счастью, вчера...

— Вы угадали, Амброзиа, вы буквально на лету схватили всю огромную важность и деликатность моей миссии. Понимаете, скверная сторона нашей работы, самая неблагодарная ее сторона состоит в том, чтобы суметь удержать весь состав на рельсах. С этим дурачьем, которое входит в правительство, с этими проклятыми честолюбцами мы денно и нощно вынуждены быть настороже...

Он слегка вздрогнул от внезапной отрыжки.

— У Дзандзари настолько необузданное честолюбие, что он способен на все. Правительство, партии, народ — лишь подопытные свинки в его руках. Ради своей цели он готов пойти на вероотступничество, предательство, на наглый обман.

— Но американцы, синьор президент, к счастью, это поняли. Джонсон просто испытывает к нему отвращение, настоящее физическое отвращение. Вы заметили, как он смотрит на него сверху вниз?

— Так тяжело. Тяжел наш крест — работать во рву со змеями. Даже поспать нельзя спокойно. Приходится дремать, прикрыв один только глаз.

Он сжал кулак, и опять отрыжка раздула ему щеки.

— Пусть только Дзандзари посмеет что-нибудь выкинуть, церемониться не стану — уничтожу его. Меня поддержит все правительство, тыл у меня прикрыт парламентом. Если он начнет бодаться, то я вправе заткнуть ему рот. И я это сделаю. Ох, как я это сделаю!

— Желательно,— осмелился я,— желательно избежать ссоры... Ее увидят союзники.

— Естественно! Специально провоцировать его не буду. Но уж в крайнем случае, как вы понимаете, крайние меры...

Президент окончательно потерял ту кроткую, внушающую доверие улыбку пожилого именитого провинциала, которую телевидение, как контрабандный товар, сбывало миллионам итальянцев. Я видел человека, стиснувшего зубы, выведенного из равновесия наглостью соперника. В этот поздний час президент, облаченный в халат, пижаму и домашние туфли из тюленьей кожи, почувствовал необходимость доказать мелкому посольскому чиновнику, что ему отведена роль Хранителя Конституции, Архангела Свободы, Поборника Демократии.

— Необходимо сохранять бдительность,— произнес он в конце разговора, налив мне капельку «бурбона» в коньячный бокал.— Сообщайте мне о всех новостях, плохих и хороших, особенно если они исходят от самих американцев.

Говорил он низким голосом, остекленевшие глаза его были похожи на глаза человека, готовящегося на восходе солнца к дуэли...

Тем временем Дзандзари уже нанес первый удар. Посла едва не хватил сердечный приступ, когда министр дал знать, что подготовленные посольством речи всего лишь «жвачка». «Я ведь прибыл в Америку не для того, чтобы подымать заздравные чаши и возлагать цветы на могилы неизвестных солдат,— совершил он выпад против Бертолли.— Я беру слово только тогда, когда есть что сказать. И будьте спокойны, уж я-то скажу».

Прозвучали первые раскаты грома, предвещавшие грозу. В итальянском посольстве воцарилась атмосфера уныния и беспомощности. Что можно было придумать, чтобы как-то смягчить такую божью кару? Когда Паллотта узнал об открытом вызове Дзандзари, он в бессилии опустился на софу, губы его посинели.

— Сделаю так, что его отзовут,— пробормотал он в припадке пустословия,— вызову врача... его отправят лечиться... Он что, думает, что он на митинге во Фраскати? Нет, нет и еще раз нет! Это — государственный визит! Специальная миссия!

Вдруг лицо президента просияло. Он поймал меня за руку:

— Придумал! Ему нужно сказать, что уже поздно вносить изменения в речи, так как мы их передали газетам, а?

Но в жилах Дзандзари текла кровь мула — он не дрогнул. Его первый пинок пришелся по «традиционному совпадению взглядов» между Римом и Вашингтоном во время встречи с Джонсоном и Раском в Белом доме. Президент Паллотта, выступавший первым, позаботился о том, чтобы ни в коем случае не выйти за рамки неопределенности. Его речь, как всегда, была цветиста, пуста и никчемна.

Дзандзари выждал несколько секунд, посмотрел под ноги, подождал, пока Джонсон сделает глоток воды. Потом, изобразив улыбку, он поставил перед союзниками риторический вопрос, долго ли они намереваются продолжать кровопролитие во Вьетнаме, подвергать бомбардировкам северовьетнамские города и села, разрушать школы и больницы. «Я наверняка не первый, кто спрашивает вас об этом,— настаивал Дзандзари, разглядывая с холодным упрямством свои ногти,— поскольку испытанные друзья Америки, европейские друзья... гм... в общем, они не могут уйти от сурового морального осуждения».

Джонсон похлопал ладонью одной руки по тыльной стороне другой. По его морщинистому загорелому лицу фермера пробежал нервный тик, а глаза, оттененные густыми бровями, буравили Дзандзари, словно дуло пистолета. Джонсон дважды выслушал перевод пассажей Дзандзари, сухих, как удары хлыста, и неожиданных, и его охватил гнев.

— Мне надоела эта песня,— голос прозвучал как из бочки,— не желаю, чтобы наши дражайшие европейские друзья таскали меня за уши... И вообще, можно узнать, кто вы такие? Что сделали для мира или хотя бы для войны? В то время как наши парни гибнут тысячами и мы на дальних фронтах приносим в жертву огромные ценности, вы сваливаетесь нам на голову, читаете мораль, даете советы и таскаете нас за уши. Если вы только за этим и приехали, то могли бы не предпринимать столь утомительного путешествия!

Дзандзари не смутился. Он молчал, как если бы происходящее его вовсе не касалось. Он переложил на президента Паллотту неблагодарный труд ублажать Джонсона, этого «техасского табунщика», и втолковать ему, что «по правде говоря... уважаемый Дзандзари вряд ли намеревался критиковать... ни тем более осуждать... великую дружественную страну... традиционные узы дружбы... дело демократии... судьбы цивилизации...»

После нагоняя в Белом доме, который, впрочем, держался в секрете и даже не попал в печать, поездка наших государственных деятелей приняла еще более печальный оборот. Мне вспоминается завтрак в вашингтонском Пресс-клубе в честь министра иностранных дел Дзандзари (президент Паллотта был в это время приглашен в Пентагон). Присутствовали корреспонденты всех крупных газет. В огромном душном зале витало предчувствие скандала.

В нарушение этикета за стол сели, еще не имея текста выступления Дзандзари. Почетный гость до последнего момента все писал и переписывал свою речь. Когда он, наконец, поднялся (официанты разносили последние чашечки кофе), с итальянских дипломатов градом катился пот, как если бы они побывали в турецкой бане.

Однако Дзандзари, который пользовался в политике кинематографическими приемами Хичкока, не оправдал ожиданий. В своей речи он как бы шел по лезвию бритвы. С ловкостью, не лишенной коварства, он говорил всем своим видом: «Видите, друзья? Малейшее усилие — и я мог бы разбить эту фарфоровую линию Мажино, каковой является Атлантический союз. Но я этого не делаю. Я — гость удобный и обучен хорошим манерам».

В течение нескольких дней, находясь в поездке по штатам, Дзандзари повторял с некоторыми вариациями шоу, разыгранное им в Пресс-клубе. Можно было лишь предполагать, как он пытался возвести в настоящее искусство хитроумную восточную дипломатию, чередуя пощечины и улыбки, похвалу и тумаки. И результат налицо: посол в Вашингтоне похудел на два килограмма, а президент Паллотта — на четыре. Последний то и дело повторял: «Нет, такая жизнь невыносима. Мне кажется, что я сижу на бочке с порохом».

Тем временем в редакциях американских газет ходили самые разнообразные слухи. Кто-то утверждал, что Дзандзари был заодно с Паллоттой и что он довольно цинично исполнял роль «тибрского де Голля», чтобы вырвать у американцев кое-какие уступки. Однако президент Паллотта упрямо все отрицал. «Этот,— говорил он,— заодно только с собой. Фанатик-одиночка».

В последний день переговоров в Вашингтоне перед заключительным коммюнике возникли трудности. Известно, что подготовка коммюнике для экспертов всегда бывает делом неприятным. А в тех исключительных обстоятельствах представлялась пренеприятнейшей, как никогда. В решающий момент американцы и итальянцы констатировали, что старые формулировки трещат по всем швам, если вообще не вызывают улыбки. Стоило ли жонглировать такими фразами, как «общность взглядов», «полная солидарность», когда даже покойникам с Арлингтонского кладбища ясно, что Джонсон не переваривает Дзандзари, а государственный секретарь Раск в отчаянии рвет на себе остатки волос!

После целого дня дискуссий Бертолли осенило.

— Сегодня нам просто необходимо что-то новенькое, какой-нибудь свежий лозунг,— сказал он.— Сильнодействующий. Вот что я думаю: не могла бы, скажем, Америка передать нам несколько центнеров тяжелой воды? Тяжелая вода — это то, что еще всех впечатляет, действует эффективно. Захватывает.

Один из американских экспертов Комиссии по атомной энергии выразил сомнение: использование тяжелой воды в ядерных исследованиях, мол, устарело. «Не пойдет,— сказал он.— Ее сейчас производят даже в Нигерии».

— Ну и что? — заметил Бертолли, пожимая плечами.— Простым людям все едино. Вы что, думаете, найдется кто-либо, кто отправится в Сицилию с разъяснениями, что использование тяжелой воды — вчерашний день? Сегодня необходимо произвести эффект. Важна музыка слов. А тяжелая вода звучит как музыка. Кто только не смотрел захватывающие фильмы об английских шпионах и немецкой тяжелой воде! Тяжелая вода — настоящая легенда. Очень понравится католикам. Они, располагая святой водой, будут чувствовать себя еще увереннее.

Бертолли взял верх. На следующее утро газеты и агентства воспроизвели сообщение о тех самых семи центнерах тяжелой воды, подаренных американским правительством Италии. Министр Дзандзари и президент Паллотта оспаривали друг у друга заслугу в том, что у Джонсона был вырван такой «ценный груз». «Италия — первая европейская страна, получившая от Америки тяжелую воду»,— заявил Паллотта в специальном интервью АНСА [1], в вагоне поезда, который должен был доставить его из Вашингтона в Нью-Йорк. А Дзандзари сказал спецкору газеты «Пополо»: «Это свидетельство огромной эффективности всей нашей внешней политики».

Вечером во время официального обеда в «Уолдорф-Астория», устроенном директором ассоциации «Итало-американский прогресс», один посольский чиновник благодаря своей изящной оплошности заставил президента Паллотту побелеть от злости.

— Синьор президент, вы что предпочитаете — тяжелую или минеральную воду?

В атмосфере легкого фарса, в котором было что-то от комедий Мольера и Фейдо[2], оба итальянских государственных деятеля провели последние дни в Америке. Не будучи более связанными политическими обязательствами, они посещали мюзик-холлы, рестораны и музеи. Но отдавали предпочтение церквам, колледжам, католическим семинариям. И когда вечером, опустошенный, я раздевался в гостинице, ото всех складок моей одежды исходил стойкий запах ладана. Помню, как Дзандзари и Паллотта старались опередить друг друга и первыми подойти к руке архиепископа, чтобы благочестиво облобызать перстень. В Сан-Франциско один святой отец, выходец из Венето, назвал президента Паллотту «посланцем провидения». Он вызвал некоторый переполох среди пожилых людей, которые еще помнили, что именно с такими же словами обратился однажды папа римский к Муссолини.

Сан-Франциско был последним этапом поездки. Американцы не чаяли, как избавиться от нас. Даже репортерам порядком надоела эта странная пара, обещавшая скандал, который никак не мог разразиться. Министр иностранных дел Дзандзари с шутовским макиавеллизмом продолжал в каждом городе игру в антиатлантическую фронду, не переступая, однако, рамки дозволенного. В то же самое время Дзандзари всем своим поведением будто обещал: «Погодите, дайте мне время, и я такое сотворю!..»

Члены американского правительства, так называемые «голуби», восхищались «смелостью» министра Дзандзари. С явным намерением польстить его тщеславию и тем самым преодолеть некоторую его строптивость министр обороны Макнамара лично пригласил Дзандзари посетить вместе с президентом Паллоттой атомную станцию.

— Вы будете там первыми иностранцами,— сказал Макнамара,— и этот визит явится доказательством нашего взаимного доверия.

Утром в пятницу мы отправились в Беркли. Выехав из Лос-Анджелеса, долго колесили по холмистой местности. Пересекали реки и леса. Наконец подъехали к какому-то зданию внушительных размеров, холодному и плохо освещенному. Оно напоминало ангар. В центре стояла огромных размеров темная металлическая цистерна. От нее разбегались крупного и среднего диаметра трубы, в них будто гудел глухой, далекий прибой.

Кот и Лис оба в костюмах голубого цвета, как два шафера на деревенской свадьбе, долго взирали на цистерну, которая вызывала эмоций не больше, чем газовый завод на окраине города. Какой-то профессор, итало-американец, еврей по национальности и нобелевский лауреат, объяснял с предельной четкостью, на какую был только способен, что между атомами разворачиваются сверхчеловеческие баталии, которые нам были совершенно неведомы и уж во всяком случае совершенно невидимы.

---

[1] Информационное агентство.

[2] Жорж Фейдо (1862 — 1921) — французский комедиограф, автор многих известных водевилей.

— Ясно? — справлялся время от времени профессор.

Кот и Лис утвердительно кивали головами, предварительно проследив за реакцией другого.

Пока мы ходили вокруг цистерны, перешагивая через трубы, бочки и бочонки, распространился слух, что это вовсе не атомная станция, а старый пивоваренный завод.

Известие произвело замешательство в официальной свите. Сотрудники посольства, соблюдая ранги, нервно переговаривались, чтобы решить вопрос, нужно ли все-таки информировать об этом Кота и Лиса. В конце концов Бертолли набрался храбрости и дотронулся до рукава президента Паллотты.

— Извините, ваше превосходительство, я не мог молчать... одним словом... говорят, что нам показывают не атомную станцию. Американцы не доверяют итальянцам, поэтому привезли нас на пивоваренный завод...

Президент Паллотта сжал губы, надул щеки и слегка отрыгнул, что являлось внешним признаком охватившего его волнения. В бессилии вытаращил глаза. Он не был способен вымолвить ни слова, как тот беззащитный гражданин, который присутствует при грабеже или совершении другого ужасного преступления, изображенный художником из журнала «Доменика дель коррьере».

— Я... я...— наконец пробормотал Паллотта, приходя понемногу в себя,— честно говоря, этих американцев, я не могу винить их...

И все же через несколько минут мы все, включая расстроенного президента, убедились в том, что нам показывали именно атомную станцию. И не потому, что трубы были пусты и не содержали пива; на освещенном экране мы могли следить за бомбардировкой атомов, напоминавшей звездный катаклизм.

Кот и Лис возвращались в Италию солнечным днем, оставляя позади себя аплодисменты, двусмысленные улыбки, фотовспышки и многочисленные вздохи облегчения.

15

Я недооценивал способности Элизабет и готов признать свою ошибку. В нужный момент она доказала, что обладает тем таинственным и безошибочным чутьем, которое так уберегает животных от опасности.

На первых порах она перенесла на две недели свой приезд под тем предлогом, что ее матери предстоит операция. Затем задержала отъезд еще на месяц, объясняя это тем, что обязана обставить дом, купленный родителями в Лондоне в районе Мейфэр. В ее письмах появилась какая-то неопределенность, смущение. Раздраженный ее колебаниями и отсрочками, но главным образом ущемленный в своей гордости, я решил быть настойчивым и категоричным: ты приезжаешь, или между нами все кончено. Это дало ей повод ответить мне равнодушным письмом на двух неполных страничках. Она сообщала, что в скором времени обручится с Патриком, своим дальним ирландским родственником. О собаке, писала она, я не должен беспокоиться, поскольку она в Риме, в хороших руках. Она поручила ее Джейн Макс, своей подруге-американке, работающей в ФАО и «обожающей животных».

Как дальновидный игрок, уже со шляпой в руках, Элизабет распрощалась со мной в самый подходящий момент, а именно за две недели до того, как в Риме разразился знаменитый «банановый» скандал.

Это было крупное дело, о котором писала даже американская печать. Министра Делла Ровере обвиняли в растрате и хищении государственных средств. Коммунистическая газета «Унита» назвала его «жалким подражателем римлян эпохи упадка». Были арестованы два чиновника министерства заморских территорий по обвинению в том, что они ссудили некоторым монополистам сумму в пять миллионов лир. После вынесения вотума недоверия в парламенте правительство вышло в отставку. На стенах зданий в Риме, Неаполе и Милане появились плакаты, на которых был изображен Делла Ровере, приготовившийся вонзить зубы в банан. Я же сидел справа от него. Это была, по-видимому, фотография, снятая в Остии. В самом низу красными буквами было написано: «Бананы жуй, но кожуры опасайся».

Для того чтобы успокоить народные массы, Ватикан подтолкнул правительство к широкой реорганизации кабинета. Прибегли к помощи левых социалистов. Делла Ровере был изгнан. И все же, как мне писали друзья, его к ответственности не привлекли. Он даже не откушал бананов — они ему не понравились. Плакат оказался фотомонтажом. Делла Ровере совершил только одну оплошность: в своей оптимистической речи

в палате депутатов он пообещал благодаря новым торговым соглашениям продавать бананы и кофе по сниженным ценам. Это произошло за шесть дней до скандала. К несчастью, цены на бананы подскочили на сорок процентов. Арест двух чиновников был последним ударом.

После падения моего покровителя — постарались газеты, не пощадившие ни интимной жизни, ни грешков его супруги Магды,— я вдруг очутился в положении человека, у которого почва ушла из-под ног. Поскольку я не был кадровым дипломатом, моя судьба зависела исключительно от министра иностранных дел. Достаточно было ему не подписать приказ о продлении командировки — и мне крышка. Естественно, в стремлении отмежеваться от Делла Ровере совет министров вышвырнул за борт и весь состав экипажа отлученного.

Письмо, в котором Алипрандо Дзандзари объявил мне об упразднении моей должности в связи с резким сокращением штатов в отделах информации за рубежом, надолго останется в моей памяти элегантным образчиком лицемерия христианских демократов. Дзандзари благодарил меня за «приложенные в сложной обстановке усилия», но суровая действительность бюджета обязывала его принять это «нелегкое решение». В другом письме генеральный секретарь министерства иностранных дел уведомил меня, что мой контракт заканчивается тридцать первого декабря текущего года и что в оставшиеся месяцы (письмо было датировано четырнадцатым июля) мне надлежит завершить все оставшиеся дела.

Я подвел итог: впереди еще пять — с августа по декабрь — полностью оплаченных и обеспеченных месяцев. Поинтересовался у Дельфини, не полагаются ли мне еще какие-нибудь выплаты в связи с ликвидацией должности, но ответ его не очень меня обнадежил.

— Как бы не так, радоваться нечему,— сказал он,— в стаж тебе зачтется только год.

Нальди, когда узнал, что вслед за Делла Ровере полетел и я, не смог скрыть удовлетворения:

— Уважаемый, политика — штука коварная: чем выше заберешься, тем больнее падать. Поверьте мне, конкурс на замещение должностей — это все еще лучший путь.

В недалеком будущем мне, отказавшись от ложной амбиции, предстояло начать все сначала. Я даже подумывал: а не вернуться ли мне в Италию к сентябрю, так как в этом случае была еще какая-то возможность устроиться хотя бы временно в мою старую гимназию. Подводя итоги последних месяцев, я понимал, что, несмотря на мои акробатические номера, я оказался в пассиве. Выходит, зря ухаживал я за Магдой, нянчился с Эннио. «Я напрасно подвергал риску его жизнь»,— думал я.

Мысленно я часто возвращался к тому воскресенью, когда мы — я, Магда и Делла Ровере — обедали в Остии. Я вспоминал слова, с которыми министр обратился ко мне, когда предложил место в Нью-Йорке. Я прекрасно помню тот теплый день в конце ноября, снующих официантов, запах жареной рыбки и моллюсков. Теперь, по прошествии времени, мой обман представлялся неоправданным. Неоправданными были уловки, вранье, опасения. Конечно, любое унижение достойно сожаления, в особенности то, которое не дает результатов.

В посольстве стали меня сторониться, как сторонятся негров в автобусах на Юге. Под предлогом ремонта в моем кабинете меня переместили в малюсенькую комнатенку с окошком, едва пропускавшим свет. От всего этого меня трясло несколько дней, потом я успокоился. В качестве контрмеры я постепенно сокращал свой рабочий день. Пора было подумать и о себе. Если все пойдет хорошо, я вернусь в гимназию Гарибальди и стану опять преподавать гимнастику. В конце концов, это неплохая профессия: работаешь на свежем воздухе, и никто тебе не завидует. Я решил привести себя в форму. Необходимо было избавиться от лишнего веса (а заодно и от желчи), который я накопил на дипломатическом поприще. Для этого надо было вступить в какой-нибудь спортивный клуб, что я и сделал. При нем была баскетбольная команда, состоящая из офицеров, журналистов, адвокатов и из бывших спортсменов, некоторым было под тридцать и старше. Сначала я был запасным, но потом меня взяли левым нападающим.

Гнев и одиночество вновь толкнули меня к Челестине. Что мне было терять, в конце концов? Пускай хоть все посольство взорвет — мне наплевать.

— Хватит хныкать,— подвела черту Челестина, когда я рассказал ей о выходке министра.— Что ты, в сущности, потерял? Пожил в Америке на казенный счет. Познакомился со мной, опять же за государственный счет.

Все правильно. Одно не давало мне покоя: что сталось с Делла Ровере? После скандала он внезапно исчез. У меня было подозрение, что он переживает тяжелые времена, что его бросила жена. Я написал ему короткое письмо, в котором сообщал, что у него еще остались верные друзья. В ответ пришла телеграмма: «Благодарю всего сердца подробности письмом». Письма не последовало.

Лето выдалось жаркое и влажное. Нередко Челестина появлялась в бассейне вместе с Тилли. Втроем мы нежились на солнышке в почти пустом бассейне, фантазировали, мечтали о путешествиях на необитаемые острова, которые невозможно было отыскать на обычных географических картах.

— Ты хотела бы провести месяц в Тагипу, в Южной Вендазии?

Однажды Челестина пришла одна. У нее было мрачное лицо, она молчала.

— Челестина, я предчувствую, что ты приготовила мне один из своих немыслимых сюрпризов.

Она промолчала, сосредоточенно вглядываясь в зелень бассейна.

— Я погибла,— наконец прошептала она,— у меня будет ребенок.

— От кого?

— От мужа, к сожалению.

— Ну... я допускаю, что это несколько ненормально, но могло быть хуже.

— Хуже быть не может,— запротестовала она.— Рушатся все мои планы. Как раз сейчас, когда генерал Смит в меня влюбился...

— Челестина, через несколько недель я уезжаю. Ухожу, одним словом. К чему разыгрывать комедию до самого последнего дня? Почему ты не хочешь рожать детей, как все женщины?

— Ну да, ты-то считаешь, что женщины только на это способны. Ты в них видишь каких-то коров, годных лишь на то, чтобы жевать сено да вскармливать детенышей. А если у одной из них больше ума от природы, что же, она тоже должна быть там, в этом стаде?.. Я устала от однообразной жизни, без чувств...

— Если будешь хорошо себя вести, то мы поужинаем в «Копакабане».

Среди пыток, на которые вашингтонский высший свет обрекает себя, есть и «farewell party», или «прощальный прием». Челестина и Джованни посвятили такой прием для близких друзей, которых набралось около шестидесяти. Челестина располнела. Она открыла мне дверь, и я увидел ее в платье из голубого шелка, которое она принесла с собой, когда пришла ко мне в первый раз.

— Узнаешь? — спросила она многозначительно.— Подумать только: его пришлось расставить.

Около половины гостей были американцы. Все они казались искренне огорченными моим отъездом, и лучшим способом выразить свои чувства считалось у них выпить со мной стакан виски on the rocks[1]. Американки иногда бывают томными и соблазнительными. Они настигают тебя именно тогда, когда ты рассуждаешь о политике или спорте, и тащат танцевать, обхватывая руками в браслетах и амулетах.

Джованни удалось даже пригласить одного депутата. Он представлял его всем с почестями, которые отдают обычно папе римскому или королеве Елизавете. Депутат, как я припоминаю, обсуждал только один вопрос, который в то время у всех уже навяз в зубах: призван ли коммунизм завоевать весь мир или нет.

— Вы бывали в России,— обратилась к нему сильно подвыпившая дама,— так расскажите нам о русских офицерах. Говорят, они темпераментные.

— Хочу сказать,— продолжал свою мысль депутат, с удивлением отмечая, что кое-кто рискует танцевать в то время, как он вещает,— что коммунисты не завоюют мир. Вы меня спросите почему, и я вам отвечу, что причина тут чисто нравственная.

— О чем мы беспокоимся? — восклицала пьяная дама.— Мертвые воскреснут в Иосафатовой долине. Немного терпения!

Джованни поставил испанскую пластинку и лихо отплясывал с какой-то француженкой. Тилли подала мне знак следовать за ней. Челестина лежала на кровати в своей комнате.

— Извини,— сказала она,— я плохо себя чувствую. От этого шума болит голова. Хотела предупредить тебя, что если завтра не поеду на аэродром, то только потому, что буду занята.

Тилли вышла. Челестина продолжала:

---

[1] Со льдом *(англ.)*.

— Как ты считаешь, может ли женщина, у которой двое детей от первого мужа, снова выйти замуж?

— Думаю, да. Такое бывало. А почему ты об этом спрашиваешь?

— Так... просто так... — Она минуту помолчала.— Но итальянцы не очень-то любят разведенных. Тебе не кажется?

— Откуда я знаю? — сказал я.— Тебе надо хорошо выспаться. Завтра созвонимся. Чао!

Она взяла меня за руки и со злостью впилась в них ногтями:

— Видала лицемеров, но таких, как ты, никогда.

16

Аэропорт Леонардо да Винчи в Риме. Стих гул самолетных моторов. Стюардесса открывает дверь. Мы все следим, как по трапу навстречу нам движется блестящий и враждебный ствол автомата. Затем появляется усатое и носатое лицо бригадира карабинеров. Первое, что нам преподнес Рим, как букет цветов, были парабеллум и усы. Непосвященному могло бы показаться, что у итальянцев гипертрофированное влечение к кровавым авантюрам.

В тот день в Риме стояла неустойчивая сентябрьская погода, при которой облака, гонимые ветром, как бы переваливают через купола храмов и колоколен.

Такси мчалось по Новой Аппиевой дороге. Я посмотрел на верхние этажи домов. Над окнами высоченных желтоватого цвета зданий развевались трусы и майки. Иностранец мог бы подумать, что Италия полощется в море нижнего белья.

На часах пробило полдень, когда такси остановилось перед домом № 72 по Виа Марио деи Фьори. Я выгрузил багаж. Навстречу мне вышла маленькая, толстая и косоглазая консьержка.

— С приездом,— сказала она. Я почувствовал типичный для всех консьержек Рима запах чеснока и пота. Из швейцарской раздался писк младенца.

— Уж не ваш ли это, Тереза?

— Только этого мне и не хватало! Это моей дочери Джузеппины. Помните, они женихались, когда вы уезжали. Ну вот, теперь она замужем, у нее сын и живет она со мной. Немного тесновато, но мы не в обиде.

— Синьор,— закричал таксист,— извините, может, расплатитесь!

— Сколько? — спросил я.

— Пять тысяч.

Я заплатил, недовольно ворча:

— Уж не принимаешь ли ты меня за американца?

— Бензин дорожает, доктор... Вчера вечером я заплатил шесть тысяч лир только за то, чтобы сменить лампочку и два винтика...

Синьоры Эрнестины, владелицы пансиона, дома не оказалось. И тогда я отправился погулять на площадь Испании, Виа делла Кроче и Виа дель Бабуино. Улицы были еще мокрые от дождя, который прошел утром. Теперь подсохло, в воздухе особенно чувствовался теплый запах каппуччино.

Перемен я не заметил. Все было таким же, как в день моего отъезда. На Виа дель Гамберо я встретил неизменного киоскера в темных очках. Мимо проехала на «фиате-600» Мара, дочь женского парикмахера с Виа Фраттина. Она тоже выглядела как прежде: те же светлые волосы и коралловые серьги. Разве только грудь ее стала еще более вызывающа, чем в то время, когда я имел с ней дело: она выпирала, как два подлокотника кресла модели «фрау». Лейтмотив процветания звучал везде. Рим не изменился; он только стал жирнее. Все римляне как будто немного разжирели с тех пор, как я покинул их. Только, казалось, они не замечали этого. Разжирели правые депутаты, профсоюзные деятели. Даже участники движения контестации и те разжирели, позабыв после закупки большого количества «галстуков протеста» про перманентную революцию Мао.

Как собака, потерявшая хозяина, я шел, ориентируясь по запахам. Я узнал запах кондитерской на Виа Фраттина, запах каннеллони из ресторана «Конкордиа». Только вот священники разочаровали меня, потому что пахли они по-иному. Это уже не был привычный затхлый запах ризницы провинциальной церкви. Я заметил, что от них исходил тот же самый запах, что и от американских,— привычный запах нью-йоркского кардинала или лос-анджелесского епископа. Некая смесь зубной пасты, табака и лаванды. Словом, запах здоровых, чистых и веселых игроков в бейсбол.

Вечером я ужинал со своей молоденькой подружкой с эластичной моралью — Линой Больди. Она заполняла тогда сентиментальный вакуум одного кинопродюсера. На площади Джузеппе Верди у нее была квартира, из тех, которые принято называть «аттиком», а на самом деле просто на последнем этаже. Прихватив с собой собаку, которую я наконец-то вновь обрел, я отправился к ней пешком для того, чтобы подышать воздухом. Париоли. Я шел по Виа ди Порта Пинчана, Виа Паизьелло, площади Венгрии. В этом квартале среди друзей, которые теперь неизвестно где, я провел свои самые прекрасные дни. Тогда Рим был молод и тощ, а наша экономика еще не «достигла высот». Еще можно было с удовольствием съесть, ну, скажем, маслину или банан. А сейчас, будем откровенны, что такое банан?

Дом Лины совсем не изменился. Хотя появились две новые картины: «Монмартр» Утрилло и «Метро» Тамбури.

Она сказала:

— Эта абстрактная живопись начинает мне нравиться.

На Лине было полотняное цветастое платье. Красные цветы на желтом фоне. На ногах — легкие сандалии. Руки были гладкими и мягкими, как новые резиновые камеры баскетбольного мяча. Бог знает, сколько часов она должна была провести на пляже в Остии или в Форте деи Марми, чтобы так загореть.

— И тебе надоела Америка! — воскликнула она.

— Скорее уж я надоел Америке.

У Лины, как и у дочери дамского Парикмахера, тоже немного пополнели щеки, грудь, бедра и ляжки.

— Как ты нашел Рим? — спросила она, посыпая солью содержимое огромной салатницы. Там были салат латук, огурцы и помидоры.

— Немного разжиревшим,— ответил я.— Даже купол святого Петра и тот, кажется, отяжелел.

— Не говори мне об этом,— с серьезным видом воскликнула Лина.— Здесь полнеешь, даже когда дышишь, когда говоришь по телефону. К счастью, я всегда ем салат.

Я сообщил ей о своей тревоге по поводу семьи Делла Ровере, о том, что я даже боюсь звонить им.

— Это ты о министре? Да он живет лучше, чем прежде. Он теперь директор Конфимперо, получает четыре миллиона в месяц. Его офис находится на площади Венеции, только чуть меньше, чем у этого, с квадратной челюстью из Предаппьо. Помнишь? Ну как же — Муссолини! Тот самый, что вместе с Юлием Цезарем входил в триумвират.

— Я рад,— сказал я.— Действительно рад. Это — лишнее доказательство, что Рим бессмертен. До тех пор пока существуют Конфимперо и Колизей, существует и надежда.

— Ты и впрямь родился в рубашке,— сказала Лина.— Делла Ровере вмиг найдет тебе место.

— Не сомневаюсь. Однако, видишь ли, Лина, кому что на роду написано... Та работа не по мне. Слишком напряженная. На ней язву заработаешь.

Лина в этот момент перекладывала в тарелки два дымящихся бифштекса, поджаренных на решетке.

— Послушай. У меня есть план. Я долго его вынашивал. Если мне удастся найти пару миллионов — открою гимнастический зал для американцев на площади Испании. Я разбираюсь в английском. Трудно поверить, но теперь я — инструктор с английским и итальянским.

— А где ты возьмешь деньги? У меня их нет...

— Так ты все еще с этим, как его... с продюсером?

— Он тоже стал прижимистым... Говорит, что сейчас для кино трудное время...

— Если ты уговоришь его, то сделаешь большое дело. Большое, поверь. Что такое два миллиона? Скажи ему, что мы возьмем его в компаньоны. Будем отчислять ему проценты с дохода. Подумай. Представь: гимнастический зал на Тринита деи Монти! Я уже продумал и рекламу на английском в «Мессаджеро»: «Американцы, один час в гимнастическом зале под руководством проф. Фрэнка Амброзиа поможет вам лучше переваривать спагетти!» Ручаюсь своим итало-американским именем.

Я остался у Лины. Кинопродюсер позвонил из Парижа в два часа ночи:

— Любовь моя, спи спокойно.

— Вот дурак! — проворчала Лина, вешая трубку.— Каждую ночь одна и та же история. Из Неаполя, из Милана — отовсюду он звонит мне в этот час. Проверяет!

Я ушел, когда Лина еще спала. Солнце было уже высоко. Я чувствовал себя в форме, уверенным и полным благих намерений. Лина пообещала, что один миллион достанет она, что же касается другого, то заставит раскошелиться продюсера. Для начала капитал был. Теперь оставалось купить газету и найти в разделе объявлений сообщение о сдаче подходящего помещения.

Ставни вилл на Виа ди Порта Пинчана были еще закрыты. В ворота сада, тенистого и увитого плющом, въехала карета (еще есть кареты?). По тротуару у виллы Боргезе шла грациозная девушка в брюках для верховой езды и белой льняной рубашке. На ней была коричневая с козырьком шапочка, из-под которой волнами ниспадали медового цвета волосы. В руках — кожаный хлыст.

— Какая краля! — произнес синий комбинезон у бензоколонки.

Я проследовал за девушкой до манежа, сохраняя дистанцию в девять-десять шагов. Этого было достаточно, чтобы почувствовать запах лака, исходящий от ее волос, едва колышущихся на ветру, среди аромата скошенной травы на вилле Боргезе.

Несколько дней спустя (это было в среду) в салоне-парикмахерской на Виа Кондотти я встретил депутата Делла Ровере, покупавшего ароматические соли и одеколон. Чтобы избежать неловкости, я попытался сделать вид, что не заметил его. Но внезапно оказавшись передо мной, он бросился мне на шею. Затем, оттащив меня в сторону, чтобы не слышала продавщица, зашептал, как заговорщик:

— Не думайте, что я забыл о вас. Если мой большой план будет благоприятно воспринят партией, то клянусь, я снова попаду в министерство и устрою вас, как вы того заслуживаете... Да, да, что верно, то верно! Кстати, скажите-ка, вы возвратились бы в Америку? Да? Если вам надоел Вашингтон, то ведь есть еще Нью-Йорк, Сан-Франциско...

■

ГАБРИЭЛА АДАМЕШТЯНУ

Короткая прогулка после рабочего дня

Неестественная жара, ее ничто не предвещало после бесконечных дождливых дней. С утра, когда они вышли из дому, небо заволокла дымка, и было совершенно неясно, какой установится день, и вот зной застал их в свитерах, плащах, в демисезонных пальто. Они тащатся по раскаленному асфальту, одурев от сверхурочной работы, от выпитого кофе, от табачного дыма в кабинетах, от примелькавшихся лиц. Голоса и смешки тихим гулом плывут над ними, теряясь на широких просторах аллей.

— ...и вот наступила тишина — не знаю почему, должно быть, перед вопросами... И вдруг вижу — Коман взял папку и собирается вставать. Погоди, мой мальчик, говорю я ему, это еще не все, и тяну его за пиджак так, чтобы не видно было президиуму... Погоди, мой мальчик, говорю, это еше не все, ты еще не свободен. Он садится и через минуту — ну, понимаешь, буквально через минуту — засыпает...

Солнце печет затылок, преследует своим немилосердно белым светом. За ними — опустевшее здание учреждения, новый дом, построенный всего несколько лет назад, возвышается над асфальтом, перерезанным газонами. Невидимые глазу копошатся в траве кузнечики, и где-то над головой, почти у крыши, стаи стрижей буравят воздух своими пронзительными криками.

— ...я всегда говорил, что это человек опасный, если он получит власть, подожди, ты еще увидишь, что мои слова...

— ...думаешь, он в самом деле хотел или просто так, спросонья?..

— ...нет, во всем здании не найти человека с такой разработанной техникой — спит на заседаниях, как заяц: с открытыми глазами. Да

ГАБРИЭЛА АДАМЕШТЯНУ — **GABRIELA ADAMEŞTEANU** (род. в 1942 г.) Румынская писательница. Автор романов «Повседневный путь» («Drumul egal al fiecărei zile», 1975; удостоена премии Союза писателей Румынии за дебют и премии Академии), «Потерянное утро» («Dimineaţa pierdută», 1983), сборника повестей и рассказов «Подари себе свободный день» («Dăruieşte-ţi o zi de vacanţă», 1979), куда вошел и рассказ «Короткая прогулка после рабочего дня» («O plimbare scurtă după orele de serviciu»). Перевод выполнен по тексту, напечатанному в антологии «Архипелаг» («Arhipelag». Bucureşti, Editura Eminescu, 1981).

ты хоть Петрину спроси, она рядом с ним сидела, ей небось слышно было, как он похрапывал.

Петрина идет в двух-трех метрах впереди с Оницою. Время от времени она поворачивает к нему голову и хмурится — на ее гладком, немного покатом лбу между бровей пролегла маленькая морщинка. Когда она так смотрит, Оницою — говорит он (впрочем, как всегда, если они вдвоем),— Оницою знает: она слушает очень внимательно; вот так выглядит Петрина в дни особой запарки, перед сдачей работы — тут они засиживаются допоздна; это выражение лица означает, что Петрина — вся внимание; за месяцы, пока они работают в одном кабинете, Оницою изучил ее — уж он-то ее знает.

— ...ты видела, как Коман клевал носом на заседании?

— Бедняга! Как же, видела,— шепчет Петрина,— жаль его...

Она держит двумя руками сумку за спиной и при каждом шаге высоко подбрасывает ее — сумка бьет по икрам, не прикрытым короткой юбкой. Ее движения нарочито небрежны, она чувствует их неловкость, но продолжает идти тем же шагом, все так же подбрасывая сумку, этой медлительностью и отсутствием ритма подстраиваясь к походке Оницою.

—«Бедняга, бедняга»,— передразнивает ее Оницою.— Но когда ежедневно видишь, как он начинает с двенадцати часов засыпать на стуле, думаешь, что ему, пожалуй, пора завязать со службой — тебе не кажется? По крайней мере, я так думаю, ты, может, и не согласна... Если бы я дошел до такого состояния, я бы сам явился к начальству и сказал: вот что, товарищи, я проработал уже немало лет, с меня достаточно, всё, пускай теперь на мое место приходят молодые, пусть сами попробуют что почем — я бы так сделал, будь я на его месте, прямо пошел бы и так сказал...

— Мне кажется, ему не хватает стажа... некоторое время он не работал,— задумчиво говорит Петрина; резкость Оницою ее пугает.

И что это на нее нашло — жалеет Комана, а ведь, по правде сказать, ей и самой неясно, действительно ли ей его жаль... Да и с какой стати его жалеть? Что спит на заседаниях? Так ведь в этом нет ничего жалостного, скорее смешно, Оницою прав, он, как всегда, прав.

Потому-то Петрине так и льстит, что Оницою порой теряет время на разговоры с ней, в обеденный ли перерыв — тут они вместе отправляются в столовую — или когда идут домой до автобуса. Он говорит, а она внимательно слушает, даже наморщит лоб — до того внимательно: старается все уловить и сказать ему в ответ именно то, что он хочет услышать.

— Надо как-нибудь тебе рассказать — не на ходу — историю Комана,— продолжает Оницою уже другим тоном.— Как-нибудь, когда у меня будет больше времени, расскажу тебе всю эту историю... Только ему все-таки пора на пенсию, а то из-за этих нескольких сотен лей все сопляки указывают на него пальцем... Уйти на пенсию по собственному желанию,— подытоживает Оницою, чтобы у Петрины не оставалось на этот счет сомнений.

Жарко, воздух напоен запахом свежескошенной травы. Обычная дневная суета улеглась, но больше, чем в утренние людные часы, голубоватое здание за их спиной кажется одушевленным деревьями и тишиной, смягченным весенними красками.

— Видно, грядут перемены, и большие перемены,— немного помолчав, медленно говорит Оницою.

А Петрина смотрит на него в замешательстве: следует ли ей задать вопрос или лучше воздержаться, опасаясь чужих ушей? Они с Оницою первыми вышли из зала заседаний, когда по углам еще раздавались бурные аплодисменты, а в президиуме люди тяжело поднимались на ноги, придвигали стулья к столу, поправляли галстуки или, прикрыв рот ладонью, наклонялись к уху соседа. Хоть и первые выш-

ли, а, судя по голосам, их вот-вот догонят, с досадой думает Петрина. Но ни в коем случае не решается торопить Оницою.

— ...ты ее знаешь?

Оницою взял Петрину за руку повыше локтя, и его маленькие голубые глазки в глубоких складках желтоватого лица блеснули живостью и хитрецой.

— ...свояченица Сымботина... Того, из министерства...

Но поскольку он не решается ни указать на нее пальцем, ни кивнуть в ее сторону, Петрина оторопело озирается.

— Я не знала, куда смотреть и проглядела.— Голос у нее огорченный. И тут же поспешно спрашивает:— Она высокая, молодая, хорошенькая, какая она?

— ...никакая,— говорит Оницою.

Он брезгливо морщит нос и с отвращением отмахивается.

— ...молодая, но не очень — еще не старая, я бы сказал, в районе тридцати... Ни уродливая, ни красивая, ни высокая, ни... Я же говорю — никакая. И одевается неинтересно, хотя, конечно, вещи заграничные...

Он фыркает, и Петрина тоже смеется, презрительно, коротко.

В Оницою есть монашеская суровость, и эта манера держаться ей понятна и хорошо знакома, она была принята и у них в доме. Так ведут себя взрослые люди, у которых есть чему поучиться. С Оницою она чувствует себя юной, совсем зеленой, моложе, чем на самом деле — при нем она просто ученица. Вот и сейчас он будто говорит (то, что уже разъяснял раньше): к успеху часто приходят нечестными путями, а те, кто его добивается, мне лично не внушают ни уважения, ни доверия. Об Оницою Петрине еще никто ничего не рассказывал, и все же она подозревает (или это со слов Кристи Пэтрашку?), что у ее старшего приятеля было немало возможностей *подняться по служебной лестнице,* и всякий раз брала верх щепетильность, глубокая порядочность. Или даже, думала Петрина, или даже *он сам отказывался подняться по ней.*

— ...знаешь, кто с ней работает? Кажется, даже в одном кабинете... Коллега Пэтрашку — тот, который приходит к нам пить кофе. Высокий такой...

— Коллега Кристиана? Космович?— поспешно откликается Петрина, и голос ее звучит чуть неестественно.

Или, может, Оницою только показалось.

— ...какой Космович!.. Он не у нас, он в исследовательском отделе, я же сказал тебе,— произносит Оницою раздраженно,— высокий, носатый, зимой он ходит в черном свитере с красным рисунком на груди, будто собрался на лыжах, а не на службу, и руки у него длинные, идет — коридоры руками подметает...

— Антон...— прыснула девушка, даже не дослушав до конца.— Антон Ромашкану. Ах, да какой же вы наблюдательный, какой у вас глаз...

И повторила за ним сквозь смех:

— Коридоры руками подметает... бедный мальчик... Вот не подумала бы, что он так выглядит... А еще говорят — бойся женского злословия. О, не хотела бы я попасться вам на язык... Нет, не хотела бы, кто знает, что бы еще пришлось услышать...

Удивленный этим взрывом веселья, ее кокетливыми интонациями — никогда он не видел, чтобы она кокетничала, это не в ее стиле, да и не в его вкусе — ему никогда не нравились жеманницы и кривляки,— Оницою искоса взглянул на нее.

— ...пива? Это я сказал — спорю на кружку пива?

Они разом оборачиваются на знакомый голос. Пэтрашку — ну конечно же это он!— на плечи криво накинута синяя куртка, красная в крупную клетку рубаха расстегнута у ворота, в углу рта незажжен-

ная сигарета. Кристиан Пэтрашку, и говорит, как всегда, сразу с двумя собеседниками, и при этом здоровается направо и налево.

— Сколько здесь у Кристиана знакомых,— зачарованно шепчет Петрина; ей чуть-чуть завидно.

— Доживешь до его лет, у тебя столько же будет,— успокаивает ее Оницою.

Голос у него немного кислый, но Петрина этого не замечает. Сейчас нет времени, она все оглядывается, приподнимает руку и снова опускает ее, мысленно откашливается, как обычно, когда хочет что-нибудь сказать в присутствии посторонних. Пытается подать знак Пэтрашку, привлечь его внимание, но всякий раз в последнюю минуту что-то заставляет ее воздержаться.

— Ну как, господин Оницою, посмотрим сегодня вечером матч?— кричит Пэтрашку.

Наконец-то заметил их; и Петрина чуть ему улыбается, хотя маловероятно, что он видит ее улыбку.

— ...напомни, чтобы рассказал тебе о Ромашкану... Это касается нашего сегодняшнего разговора... Не забудь,— говорит Оницою, наклоняясь к уху Петрины.

Что он, не слышал вопроса? Скорее не хотел привлекать к себе внимания — не захотел кричать на таком расстоянии. Потому что шаг-то замедлил — дал возможность себя догнать.

— Нет, не забуду,— удивленно шепчет девушка.

— ...матч... посмотрим, господин Оницою?— повторяет у них за спиной Пэтрашку. Он утирает вспотевший лоб белым платком, морщит нос, щурится от солнца.

Оницою долго глядит на него, подняв колючие брови — из одной торчит слишком длинный волосок,— и чуть натужно улыбается.

— Мой телевизор испорчен,— нехотя отвечает он наконец, пожимая плечами.

Они молча идут вместе. Стриж, спустившись на бреющем полете, сверкнул округлой белизной брюшка. Шелестят молодые тополя по краям аллеи, клочья пуха свисают с них серым ватином. Петрина идет между Оницою и Пэтрашку, и на лице у нее застыла все та же полуулыбка. Даже больше, чем разговаривать с Оницою, ей нравится возвращаться с работы с ними двумя: не только потому, что все видят, как два человека, имеющие в учреждении вес, провожают ее до остановки — ее, обыкновенную стажерку, которая пришла к ним всего несколько месяцев назад. Не только поэтому. Тут она каждый раз имеет возможность услышать новости их отдела и даже других отделов: кто с кем поссорился, кого собираются выдвинуть, кто женится, кто болен, кто расходится... И от того, что она слышала, привычные рабочие часы (когда она сидит за чертежной доской, считает, готовит кофе и разливает его по чашкам, моет кофейник и кипятильник, садится за письменный стол, идет в буфет и снова варит кофе, и снова садится за письменный стол) и хорошо знакомые люди вокруг видятся в другом — немного загадочном — свете. Впрочем, иной раз, когда она идет на остановку с этими двумя мужчинами (которые говорят при ней все, не таясь, просто не обращают на нее особого внимания), она даже не слишком и прислушивается; зачем ей прислушиваться?— ведь разговор поддерживать не надо; другое дело, когда остаешься наедине с Оницою. А тут только следи себе за дорогой, чтобы не споткнуться на асфальте (с ней, как назло, такое случается, стоит оказаться в обществе особенно милых ее сердцу людей), надо идти естественным шагом (лучше бы — изящно, но это она не больно-то умеет). И еще можно иногда попросить каких-то разъяснений (задать даже самый наивный, самый глупый вопрос, и всегда один из спутников охотно ей ответит); можно иной раз засмеяться и что-то воскликнуть, а думать-то совсем про другое — вот это и есть самое приятное.

Но сегодня они молчат, и под конец Петрине становится не по себе: уж не из-за нее ли? Уж не стесняет ли их ее присутствие?

— ...ты почему так держишь сигарету?.. И не куришь, и...— тихо спрашивает она Пэтрашку.

Надо прервать молчание, а она, как ни ломала себе голову, ничего, кроме этого вопроса, не придумала.

— Да-а,— усмехается Оницою,— вот это вопрос... И ты тоже... Мы, обыкновенные курильщики, мы все ведь что делаем: зажигаем сигарету, втягиваем дым... а он? На него посмотрят и спросят вроде тебя... Возбуждает любопытство, бередит чувства, требует ответа — сама понимаешь, так-то оно интереснее...

Петрина немного неестественно смеется, а Пэтрашку оправдывается: он слишком много курит, дошел до двух пачек в день — что делать, не хватает силы воли... Так хоть на десять минут себя обманешь.

— ...а как вам сегодняшнее заседание?— спрашивает Пэтрашку, будто хочет переменить разговор.

Стандартный вопрос и интонация стандартная, точно так же спрашивал он десятки, сотни раз после стольких заседаний. Но щуплая фигура Оницою подбирается, на лице проступает решительное выражение.

— Я разочарован,— произносит он медленно и внятно.— Разочарован всем: и залом, и президиумом, и в особенности тем, кто вел собрание...

Он медленно поворачивается, чтобы посмотреть в глаза юноше и не сразу отводит вызывающе пристальный взгляд. Только на губах все та же натужная улыбка — будто он хочет смягчить жесткость интонации.

Пэтрашку понимает, что им недовольны, но не может взять в толк, чем провинился; чтобы выиграть время, он поспешно ищет в карманах куртки зажигалку — ну какой же он малодушный... Наконец зажигалка нашлась, а что сказать, он так и не нашел; однако здесь не столько ответ обескураживает, сколько выражение лица Оницою: так он выглядит всякий раз, когда пытается сказать в глаза неприятную правду.

— ...многое зависит от того, кто ведет собрание, он задает тон, остальные видят по нему, до каких пор возможно наступление. Многое зависит, и потому, что это было — ведь правда?— не совсем обычное заседание, зал мог лучше ориентироваться, они могли — и, слава тебе господи, что могли (торжественный голос Оницою приобретает иронические нотки),— сделать более достойный выбор...

Старые счеты с Олтяну, старое недовольство — ничего больше, с облегчением решает Пэтрашку. Хотел бы, чтобы я принял его сторону и все передал Олтяну, но подозревает, что я этого не сделаю (так и есть, я ни слова не скажу Олтяну, сам не знаю почему, только это уж точно — ни слова не скажу). И вообще суровость Оницою кажется мне иногда преувеличенной...

И Пэтрашку нервно затягивается мокрой сигаретой — проклятый «Амирал», деревянный, сырой.

Думаю, он иной раз преувеличивает, например, когда считает Олтяну человеком опасным и никчемным... Но может, я не вижу этого лишь потому, что многим ему обязан? Закрываю глаза на дурные стороны Олтяну, потому что он всегда ко мне доброжелателен или в силу моего оппортунизма — как иногда дает мне понять Оницою? Не могу объективно оценить ситуацию, потому что сам *вовлечен в игру* — как тот же Оницою вчера сказал мне в столовой? А может, и вправду я оппортунист, пронеслось у него в голове, и мысль эта не особенно его возмутила — чуть уколола самолюбие и вместе с тем даже внушила гордость: словно он избавился от позорной невинности, словно наконец кто-то признал, что он вступил в пору зрелости. Но под этой

мыслью копошилась другая, куда более старая, укоренившаяся, на которой ему не хотелось задерживаться: что на самом-то деле им правит случай, что никогда он не будет в состоянии выбирать — с ясностью и необходимым цинизмом — ситуации и людей, с которыми ему по пути.

И вдруг он вспомнил, как на собрании — не на сегодняшнем, а несколько лет назад — Оницою поднялся и, еще до того как приступили к обсуждению кандидатур, дал себе самоотвод.

— По состоянию здоровья я не смогу больше работать,— сказал он, обращаясь к залу, со своей высокомерной натужной улыбкой.— Прошу вас удовлетворить мою просьбу и не выдвигать моей кандидатуры.

Он сделал это поспешнее, чем следовало, сразу же после того, как зачитали список. Очевидно, был кем-то предупрежден, что имя его есть среди предложенных, что три человека там лишние и он явно не пройдет; может, сообразил, что в последнее время играет сомнительную, неприглядную роль; взвесил шансы, встал и благоразумно отказался сам.

Во всяком случае примерно так поговаривали иные люди тогда, после того заседания, которое положило начало ослепительной карьере Олтяну. Они полагали, что Оницою не зря уступил дорогу, что у него не было шансов победить в этом состязании. Хотя Кристиан Пэтрашку и сейчас, по прошествии стольких лет, считает, что они были неправы. Да, и тогда он им не верил. Просто Оницою сыт по горло всей этой возней и решил привести в соответствие свои убеждения и поведение в обществе, *теорию и практику* — о чем он говорил ему множество раз, когда они, прогуливаясь после работы, заходили в кафе на улице, чтобы выпить пива.

— ...да... то есть да... и я тоже так думаю,— поколебавшись, соглашается Пэтрашку, рассеянно играя зажигалкой.— И мне тоже показалось, что заседание было не очень удачное.

Надо щадить его самолюбие, если хочешь сохранять с ним дружеские отношения, надо на что-то закрывать глаза. И дома, и на работе ему иногда приходится заниматься таким головокружительным слаломом, что в конце концов встает вопрос: стоит ли дальше стараться? Впрочем, в отношении Оницою он никогда не задавался этим вопросом, его попреки всегда переносил с готовностью: что поделаешь, таков недостаток людей цельных — они суровы, слишком суровы, иной раз и непреклонны; но с ними, по крайней мере, чувствуешь себя спокойно, они не станут говорить за спиной — выложат все напрямик.

Оницою бросает на него косой взгляд, будто хочет что-то добавить, но молчит. Петрина круглыми глазами смотрит то на одного, то на другого спутника, уголки губ у нее огорченно опущены. Она не прислушивалась, о чем они говорили, но по тону поняла, что они обменивались колкостями. Не стоит слишком волноваться — они ведь друзья, она уже не раз присутствовала при подобных перепалках. Притворяться, что ничего не заметила, значило бы показать, что принимаешь все это всерьез; но так как она уверена, что это просто игра, лучше хотя бы статисткой принять участие в этой сцене и не скрывать своего удивления.

Петрине уже за двадцать, но по части мужчин она неопытна. Может, потому что замкнута и серьезна или не такая кокетка, как большинство девушек ее возраста. Она неопытна по части мужчин, ей почти нечего о них вспомнить, и потому до сих пор на удивление свежи в ее памяти самые нехитрые проделки ее одноклассников. На переменах, вместо того чтобы шептаться с какой-нибудь подружкой, под ручку прогуливаясь во дворе (может, потому что шептаться было не о чем), она оставалась в классе; она стояла у печки и смотрела, как мальчишки толкают друг друга, как бегают между партами и по темному коридору, как походя награждают друг друга подзатыльника-

ми по круглым, колючим, коротко стриженным головам, как переругиваются и вцепляются друг в друга из-за пустяка, как нарочно ударяют мячом того, кто послабее, а тот по возможности отыгрывается на самых тщедушных. Прижавшись к теплому кирпичу, чуть раскачиваясь, Петрина так и стояла одна, пока не прозвенит звонок; и было грустно глядеть на это мальчишечье бахвальство и грубость, на эти бесконечные стычки и еще было грустно, что она не может влюбиться ни в одного из этих примитивных созданий. Она была в тысячу раз наивнее их, ничего не понимала в жизни и все же наблюдала за ними, как теперь наблюдает за этими двумя мужчинами — с удивлением, и это несколько высокомерное удивление и сейчас написано на ее лице.

— Может, попробуем сесть?— спрашивает Пэтрашку, он беспокойно вглядывается вдаль, где показалось красное пятнышко автобуса.

— Я собираюсь пройтись пешком еще остановку-другую,— хмурится Оницою.

Он быстро поворачивается и смотрит на набережную: вам только и стается, что сесть на автобус, будто говорит его сумрачный взгляд вот и садитесь, садитесь, я ведь знаю, что вы хотите сесть, так садитесь же, и как можно скорее, дайте мне возможность идти своей дорогой...

Во всем этом есть что-то неестественное, какая-то напряженность, и Петрина смелеет; она пристально глядит на Кристи Пэтрашку, умоляя его взглядом тоже остаться. Но по его узкому веснушчатому лицу, по лбу, с обозначившимися от солнца морщинами, по косо прорезанным глазам — светло-карим, с неожиданными на свету зелеными точечками — видно, что он ничего не понял: лицо выражает только нетерпение.

Слышен скрежет тормозов — останавливается автобус,— приглушенные голоса, восклицания жаждущих войти, их нервное: «Ну-ка, барышня, поторопитесь».

Пэтрашку переминается с ноги на ногу, беспокойно поглаживает волосы (две — трудно поверить!— седые нити сверкают на левом виске): чтобы доехать вовремя, надо непременно сесть на этот автобус, но, по своему обыкновению, он, как назло, не находит подходящих слов, чтобы откланяться.

— Что ты стоишь? Беги, если хочешь сесть!— кричит Петрина.

И тут же сама удивляется, как настоятельно звучит ее голос: и заподозрить нельзя, что она торопит его из великодушия.

— ...тогда в следующий раз,— подхватывает Пэтрашку.— Да-да, в следующий раз,— кричит он уже на ходу.

И — пускается бежать.

Хоть вроде и нет причин, но он почему-то чувствует себя виноватым; давит ногой горящую сигарету и с разбегу прыгает в автобус.

■

Они остаются на тротуаре у остановки, улыбаются дружелюбной и кривой улыбкой и устало машут рукой. А висящие на подножке и те, кто теснится на задней площадке автобуса, могут видеть сквозь затуманенное пыльное стекло два как-то разом уменьшившихся силуэта: высокий, по-юношески сутуловатый — Оницою, прямые блестящие волосы падают ему на узкий лоб; рядом с ним Петрина — черненькая худая девчушка, ее жиденькие мягкие волосы взъерошил ветер, а сама она кажется еще худее из-за длинных ног и короткой юбки — слишком короткой, не по нынешней моде.

И если оба они выглядят смущенными, то это не потому, что остались теперь вдвоем — пока еще никто не причислил их к широко известным в учреждении парам Хотя, когда ты смотришь на них из удаляющегося автобуса, то и дело поглядывая на часы (потому что тебя ждут и ты боишься опоздать), ты запросто можешь подумать с

сочувственным превосходством: видно, им доставляет удовольствие болтаться вдвоем по городу — лишь бы попозже вернуться домой.

Впрочем, вполне возможно, никому не приходит такое в голову; возможно даже, иные, глядя с задней площадки, завидуют их свободе. А они в эту минуту, опустив руки и сняв с лица улыбку, стоят под выбеленным, иссушенным небом и думают об одном и том же.

— ...так, значит, ты не торопишься?... и мы можем пройтись пешком остановку-другую?..— спрашивает другим, заботливым, голосом Оницою.

Петрина безмолвно соглашается, на лице у нее решимость. Нет на свете малых и больших дел, на свете все одинаково важно и серьезно, говорят ее сосредоточенный взгляд и складка между бровями — склоняется ли она целыми часами над чертежной доской или, как сейчас, гуляет с Оницою.

— ...бедная Марга... в понедельник ложится в больницу...

— ...Марга? Да что вы! Товарищ Марга? Секретарь? А я и не знала... А что с ней?— удивляется Петрина.

Она удивляется еще и потому, что не понимает, почему вдруг Оницою подумал о Марге.

— Пока что на обследование,— отвечает он.

Изгибаясь лучезарными струями, недавно открытый здесь фонтан делает улицу просторной, придает ей веселый, праздничный вид.

— Но может, это не... Я хочу сказать, может, у нее ничего опасного,— произносит девушка. Она внимательно смотрит направо, налево. Прошло столько месяцев, а ей никак не удается привыкнуть к этому перекрестку — тут еще и сзади, с аллеи едут машины. Почувствовав ее испуг, Оницою легонько берет ее за локоть — и взял, и не взял под руку,— и так они вдвоем осторожно пересекают улицу и выходят на набережную.

Здесь воздух полыхает не так жарко, и под ивами, накинувшими на землю зеленую сеть своих плетей, остро пахнет травой. В сырых берегах, поросших буйным бурьяном, течет, поблескивая серым блеском, мутная Дымбовица.

— Да, надеюсь, что ничего,— бормочет Оницою.— Надеюсь, что ничего, иначе это была бы трагедия, было бы... Подумай, ведь у нее здесь никого — ни родителей, ни родных...

— Совсем никого?— удивляется Петрина.

Ей, у которой есть прабабушка, бабушка с дедушкой, двоюродные братья, тетушки и дядюшки, племянники, просто непонятно: как это — совсем никого?

— Никого. Она из Буковины, из села. К ним во двор упала фугаска, и вся ее семья погибла. Она уцелела, потому что уехала с одной женщиной в город...

Всем ли случалось в детстве или в ранней-ранней юности помечтать — хотя бы мгновение — о полном одиночестве? Чтобы не было на свете родных и чтобы колесить на велосипеде по городам и весям и любить первого встречного, и рисковать с закрытыми глазами, и жить, не думая о завтрашнем дне, о том, что скажут мама и папа, что скажут люди?.. Всем ли в жизни такое случалось всех ли посещают подобные запретные мысли или только благополучных детей, окруженных, сколько они себя помнят, неотступными заботами родителей живущих только ради них, как жили, например, родители Петрины?

— ...с мужем она разошлась десять лет назад, он снова женился, от второй жены у него уже большой сын, так что она совсем одна, никого у нее нет,— медленно заключает Оницою.

И погружается в свои мысли, рассеянно глядя на мутную, маслянистую воду Дымбовицы, отсвечивающую желтизной.

Под мостом — кучи мусора, бумаг, битого стекла. На ржавом парапете кто-то разложил на солнце школьную форму в мелкую клет-

ку и белые детские колготки. Рыжая кошка крысиной, опасливой перебежкой шмыгает между зеленых кустов.

— Не нравится мне этот район, решительно не нравится... Грязно, да и... Надо было все обдумать, прежде чем строить здесь наше здание, и выбрать другое место. По крайней мере я так считаю, может, ты... но скажи, как это возможно, чтобы так выглядел большой город, столица?

— Наверное, со временем... Через десять лет, когда здесь всё построят...— лепечет Петрина.

Ремешок сандалий трет ей ногу, но она не решается ни остановиться, ни сказать об этом. Настал ее черед принять участие в разговоре (иначе как поддержать дружбу с этим взыскательным и честным человеком, которую она так неожиданно для себя завоевала?), и она судорожно ищет тему, для него интересную. Но и ей не чуждую. А то ведь что же она может сказать относительно секретаря — товарища Марги? Почти ничего, она знала только, какая она на вид: худенькая маленькая женщина, седые волосы на затылке заколоты шпильками, иногда товарищ Марга приоткрывает дверь в их кабинет и спрашивает:

— Товарищ Кристя? Товарищ Кристя не у вас?

И ни за что не решается войти в комнату, хотя Оницою отчаянными жестами зазывает ее.

— Нет, нет,— говорит она и машет рукой, в которой держит напечатанные страницы; она печатает Кристе материалы о вступающих в партию и отчеты об их работе, о которых Олтяну докладывает на заседаниях.

— Нет, нет,— говорит товарищ Марга,— вам надо работать, а я вас беспокою, да и у меня работы выше головы...

Она делает несколько шагов по коридору и останавливается в ожидании Кристиана — закованная в строгий костюм мужского покроя. Она всегда ходит в синем или сером костюме, в белой накрахмаленной блузке и мальчиковых полуботинках без каблуков — она одета, как одевалась соседка Петрины, та, что жила в конце улицы, когда Петрина была маленькая. Соседка была из подпольщиц. Но если соседка носила короткую стрижку, то у товарища Марги пучок. Она стоит в коридоре чуть надменная (может, потому, что знает — она самый лучший секретарь во всем учреждении) и ждет, когда Кристиан возьмет у нее отпечатанные страницы. А в это время Кристиан вынимает из папки большую плитку шоколада, уши у него порозовели,— он в замешательстве выскальзывает из кабинета, пока не заметили коллеги: всякий раз, когда товарищ Марга всовывает в комнату голову со своим неизменным: «Товарищ Кристя?»— коллеги прохаживаются на их счет и насчет Оницою, который якобы ревнует. Оницою снисходительно смеется, и Петрина понимает, что коллеги неправы, что нельзя даже помыслить, будто когда-то что-то было между ним и товарищ Маргой. О других, пожалуй, и может такое прийти в голову, но о них с первого взгляда ясно: ничего подобного быть не могло ни десять лет назад, ни двадцать — никогда.

— Не знаю, что стряслось с Олтяну,— говорит она осторожно,— уж такой он последнее время разлюбезный, по крайней мере со мной...

— Хе, хе, еще бы! — усмехается Оницою.— На носу выборы, как же иначе?... предвыборная дипломатия...

Отсюда город карабкается вверх — старые домишки с белесыми язвами штукатурки, с почерневшими деревянными верандами. Иные лавчонки закрыты уже лет двадцать, и ставни их, отяжелевшие от пыли, ржавеют у темных подворотен. Трамваи, скрежеща железом, медленно вползают на холм, ветер прижимает к окошкам их трехцветные флажки.

— ...и последние две недели он только и знает, что шушукается в

конце коридора с Маней и Ботезату... Но представляете как? Беспрерывно,— продолжает Петрина, и мелкая страстишка звенит в ее голосе.

Она машинально мнет в руках стебелек дикой мяты — когда и где она сорвала его? Мнет бархатные, ворсистые листочки, сок липнет к ладони, и так же машинально она подносит ладонь к носу и глубоко вдыхает холодящий запах, запах лета и детства, запах зеленого пустыря на задворках родного дома.

— Но представляете как? Стоит открыть дверь кабинета — они тут как тут: шушукаются с видом конспираторов в конце коридора...

— Ну да... и, как ты могла убедиться, шушукались они не зря... Ты ведь, надеюсь, знаешь, что сегодня на собрании они захватили шесть мест в Совете[1]. Шесть мест в Совете принадлежат им — так что не зря суетились, потрудились на славу,— с насмешливой торжественностью замечает Оницою.

— ...как — шесть?

— Говорю тебе — шесть!— чуть раздраженно отвечает он.— Я подсчитал: Олтяну, Ботезату, Маня, Константинеску, плюс так называемый специалист, плюс секретарь УТЧ[2], он тоже их человек...

— Петку? Не может быть! Вы так думаете?— сомневается Петрина.

— Их, их!— Оницою с отвращением машет рукой.— До некоторой степени ты права, я понимаю, почему ты сомневаешься. Внешне Петку не входит в их группу, но, когда дело касается голосования, он чует, как складывается ситуация, и присоединяется к тому, у кого больше шансов победить... И хоть он гроша ломаного не стоит — сопляк, если начистоту, просто ноль, а пересядет — и лодка вверх дном...

Оницою говорит, как обычно, медленно, тщательно подыскивает подходящее словцо, а произнесет его и осторожно этак выждет: будто ищет одобрения у собеседника. Его — сколько он себя помнит — парализует боязнь показаться смешным, он решается открыть рот только среди людей, которые давно его знают. Он не торопится, смолоду, с двадцати лет, все надеется привыкнуть к публичным выступлениям. Только вот настанет ли его звездный час? Этого он не знает, но бессознательно практикуется; практикуется и сейчас, на Петрине особенно удобно: восприятие у нее такое свежее, и ей интересно все, что происходит в их учреждении,— может, потому, что жила она однообразнее других.

— Так что не знаю, как наш директор будет дальше: его малость поприжмут, загонят в угол,— заключает Оницою.

В голосе у него некоторое удовлетворение, но Петрина этого не замечает. Как Кристиан Пэтрашку и другие в их секторе, она считает Оницою «неприсоединившимся». В их учреждении он не принадлежит ни к одной группировке. Своими ушами Петрина не раз слышала, с каким отвращением он говорил и об одних и о других; достаточно было посмотреть, как на заседаниях он хмурится и поджимает губы, чтобы понять: ему не нравится все, что он слышит. Даже если вначале он сочувствовал директору — в самом начале, когда тот только занял директорское кресло и было еще неясно, чего он стоит,— то сейчас факт, что Оницою не связан с «правящей группой» (как сам он для смеха окрестил ее в разговоре с Петриной и с Кристианом Пэтрашку) и вообще ни с какими группами, слишком очевиден, и поэтому трудно заподозрить, что он может получать малейшее удовлетворение, следя за «событиями».

— Да, мне тоже так показалось... Ситуация, по-моему, меняется... не в его пользу,— шепчет Петрина, бросая на Оницою неуверенный взгляд.

---

[1] Имеется в виду Совет трудящихся — существующий в Румынии выборный орган, участвующий в управлении предприятием (учреждением) и занимающийся решением социально-бытовых вопросов.

[2] Союз Коммунистической молодежи.

Она похожа на ученицу, которая освоила законы теории и ищет случая самостоятельно испытать их на практике: правильно ли я их применила? не ошиблась ли?— спрашивают глаза Петрины, устремленные на Оницою.

— ...радости здесь мало.— Оницою колеблется.— Радости здесь мало, но все-таки давай пройдемся еще пешком до центра... А что, не зайти ли нам выпить по кружке пива?

Столики стоят на открытом воздухе возле узкого тротуара, в двух шагах от трамвайной линии. Слева на белой стене соседнего дома все еще красуется имя какого-то Замфиреску: ЗАМФИРЕСКУ, ВИНА — гласит огромная черная надпись. Справа — доходный дом с темной подворотней, где выстроились в ряд три полных мусорных бака. А посередине — легкие металлические столы, плетеные пластиковые стулья с металлическим сиденьем — желтые и зеленые. Посетители — только мужчины, они чокаются, хохочут, лица у них красные от солнца и выпитого пива. Три цементные ступеньки поднимаются к облупленной двери уборной, туда же ведут мокрые следы.

— Судя по ситуации, нас ожидают тревожные дни, вот увидишь,— говорит Оницою, возвращаясь к прерванному разговору, а Петрина послушно и безучастно следует за ним к угловому столику, единственному, который не занят.

Он отодвигает ей стул, она садится, кончиками пальцев брезгливо приподняв края скатерти в синюю клетку, засыпанной пеплом, ореховой скорлупой и запятнанной красным вином.

— Будут тяжелые битвы, вот увидишь,— продолжает Оницою. Он поворачивается к официантке и, заказывая, разглядывает ее мясистые мягкие икры — икры женщины, которой перевалило за тридцать.

— Боюсь только, что вся эта суета создает неблагоприятную атмосферу *наверху*... Атмосферу, неблагоприятную для нашего учреждения,— добавляет он.

Ее взгляд рассеянно скользит над набережной, утопающей в густой запыленной зелени старых деревьев. На ярком солнце зеркалом сверкает асфальт. Наконец подул ветер — маслянистая, застоявшаяся вода Дымбовицы идет рябью, трепещет, шелестит листва; если глядеть отсюда сверху, солнечный свет, просеиваясь сквозь листья, мерцает каким-то странным калейдоскопом.

— И еще боюсь, что все это кончится катастрофой... а расплачиваться будут — вот увидишь — невинные, те, кто занимается своим делом и не интересуется всеми этими махинациями, этим политиканством,— заключает он, поджав губы и скорбно покачав головой.

Пена в его кружке все поднимается, поднимается, вот-вот убежит через край.

— Скорее! — вскрикивает Петрина, указывая пальцем на кружку.

Поспешно наклонясь, он выпивает пиво до дна, утирает рот тыльной стороной ладони и удовлетворенно откидывается на спинку стула; а Петрина пьет маленькими, осторожными глоточками.

— Я вот себя спрашиваю... Только не подумайте, что я уж совсем... Я просто себя спрашиваю...— начинает Петрина сбивчиво,— что они... Там, *наверху*... Могут ли они по-настоящему знать, что происходит у нас, то есть я хочу сказать: вот все это?

Она поставила локоть на стол и подпирает рукой голову; вот и на работе, когда становится слишком шумно, она сидит так же. Ни к кому не взывает, не просит, чтобы замолчали, нет; только хмурится, щурит глаза, подпирает голову рукой и дышит медленно и глубоко. Рука у нее узкая, кожа на руке смуглая и мягкая, а пальцы гибкие, неспокойные, овальные ногти аккуратно и очень коротко подстрижены.

— Хе, хе, да еще как, еще как знают!— смачно смеется Оницою и шарит в кармане, отыскивая пачку сигарет.— Хе, хе, они все знают, от них ничего не укроется, знают даже, что мы с тобой здесь пьем пиво, вдвоем...

— Значит, что же, один из нас?.. Один из нас им все рассказывает,— скорее утверждает, чем спрашивает Петрина.— Я тоже так думала, только кто? Кто это может быть? Это известно? Кто...

— Стоп,— прерывает ее Оницою.— Стоп.

Какой смысл сообщать ей все эти подробности?

Его умиляют ее наивность и ученическое рвение в подобных разговорах. Он внимательно изучает ее слегка покатый лоб, прикрытый небрежно подстриженной челкой, живые маленькие глаза, на свету отдающие зеленью, густые пушистые брови, костлявые мальчишечьи колени, выглядывающие из-под юбки из эластика. И (уже в который раз!) он перечисляет ее недостатки, радуясь, что они у нее есть и что он их видит, и все же пренебрегает ими — не так, как пренебрегаешь недостатками дорогого тебе существа (умиляясь им или не желая их замечать), а так, как перечисляешь в уме невыгодные стороны какой-нибудь вещи, которая тебе очень нужна и от которой ты получаешь выгоду.

— Все, что я могу тебе сказать... но это должно остаться между нами...

Серьезный взгляд Петрины говорит о том, что она согласна.

— ...все, что я могу тебе сказать, это что Ботезату разослал повсюду жалобы: и в министерство и в район — везде, где он нашел желающего его выслушать. И думаю, что каждую неделю он строчит новую...

— О-о-о!— удивляется Петрина.— О-о-о... А мы-то его сегодня в Совет выбрали... Значит, об этом еще неизвестно... Может, было бы хорошо, чтобы люди знали, что он делает...

— Еще узнают, не беспокойся, еще узнают, еще услышат...— говорит Оницою.— Многие слышат, а что толку? Будто ты не знаешь, какие у нас люди, их ничем не проймешь...

Что это в его голосе — разочарование или даже некоторое презрение проскользнуло в нем? Годами служебные проблемы преследуют его даже дома, после рабочего дня. Уже расписавшись об уходе и выйдя из здания, он как одержимый вспоминает все, что слышал: поступки, которые его поразили, секретные союзы, которые ему почудились. Он терпеливо расставляет фигуры, соотносит факты, выдвигает гипотезы, которые тут же, на месте, приобретают неоспоримую достоверность. Помаленьку-полегоньку положение стороннего наблюдателя дало ему власть над всеми — они стали для него пешками в игре; он судит их сурово, потому что возвышается над ними, потому что они у него в руках. Кто лучше его знает историю последних двадцати лет существования этого учреждения — еще до того, как было построено новое здание,— и кто еще может оценить ее с той беспристрастностью, с какой это делает он?

— Кажется все же, скоро должны произойти перемены, большие перемены,— произносит он.

И снова в его голосе загадочные ноты — призыв к Петрине держать язык за зубами, как тогда, когда они шли по аллее к остановке. И она многозначительно смотрит на него и молчит.

Солнце светит вовсю, но по земле уже поползли косые усталые тени, и свет стал ласковым, далеким. Подошел тот час, который Петрина, сама не зная почему, с некоторых пор не выносит. В другое время дня она спокойно занималась делами — на службе и, если в том была необходимость, в городе, отправлялась работать на вычислительной машине; но в этот предвечерний час предпочитала тихо сидеть дома. В противном случае ее охватывало нетерпение, и от мучительного чувства, что по ее вине что-то теряется, пропадает даром, она начинала унизительно суетиться. Впрочем, сейчас, уже потому, что с ней Оницою (хотя ничего с ним особо ее не связывает), тревога смазалась, она почти ее не ощущает.

— И кажется, дни Олтяну сочтены,— весело заключает Оницою.— Вот так я с помощью логики предсказываю *ход событий.*

Он сидит, заложив ногу на ногу (никогда Петрина не видела, чтобы он так сидел), поза какая-то застывшая и неловкая, но он весел. От пива бледные щеки слегка разрумянились, и появилась в нем какая-то удивительная для него безучастность.

— Ему будет трудно не быть больше никем... ни завотделом ни представителем в Совете, ни заместителем секретаря. Что же, прямо сразу от всего отказаться?— удивляется Петрина тоном рассудительного ребенка.

— Нет, сам он не откажется... Хе, хе! Если бы от него зависело, он бы не отказался,— смеется Оницою.— *Они* от него откажутся, а это другое дело, понимаешь? Совсем другое дело...

И Оницою залпом выпивает пиво.

Он понижает голос, как обычно, когда сообщает ей секрет, несмотря на то, что вокруг нет никого, кто мог бы слышать, да и все это он говорил ей уже множество раз.

— Хотя, знаешь, лучше всего самому по возможности отказаться от высоких должностей... Ведь изменить все равно ничего не можешь... Только даром теряешь время, напрасно портишь нервы, потому что от тебя ничего не зависит, и ты в тысячу раз свободнее, когда ты рядовой человек...

И словно чтобы показать, что разговор окончен (ведь и разговоры-то ни к чему не ведут), он начинает ерзать на стуле, поворачивается направо, налево, ищет глазами официантку, барабанит пальцами по столу, восклицает несколько раз:

— Алло! Подойдите к нам, пожалуйста!— каким-то необычно громким и уверенным голосом.— Послушай,— неожиданно оборачивается он к Петрине, с силой упираясь кулаком в стол.— Послушай, что ты скажешь, если я закажу что-нибудь поесть?

Петрина чертит ногтем по скатерти. Она поднимает голову, улыбается, и по веселым искоркам в ее глазах он понимает, что ей давно уже хочется есть.

Небо над ними белое, но тусклое, погасшее. Невидимые облака накрыли шоссе тенью. Ветер гонит их, они в постоянном движении, и полоски приглушенного света бороздят черноту асфальта и поспешно скользят к концу набережной.

■

— Двенадцать лет мне было, когда я впервые один попал в город,— говорит Оницою, и Петрина удивленно поднимает на него глаза.— Двенадцать... да, да... двенадцать,— бормочет он хмуро и изо всех сил налегает на нож.— У нас во дворе рос ореховый куст, помню, орехи были совсем еще зеленые, кожура на них едва снималась — знаешь, как это бывает, да? Ты грызла когда-нибудь лесные орехи?.. И все-таки я нарвал целую кошелку, подкараулил междугородный автобус и повез их в город...

Произошло это после того, как отец погиб на войне; в семье было шестеро детей, и он, молчаливый маленький мальчик с невеселыми голубыми глазками, был старший. Я тебе поеду, говорила мать, и думать не моги, вот погоди, ужó узнаю, споймаю тебя... ты что, хочешь, чтоб люди тебя на рынке увидели? Они разговаривали в чистой комнате, на окнах — бумага, чтобы солнце не испортило вещи; тут не топили даже зимой, потому что никто в комнате не спал, и холод пронизывал с порога. Мать не сводила глаз с новых домотканых ковриков, стопками сложенных на широкой постели; с наволочек, которые она сама девушкой вышивала. Вот до чего мы докатились, говорила она тихо, в былые времена нам на селе уважение оказывали, а теперь вот до чего докатились: мальчик на рынок собрался — орехами с лотка торговать, выставлять себя перед родней на посмешище.

Родные-то по-прежнему жили зажиточно; чтобы не огорчать матушку, он тайком сел на автобус и уехал в город. Так и не мог он взять в толк, где в этом городе находилась Главная улица, и прослонялся все время по Нижнему базару между распряженными телегами, между высоченными горами арбузов... Пахло мокрым сеном, жареным мясом, цуйкой. Он крутился на одном и том же пятачке; здесь были две лавки — в одной продавались скобяные товары, в другой — свечи; корчма, чесалка; а дальше, в конце улицы, там, где кустарник переходил в прибрежную рощу, помещалась мастерская каменотеса: утоптанный — ни травинки — двор с множеством белых каменных крестов. У ворот — большой солдат из серо-зеленого камня, у солдата за спиной ранец, на плече ружье. Он возвращался снова и снова в этот двор, уставленный крестами, и вдруг почувствовал, что у него нет сил — сесть бы тут и больше никуда не двигаться. Но он в последний раз заставил себя вернуться к корчме.

Толкнул дверь и застыл на пороге — пришлось зажмуриться, пока глаза не привыкли к унылому полумраку; потом, отогнув тряпицу — чтобы видны были орехи,— он стал молча обходить с корзиной столы. Мужики в корчме сидели уже немолодые, в руках — стопка цуйки, на столе — бутылка хлебной водки. Обтрепанная одежда, запятнанные спецовки, застоявшийся запах немытых тел и мочи. Они пробовали орехи на зуб — зубы были почерневшие, редкие — и клали ему на ладонь монету. За стойкой корчмарь, подпоясанный длинным — ниже колен — грязным фартуком, из которого вываливалось толстое пузо, мыл у рукомойника под струей воды стаканы.

— Эй, давай сюда! Слышь, ты! Давай сюда! Сколько за все?

Верзила, который его выкликал (впрочем, может, и не такой уж верзила, как ему показалось), покачиваясь, запустил лапищу в кошелку и, глядя на него долгим взглядом, вытащил полные горсти орехов. Мальчик искоса, настороженно наблюдал за верзилой, душа у мальчика ушла в пятки: он знал, что верзила так и поступит — притворится, будто орехи у него выскользнули, расставит пальцы, и орехи покатятся по полу.

— Собирай! Давай собирай! Вот они, денежки!

Он помахивал замусоленной банкнотой, и все вокруг дружно хохотали.

Мальчик стоял неподвижно, с трудом сдерживая слезы; слезы уже подступали к горлу, казалось, они вот-вот вырвутся и потекут из глаз, из носа и он закричит пронзительно, по-птичьи. Выцарапать бы ему глаза, бросить в него корзину, ударить его головой в пах... но нельзя! Надо взять себя в руки, терпеть.

— Давай собирай! Вот они, денежки.

Он на четвереньках ползал под столами, сжавши зубы и проклиная орехи, раскатившиеся по полу, провонявшему цуйкой, мазутом, вином и старой блевотиной...

— Вот еще здесь! Эй, да их навалом! Вон и там еще!

Уже смеркалось, когда он присел у источника подсчитать, хватит ли денег на обратную дорогу. Источник был как раз у въезда в город, старый источник, выложенный красным камнем, его солоноватая вода сочилась постоянно, даже зимой он лишь затягивался стеклянной корочкой зелененького льда. Вода текла по трубе и была такая холодная, что пробирало до мозга костей. Здесь мыли ноги крестьянки перед тем, как вступить в город. Снимали с головы корзины, покрытые чистой, белой тряпицей, жгут, удерживавший корзину на голове, аккуратно клали на корзину и тщательно мыли почерневшие и загрубелые в пути ноги. Это были уже немолодые крестьянки, сухонькие, проворные и ловкие, с мышцами, прокаленными солнцем, маленькая головка повязана дешевым платком, синим или черным, выгоревшим на солнце, вылинявшим от частой стирки. Они болтали и терли растрескавшиеся пятки, пальцы, отекшие от ходьбы. Потом уса-

живались посушиться, а с дороги уже подходили другие. Их видно было еще от казармы, они семенили мелкими шажками — белое пятно корзины на голове, а в ней бутыли цуйки, уложенные между початками и накрытые тряпицей.

— Течет водица-то?— кричали подоспевшие издалека.— Водица-то как, течет ли?

— Течет, течет,— отвечала та, что уже сушила ноги.— Да ты, матушка, откудова будешь-то... откудова, матушка, держишь путь?

И, заметив, что уже поздно, всовывали еще мокрые ноги в грубые ботинки или в резиновые калоши. Опускались на корточки, клали жгут на макушку, осторожно поднимали корзину, вставали и шли — прямые, неподвижные, только юбка слегка колышется.

А он сидел в сторонке и старательно считал деньги, не меньше трех раз пересчитал. На противоположной стене, у которой останавливались телеги (помнится, и тогда стояла какая-то, дышло от телеги валялось в канаве, в зарослях пыльной ромашки, а рядом с ней волы жевали мокрые початки), на вечно мокрой от мочи стене, что напротив, у которой сохли навозные лепешки, кто-то нарисовал красное солнце. Голосуйте за солнце, гласила надпись над рисунком. Голосуйте за солнце.

Наконец он кончил считать и медленно направился к площади, чтобы сесть в автобус.

— Второй раз съездить туда не удалось,— говорит он хмуро, пытаясь отрезать кусок жаркого.— Осенью я поехал учиться в Бухарест... родные отправили.

— Попробуйте моим,— предлагает Петрина и протягивает ему свой нож.— Тоже не ахти, но все-таки попробуйте...

Она так и не понимает, чем он недоволен — взволновало ли его воспоминание или то, что вот уже десять минут он не может разрезать жаркое.

— Вы говорили о Ромашкану... на аллее, когда мы вышли... вы велели вам напомнить,— шепчет она.

И пристально на него смотрит — к месту ли спросила.

— А, да...— произносит он вяло.— Да-да, кажется, то есть это точно — у Ромашкану связь со своей коллегой, свояченицей Сымботина...

— Подумать только!..— удивляется Петрина, рот у нее набит, глаза округлились.— Правда? Подумать только... Это та, которая прошла мимо нас, а я не успела ее разглядеть, да? Хм, никогда бы не сказала... А откуда это известно? Кристиан вам сказал?

— Ну как же, Кристиан скажет! — замечает, слегка повысив голос, Оницою.

Он раздраженно отбрасывает ножом жир и хрящи, которые удалось отделить от мяса. Гастрит у него лет с тридцати, с той поры, когда он был холост, ел где и когда попало. Но язва открылась всего несколько лет назад, после болезни жены и неприятностей на службе. Два месяца он пролежал в больнице, целых два месяца, а когда вышел, отказался от кофе и ограничил курение. Теперь он свыкся с мыслью о болезни, постоянно говорит о ней, читает медицинские брошюры, интересуется новыми лекарствами, делает анализы и, разумеется, соблюдает диету.

— Говорит Пэтрашку что-нибудь для себя невыгодное? Что-нибудь, что не подчеркивает его достоинства? Ты хоть раз что-нибудь еще от него слышала?

Оницою положил вилку и нож концами на край тарелки — нож справа, вилку слева — и смотрит на Петрину сурово и насмешливо: «Кристиан вам сказал?» Самый вопрос вывел его из себя. Словно Кристиан информационное агентство, словно весь мир вокруг него вертится.

— Он всегда говорит только то, что его устраивает... Что не... Ты

заметила, как он точно в рот воды набрал, когда я завел речь о заседании?

И в глазах Оницою блеснула искра удовлетворения.

— Да... то есть нет...— лепечет Петрина.— То есть я не понимаю...

— Ты, кажется, не понимаешь,— посмеивается Оницою.— Кажется, ты не понимаешь, что Пэтрашку, правая рука Олтяну, должен был тоже сказать свое слово на заседании.

Он снова режет жаркое и сосредоточен теперь на том, чтобы срезать весь, до кусочка, жир.

— Но он вообще не говорил,— быстро произносит Петрина.— Он ни за кого не заступался...

По-своему она упряма, хотя из-за ее застенчивости люди этого не замечают. Но домашние-то знают, что с малолетства была она норовиста — они говорят это не без гордости: вот какая у них девочка, их малышка, упряма как осел, и ничего-то с ней не поделаешь.

— Зачем ему утруждать себя — брать слово? За него говорили другие: Олтяну, Ботезату.

— ...значит, вы хотите сказать, что и он из группы Ботезату?— недоверчиво спрашивает Петрина.

— Вот именно. Именно это я и хочу сказать, да,— заключает Оницою многозначительно.— Это я и хочу сказать, да, что он перешел с оружием и со всей амуницией в стан Ботезату...

По тому, как она украдкой озирается по сторонам, Оницою понимает, что слова его не возымели должного действия. Может, она подумала, что это просто брюзжание, что это сказано под влиянием минутного недовольства. Он не привел подтверждений, доказательств, хотя по его представлениям они так и лезут в глаза, но, может, непосвященным... Он глянул на тарелку с остывшим мясом и, брезгливо кривясь, оттолкнул ее как можно дальше, на угол стола. Самое мудрое было бы переменить тему, предать все забвению. Но он многовато выпил на голодный желудок, и его импульсивность взяла верх.

— Понимаешь,— продолжает он мягко,— понимаешь, в политике, даже на том уровне, о котором говорим мы, важно не то, какое человек производит на тебя впечатление, а его поступки, грубые факты. А факты таковы — их невозможно отрицать: входит Олтяну в группу Ботезату, которая захватила почти все посты в руководстве? Входит, это знают все. Является Пэтрашку с некоторых пор правой рукой Олтяну? Я имею в виду нас, наш отдел. Является? Ты не увиливай, скажи...

— Является, но...— лепечет Петрина.

— Никаких «но», дай мне закончить... Значит, на работе Пэтрашку — правая рука Олтяну, а сейчас, во время последних выборов, он вошел в бюро, когда сменился состав... И после этого ты еще можешь отрицать, что он в их группировке? Не кажется ли тебе все-таки, что слишком много совпадений?

В знак того, что ответ не нужен, он залпом выпивает пиво и оглядывается в поисках официантки.

— Алло!— кричит он.— Алло! Подойдите, пожалуйста!

Чтобы привлечь внимание официантки, он даже стучит по столу монетой в три баня.

— Но Кристиан столько раз говорил мне... Кристиан жаловался и на Ботезату, и на людей его группы,— говорит Петрина.

— Вот в том-то и дело! — раздраженно наступает Оницою.— В том-то и дело! Нет, ты ведь хорошо...

Наивность девушки, обычно привлекавшая Оницою, потому что давала ему над нею власть, сейчас приводит его в ярость. Это больше чем ее обычная наивность, это будто намеренная слепота.

— Во-первых, где у тебя доказательства, что он искренен, когда говорит, что не переваривает Ботезату? Ты думаешь, политика заклю-

чается в том, что каждый прямо так и ляпает что ему взбредет в голову? Ты так думаешь?

Сложенные руки Петрины лежат на коленях, она немного сгорбилась, пушистые тонкие волосы закрывают хрупкие ключицы и чуть выступающие лопатки. Непонятно, просто непонятно, почему они заговорили о Пэтрашку? И почему так говорит о нем его друг Оницою?

— Даже если согласиться с тем, что ты сказала: если принять, что между Пэтрашку и Ботезату некоторые трения, хотя говорить о трениях — преувеличение, поскольку Пэтрашку никогда не противостоял им. По крайней мере, таково мое мнение, может, ты... Но допустим — как ты настаиваешь,— они друг друга не переваривают,— терпеливо продолжает Оницою, он как будто объясняет задачи ребенку, которому не дается математика.

Терпеливый тон, ровный голос, естественные аргументы; потому что он никого не чернит. Он просто любой ценой хочет сказать правду, и Петрина должна это понять.

— Разве ты не видела... в фильмах, не читала в книгах, ну, наконец, на своем собственном небольшом жизненном опыте не поняла, что бывают ситуации, и нередко даже, когда люди, принадлежащие к одной группировке, взаимно не переносят друг друга? Речь идет лишь о временных связях для достижения общей цели... А потом они вдруг становятся самыми ярыми врагами.

Петрина качает головой — будто рассеянно соглашается и сомневается одновременно. И осторожно смотрит на часы; осторожно, украдкой — чтобы он не заметил и не рассердился.

— Да... не знаю... Может, попросим еще пива?— шепчет она, указывая на пустые кружки.

В ней наконец-то проснулся обычный женский такт, и она находит, что разумнее не спорить, если ничего не понимаешь; пожалуй, вообще лучше уйти. Небо померкло, как-то незаметно потемнело, чаще, настойчивее снуют птицы. Откуда-то налетел ветер, он гнет деревья, столбом взметает пыль. Оницою поспешно схватил кружки, Петрина прикрывает глаза руками. И вот уже снова воздух неподвижен, деревья не шелохнутся. Только враждебная тьма окутала людей, улицу.

— Так вернемся к тому, с чего мы начали,— спокойно говорит Оницою. Но колени его под столом подрагивают от нетерпения. Раз уж вступил на этот путь, ему не терпится убедить девушку, что нельзя быть такой доверчивой, надо знать, с кем имеешь дело. Пускай не будет следующий раз столь легковерной...— Если мы вернемся к тому, с чего начали, стоит вспомнить, что Пэтрашку пришел к нам всего два-три года назад...

— Шесть,— поправляет его Петрина, она что-то чертит ногтем на скатерти.

— Ну шесть, пусть шесть,— проявляя широту, соглашается Оницою.— Пусть так, дело не в этом... Значит, будучи новичком, он некоторое время выжидал, и отсюда его слава человека, который не вмешивается... Пока наконец он не понял, что, если хочет чего-нибудь добиться, надо плясать под дудку Олтяну... Этого он сразу не понял и пошел не в том направлении,— насмешливо добавляет Оницою.

Как мало Оницою понимает в людях, думает Петрина, продолжая чертить ногтем по скатерти. Она по-прежнему относится к нему с уважением — ведь не переменишь же мнения о человеке, просидев с ним два часа за пивом. И все же надо признать: Оницою сегодня не слишком в форме и сумел ей даже наскучить. Вот она его и не слушает, просто бездумно кивает головой. Она смотрит на него через стол очень пристально, на его колючие брови — из одной, загибаясь, вылезает длинный белый волосок. Очень хочется протянуть руку и вырвать его, но она понимает — это последнее, что можно себе позволить.

— Я о себе говорил... ты ведь поняла, да? Ты ведь поняла, о чем

я?— настаивает Оницою.— О себе, о своей болезни, кажется, я все тебе рассказывал...

Его болезнь! Еще бы, все учреждение знает, что Пэтрашку, новичок, стажер, ходил в больницу по два раза в неделю: приносил Оницою деньги, брал у него больничный, приносил ему книги, потому что жена Оницою была в это время тоже больна.

— ...тактика его заключалась в том, чтобы примкнуть к наиболее влиятельному человеку. Он меня на первых порах принял за такового, но потом, поняв, что здесь все бесполезно, переметнулся к Олтяну... Но ловко переметнулся — ты не находишь? Ведь и ко мне спиной не повернулся, нет,— как сделал бы менее ловкий человек, менее...

Петрина обхватила руками холодные плечи — она замерзла и не боится это показать. Интересно, как реагировал бы на все это Кристиан, узнай он об этом разговоре, думает она.

— В общем, если не происходит ничего существенного, можно сохранять иллюзию, что он с тобою рядом, но в трудную минуту... Вот хоть бы ты, молодая, неопытная стажерка. Скажи, ты веришь, что в трудную минуту сможешь опереться на такого человека?

Оницою мнет хлеб, что-то из него лепит, потом скатывает в катышек, в колбаску и вдруг рассеянно бросает его на тарелку рядом с остывшим куском мясо. Он понимает, что привел девушку в замешательство, но и его терпение уже на исходе. Как будто он все наступал, а она осторожно и упрямо отступала. Все время отступала на шаг назад, но теперь отступать некуда, и она вынуждена стоять на месте и выбирать: или с ним, или с Пэтрашку.

Девушка молчит, ему кажется — очень долго, и наконец бормочет:

— ...не знаю...

Он все ждет, но она молчит. Она ерзает на стуле, натягивает на колени короткую юбку и вся дрожит; даже пальцы ног в сандалиях без каблуков тревожно двигаются.

Нога у нее почти детская, кожа шелковистая, чуть загорелая, розовая пятка и чистые ногти блестят, будто она только что из ванной. Он смотрит на ее ногу удивленно, как на нечто невиданное или давно позабытое: перед его глазами — шершавые желтоватые ступни жены (она каждый вечер трет их пемзой), обрубки-пальцы с толстыми белыми ногтями, которые жена покрывает красным лаком. Он сидит в напряжении, все еще ожидая ответа, и пристально смотрит на узкую ступню. Вид этой ноги красноречивее рассказывает о молодости девушки, чем ее лицо.

Он впервые остро чувствует, как его влечет к ней, и пытается представить себе ее всю, движения ее тела. Может, потому, что много выпил; или потому, что несколько часов они провели рядом; а может, она и раньше всегда влекла его, только он не знал об этом? Была в этом влечении какая-то поспешность и неприязнь, желание подчинить девушку, сломить ее волю.

— Пересядем за тот стол в углу — он в сторонке, и там есть зонтик,— предлагает Оницою спокойно и почти безразлично. И берет в одну руку кружки, в другую — бутылку с пивом.

Он понимает, что Петрина ничего ему не ответит, что она укрепилась в своей нейтральной позиции, укрылась ею, словно тонкой защитной скорлупой. Да, это настоящая битва, настоящая война, и, к сожалению, он вел ее не так, как следует. Но если все равно это война, тогда он загонит девушку в угол, прижмет к стенке, нанесет ей удар, сокрушительный удар; и не любым оружием, а тем, перед которым она беззащитна.

— Садись сюда, здесь не так дует.

В воздухе все то же грозное ожидание. И вдруг падает первая капля — большая, круглая. Шорох, шум какой-то промежуточной ма-

терии, чего-то между жидкостью и камнем, чего-то, что, кажется, не имеет никакого отношения к дождю.

— На, бери, бери без разговоров,— настаивает Оницою, протягивая ей свой пиджак.

Петрина протестует, отталкивает его, но Оницою насильно накидывает пиджак ей на плечи.

И все же чем больше проявляет он это необычное внимание, тем яснее выказывает она неудовольствие; теперь она помрачнела. Ей вспомнилось, как в первые дни марта они вот так же шли вместе с работы. Он надел только что сшитый костюм и посему был в веселом и шутливом расположении духа. И вот, неожиданно повернув голову, Петрина заметила, какими наглыми, плотоядными взглядами провожает он каждую попадающуюся ему на пути женщину. Должно быть, новый костюм и свежий воздух вызвали у него ощущение, что и женщины смотрят на него, что и они к нему небезразличны.

— Видишь ли,— говорит Оницою.— Возможно, ты не обратила внимания, но для меня Кристиан Пэтрашку — одно из разочарований моей жизни...

В себе он никогда не разочаровывался, он только панически боялся показаться смешным. Но другие люди неизменно приносили ему разочарование, его глаз привычно фиксировал их недостатки, и это давало удовлетворение и одновременно раздражало. Он, восторженно переживавший каждое новое сближение: все эти разговоры, летом — во внутреннем дворике (где прохаживается безумный Космович); эти долгие прогулки после работы, кружка пива здесь, на открытом воздухе... Он, принимавший признания всех с неколебимой серьезностью, без тени насмешки — даже глаза у него теплели от искреннего сочувствия... Он ждал потом — судорожно ждал и предчувствовал: собеседник должен отойти от него, пожалев о минутной слабости, или завязать новую дружбу. Он, Оницою, ждал, подозревая, предчувствуя в каждом жесте друга предательство. В одиночестве он вспоминал без конца каждое слово, каждое подозрительное движение, пока все не представало перед ним в совершенно ином свете. Да, с помощью логических выкладок Оницою конструировал иной, разочаровывающий облик своего вчерашнего друга (или подруги). Теперь можно было глядеть на него с горечью (друг же не уставал удивляться, где и когда согрешил); можно было поворачиваться к нему спиной, мрачно отвечать на приветствие, избегать его взгляда. Потому что все, все без исключения, разочаровывали его.

— ...он — одно из моих разочарований, только я знаю, насколько он нелоялен... Только я знаю о нем правду...

На самом ли деле Пэтрашку был одним из его разочарований? От Петрины не укрылась усмешка, которой Оницою сопровождал свои слова. Ее память отмечала точно и звук и образ: закинутая назад голова Оницою и короткий скрипучий смешок.

— ...но, по-моему, самое странное в нем, что он настоящий сухарь. Вот он веселый, сыплет анекдотами и даже кажется отзывчивым, а на деле — сухарь, не способен даже на вспышку...

Петрина подняла на Оницою глаза, ей стало любопытно, и она не пытается это скрыть. И вообще — уж если она досидела до сего времени, какой смысл торопиться? Опасность дождя как будто миновала, в несколько минут небо разом посветлело, расчистилось, завеса облаков отодвинулась в сторону. И на обнаженный небосвод из-за горизонта просочился другой свет — серовато-желтый, тягучий.

Знает ли она? — спрашивает Оницою (лицо уперлось в кулак, угол рта подергивается от нетерпения), знает ли она историю скороспелой — в течение одной ночи — женитьбы Кристиана Пэтрашку? Слышала ли, как он решился сделать этот шаг? Как его вызвали на факультетское бюро, поскольку его будущая жена была беременна?

— А они... то есть бюро и все другие как узнали? — спрашивает Петрина.

Она покраснела — ей непривычно разговаривать с мужчиной на подобные темы.

— Как узнали? Ну, думаю, что девушка сама пришла к ним и все сказала, или ее родители, бедолаги...

— ...если бы я была на ее месте, ни за что бы не пошла... не пошла бы, даже если...— шепчет Петрина.

Интонация у нее какая-то театральная, и это раздражает Оницою.

— Впрочем,— начинает он и вдруг умолкает.

И снова отыскивает глазами официантку.

— Алло! — кричит он.— Пожалуйста, подойдите сюда!

— Вы, кажется, хотели мне что-то рассказать,— напоминает Петрина.

В конце концов, он тоже может промолчать, раз она так упрямо ему не верит. Раз она упрямо возражает ему.

— Я вас перебила,— настаивает Петрина.

Он мог бы промолчать и сейчас, но ее напряжение его подхлестывает, и он продолжает:

— Правда, он потом отомстил за себя, за свою вынужденную женитьбу... Ведь они живут так, что это нельзя назвать супружеством... Уж не будем говорить, что вне дома он всегда один. И что у него вечные романы... Я-то знаю, ведь мне приходится подходить к телефону — я не виноват, телефон на моем столе, меня это часто даже раздражает, но сколько же за эти годы... ему звонило разных женских голосов, разных...

Оницою замолкает, зажигает сигарету, осторожно делает первую затяжку, чтобы дым не попал в легкие... Потом оглядывается по сторонам. В кафе снова собралось много народу, появились вечерние посетители, парочки, пышнотелые женщины средних лет и молодые, волосы, только что уложенные, сверкают лаком, лица мучнистые от пудры, шелковые платья в цветочек, на обнаженной груди хрустальные бусы. Смеются заливисто, говорят громко. Воздух в темном небе подрумянен заходящим солнцем и весь звенит и гудит: трамваи на набережной, сирена «скорой помощи», проносящейся мимо...

— А дома — скандалы не реже раза в неделю, я теперь его уже изучил, и когда он утром входит мрачный, не в духе, спрашиваю: «Опять поругались?» Он только кивает...

— Но знаете... знаете,— вставляет Петрина с лукавой улыбкой.— Госпожа Соня мне недавно сказала... Только она просила никому не говорить...

Решительным движением руки Оницою заверяет ее, что будет молчать.

— ...она сказала, что видела жену Кристиана в бассейне, в Лидо, с каким-то человеком... И она уже не первый раз ее с ним видит, она говорит, что осенью в Чернике...

— Естественно,— подхватывает Оницою.— Совершенно естественно...

И жестом дает ей понять, что она не раскрыла ему никакой тайны. Говорит он теперь громче — он явно раздражен. И хмуро смотрит ей прямо в глаза. Зачем надо было затевать с ней весь этот разговор? Однако теперь слишком поздно идти на попятный.

— Естественно... а чья вина? Что было делать его жене — посыпать пеплом главу? Ведь люди же видели его с Вероникой.

— С Вероникой? — тихо повторяет Петрина.

— Вероника... ты ее не застала... Она проработала у нас полгода в административном отделе, летом, до того как ты пришла, а осенью поступила в университет...

Вот оно! Оницою понимает, что удар попал в точку.

— Совсем девчонка, только что кончила школу и провалилась на экзаменах в университет... С косичками, платьица выше колен, а на работу приходила за четверть часа до начала... Этакий свеженький цветочек, беленькая-беленькая, ей бы еще ранец. Знаешь какая? Такие девочки лет тридцать назад были, не то что нынешние — сигарета во рту, романы на полную катушку... Нет, эта примерная девочка, как в былые времена, и плюс к тому — что еще интереснее — папаша: человек с положением, со связями в высших сферах, кажется и за границей работал. Именно то, что нужно Пэтрашку... Вот он и прилип к девушке под благовидным предлогом — он, мол, помогает ей готовиться к экзаменам.

— Тогда почему же Пэтрашку не разводится?

Голос у Петрины напряженный, но Оницою будто этого не замечает.

— Почему Пэтрашку не разводится? Хм, почему, почему... Да потому, что жизнь втроем его не смущает, и еще потому, что это может помешать его карьере.

На секунду Оницою умолкает и осмотрительно гасит выкуренную лишь наполовину сигарету; насколько же у этой девушки отсутствует здравый смысл!..

— Достаточно проследить, какое усердие проявил Пэтрашку за шесть лет своего существования в учреждении,— продолжает Оницою.— Ведь он делает все, что от него требуют, и даже более того. И это касается не только службы, не только его взаимоотношений с Олтяну и сослуживцами по отделу. Вон он и в бюро проник, и уроки английского языка дает, а ведь мы могли взять платного преподавателя, но нет, Пэтрашку сам предложил свои услуги... А кто это станет за так, бескорыстно ишачить? Да тут все невооруженным глазом видно... И по поводу докторской степени он свои делишки устраивает, с Ромашкану завел шашни, чтобы опубликовать свои статьи в журнале научно-исследовательского отдела... Думаешь, почему они так подружились? И ведь ему все мало, он со временем съест и Олтяну и Ботезату — вот увидишь, он всех съест и станет у нас самым большим человеком — первым после директора. Потому-то он и боится развода. У него и так двоюродный брат в Канаде, а он при вступлении в партию об этом умолчал, но здесь, когда мы сидели с ним вдвоем за кружкой пива, проболтался...

Глаза у Петрины сузились — теперь они раскосые и зеленые, как у кошки, и она украдкой следит за Оницою. Все ее существо сосредоточено на одной мысли, зрачки расширились — признак того, что она силится что-то понять. Вдруг в ее глазах вспыхивает злая искра. И исчезает, остается только настороженность, какая-то холодность.

— ...конечно, меня ему нечего бояться, но будь уверена, они-то знают о двоюродном брате в Канаде. Понимаешь, эти мальчики из хороших семей, выросшие среди книг, владеющие иностранными языками, чванливые, спесивые, думают, что перед ними все двери открыты, потому что они получили хорошее воспитание. А посмотреть на собрании — трусы трусами, хоть один из них когда-нибудь встал и спросил: «Да разве я виноват, что у меня двоюродный брат в Канаде?» Видела ты, чтобы хоть один сделал нечто подобное? Куда там! Их первая реакция — страх, их первое движение — спрятаться. Потому что они не хотят ничем рисковать, потому что они снедаемы честолюбием...

Да, последнее время позиции Оницою пошатнулись, думает Петрина. Он ведь и начальником отдела был всего шесть месяцев, хотя работает у них двадцать лет — еще с тех пор, когда и нового здания не было... А что же ей-то делать — рассказать или не рассказывать Пэтрашку об этом разговоре?..

— Дойти до того, чтобы попирать ногами все, вплоть до жизни ближнего — лишь бы взобраться повыше... Но как высоко можно

подняться? Ну даже если станешь директором — и что? Должность, при которой у тебя нет никакой власти, ты в тысячу раз свободнее, пока ты рядовой человек,— продолжает Оницою.

Глаза стареют последними, но и они тоже стареют — кто сказал это Петрине? Может быть, тетя Клаудия, да, больше некому — ведь это она каждое утро по два с половиной часа проводила перед зеркалом: делала маски (медовая, желтки с лимоном, персиковая), пудрилась и красилась, чтобы скрыть отечность и желтизну лица. Глаза стареют последними, но и они тоже стареют, говорила тетя Клаудия Петрине. Она, как всегда, сидела перед туалетом, загроможденным черными коробочками, серебряными стаканчиками, щетками для волос с инкрустированными ручками, пустыми флаконами из-под французских духов, бусами, кривыми старыми браслетами; желтоватое зеркало, туманное — тоже от старости, покрывал, как и весь туалет, плотный слой пыли. «Глаза старятся, становятся меньше, становятся стеклянными, водянистыми, начинают слезиться»,— злобно говорила Петрине тетя Клаудия; руки в черных перчатках надвигали черную шляпу с полями в ковбойском стиле, на покатый лоб — их фамильная черта. В те времена тете Клаудии было пятьдесят девять лет, но на улице в сумерках ей чаще давали тридцать семь. И Петрина, которой тогда было девятнадцать, поняла, что́ на самом деле хотела сказать тетя Клаудия; она хотела сказать: придет время, и ты постареешь, и у тебя глаза постареют. Хоть и поняла Петрина, но не поверила, засмеялась — словно шутке,— да и сейчас не верит. Вот и у Оницою глаза не постарели, все еще голубые, проницательные — в них темпераментный блеск, а когда он говорит, они будто затуманиваются.

— Потому он и не спешит разводиться... Чтобы в отдел кадров не пришла бумага, что брак расстроился по его вине, и чтобы не воспрепятствовала эта бумага его продвижению...

Облака скопились на западе, их волнистые контуры отчетливо разрисовали золотисто-розово-зеленый фон неба. Холодные сумерки вырезали на нем очертания жилых домов и чуть в стороне — церковь. Церковь новая, повыше сотен церквушек, спрятавшихся под сенью белых акаций, с надписями на низких притворах, с облупившейся почерневшей фреской на холодной стене — этой церкви не больше двух-трех сотен лет; старее самое место, где она поставлена, здесь прошли землетрясения, пожары, сюда испокон веку в страхе перед завтрашним днем люди сходились, чтобы помолиться. Между домами и церковью трепещет и сверкает теплый клочок неба, шелковистый, розово-оранжевый, ясный.

— Отчего же по его вине? Отчего только по его вине? — спрашивает Петрина, она хочет возразить ему.

Ее плечи под пиджаком Оницою дрожат от холода, от усталости, от ярости. Она давно уже перестала обдумывать его доказательства, а может, и не пыталась их обдумать. Она чувствует только нарастающую ярость и необходимость ему возразить.

— Не один он виноват, и его жена...

Но, посмотрев на Оницою, тут же осеклась.

— Как? — Оницою даже запнулся от возмущения.— Как это — не он виноват? А кто же? Кто же виноват-то? Она долго терпела, но всему есть предел, он довел ее до этого нарочно, чтобы в глазах людей она выглядела виноватой...

Как, в самом деле как? Как можно настолько ослепнуть, как можно быть такой упрямой? Почему она не хочет видеть? Ведь он все ей рассказал про Пэтрашку, да еще не один раз, раскрыл всю его подноготную — как же могла она найти ему извинения, как могла решить, что он не виноват? Как, в самом деле как? Здесь уж не слепота и не наивность. Он прав в своих подозрениях, как всегда прав; но откуда в этой девушке такое смирение? Так пускай хотя бы поймет,

насколько у нее нет шансов, пускай не строит напрасных иллюзий. Если бы она приняла хотя бы часть правды, хоть бы услышать, как она тихонько признает: «В этом отношении вы правы». Не может быть... Он столько сказал ей, и все напрасно... нет, не может быть, он должен продолжать. Сказать ей все, все, что знает... Сказать ей все, что знает о Пэтрашку, о его романах, о случайных связях — все, что он слышал от самого Пэтрашку или от кого-либо еще, все, до самых мелких, мельчайших подробностей, какими бы тягостными или отталкивающими они ни были, чтобы и она в конце концов возмутилась. Время от времени он останавливается, чтобы передохнуть — ему не хватает воздуха,— останавливается глотнуть пива и потом снова продолжает. О, это невозможно, хоть сейчас он должен убедить ее, найти трезвые аргументы (голова у него трезвая, и он как всегда прав), найти место для удара — чтобы разбить ее слепую веру. Веру, интерес или смиренную любовь? Он сидит согнувшись, скрючившись, и внутри у него что-то стучит, как метроном, отмечая (по взгляду девушки, по ее мимике, по нервному движению рук), попал или не попал он в цель. Поздно, слишком поздно уже сворачивать с этой дороги, да он и не хочет. Он зовет официантку и просит ее принести еще пива, предлагает Петрине поменяться местами — потому что дует — и с помощью разных мелких уловок и пауз норовит продлить разговор, словно желая продлить блаженство. И каждая пауза снова заряжает его нетерпением, будто выбивая его из этого состояния с трудом обретенного блаженства; он дрожит, голос у него хрипловатый, рот кривится в натужной полуулыбке, голубые глаза блестят так, что кажется, будто он плачет. Пока он говорит, поступки Пэтрашку становятся ему яснее, мысли о нем складываются в единую картину; абсолютно точное доказательство, в котором присутствуют все звенья и каждое слово поверено услышанным или подтверждается его собственным наблюдением. И глаза Оницою настороженно всматриваются в лицо девушки, отмечая удивление и боль, которые она мгновенно стирает, прячет под благоразумной неподвижностью. Но удар нанесен — он это чувствует явственно, и тем не менее она оказывается более стойкой, чем можно было предположить. В ее молчании сквозит недоверие к тому, что он говорит, и благоразумная хитрость — нежелание ему противоречить, и все та же яростная слепота, приводящая его в отчаяние. Потому что еще немного — и в своей откровенности он дойдет до крайней черты, но, может быть, и этого, и вообще всего, что бы он ни сказал, будет недостаточно.

А она молча смотрит на него, и ее молчание говорит *нет* каждой его фразе. Эти жирные потные лица вокруг, вонь хлорамина из приоткрытой облупившейся двери уборной, запах мититеев[1] вперемешку с запахом дезинсекции из пивной, да еще пахнет мокрым цементом... от всего этого ей тошно; и кажется, будто всего этого не было, будто все это появилось только сейчас вместе с откровениями Оницою. Нет, она не может принять ничего из услышанного, для нее добро и зло ставят четкую грань между людьми, она чувствует, что может простить Кристиану все его прегрешения, как бы велики они ни были, и знает, что Оницою ей неинтересен. И потому значительно проще внимательно смотреть на него и думать: завистливый, старый неудачник, урод. А позднее, когда уйдут последние сомнения, она повторит это с еще большей уверенностью.

Свет задержался в белизне стен, не хочет уступить ночи. А Оницою все говорит, говорит, он еще многое должен ей сказать; кто, кроме него, знает правду, всю правду об этом человеке? Так почему же слова его отскакивают, и нет им отклика, отскакивают, долетев до слуха этой высокой девушки с утомленным после работы лицом? Он говорит, говорит, но только часть его рассудка участвует в этом

[1] Котлетки с чесноком, национальное румынское блюдо.

разговоре. И вдруг ощущает клокочущую ненависть, она душит его, проникает во все артерии, взрывается в нервах, отыскивая выход. Потому что на мгновение, сам того не желая, он смотрит на себя упрямыми и смиренными глазами этой девушки, глазами усталыми, светло-зелеными, почти бесцветными на изможденном, землистом лице.

Ведь ради нее — Оницою с кривой усмешкой поворачивается и всматривается в ее лицо,— ради нее он сказал все это. Он сказал ей все это, хотя всем известно, что ни разу в жизни, никому не приоткрывал он душу. И вдруг раскололся, теперь в любой день, придя утром на работу, он может услышать, как люди повторяют его слова. Даже не просто его слова, не то, что сказал он, а злонамеренно извращенную их версию, то, как эти слова преобразуются в ее устах через несколько дней. Через несколько часов. Потому что он уверен: такой возможности она не упустит, и через несколько часов — от силы через день-два — Пэтрашку узнает все. Не упустит она такой возможности — всласть наговориться с Пэтрашку наедине, войти к нему в доверие. Нет, не упустит. А он-то, он был с ней откровенен, как ни с кем. Ведь только ради нее он сказал все это. Он потратил на нее столько времени, пытаясь открыть ей глаза, рассказать всю правду. Ради нее — и он снова и снова глядит на нее, но уже совсем другими глазами: на ее слишком большой покатый лоб, прикрытый небрежно подстриженной челкой; на маленькие глаза, густые пушистые брови, которые она не умеет выщипывать; на тонкие, решительно сжатые губы. Он смотрит на нее очень внимательно; теперь от него не ускользает ни один из ее дефектов, и он поочередно радуется каждому из них и даже видит новые, которых не замечал прежде.

И все-таки ненависть его еще не знает, в какое русло ей направиться.

Что же это все-таки: наивность, намеренная слепота или хитрость смиренной любви?..

Он умолкает; вертится на стуле, оглядывается — ищет официантку.

— Ну вот и пришла пора расплатиться,— говорит он каким-то новым, незнакомым Петрине голосом.

Перевод с румынского ТАТЬЯНЫ ИВАНОВОЙ

ИОН Д. СЫРБУ

Мышь «Б»

I

Словом, шел жуткий дождь. На бульварах ни души, лишь деревья перед зданием университетской библиотеки напоминали разметанную брандспойтами толпу вышедших на демонстрацию безработных. Наверное, нигде на свете, даже в Индии или в Мату-Гросу, дождь не бывает таким решительным, наглым, таким, я бы сказал, догматичным, как в нашем очаровательном Геннополисе. Это несомненно связано со своеобразием здешних мест и здешних жителей: у нас любое мероприятие проводится в жизнь жестче и безоговорочней, чем где бы то ни было. У нас и проповеди высших служителей церкви, предвыборные речи, более того, даже любовные признания (ежели их кто-нибудь еще делает, в чем я лично сомневаюсь) звучат энергично и четко, как раскатистая барабанная дробь перед чинным сражением. Так вот, дождь этот был типичнейшим геннополитанским дождем. Он падал строго вертикально, беззастенчиво и бессовестно, а затем аккуратно и дисциплинированно стекал в канализацию. В иных местах, скажем во Франции, то и дело случаются всякие отклонения: веют ветры, меняется облачность, правительство и т. п. У нас — ничего подобного! Когда идет дождь — идет себе, и никаких.. Сие наблюдение наполняет меня, старого и — как любит выражаться мой уважаемый коллега, маразматик Парникк,— закоснелого обывателя нашего города, восторгом и упоением.

Итак, шел дождь, а я в этот час сидел в огромном профессорском зале библиотеки... в полном одиночестве. Со стены на меня взирал суровый старец Напокос, автор бессмертного труда «Veritas sive mendax»[1] (моей настольной книги, опоры моей). В читальном зале было тепло, вечерние тени благоговейно ложились на тисненные золотом корешки, глянцевая зеленая кожа уютных кресел отражала последние отблески дня, а на улице, как я вам уже сказал, шел дождь.

[1] Истина или ложь *(лат.)*.

ИОН Д. СЫРБУ — **ION D. SÎRBU** (род. в 1919 г.) Румынский драматург, прозаик, эссеист. Автор пьес «У межевого камня» («La o piatrâ de hotar», 1967), «Возвращение блудного отца» («Întoarcerea tatâlui risiptor», 1972), «Вторая сторона медали» («A doua fatà a medaliei», 1973), сборника пьес («Teatru», 1976), сборников «Рассказы из Петрилы» («Povestiri petrilene», 1973), «Почему мама плачет» («De ce plînge mama», 1973) и «Мышь «Б» и другие рассказы» («Şoarecele B şi alte povestiri», 1983). Заглавный рассказ последнего сборника печатается по тексту, вошедшему в антологию «Румынские повести и рассказы семидесятых годов» («Nuvela şi povestirea româeascâ in deceniul opt». Bucureşti, Editura Eminescu, 1983).

Рассказ включен в сборник рассказов румынских писателей «Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додацою», подготовленный к печати издательством «Художественная литература».

Уединиться в огромном зале, полном книг, знать, что ты гражданин Геннополиса, держать в руках роскошно изданный том Руссо и, слегка притомившись от чтения и размышлений, мечтать о том, как экономка подаст тебе на ужин горячий сыр в сухарях, слоеные булочки с орехами (или с маком) и бутылку испанского каберне «Панчо»... Да, по-настоящему понять и оценить все эти маленькие радости может только престарелый профессор философии, достигший на склоне своих дней той мудрости и покоя, которые дают незыблемость кафедры, безоблачное небо над головой и учтивое обхождение студентов.

Я собрался было включить настольную лампу, но передумал; за окном потоп низвергался с доисторическим упорством, переполненные водосточные трубы завывали, хрипели и хрюкали; Напокос растворился в вечернем мареве, книга в моих руках утомленно закрылась сама собой...

Нельзя сказать, чтобы Руссо был моим любимым писателем. Уж чересчур глубоко проникнут он галльским духом, к тому же излишне прост и прямолинеен. По моему скромному суждению, главный вопрос культуры — это вопрос парадигм, а французы постоянно грешили тем, что относились с презрением к этой многоплановости построения духовного мира (о чем, собственно, свидетельствует и вся их история от Великой французской революции до наших дней), и посему увязали в «конкретности повседневной жизни», в прагматизме, достойном разве что американцев... Скажут тоже, «конкретность»! Мне это слово чуждо, я склонен считать, что народ, заведомо неспособный уловить некий абсолютный смысл в выражении «вещь в себе», не способен к математике. Французы ввозят от нас фосфаты и шерсть — не помешало бы им ввозить кое-что из высшей теории чисел... Я уверен, им бы это очень пригодилось. Но каждому, как говорится, свое: раз уж зашла речь о Руссо, то я предпочитаю его скромный опус «О неравенстве» пресловутому «Общественному договору». Эта книга меня по крайней мере забавляет, другая же — вызывает этакий моральный дискомфорт, нарушающий сон и обмен веществ, напоминая о газетах, политике и прочих социальных мерзостях, порождаемых самим понятием «договор». Не исключено, что от моих мыслей попахивает нафталином, как говаривал мой остроумный женевский коллега Лагранж, не исключено, я не спорю, однако от Руссо пахнет порохом и гильотиной. Равенство — это вовсе не Закон, а всего лишь социальная установка. Предпосылка, чаяние, утопия. Французы, как правило, не понимают, не хотят понять, что искусство маневрировать принципами остается банальнейшим приемом прагматизма, в то время как закон, ЗАКОН — это одна из существенных составляющих бытия. Смешивать эти понятия — значит смешивать сущность и надежду, небо и землю, богов и людей. Если бы каким-нибудь чудом Руссо ожил, я пригласил бы его в Геннополис. Хоть на семестр. Во Франции он наверняка снова стал бы атеистом и снова — католиком, снова роялистом и снова — республиканцем и в конце концов оказался бы (как ему, впрочем, и подобает) перед неким комитетом общественного спасения в качестве обвиняемого или прокурора, что с точки зрения абсолюта абсолютно все равно.

В библиотеке стало совсем темно, лишь за окном мерцала еще молочная мгла. Толпа народа валила от остановки «Улица Мальтуса»: по-видимому, все трамваи с промышленных окраин пришли одновременно. Вставать из кресла не хотелось. Бежавшие под дождем люди были, безусловно, моими согражданами, однако это меня как-то не трогало. Размышлять о человеке можно, лишь отстранившись от него, и чем дальше — тем лучше; об этом совершенно справедливо писали еще Ницше и Шопенгауэр. Я не могу заниматься философией, не обеспечив себе предварительно отстранения критического (Гербарт) и аксиологического (Коген, Макс Шеллер) — ибо лишь таким

образом мне удается преодолеть, превзойти скучнейшее феноменологическое начало... (Гуссерль)[1].

И вечно это феноменологическое начало! Я вздрогнул. За дверью послышались торопливые шаги и хриплый, прокуренный кашель, не предвещавший ничего хорошего. Кашель показался знакомым, и я с грустью понял, что меня лишат моего уютного созерцательного безделья. Дверь отворилась, но я не стал оборачиваться. Вместо этого лениво потянулся к настольной лампе и включил свет, делая вид, что собираю бумаги. «Точно, Фрониус»,— подумал я и сразу как-то скис.

И тут же ощутил на своем плече тяжелую длань.

— Servus, collega! [2]

Мне ничего не оставалось, как... повернуться к вошедшему.

Это был он, Фрониус. Небритый, без галстука, неряшливый, пропахший табаком и водкой. Груб, как всегда. Держался он подчеркнуто неакадемично (до самых недавних пор был убежденным бихевиористом), говорил отрывисто, по-казарменному (хоть и не служил) и постоянно хохотал, бурно, как венская кухарка. Это панибратское похлопывание по плечу он привез из поездки в Финляндию. Так по крайней мере все считают (я не верю). По-моему, он просто врожденный хам — впрочем, надо признать, весьма тонкий и упорный профессор экспериментальной психологии.

— Servus, amice! — ответил я ему.

Я чувствовал себя очень неловко: ладонь у Фрониуса была потная, но не мог же я, согласитесь, воспользоваться платком... Это было бы неприлично. Терпеть не могу неловких ситуаций, посему, холодно улыбнувшись, я спросил:

— Ты откуда?

Он плюхнулся в кресло и небрежно расстегнул жилетку. Никто, кроме него, не позволял себе ничего подобного в нашем профессорском зале. Стоит ли удивляться, что его бросили две жены (это пока) и что в прошлом году его чуть не прокатили на выборах в Совет Доцентов. С такими-то замашками...

— Прямо из лаборатории,— гордо ответил он, глядя мне в глаза.

— Как так? — удивился я.— Ты снова принялся за опыты?

— Представь себя — да!

— Опять пчелы?

Я тут же сообразил, что совершил непростительную бестактность, напомнив ему о пчелах. Хотя, собственно, он сам виноват. Когда в прошлом году под влиянием некоего непостижимого мутационистского порыва он принялся за свой идиотский эксперимент, я предупреждал его... Как специалист по онтологии, я не сомневался, что у него ничего не выйдет и выйти не может. Но он упорствовал: пытался доказать физиологически и онтологически (да-с...), что пчелиные королевы в особых, самых крайних условиях могут превратиться в простых работниц и станут собирать мед. Он раздобыл с полсотни пчелиных маток (пасечники считают это своеобразным рекордом) и принялся что-то там над ними вытворять, пока в один прекрасный день мне не пришлось навестить его в больнице, куда он попал весь опухший и раздувшийся, как пивная бочка. «В чем дело?» — спрашиваю, изображая на своем лице сочувствие и удивление, хотя знал, конечно, что произошло. «Да ничего особенного,— отвечал он, вздыхая.— Со всяким может случиться... Только я их выпустил — уж я их и голодом морил, и вообще сделал все от меня зави-

---

[1] И. Ф. Гербарт (1776—1841), Г. Коген (1842—1918), М. Шеллер (1874—1928), Э. Гуссерль (1859—1938)— немецкие философы-идеалисты.

[2] Здесь: привет, коллега! *(из лат.)*

[3] Здесь: привет, друг *(из лат.)*.

сящее, чтобы выработать у них соответствующие рефлексы,— так они, вместо того чтобы отправиться строем мед собирать, собрали трутней со всей округи и такую закатили свадьбу!.. Налетели, понятное дело, и работницы, и охрана... Короче, я хотел наладить эффективное медоносное биопроизводство, а вместо этого получился чистой воды анархический бардак...»

«Ах!» — воскликнул я, ибо слово «бардак» показалось мне несколько неуместным, хотя, по правде сказать, меня радовала аристократическая стойкость королев, тем более что сим подтверждались и некоторые мои соображения. Ибо психология, господа, должна оставаться, по нашему скромному мнению, просто анатомией нейропсихических структур, то есть тем, чем она, собственно, и является, оставаться такой, какой она есть, а не стремиться при помощи всяких сомнительных ухищрений стать такой, какой она должна быть. Ибо что же произойдет с моралью, эстетикой и метафизикой, ежели экспериментальные науки, неизбежно подчиняющиеся закону «наименьшая свобода — наибольшая необходимость», низвергнут в один прекрасный день все Ценности, Принципы и Законы с их незыблемых пьедесталов?! Прошло уже больше года с тех пор. Мне было известно, что Фрониус зарекся проводить впредь какие бы то ни было эксперименты. И вот теперь он сидел передо мной, помаргивал черными глазками, потирал подбородок и улыбался. Можно было не сомневаться, что он меня не видит. Решив исправить свой ляп, я спросил:

— Значит, ты снова вернулся к экспериментам?

— Да, представь себе, вернулся.

— И где ты их ставишь, в институте?

— У себя в лаборатории, естественно.

— И на ком же ты на этот раз... упражняешься? — спросил я, с тонким ехидством изображая смущение и замешательство.

— Я работаю с мышами,— победоносно заявил он, снова хлопая меня по плечу, словно такой аргумент не мог не уничтожить мой злостный скепсис.

— С мышами? — удивился я.— Почему именно с мышами? Насколько мне известно, Уотсон исчерпал эту...

— К черту Уотсона, Кёлера[1] и всех конфигурационистов! — перебил он меня.— От них одна путаница. Опыты на животных должны преодолевать животную сущность объекта. Опускаясь до исследования простейших рефлексов, элементарной адаптации, мы тем самым пренебрегаем несомненными и весьма значительными мыслительными способностями животных. Для меня ставить психологические опыты на животных — то же самое, что исследовать психологию человека... Ну как ты не можешь понять: я исследую какую-то черту, определенную сторону человеческой психики. Не могу же я в самом деле ставить опыты на себе подобных — не говоря уже о том, что это запрещено законом,— упрощать их порывы до элементарности скотских реакций. Я предпочитаю работать с животными, предлагая им для решения простые, однозначные задачи — но все же задачи из тех, с какими сталкиваются люди в современном развитом обществе.

— Вот те раз! А не кажется ли тебе, что задачи эти непомерны для твоих мышек?— спросил я, а про себя решил, что он просто рехнулся.

Не может же в самом деле нормальный Доцент, доктор философских наук, завкафедрой не понимать, что между человеком и животными есть некое трансцендентное специфическое различие, непреодолимый экзистенциальный порог.

Изобразив на своем лице добродушие, я улыбнулся, снял очки и спросил:

---

[1] Дж. Уотсон (1878—1958)— американский психолог; В. Кёлер (1887—1967)— немецкий психолог.

— А почему ты выбрал именно мышей?

— Тому есть тысяча причин! Во-первых, это, несомненно, самые умные животные. Поверь, они во сто крат умнее слонов и даже обезьян. Интеллект обычной серой мышки я не променяю даже на квазичеловеческую гениальность самого Султана [1]. Их особый образ жизни в ходе долгой, очень долгой генетической эволюции привел к чрезвычайному разнообразию приспособительных рефлексов. Ну и кроме этого — только, пожалуйста, не смейся — я был свидетелем некоего события, заставившего меня очень и очень призадуматься...

— И что же это за событие?

— Видишь ли, я ежедневно выпиваю литр молока. Герман, мой лаборант, приносит с утра большую бутылку и ставит ее на свободную полку возле окна. На прошлой неделе я вдруг заметил, что крышка на молоке продырявлена и кто-то снял сливки. Мышь — решил я сразу. Но затем, естественно, принялся рассуждать логически: прогрызть дырку в крышке мышь, несомненно, может, и все же каким образом сумела она добраться до сливок? Конечно, ширина горлышка вполне для этого достаточна, однако расстояние от крышки до молока немалое, и, рискнув дотянуться до сливок, мышка неизбежно должна была сорваться и утонуть. Ну, а главное: отверстие было явно мало для того, чтобы пропустить мышь, пусть даже очень юную.

— Безупречная логика,— согласился я.— Все это смахивает на зачин детективной истории.

— Вот именно. И тебе нетрудно будет догадаться, что же мы с Германом предприняли: устроили засаду. Три дня сидели по три часа, соблюдая полнейшую тишину.

— И что же?

— На третий день наше ожидание увенчалось успехом. Я вооружился подзорной трубой и мог следить за каждым движением мышки, оставаясь незамеченным.

— И что же?

— Мышка явилась. Одна. Такая, знаешь, серенькая библиотечная мышка, робкая, но очень неглупая. Взобралась на крышку бутылки с молоком, прогрызла небольшую дырку и уселась, прямо как наседка на яйцах.

— А дальше?

— О, мышка оказалась просто гениальной. Пробраться к сливкам не было никакой возможности. Так представь себе, она догадалась просунуть в дырку хвостик, обмакнуть его в густые сливки и, аккуратненько вытащив, облизать. Ты понимаешь, она пользовалась хвостом как поварешкой!

Я расхохотался:

— Как не понять! Государственные мужи могли бы поучиться у твоей мышки оригинальному способу использования бюджета.

— Именно. Это развеяло мои последние сомнения. Я поручил Герману достать мне мышей, и он их достал... Уже седьмой день идет эксперимент.

— Я не совсем понял, чего ты добиваешься? Не хочешь же ты дать научное обобщение хвостосливочных связей.

— Не вижу в этом ничего смешного. Я занимаюсь вопросом исключительной, первостепенной важности. В наши дни это, можно сказать, решающий вопрос. Если эксперимент удастся, если мои мышки выдюжат, мы навеки расправимся с узколобыми материалистами и со всякими идеалистами вроде тебя. Мы опрокинем главный предрассудок нашего века, исправим фундаментальнейшую ошибку!

Фроиус был чрезвычайно возбужден, нервно размахивал руками

---

[1] Намек на опыты Кёлера с обезьянами. Кличка чрезвычайно сообразительного самца шимпанзе, с которым работал создатель монументального «Исследования интеллекта человекоподобных обезьян»— Султан. *(Прим. авт.)*

и бесконечно сморкался в платок. «Он не в своем уме,— подумал я.— Он решительно сумасшедший».

— Извини,— сказал я как можно спокойнее,— но мне все же кажется, что ты чуточку преувеличиваешь. От твоих мышиных хвостов до категорий закона или ценности дальше, нежели от нас с тобой до солнца. Я не понимаю, не представляю себе, как ты сумеешь...

Он не дал мне договорить. Схватив за плечи, повернул к себе и пристально посмотрел в глаза:

— Приходи завтра после обеда в лабораторию, покажу тебе наши результаты. Сам убедишься.

Я обещал прийти. Затем, не без сожаления убрав книгу Руссо, я взглянул на часы и, уже направляясь к выходу, спросил:

— Тебе в город?

Не оборачиваясь, Фрониус махнул мне: что, мол, остается. Я взял зонтик с подставки и уже в самых дверях взглянул на него еще раз: он стоял у окна, засунув руки в карманы брюк, и углубленно взирал на мокрые деревья. Мне стало очень смешно, но я сдержался и молча вышел. Приятно было сознавать, что в каком-то высшем смысле, с точки зрения вселенской иерархии, я, несомненно, превосхожу своего незадачливого коллегу, угнетаемого видением мышиного хвостика. Превосхожу его ясностью, чистотой мышления.

Дождь перестал, и фонари сияли как-то особенно ярко. Мимо прошли два студента. Поравнявшись со мной, поздоровались. Я им ответил. Размышляя о сыре и красном вине, ожидавших меня дома, я направился к тихому пристанищу моих углубленных раздумий.

II

В шестнадцать часов на следующий день я спустился к собору на площади. Сев на стоянке в такси, дал шоферу адрес психоэкспериментальной лаборатории. Погода стояла замечательная, осеннее солнце золотило листву, переливавшуюся самыми теплыми оттенками. Был полный штиль. По аллеям, под величественными деревьями, парочками прогуливались студенты. Кругом порхали голуби, откуда-то издалека доносился колокольный звон, о чем-то возвещала гарнизонная труба. Бесшумно, с какой-то довоенной элегантностью скользили машины.

Я чувствовал себя превосходно. Закончив на днях свое исследование о значении Единичного в эпистемологии, я наслаждался ощущением исполненного долга. Оставалось определиться насчет заглавия. Назвать книгу просто «Проблема Единичности»? Пожалуй, это звучит слишком изысканно, претенциозно. Дать педантичную детализацию, вроде «Введение в проблематику Единичного как особой сущности»? Однако!.. В конце концов я остановился на самой емкой и красноречивой формулировке: «Целостное и Единичное». Такое заглавие представлялось мне точным и в то же время достаточно современным, способным привлечь внимание публики (к тому же легко переводится и отлично звучит по-английски). Покупатель волен ожидать от такой книги любых экскурсов: в область религии, политики или — в последнее время многие этим увлекаются — в область свободной анархии.

Несмотря на то, что дорога к лаборатории Фрониуса вела вверх (Институт Экспериментальной психологии находился на вершине холма, на улице Бастилии), все же я, рассуждая философски, считал, что двигаюсь вниз, спускаюсь с олимпийских высот и нисхожу до мышей моего уважаемого коллеги. Вопрос Единичного есть основной вопрос Трансцендентности: из этих высоких сфер, пересекая царство извечных категорий, минуя имя и затем область внешних проявлений, предстояло мне спуститься в Онтологию и далее, сужая поле,

подойти не к Существу, а просто к Человеку, более того, даже не к его практическому разуму, а гораздо ниже — к физиологии и психологии простейших его безусловных рефлексов. Все это абсурдно и страшно. Презрев свободную волю сознания, углубиться в мрачные подземелья сомнительных инстинктов... Хуже того, даже не человеческих инстинктов и не обезьяньих (все же они братья наши меньшие), а инстинктов... мышиных. И мыши-то наверняка самые тривиальные. «Mus musculus». Мне вообще всегда нравились философские анекдоты. Я чувствовал, что назревает именно такой анекдот, и я смогу с изысканным академическим юмором и тонким скепсисом рассказать моему другу Лагранжу или старику О'Клену из Гарвардского университета последнюю и самую пикантную философскую притчу, в которой речь пойдет вовсе не о каких-то несчастных пчелиных королевах, а о бунтарском хвосте серой библиотечной мышки.

Дверь, как всегда, отворил Герман. Молчаливый, холодный, невозмутимый Герман. Прав был Фрониус, утверждая, что на всем просвещенном Западе не найдется субъекта скучнее.

— Господин профессор у себя? — спросил я, снимая плащ.

— Он ждет вас,— пробормотал Герман, устремив на меня взгляд отравленной щуки. «Тебя еще не хватало»,— можно было ясно прочесть в его глазах.

Я вошел в лабораторию. В лабораториях мне всегда как-то не по себе. Я не противник экспериментальных методов, ибо сознаю, что для исследования материи (я подчеркиваю: материи!) необходимы лаборатории и аппаратура. Но я исследую область духа и, кроме книг, не ощущаю потребности в каких бы то ни было реально существующих объектах. Интуиция и откровение не текут по электрическим проводам, не нуждаются в ретортах и спиртовках. В моем мире, в царстве чистого духа, лабораторию заменяет сам объект исследования: если меня интересует абсолют, к нему я приближаюсь, прибегнув в абсолюту, к ценности подступаюсь, обращаясь к ценности, сущность сознания постигаю посредством самого сознания. Глядя на это нелепое нагромождение всяческих психологических приспособлений — на электронные устройства и клетки с морскими свинками, на булькающие реторты, соединенные с мерцающими аквариумами, у меня возникает ощущение, будто я попал в некий нелепый театр, где, пользуясь смехотворными детскими средствами, пытаются изобразить абсурднейшую метафизическую комедию. Комедию «познания снизу вверх». Бессмысленную и тупую трагикомедию вульгарного дарвинизма, вывернутого наизнанку. Антиэволюционистскую и реакционную игру людей, считающих человека всего лишь прямоходящим, недостойным звания «сапиенс».

В лаборатории Фрониуса тяжело пахло мышами, сыром и плесенью. Повсюду валялись раскрытые книги, и в полутьме казалось, будто приютившийся в стенной нише гипсовый Вундт[1] ехидно ухмыляется. Хозяин — небритый, одетый в сомнительной свежести белый халат — казался усталым и углубленным в свои мысли. Он кивнул мне на кресло, и я сел.

— Что ж, начнем?— спросил он, теребя свою буйную шевелюру, достойную непонятого поэта-романтика. Непонятого и неумытого.

— Я полностью в вашем распоряжении, уважаемый коллега,— ответил я и закинул ногу на ногу, как ожидающий поднятия занавеса и решительно ко всему готовый зритель.

— Герман! — позвал Фрониус.— Принесите аппарат.

Герман проворчал что-то из соседней комнаты, затем появился с довольно большим плоским и тяжелым ящиком. Устройство походило на лишенные струн и души ветхие гусли. Лаборант установил его на рабочем столе.

[1] В. Вундт (1832—1920)— немецкий психолог, философ-идеалист.

Я поднялся из кресла и подошел поближе.

Фрониус быстро соединил какие-то провода, включил аппарат в сеть и энергично нажал засветившуюся красную кнопку.

Ящик имел плавные, лироподобные обводы, длина его составляла около метра, высота — сантиметров двадцать. Дно было выстлано зеленым сукном.

— Зачем вам эта штука? — спросил я, решительно ничего не понимая.

Герман молча ворошил свои седые космы.

— Слушай внимательно,— сказал, улыбаясь, Фрониус и, вооружившись указкой, стал объяснять: — Перед нами психологическое поле. Возможно, даже поле социологическое. Это вскоре выяснится. На данном поле, уважаемый коллега, я провожу эксперименты со своими мышками. Сейчас ты с ними познакомишься...

Мягкой тряпкой он протер закрывавшее весь ящик стекло. В закутке у широкого торца ящика я разглядел двух сереньких зверьков. Два неподвижных шерстяных комочка с блестящими черными бусинками глаз. Лишь усики у них чуть подрагивали.

— Извольте, коллега, это и есть мои герои: Мышь «А» и Мышь «Б». Особи однополы и родились в один день. Они братья. Возраст — два месяца, пора полной зрелости. Свобода им неведома: они родились в неволе и получали корм из наших рук, следовательно, у них не может быть никакого стихийного опыта. Все их предки содержались в искусственной среде!..

— Бесподобно,— согласился я.— И что же ты с ними собираешься делать?

— Погоди, сейчас поймешь. У моих подопечных одинаковый вес, одинаковые размеры. И аппетит у них одинаковый. Можешь поверить мне, они одинаково голодны...

— Продолжай, я слушаю.

— Сейчас я выпущу их на арену. В тот мир, где им предстоит добывать себе пропитание. Опыт я назвал: «обусловленное средой вынужденное сотрудничество». Вскоре тебе станет ясно, что я имею в виду. Смотри, я зажигаю зеленую лампочку; это означает: «Внимание, вы свободны, путь открыт».

Действительно, загорелась небольшая зеленая лампочка, и тут же отворилась крохотная дверца, открывая доступ на зеленое поле.

— А теперь смотри вот сюда,—сказал Фрониус, указывая на противоположный конец ящика.— В этот отсек я кладу сыр. Отличный, самый лучший сыр.— Он дал мне понюхать кусочек пармезана.

Мне сразу стало как-то не по себе: именно так пах эментальский сыр, которым я наслаждался накануне вечером.

— Итак, закладываю приманку. Видишь? Они бросаются как сумасшедшие! Но тщетно. Красный свет — знак запрета: дверца отсека, в который я положил сыр, под напряжением. Ток, естественно, слабый, он не калечит их, только пугает.

Я недоуменно пожал плечами:

— Видит бог, ничего не понимаю.— И на всякий случай достал и нацепил на нос пенсне.

— Слушай и мотай на ус. Мышки голодные. Запах сыра сводит их с ума. Они получат пищу, но с одним условием!

— С каким же?

— Они должны сотрудничать. Со-труд-ни-чать!

— Бред какой-то. Абсурд...

— Не торопись делать выводы. Вот здесь, обрати внимание, я установил небольшой рычаг. Он напоминает детские качели на скверах. Разглядел? Так вот, дверца, открывающая путь к приманке, к ароматному сыру, отворяется лишь тогда, когда одна из мышек находится на дальнем конце рычага, вон на той небольшой площадочке.

Лишь тогда одна из мышей получит доступ к пище: весом собственного тела вторая мышь приподнимает заслонку.

— И ты хочешь, чтобы...

— Да, хочу, чтобы...— Он словно старался загипнотизировать меня своим мутным взглядом.

Фрониус казался мне в это мгновение сумасшедшим фанатиком.

— Хочу! — крикнул он, запуская свою мясницкую длань в нечесаные волосы.— Ты знаешь, я действительно мечтаю добиться... сотрудничества. Для начала — на мышином уровне. Я хочу, чтобы эти крохотные животные, сии элементарные монады осуществили то, что люди не желают, не могут, а по правде сказать, и не пытаются осуществить. Я хочу, чтобы одна из мышек, пренебрегая чувством голода, спокойно сидела на площадочке моего рычага, пока другая будет спокойно есть. И еще хочу, чтобы затем насытившаяся мышь сама, без какого бы то ни было принуждения, взобралась на площадку и предоставила своей товарке возможность спокойно питаться. Теперь ты понял?

— Но это же полнейший абсурд. Абсурд!..

— Я знаю, потому и не отступлюсь. Обожаю абсурд.

— Никак не пойму, чего ты в конце концов добиваешься. Я имею в виду философский аспект...

— Чего я добиваюсь? Неужели, дорогой коллега, тебе не понятно?

— И представить себе не могу.

— Если у меня все получится, если мыши без всякого принуждения с моей стороны станут последовательно, без сбоев сотрудничать, я смогу доказать, что инстинкт не является — представь себе! — не является неизбежным порождением сущности, а всего лишь некой ее случайной ошибкой, временным отклонением...

— Так ведь это же давно известно...

— Известно вообще, но не доказано, что инстинкт можно выправить. Причем очень просто и вовсе не тем путем, за который ратуете вы, моралисты. Я готовлю удар, косвенный, но страшный удар по самой идее неизменности. Между особями нет роковых различий, просто голод проявляется по-разному. И в обществе распределение ролей не продиктовано свыше: современное состояние объясняется анархией, бесхозяйственностью, недостаточной организованностью. Неравенство, сие сложное проявление диалектического противоречия, лежащее в основе стольких зол, а может, и в основе зла как такового, порождается исключительно социальными условиями, этим проклятым обществом, обрекающим часть населения на голод. Я не могу допустить, что природа осуждает кого бы то ни было на рабство, не могу представить себе некие гены, определяющие различие в социальном статусе через своеобразие потребностей и пристрастий. Я уже говорил тебе, что мои мышки родились в один день и от одной матери: они равны перед богом, равны перед Природой и, само собой разумеется, равны перед его величеством Голодом. А раз уж они голодны, они, естественно, будут бороться за сыр, кусать друг друга... Но если их обучить, задать им сменный ритм, организовать, можешь не сомневаться: они станут послушно выполнять свои обязанности, нисколько не интересуясь, чем и как насытился другой.

— Начинаю соображать. И все же...

— Погоди, я не кончил. Суть в том, что я вырываю моих мышек из их естественного состояния, из-под немилосердной власти инстинкта самосохранения. Я вынуждаю их заключить контракт, вступить в отношения сотрудничества. «А» плюс «Б» становятся новым, неведомым доселе сообществом. Они становятся ячейкой общества, кооперацией по взаимовыручке. Им предстоит сотрудничать, питаться, развлекаться вместе. Во истинном братстве и мире.

— Вот тут-то как раз и начнутся сложности,— вмешался я.

— И вовсе нет. Само сотрудничество, безусловно, может услож-

ниться. Но борьба за существование, жестокость, жадность, господство грубой силы канут навеки в прошлое. Поверь!.. Ведь тем самым будет доказано, что страсть к стяжательству может быть искоренена, причем без попов и юристов, без так называемой морали, просто путем разумного и взаимовыгодного объединения. Моим мышам суждено это все доказать...

Я призадумался. По правде говоря, все эти выкладки несколько смущали меня. В каждом ростке мыслящего тростника дремлет и тихо грезит утопический идеал. Повторяю: чисто психологическая сторона эксперимента меня нисколько не интересовала. Я уже долгие годы утешаюсь мыслью, что мне удалось исключить из тонкосплетения моих раздумий даже тень социологизма, малейший намек на практическую целенаправленность. Мою уверенность и покой смутило нечто воспринятое мною как выпад, хуже — как посягательство на некие чрезвычайно важные для меня онтологические категории.

— Это заблуждение!— воскликнул я.— Жесточайшее заблуждение с какой бы то ни было точки зрения: с психологической, философской или моральной...

— Но почему?

— Начнем с того, что любой инстинкт, насколько мне известно, есть направление приложения определенной силы, целевой вектор, ведущий от возбудителя, то есть еды, к возбуждаемому, то есть голодному субъекту. Здесь мы неизбежно и всегда видим прямую линию! Ты же хочешь эту прямую сломать...

— Именно! И я это сделаю.

— Но ведь это же абсурдно: вводить в формулу инстинкта постороннюю неизвестную — нравственное начало. Сидящая на платформе мышь должна добровольно жертвовать привычкой подчиняться чувству голода.

— Непременно должна. Ты очень точно выразился.

— Не бывает такого. О какой морали может идти речь в джунглях, среди крыс и гиен?

— В этом следует видеть ошибку природы. Я же собираюсь исправить ее. Ежели моя попытка увенчается успехом — а это несомненно будет именно так! — я докажу, что борьба за существование есть животное варварство (если бы только животное!) и что голод — всего лишь симптом недостаточного сотрудничества, отсутствия возможности питаться поочередно. Парадоксальное явление, псевдозакон. Софизм, изобретенный бытием, самим существованием.

— Сомневаюсь. Не верю. Не могу поверить! Я полагаю...

— Спорить бессмысленно. Вопрос этот остался до сих пор неразрешенным именно потому, что его обсуждали теоретически. Я ученый, следовательно, отправной точкой для меня может быть только эксперимент. И я умолкаю, предоставляя отныне слово моим мышам.

— Нет, это уж чересчур!— возмутился я.

В это мгновение рядом возникла сгорбленная фигура незаметно подкравшегося Германа. Его бледное лицо исказила нервная судорога; было непонятно, ухмыляется он или нарочно гримасничает. В глазах мерцала издевка и злость. «Ах, посмеемся-посмеемся»,— бормотал Герман, ловко орудуя аппаратурой, необходимой для мышиного эксперимента.

— Все в порядке, Герман, можешь погасить свет,— сказал профессор и стал за пульт управления.

Свет погас, арена на мгновение окунулась во мрак.

Затем неожиданно вспыхнули две крохотные лампочки, и зеленое поле осветилось. Обстановка стала таинственной, волшебной. Мы все оставались в темноте, лишь изредка скользнувший по стеклу блик выхватывал чье-то лицо. Фрониус вспотел и явно устал от напряжения. Герман казался вялым и сонным. Я нервно протирал очки.

Мыши выстроились перед дверцей, замерли. Нужно было приглядеться очень внимательно, чтобы заметить, как они дышат. Крохотные розовые мышиные ноздри трепетали. Арена казалась бескрайней, как зеленеющее пшеничное поле. И в конце этого пространства виднелся рычаг. Воплощение Долга.

Зеленая лампочка вспыхнула, мыши рванулись к приманке. Та же игра. Отчаянный бег, гонка к заветной цели. Там — схватка, отступление, неразбериха. Еще одна попытка... Хаос.

— Quod erat demonstrandum! — расхохотался я.— Что и требовалось доказать.

Фрониус бросил на меня плотоядный взгляд:

— Это всего лишь первый этап. Твой. Этап проявления тупого инстинкта, прямого приложения силы. Слепое действие голода.

— Да, но разве...

— Наступил мой черед вмешаться. Здесь нужны величайшее терпение и такт. Погоди-ка... смотри внимательно...

Бережно отодвинув закрывавшее ящик стекло, Фрониус длинными щипцами осторожно поймал одну из мышек и посадил на площадку, которой завершался рычаг. Устройство сработало, и вторая мышь жадно принялась за еду.

— Постой! — воскликнул я.— Что же это такое? Зачем ты применил щипцы?

— То есть как это зачем? В воспитательных целях. Я указываю им путь, образовываю, разъясняю условия договора о сотрудничестве.

— Да разве это похоже на воспитание? Это просто дрессировка.

— Ты берешься провести четкую грань между дрессировкой и воспитанием?

— Ну тогда ты должен их еще и бить.

— И буду.

— Как же тогда быть с моральной стороной дела?

— Благородна сама цель. Все забудется, и щипцы, и палочка, которой я их наказываю. С того часа, как они станут работать сами, без моего вмешательства, все, что поначалу представлялось карой и насилием, преобразится в принцип, в закон... В норму жизни.

— Но ведь начинаешь-то ты с террора? Не кажется ли тебе, что твои методы напоминают слегка фашизм?

— Почем я знаю? Моя задача — в сжатом виде воспроизвести вероятный путь естественного развития. Если бы в этом пространстве, именно в данных условиях в течение сотен и тысяч лет жили некие мыши, не кажется ли тебе, что со всей неизбежностью им пришлось бы прийти к распределению труда? Собственно, мое вмешательство просто восполняет века, необходимые на естественное развитие. Главное — результат.

— И чего же ты сумел добиться до сих пор?

— Не слишком многого. Я только наметил основные параметры эксперимента. Мы в самом начале. Собственно, я позвал тебя, только чтобы изложить суть вопроса. На результаты можно рассчитывать не раньше, чем через несколько месяцев.

— Если, конечно, истина окажется на твоей стороне.— На этот раз не он меня, а я похлопал его по плечу весьма снисходительно.

Спор затянулся до поздней ночи. Я постарался доказать ему всю абсурдность посылки: никогда мыши не станут помогать друг другу добровольно. Ведь без него (а он заменяет им сознание), даже в том случае, если отношения сотрудничества удастся установить, они прекратятся, как только исчезнет страх перед наказанием. И вообще... все это — просто философская аберрация. Природа не делает скачков, биологическое приспособление — вовсе не минутное дело, и ни о каком контракте не может быть речи там, где двигателем является голод. Спорить против всего этого бессмысленно. Но Фрониус оста-

вался непоколебимым. Он бился яростно, вдохновенно. Расстались мы чуть ли не врагами.

— Не стоит ссориться,— сказал я уже в прихожей, когда Герман подавал мне плащ.— Слово за твоими мышами. Если у них получится это... «сотрудничество»... Только смотри, чтоб было истинное сотрудничество, а не цирковое какое-нибудь или казарменное... Вот тогда я сдамся. Ну, а до тех пор я останусь при своем мнении.

И я ушел, не позволив себя проводить. Ночь стояла холодная. С пригорка город открывал чудесную панораму огней, башен и башенок. Часы на колокольне собора показывали полночь. Мне стало жаль потраченных впустую часов, которые следовало бы употребить для работы над предисловием к моей книге о категории Единичного. И все же потом, вспомнив черные глаза Фрониуса и блестящие бусинки мышиных глазок, я расхохотался. В отличнейшем расположении духа, насвистывая, я спустился в город и направил свои стопы к дому. (Здесь я должен признать, что все же в тот день зарекся есть сыр пармезан. Навеки. Ради приличия, из эстетства. Согласитесь сами: не может же уважающий себя профессор диалектики «возбуждаться» наподобие несчастных мышек, только начинающих свою академическую карьеру.)

III

Совершенно не помню, как пролетела осень, как промелькнула зима. (Страшная зима, самая холодная на моей памяти.) Работы, правда, было много, очень много: сложный новый курс, бесконечные мытарства, связанные с изданием книги, обширнейшая переписка с зарубежными коллегами. Про Фрониуса я почти совсем забыл. Раза два я встречал его в коридоре возле деканата: он казался больным и измученным, здоровался как-то отчужденно, с еле заметной иронической ухмылкой. Я решил, что мыши ему тоже изменили...

Весной мне все же пришлось вспомнить о его фантазиях. Случилось это в серый, дождливый, мрачный день, когда я попал в состав делегации городского совета (я только что, после долгих перипетий, был удостоен звания советника) на торжественные похороны в провинции: сколько-то там шахтеров задохнулись в штольне. Задохнулись или сгорели, точно не помню. Пришлось надеть черный костюм, черную шляпу и нацепить столь ненавистную мне маску официальной скорби. Стоит ли говорить о том, что никого из пострадавших я лично не знал и шахтерский труд как способ существования был бесконечно далек от сферы моих интересов. Я не хочу сказать, что смерть человека оставляет меня равнодушным. Просто я считаю трагическое неотъемлемой частью жизни и, следовательно, не вижу в смерти ничего бесчеловечного: наоборот, считаю, что это одна из тех вещей, на которых зиждется мир. В прошлом году, в Лозанне, когда после банкета мы зашли к Лагранжу на рюмочку коньяка, он готов был проглотить меня живьем, услышав это мое мнение. «Как ты смеешь так мыслить?! Ну, а если бы ты родился лягушкой, червяком или собакой, что тогда? В бесконечном разнообразии жизни родиться человеком — не закономерность, а подарок судьбы, великий шанс. И поэтому ты не свободен от ответственности перед себе подобными...» Мне стало просто смешно. «Всякая сущность пребывает в развитии,— сказал я ему тогда.— Все есть энтелехия и рост по спирали. Желудь становится дубом, ты стал преподавателем морали, я — онтологии... Ну а шахтеры стали шахтерами, солдаты — солдатами и безработные — безработными. Не стоит смешивать достаточную причину с причиной сущностной».

Я шагал в похоронной процессии. На тесных улочках, между высокими домами из красного кирпича, моросил мелкий дождик и клубился черный дым. Где-то играли траурный марш. (Терпеть не могу Брамса в переложении для медных инструментов.) Мы уже подхо-

дили к кладбищу, и я подумывал о том, что не худо бы передать шоферу, чтобы он подъехал как можно ближе к воротам. Вдруг ко мне подошел очень бледный, сутулый, весь скрючившийся под своим громадным зонтом человек. Я узнал Германа. Слуга и лаборант профессора Фрониуса робко глядел на меня влажными глазами, тихо поздоровался.

— В чем дело, Герман? — спросил я его.— Что-то стряслось?

Он без конца сморкался в огромный платок и всхлипывал, как ребенок.

— Господин профессор,— пролепетал он сквозь слезы,— ведь они умерли, задохнулись, как крысы...

— Да, кстати, как там твои мышки в лаборатории?

Он уставился на меня долгим, тупым взглядом, словно не понял моего вопроса. Затем повернулся и, не прощаясь, быстро пропал в толпе. Tel maître, tel valet [1], решил я и напрочь забыл об этой встрече.

Вскоре начались дожди. Наши долгие, невротичные весенние дожди. Где-то в апреле произошло несчастье — идиотское, бессмысленное несчастье, после которого мне пришлось принять должность Декана. Заведующий кафедрой логики Стоиков был обнаружен как-то вечером, часов этак в семь, висящим в подвале своей виллы. Самоубийство. От любви, от шизофрении или от пьянства — бог его знает. Во всяком случае историю преподавателя логики, старого профсоюзного деятеля, избравшего вместо сократовской цикуты (мог бы додуматься) телефонный шнур, не так-то легко переварить. Не говоря уже о совершенно гротескном завещании, в котором он объявил единственной своей последней волей, чтобы обе его кошки были приняты на содержание ректората. (Даже не хочется вспоминать, что он писал в постскриптуме этого так называемого завещания: он просто-напросто посылал нас куда подальше, утверждая, что «все мы надоели ему до смерти, затюкали до нет спасу и — о чем это? — вымарали с ног до головы». Скандал.) Пришлось устроить ему торжественные похороны: газеты считали коллег ответственными за его смерть... В довершение всего мне выпала незавидная честь произносить на кладбище речь от имени профессорского состава. Что можно сказать на могиле преподавателя логики, покончившего самоубийством и оставившего миру вместо собрания сочинений двух сиамских кошечек? И ведь действительно — ни единой рукописи. Ни цитаты, ни лозунга. Ничего, кроме ругани и зазнайства.

Все, естественно, прошло благопристойно, оркестр исполнял реквием, и я, высоко поднимая ноги в замызганных лаковых башмаках, пытался выбраться из толпы и удрать домой. Верхом моих мечтаний была ванная и теплая постель... У самого выхода кто-то вдруг грубо схватил меня сзади за локоть. Мне стало не по себе. Уже почти совсем стемнело, в густом тумане покачивались на ветру невысокие кладбищенские пинии. Я нехотя обернулся.

В черном костюме, аккуратно выбритый, рядом стоял Фрониус. На этот раз он выглядел и держался необычайно корректно, с почти академическим достоинством. И все же видно было, что он сильно возбужден. Глаза горели, лоб покрывали бисеринки пота.

— В чем дело, коллега? — спрашиваю.— Никак перебрал?

— Черта с два,— отвечает,— просто я счастлив. Счастлив, как жених за час до брачной ночи.

Я решил, что он повредился от горя: поговаривали, будто Стоиков благоволил к нему за роднившую их склонность к выпивке.

— Ты должен, обязательно должен на них взглянуть! — шептал он мне в самое ухо, точно заговорщик-фанатик.— У них стало получаться ну просто здорово!

---

[1] Каков хозяин, таков и слуга *(франц.)*.

— У кого «у них»?— Я тщетно пытался высвободить руку из его грубой клешни, но Фрониус насел на меня с пущим азартом:

— Мыши. Эксперимент удался! Представляешь себе? Удался!..

— Не может быть,— пробормотал я с недоверием и даже с некоторой досадой.— Это полностью, совершенно исключено.

— Поехали, сам убедишься. Я на машине.

— Извини, любезный, но ты же видишь, в каком я виде. Решительно не могу заниматься наукой в заляпанной грязью обуви...

— Брось. Герман позаботится о твоих башмаках. Поехали, не пожалеешь!

Что мне оставалось делать? Мы уселись в машину и в неловком молчании тронулись в путь. Всю дорогу я терзался сомнениями и ломал голову: неужели он прав? Значит, случаются еще чудеса? Может ли быть, чтобы кусочек отменного импортного сыра и две основательно проинструктированные мышки посягнули на существующий мировой порядок?.. Смешно!

Герман открыл нам, взял у меня мокрое пальто и обувь — туфли, уже вычищенные, почти тут же принес обратно и помог мне обуться, однако за все это время не проронил ни слова. Я решил, что от постоянного общения с животными он окончательно потерял дар речи. Что-то в этом человеке раздражало меня: я чувствовал, что он меня не уважает, даже ненавидит; во взгляде его таилось презрение и плохо скрываемая угроза.

В лаборатории все было приготовлено, словно специально для демонстрации. Еще сильнее, чем в прошлый раз, пахло мышами и застарелым сыром. Я взглянул на «арену» — вроде никаких изменений, лишь «А» и «Б» показались мне кругленькими, отъевшимися.

— Как ты их различаешь? — спросил я у Фрониуса, неуклюже влезавшего в халат.

— Да очень просто, они же совсем не похожи.

— Для меня они — как две капли воды.

— Это тебе просто кажется, потому что ты с ними не работал. Давай пометим «Б» синими чернилами, для наглядности. Кстати, «Б» умнее и ошибается гораздо реже, чем «А»... Этот зато настырен, упрям и жаден: смахивает на нашего ректора и еще на одно лицо, чье имя лучше вслух не упоминать.

— Значит, успели дифференцироваться?

— В какой-то степени. Психологически. Зато на социальном поприще у них полная гармония. Сам увидишь. По-моему, нигде на свете не найти больше такого вдохновенного сотрудничества.

— Что ж, посмотрим.— Я глубоко вздохнул и водрузил на нос очки.

Фрониус весь как-то напрягся. Когда он подходил к своим кнопкам, лицо его становилось непроницаемым и жестким, как лицо командира батареи, собирающегося отдать приказ о первом залпе в первый день новой мировой войны. Впрочем, может быть, мне это только казалось. Даже противная физиономия Германа превращалась в полутьме лаборатории в сакральную маску жреца неведомой кровавой религии.

Под нашими плотоядными взглядами зеленая арена наполнилась ярким светом. Мышки мелко-мелко задрожали, затем успокоились. Тоненько зазвенел колокольчик, и возле дверцы мышиного закутка вспыхнул точечный огонек.

— Я стал разнообразить сигналы,— объяснил Фрониус.— При сочетании слуховых, зрительных и обонятельных стимулов эксперимент получается эффектнее...

— Можно закладывать сыр? — хриплым голосом спросил Герман.

— Да.

Герман принялся за дело. Спокойно, без лишних движений длин-

ным хирургическим пинцетом он просунул в щелку небольшой кусочек сыра.

— Теперь слушай внимательно,— сказал Фрониус.— По ходу эксперимента пришлось ввести несколько второстепенных элементов, дополняющих первичную чистую схему. Мои подопечные — мальчики; следовательно, для того чтобы у них не возникало сексуальных комплексов, я раз в неделю пускаю их на целую ночь к девочкам: пусть порезвятся. Наутро — обратно в клетку... Ну а чтобы они от скуки или от избытка сил не затевали драку, я подкладываю обрезки и обрубки всяких материалов — вон, в углу, видишь?— которые можно грызть. Пусть точат зубы на досуге, зато они при деле и наверняка ничего не попортят.

— Все это несколько напоминает «Kraft durch Freude», обыкновенный фашизм. Тебе не кажется?

— Это меня не касается. Я как ученый не позволяю себе никаких предрассудков: знание рождается только из опыта. Главное — цель, а вовсе не применяемые для ее достижения средства.

Я нагнулся, чтобы лучше разглядеть зверьков. Меня волновало, раздражало почему-то синее пятно на спинке мышонка «Б». («Глядя с недосягаемых высот Единичного,— писал я в своей книге,— видно, что каждый человек, любой индивид отмечен неким знаком, цветной полоской особого, только ему присущего спектра, в котором заложена его счастливая или несчастная участь, судьба...») Да-с. Да...

Тут я обратил внимание на блестящие черные бусинки мышиных глаз. И понял, что стою в преддверии невероятной, фантастической тайны. Так замирал Платон на пороге пещеры и святой Франциск при виде крохотного соловья, так Гегель смотрел на кусочек магнита... За мышиными глазами, под серыми шкурками этих грызунов скрывались нервы, кора больших полушарий, хранилища наследственности и приобретенного знания. Средоточие Природы и Закона. Глядя на послушно застывших в ожидании мышат, я ощутил какую-то непонятную жалость, смутное сочувствие. Вот он, Старт, подумал я, исходная точка общественного бытия и бытия экзистенциального. В этом нервном ожидании, в дрожащих усиках этих невзрачных существ заключается весь смысл и содержание жизни. Как это горько! Какой печальный символ нашего с вами человеческого существования.

Металлическая дверца внезапно открылась. Подопытные ринулись на арену. Один — направо, другой налево. Захваченные азартом бега, сделали по нескольку кругов. Пытались подпрыгнуть — вверх, к стеклянной крыше. Тщетно. Пути для бегства не было. Вверх — тем более.

— Я даю им набегаться,— объяснил Профессор,— пусть израсходуют излишнюю энергию. Кстати, частично снимается воздействие заточения. И возникает очень важный стресс, вызванный беспомощностью, бесполезностью борьбы...

— Мне не совсем понятно, о каком стрессе ты говоришь.

— Ах, ну да... Сейчас объясню. В двух словах. Прежде чем приступить к эксперименту с «А» и «Б», я, естественно, провел несколько предварительных исследований. В одном из опытов я взял двух точно таких же мышат, самцов, братьев, одного возраста. Одного я сразу бросил в бочку с водой, а второго, прежде чем бросить, держал в течение пятнадцати минут в руке, пока он не убедился, что пропал, что борьба совершенно бессмысленна и бесполезна. Так вот, да будет тебе известно, что первая мышь, не прошедшая испытания страхом, проплавала в бочке шестьдесят часов. А вторая, подвергнутая стрессу, сдалась почти сразу: через два часа я уже нашел ее лапками кверху. Следовательно...

---

[1] «Сила через радость» *(нем.)*— массовая организация, существовавшая в фашистской Германии, занималась устройством культурно-спортивных мероприятий.

— Достаточно. Я понял. Можно продолжать.

— На этот свободный — относительно свободный — бег отпущено ровно три минуты. Собственно, мой эксперимент начинается только после этой подготовки.

Я обратил внимание, что на этот раз ни одна из мышек не посмела коснуться находящейся под напряжением заслонки, отгораживающей сыр.

Троекратно вспыхнула белая лампочка. Мышата как по команде прижались к стальному рычагу. Оба сильно дрожали.

Прозвучал звонок... И тут на моих глазах свершилось чудо! Мышь «Б», мышонок, помеченный синими чернилами, стал неуклюже пятиться и вдруг неожиданно ловко, изящно даже, подпрыгнул и очутился на платформе. Механизм сработал, как чуткие весы, и мышь «А» набросилась на сыр. «Б», казалось, вовсе этого и не замечал. А ведь я знал, что он голоден и что для его чуткого обоняния сыр пахнет убийственно. Судорожно жрущий «А» должен был, по логике, довести «Б» до отчаяния, но тот сидел неподвижно, как воплощение самопожертвования. Сама Отрешенность. Серенький Будда...

Мне вспомнилось, что мыши, так же как кроты, змеи и драконы, играют важнейшую роль в восточных мифологиях: все первичное, связанное с землей, причастно к таинственным законам плодородия и жизненной силы и возникает всюду, где идет жестокая борьба между жизнью и смертью. Мыши и змеи в изобразительной символике первобытных религий обозначают крайние ситуации, являются вестниками катастроф, роковых событий. В индийской философии мышь (mûshaka) сочетается с понятием кражи, кражи в области сердца (athma). Моряки считали палубных крыс духами земли, связующими их с сушей, а шахтеры и по сей день остерегаются убивать их, считая воплощением дьявола. Перед крысами преклоняются, часто наделяют их званиями и чинами («Директор», «Полковник», «Префект», «Советник» и т. п.). Сам Аполлон в доэллинистическую эпоху часто именовался Sminthé, что обозначает мышь или крысу (точно не помню). Поразительное явление: бог солнца отождествлялся с грызунами, истреблявшими посевы и приносившими чуму!.. Стоит ли вспоминать еще, что в Сибири и в Китае внезапное исчезновение мышей считается предзнаменованием великого бедствия, а в Японии они являются непременными спутниками бога изобилия Даикоку (повторяю, в деталях я могу ошибаться).

— Это феноменально! — воскликнул я, вытирая платком пот со лба.

Фрониус сиял горделивой улыбкой, точно кондитер, выслушивающий похвалы своему фирменному блюду.

— Первый этап,— уточнил он,— длится у нас десять секунд... Вот и все.

Снова прозвенел звонок, замигали зеленые и красные лампочки. Оба мышонка спохватились и, точно старательные новобранцы, кинулись в пространство, которое Фрониус называл «Точкой О», то есть в свой закуток.

— Этап второй!

Та же игра. На этот раз «А» занял место на площадочке и «Б» получил свободный доступ к приманке.

— Обрати внимание на главное, самое главное,— прошептал Фрониус, еле сдерживая свой восторг.— Я не вмешиваюсь. Ни на йоту.

— Ты включаешь и выключаешь приборы,— возразил я не очень уверенно.

— Сигналы служат всего лишь для наглядного обозначения условных рефлексов. Мыши ничего не знают о моем существовании.

— В этом их великое счастье: иначе бы они взбунтовались. Или стали бы тебе поклоняться.

Игра возобновлялась снова и снова. Смена самопожертвования и

наслаждения повторялась двенадцать раз с четкостью колебаний маятника в часовом механизме. Я был сражен. Мне было трудно поверить в происходившее на моих глазах. Фрониус спокойно курил, развалившись в кресле, а на кнопки нажимал Герман. После двенадцатого раунда Профессор поднял руку:

— Хватит. Иначе они насытятся.

— Но разве не в этом цель? — удивился я.

— Разумеется. Однако я приметил странное явление: отсутствие голода порождает свободу, свобода расковывает фантазию, а фантазия, родительница искусств, является в то же время источником беспорядка и, следовательно, злейшим врагом дисциплины.

— Однако... Похоже, ты докопался до сокровеннейших причин монашеской аскезы и армейского послушания.

— Вполне возможно,— улыбнулся Фрониус.— Кстати, неужели тебе никогда не бросалось в глаза, что голодные народы анархичны и грубы, а сытые — изнеженны и распутны? Цивилизация создается племенами полусытыми и полуголодными, теми, кто трудится и молится — ora et labora — ради хлеба насущного.

Герман унес экспериментальную бандуру в чулан, затем подал нам коньяк и кофе.

— Итак, достопочтенный герр Профессор,— съязвил Фрониус,— какие мысли вызывает у Вас только что увиденное?

Разговор у нас вышел серьезный. Я согласился, что эксперимент доказывает возможность онтологической мутации. Этот случай никак нельзя считать диалектическим скачком — боже упаси! Под мутацией подразумевается перенос некой существенной черты из одной конкретной формы существования в другую, например — из сферы инстинкта в сферу сознания или из «царства возможного» в «мир реально существующего», в то время как «скачок» — это всего лишь неожиданно возникшее звено в цепи одних и тех же сущностей и причинных связей... Затем мы пришли к единодушному мнению, что нарушение линейности инстинктивного вектора, ломку незыблемой прямой, ведущей от возбуждения к удовлетворению, можно приравнять к чуду. Фрониус без конца повторял, что данный вид сотрудничества отменяет необходимость в таком этапе, как общественное распределение труда. Меня эта сторона дела нисколько не волновала: меня интересовали философские, а также моральные выводы из принципиально новой очевидности, в соответствии с которой любая форма ответственности, всякое «надо» способно положить конец антагонизму эгоистических интересов, пресечь грубые столкновения, этими интересами вызываемые.

Мы разгорячились. Особенно после того, как было выпито шесть чашек кофе и почти целая бутылка коньяка (французского). Никто из нас не заметил, что Герман подсунул нам на закуску пармезан, тот самый сыр (проклятое наваждение), которым, казалось, пропахло все помещение, весь институт, а может быть, и весь город.

Итоги и выводы. Кроме итогов и выводов нас не интересовало ничто на свете. В завершение дискуссии мы постановили: если эксперимент будет проходить без сбоев целую неделю, мы опубликуем результаты. Я обязался написать исследование о принципиальных онтологических последствиях наблюдаемого явления сотрудничества, Фрониусу же выпадала более конкретная задача — сформулировать общее психологическое и частное, антропологическое значение данного случая. За ним — конкретика, за мной — итоговые обобщения. Все логично, научно, практично. Идеально.

Шел уже третий час ночи, когда я наконец решился отправиться домой.

Я никак не мог покинуть лабораторию, не повидав еще раз наших мышек. Пришлось навестить их в чулане, где царила полная тишина и полумрак. Мышата демонстрировали полное безразличие к

нам и ко всему миру: забившись каждый в свой угол, прилежно грызли по деревяшке. Лишь на кратчайшее мгновение помеченный синей полосой приподнял свое розовое рыльце: казалось, он грезит в упоении или пытается по-своему спросить меня о чем-то. Допускаю, впрочем, что все это мне только померещилось. Все же я выпил больше обычного, поэтому не исключено, что мыши меня и не заметили. Они грызли, грызут, грызли, грызут — вертелось у меня в голове,— и, подобно им, вечность грызет и подтачивает берег тщеты человеческой...

Счастливый и довольный, я проспал остаток ночи покойно и без сновидений.

IV

Меня не трогали больше ни ветер, ни тополя, ни молоденькие девушки, размахивающие косичками на улицах города в вечерний час. С совершеннейшим безразличием взирал я на бесконечные вереницы велосипедов-трудяг, бойко спешащих утром к заводам и устало ползущих вечером обратно,— и не менее равнодушным оставляла меня куча нечитаных газет, растущая на моем рабочем столе. История, все ее преступления и прочие сюрпризы больше меня не касались. Ясным путем созерцания, упорным спекулятивным трудом я сумел достичь прямого контакта с первичными небесными сущностями. Давно остались позади историческое время и географическое пространство, и день за днем, по мере того как росла кипа исписанных листов, я все яснее чувствовал, что Истина в последней инстанции близко, совсем близко и началось уже ее превращение из бестелесной навязчивой идеи в осязаемую уверенность, достоверность, в залог покоя и душевного равновесия.

Всю неделю я названивал в лабораторию ежедневно. Герман неизменно отвечал: «Все в полном порядке». Иначе и быть не могло. Кончилось владычество обратимости.

И я принялся за работу.

Наверное, никогда в жизни я не ощущал ничего возвышеннее того божественного трепета, которым одаряло меня философское созерцание, пока я набрасывал теоретические контуры своего нового исследования. Отталкиваясь от двух мышей и кусочка сыра, легко вознестись до весьма непростой проблемы приспособления к окружающей среде, миновать условный рефлекс, Сциллу и Харибду наследственности и инстинкта, преодолеть затем путь от частного к общему, от явления к сущности — и обнаружить вдруг, что онтологический принцип, универсальная категория, может рухнуть... Моральные, эпистемологические, эстетические аспекты этой революции неожиданно, по-новому освещают многие проблемы, преподнося самые поразительные сюрпризы. Спирально восходя к небесам, чудесный фимиам спекулятивных измышлений укладывается в неведомой выси в стройную систему. Мыши, жалкие «А» и «Б», остаются где-то далеко внизу, как несущественные частности первичного импульса. Не раз случалось мне поздно вечером, завершая работу, глядеть на черное, беззвездное небо, размышляя с чудесной силе духа, способной вознести человека из праха на космические высоты, создать, основываясь на смехотворных достижениях невзрачных грызунов, геометрически совершенный храм гармонии, вдохновения и вечного умиротворения.

Фроиус тоже трудился не покладая рук. Звонил редко, всегда очень спешил, но живо интересовался моими успехами. Я, слава богу, смело мог заверить его, что работа идет полным ходом и к концу второго семестра, самое позднее — летом, мое исследование, разросшееся до размеров основательного тома, сможет увидеть свет.

В мае Фроиус доложил результаты нашего эксперимента на представительнейшем международном съезде психологов в Страсбур-

ге. Я следил за его выступлениями по телевизору и по радио, пресса пестрела сообщениями о настоящей научной революции, вызванной блестящими успехами экспериментальной психологии.

Сады зацвели в срок. Бесконечные дожди прекратились, утих холодный северный ветер. Весна заполонила город. Вечерами из-под цветущих каштанов, разбросанных на территории университета, доносились звуки сентиментальных гитарных аккордов и пели чистые юные голоса. Труд мой был завершен. Я мог по праву гордиться им. Вне всякого сомнения, он стал моим высшим достижением. Самоотверженность, с которой я решился на столь многотрудный и рискованный теоретический экскурс, принесла долгожданные плоды.

Двадцать третьего мая, точнее — вечером этого дня, в двадцать часов двадцать минут произошла катастрофа.

Вначале был телефонный звонок.

— Ты дома? — прорычал злой голос.

— Естественно. А кто спрашивает?

Я подумал было, что это Фрониус, но сразу решил, что он не мог еще вернуться из Страсбурга, а звонить из Франции слишком дорого. Да и говорили явно из Геннополиса.

— Это я,— послышалось в трубке,— профессор Фрониус. Ты должен приехать в лабораторию. Немедленно.

— В чем дело? Когда ты успел появиться?

— Неважно. Выезжай сию же минуту.

— Что случилось? Ты можешь наконец объяснить?

— Случилась беда. Приезжай, сам все увидишь. Я жду тебя!

Что же мне оставалось делать? Я стал поспешно собираться, теряясь в догадках. В голосе Фрониуса явно звучал страх, панический ужас. Зная причуды моего коллеги, я надеялся, что он преувеличивает. Может быть, с ним стряслось что-нибудь на съезде? Связался с француженкой или старый Герман подложил ему свинью? Собственно, Герман всегда был мне чрезвычайно антипатичен: на работу он являлся вечно мрачный и злой, словно мы были лично ответственны за то, что у него плохо с жильем, жена — редкое страшилище и семеро детей. Все — девочки. Взрослые и не замужем.

Через полчаса я позвонил у входа в лабораторию. Дверь открыл сам Фрониус. Он, естественно, был небрит и в одной рубашке. Рукава засучены, физиономия багровая.

— Когда ты ухитрился вернуться? — спрашиваю.

— Два часа тому назад.

— И домой не заезжал?

— Нет. Из аэропорта — прямо сюда. Всю дорогу мне мерещились эти проклятые «А» и «Б». У меня было дурное предчувствие. Хм, предчувствие.

— Да скажешь ты мне наконец, что же, собственно, произошло?

— Что произошло, что произошло?.. Сейчас сам увидишь. Герман, готовь эксперимент.

— Опять? — пробурчал тот.

— Да, да — опять. И изволь не раздражать меня. Тоже мне мышь «Б».

Никогда раньше я не видел Фрониуса таким злым.

Герман принес ящик и подключил его к сети. Погасил верхний свет. Я стал разглядывать преступную парочку. Мышата сидели в своем закутке и внешне нисколько не изменились. Разве что один стал чуть-чуть покрупнее. Впрочем, мне могло показаться. Во всяком случае, синяя полоска, отмечавшая «Б», пропала. По-видимому, стерлась со временем.

— Следи повнимательнее,— приказал мне Фрониус.— Начинаем...

Эксперимент по сути не изменяли. Все же я старался не пропустить ни малейшей детали. После первого раунда я недоуменно уставился в мутные глаза моего коллеги:

— Все идет отлично. Как прежде.

— Погоди,— ответил он и дал второй старт.

Мыши выскочили на арену. Возле рычага произошла какая-то заминка, они сцепились и стали кружиться на одном месте. Фрониус склонился над аппаратом, не переставая ругался. Отвратительно, как пьяный извозчик. Но к щипцам прибегать не хотел. Более крупный мышонок (теперь я ясно видел, что один из них стал толще, жирнее) пытался загнать второго на платформу. Потасовка длилась не больше двух-трех секунд, затем все снова вошло в норму: один мышонок взобрался на платформу и стал умываться, второй отправился есть сыр.

— Отлично! — воскликнул я.— Все в ажуре.

— Как, ты ничего не заметил?

— Ничего особенного.

— Ты разве не видишь, что этот подлый «А» жрет второй раз?

— Неужели?

— Ну да, несчастный «Б» опять сидит на платформе.

Я похолодел и почувствовал, как по спине забегали мурашки. Наклонился к аппарату и тоже выругался. Впервые за всю свою ученую карьеру.

— Ты прав, черт побери! Запускай по новой.

На этот раз события возле рычага приняли прямо-таки трагический оборот. «Б» ни за что на свете не желал сидеть на платформе. «А» наскакивал на него, кусал и подталкивал. Дело дошло до того, что они, как маленькие гладиаторы, вцепились друг другу в горло и стали кататься по всей арене, слившись в один серый клубок.

— Скажи-ка,— спросил я у Германа,— с каких пор началось это свинство?

— Примерно неделю тому назад. С того дня, как господин профессор уехал на съезд. За двенадцать раундов, которые мне велено было проводить ежедневно, бедняге «Б» удавалось поесть не больше двух раз. И то лишь когда эта гадина уже нажиралась...

— Почему ты не навел порядок? Почему не вмешался?

— Я не мог: господин профессор строго запретил.

— Смотрите, смотрите! — воскликнул Фрониус, вцепившись своими волосатыми руками в край ящика.

Борьба окончилась. Побежденный «Б» нехотя пятился к платформе. «А» подгонял его тычками, кровожадно щерился, кусал. «Б» с трудом взобрался на рычаг и медленно, лишь по мере того как рычаг наклонялся, пополз к платформе. «А» снова набросился на сыр. В третий раз подряд.

В это мгновение лицо Фрониуса страшно исказилось. Глаза расширились, руки напряглись до хруста в суставах. Я даже испугался за него.

— Что с тобой?

— Вот! Здесь!..— Он кричал что есть мочи.— Вот! Кровь! Кровь на моей арене!

Действительно, было отчетливо видно, как из серой шеи мышонка «Б» на зеленое сукно тонкой струйкой стекает алая кровь.

Не успел я опомниться, как Фрониус, воя точно сумасшедший, поднял ящик и с жутким остервенением швырнул его на пол. Аппарат раскололся, стекло разлетелось вдребезги. Я и сам был невероятно зол. Тоже хотелось завыть по-звериному.

Мы опомнились, лишь когда столкнулись головами, разыскивая под обломками мышат.

— Я их убью! — орал Фрониус.— Уничтожу! Они лишили меня всего. Во что мне теперь верить?! Они были братьями, равноправными во всем... Что станется с человечеством, если даже такой элементарный договор невозможно соблюсти? Получается, что подлые,

ленивые и тупые закономерно становятся тиранами и эксплуататорами!..

Бедняга разрыдался. И было отчего: действительно, рушилось все. С лицами, искаженными дикой ненавистью, мы шарили дрожащими руками в поисках виновников катастрофы. Мы решили убить их. Мы должны были это сделать.

— Вот один, попался! — воскликнул я.

Герман включил все лампы. Из-под заваленного щепками зеленого сукна к нашим ногам выкатился серый комочек. Фрониус занес ногу, чтобы раздавить несчастного.

И тут Герман метнулся и с диким воплем вцепился ему в горло.

— Не этого, только не этого! — орал он.— Это бедняга «Б». Надо найти и убить гадину «А»! Обязательно надо!

Я уже было решил, что Фрониусу суждено скончаться от удушья. Однако ему все же удалось вырваться из людоедских объятий обезумевшего лаборанта.

— Пошел ты к черту,— порекомендовал он своему помощнику.— Идиот несчастный. Скотина. Кретин.

Ругань чудесным образом успокоила его. Гроза миновала, и я мог без особых опасений вылезти из-под стола. Что я и сделал, продолжая, правда, дрожать. Герман принялся что-то бормотать и захлюпал носом, как младенец. Он достал платок и стал вытирать струившиеся по морщинистому лицу слезы. Кажется, я когда-то еще видел его таким. Но когда? Где? И почему он плакал? Не помню.

— Что теперь делать-то будем? — спросил я.— Корабль наш разбит, компас потерян, звезды закрыли черные тучи.

— Материк этакой,— составил Фрониус изящную академическую анаграмму из весьма распространенного выражения.— Уважаемый коллега, лично я... весь этот опыт. К черту сотрудничество, да здравствует мышь «А», большой привет Лиге Наций!..

Вековые деревья подкашивались, точно былинки. Вода в Ниагаре ринулась вспять. Плотинова спираль взбрыкнула и вонзилась тончайшим своим острием в бренную землю. В яблоке с древа познания оказался небольшой парадигматический червячок. Звездное небо и мои моральные устои насквозь провоняли сыром. Седовласый Напокос, опора души моей, иронически ухмылялся и призывал идти «per aspera ad ridiculus mus» [1]. Однако мой труд, лучший опус мой, был уже завершен. И сей памятник спекулятивному умонастроению был воистину величествен и неподражаем. Да, а бедняга Фрониус сколько трудов вложил... Собственно, если рассматривать его результаты как «вещь в себе», они — само совершенство, образец чистейшей логики. Из них вытекает — с величайшей степенью вероятности — принципиально новый взгляд на связь и соотношение между инстинктом и долгом... Не правда ли?

Тут я посмотрел на Германа, смеявшегося теперь так же безудержно, как безудержно он только что рыдал. И вдруг я ясно вспомнил этих его задохнувшихся шахтеров и чудовищный носовой платок, в который он без конца сморкался. И прозрел: я его ненавижу. Бескорыстно, объективно и без всяких к тому причин. Ненавижу основательно и навеки.

Я повернулся к несчастному моему коллеге и заявил подчеркнуто торжественно и категорично:

— Итоги твоего эксперимента верны и остаются в силе.

— Ты так считаешь?

— Вне всякого сомнения. Эта дурацкая концовка ничего не меняет. Ответственность за это происшествие лежит исключительно на Германе. Он должен был вмешаться.

---

[1] Через тернии к смехотворной мыши *(лат.)*.

Как чудом прозревшие, стали мы продолжать наш прерванный диспут. Не прошло и часа — мы снова исполнились счастья и гордости. Все взвесив, решили публиковать свои труды. «Pium desiderium pia fraus»: благое чаяние — благочестивая ложь. Вся суть заключается в благом намерении. В светлых перспективах. Финал нашего опыта доказывает всего лишь, что «Б» — жалкий трус. Его драма не имеет отношения к существу дела. Все произошедшее после Страсбурга следует выкинуть из памяти. Ибо за противоречия, обнаружившиеся уже после того, как мы подвели все итоги (причем сделали это со всей научной тщательностью и щепетильностью, не так ли?), ответственен один Герман. Этот скотина, этот кретин, который...

Перевод с румынского АНДРЕЯ КОВАЧА

■

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Роман АРКАДИЯ и ГЕОРГИЯ ВАЙНЕРОВ «Лекарство для Несмеяны». Издательство «Христо Г Данов».
Повесть ДАНИИЛА ГРАНИНА «Еще заметен след». Издательство «Народна култура»
Роман ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА «Наука расставания». Партиздат.
Повести НАДЕЖДЫ КОЖЕВНИКОВОЙ «Елена Прекрасная» и «Посторонние в доме». Издательство «Народна култура».
Роман ЯНА КРОССА «Императорский безумец». То же издательство.
Рассказ ВЛАДИМИРА КРУПИНА «Вербное воскресенье» и повесть «Живая вода» То же издательство.
«А душу твою люблю...». Повесть о Наталье Николаевне Пушкиной. Подлинные письма и факты. Предположения. Раздумья АГНИИ КУЗНЕЦОВОЙ. То же издательство.
«Корни дуба» Впечатления и размышления об Англии и англичанах ВСЕВОЛОДА ОВЧИННИКОВА. Издательство «Отечествен фронт».
Повесть ЮЛИАНА СЕМЕНОВА «ТАСС уполномочен заявить». Издательство «Народна култура»
Роман МИКОЛАСА СЛУЦКИСА «Лестница в небо». Партиздат.
Роман АЛЕКСАНДРА ЧАКОВСКОГО «Неоконченный портрет». То же издательство.

ВЕНГРИЯ

Роман ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Ягодные места». Издательство «Магветё»
«Стихи» ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА Издательство «Европа».
«Горячий пепел» Хроника гайной гонки за обладание гайным оружием ВСЕВОЛОДА ОВЧИННИКОВА Издательство «Кошут».
Повесть ГЕОРГИЯ СЕМЕНОВА «Городской пейзаж» Издательство «Европа»
Роман МИКОЛАСА СЛУЦКИСА «На исходе дня». То же издательство

ГДР

Роман МАЙИ ГАНИНОЙ «Сто жизней моих». Издательство «Фольк унд вельт».
«Поэтический альбом» МИХАИЛА ДУДИНА. Издательство «Нойес лебен».
Повесть ВЛАДИМИРА ЖЕЛЕЗНИКОВА «Чучело». Издательство Киндербухферлаг».
Роман ГРИГОРИЯ КАНОВИЧА «Свечи на ветру». Издательство «Фольк унд вельт».
Повесть НИКОЛАЯ ЛЕОНОВА «Ловушка». То же издательство.
Повесть АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА «Благие намерения». Издательство «Нойес лебен».
Повесть КОНСТАНТИНА СИМОНОВА «Двадцать дней без войны». Издательство «Ауфбау».
Роман АЛЕКСАНДРА ФАДЕЕВА «Молодая гвардия». Издательство «Нойес лебен».

ЭРИХ ФРИД

Перевод с немецкого В. КУПРИЯНОВА

Труд каменщика

Поскольку труд каменщика
тяжелый мужской труд
и поскольку руины
оставалось разбирать женщинам
поскольку мужчин почти не оставалось
и поскольку в следующий раз
не останется даже женщин
поэтому не должно быть следующего раза
поэтому восстановленное с таким трудом
в последний раз
пусть больше никогда не станет руинами

Бомба для детей

Представьте себе:
каждые три дня
повторяется
Хиросима

Сто тысяч
были убиты тотчас
сорок тысяч
погибли позже

© Verlag Klaus Wagenbach, 1978, 1979, 1981, 1984
© Bund-Verlag, 1984

ЭРИХ ФРИД — ERICH FRIED (род. 1921 г.). Австрийский поэт, прозаик, публицист, переводчик. С 1938 года живет в Лондоне. Автор многих стихотворных сборников. Его стихи на русском языке публиковались в сборнике «Из современной австрийской поэзии» (М.. «Прогресс» 1975), альманахе «Весь свет», в «Иностранной литературе» (1972, № 1). В ряде немецкоязычных стран пьесы Шекспира идут в его переводах. Лауреат премии имени Шиллера.

Публикуемые стихи взяты из сборников «100 стихотворений...» («100 Gedichte...». Berlin, Klaus Wagenbach 1978), «Любовные стихотворения» («Liebesgedichte», то же изд., 1979), «Тени жизни» («Lebensschatten», то же изд., 1981), «Беспокойства» («Beunruhigungen», то же изд., 1984), «Календарь для мира 1985» («Kalender für den Frieden 1985». Köln, Bund-Verlag, 1984).

Но сто тысяч мертвых
от новой бомбы
взрывающейся каждые три дня
это маленькие дети

Сто тысяч детей
каждые три дня
это миллион в месяц
и двенадцать миллионов в год

Двенадцать миллионов детей
младше пяти лет
каждый год гибнут от голода
первые жертвы третьей мировой

Потому что мы тратим деньги
которые их могут спасти
на гонку вооружений: два миллиона
долларов каждую минуту

Ручная работа

Манипуляция
происходит от «манус»:
что значит «рука»

Мы понимаем что нами
манипулируют
и мы стараемся
нашу реальность
понять исходя из этого

Если бы нами
до сих пор
манипулировали
по старинке вручную
была бы манипуляция
хотя бы иногда
более человечной

Игра в прятки

Мне приходится прятаться
от преследователей
и мне грозит при этом
двойная опасность

поскольку я не совсем надежно
скрыт от преследователей
и в то же время успешно
прячусь сам от себя

Копия надписи на стволе древа познания

Если
твой бог
слишком много значения
придает
поклонению
то он
дьявол
или
под дьяволом
или
находится
на верном
пути
к дьяволу

Живые?

Утверждает некто
будто живет
и подтверждает это
утверждая
что он ест
смеется
пьет
и даже
плачет

Это
ничего не доказывает
Все как один
мертвые
делали то же самое

Помеха

Они говорили
о своей борьбе
за свободу
счастье
и достоинство человека

И вдруг вошел их ребенок
он хотел
их о чем-то спросить

Они затрясли головами:
«Не мешай нам
ступай к себе и играй!»
Ребенок посмотрел на мать
и на отца
и вышел

Я после этого
с трудом
следил за беседой
Тогда они вместе спросили
участливо
и терпеливо:
«Тебе помешал
ребенок?»

Просветительство

Он хотел
доказать
что он имеет право делать
то что он должен делать

И он доказал
то что хотел
но уже было поздно
для дел

Преимущества неведения

Неведение
никому не делает больно
за исключением тех
кому можно сделать больно
поскольку никто не узнает об этом

Три камня

«Сколько смогу я прожить
если я потеряю
надежду?»
спросил я у трех камней

Первый камень сказал:
«Сколько минут ты сможешь
не дышать под водой
столько же лет»

Второй камень сказал:
«Без надежды ты м о ж е ш ь жить
пока ты еще х о ч е ш ь
жить без надежды»

Третий камень смеется:
«Дело в том, что́ ты
еще н а з ы в а е ш ь жизнью
когда надежда угасла»

Уравнения

Я позабыл все
чему меня учили
в школе

Грядущее
поделить на страх
будет забвение

Жизнь
поделить на страх
будет безумие

Забвение
поделить на безумие
будет война

Я знаю еще
жизнь при этом будет равна
страху помноженному на безумие

И еще я знаю
страх помноженный на забвение
равен грядущему

Но я уже не знаю
что это
за грядущее

И что дает страх
помноженный на страх?
Что назвать тогда миром?

Мы же еще детьми
учились считать
Зачем?

Растерянность

Из жизни
я вышел
в стихи
Из стихов
я вышел
в жизнь

Какой из выходов
в конце концов
окажется наилучшим?

■

КУПРИЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЛЕБОВИЧ (род. в 1939 г.)

Советский поэт и переводчик. Автор сборников стихов «От первого лица» (М., 1981) и «Жизнь идет» (М., 1982). Переводил поэзию Гёльдерлина, Шамиссо, Рильке, Гофмансталя, Брехта, Уитмена, современных поэтов Австрии, ГДР, ФРГ, США.

ДИТЕР ВЕЛЛЕРСХОФ

Победителю достанется все

РОМАН

Перевод с немецкого М. РУДНИЦКОГО и Н. ФЕДОРОВОЙ

1. В понедельник утром в гостинице

С утра по понедельникам, когда большинство постояльцев выехало, а новые еще не вселились, в коридорах затрапезной гостиницы при ярмарке, прямо на полу смятыми слоистыми кучами, будто грязные горки талого снега, свалено постельное белье. Свет снопами падает в коридор из раскрытых настежь дверей, за которыми, проходя мимо, посетитель при желании без труда может узреть одинаковые, словно корабельные каюты, гостиничные номера — серые матрацы двуспального ложа, две тумбочки с лампами-ночниками, раздернутые портьеры, распахнутые окна, а кое-где, возможно, и двух горничных, ловко перестилающих постели.

В одном из номеров, где-то в дальнем конце коридора, хрипло, словно в припадке бессильной ярости, надрывается незримый пылесос, а подойдя ближе, начинаешь слышать и короткие, злые тычки его сопла о плинтусы, о ножки мебели, будто некая мелкая тварь, слепая и настырная, вселилась в этот неумолчный рев и бьется головой обо что попало.

Здесь — место абсолютной анонимности, в которой растворяешься без остатка. Чтобы понять это, стоит взглянуть на гостиницу сейчас, утром, когда ее привычный и упорядоченный облик основательно подпорчен. По коридорам и этажам, устраняя неприглядные следы прошедшей ночи, снуют женщины в оранжевых халатах. Они протирают зеркала и дверные ручки, моют раковины и ванны, выносят из номеров корзинки для мусора, липкие обмылки, флакончики из-под шампуня, забытые расчески, подносы с остатками завтрака; они катят от двери к двери тележки с чистым бельем, туалетной бумагой, мылом в нераспечатанных упаковках и гостиничными карточками с приветствиями от дирекции. Запоздалые постояльцы с чемоданами торопятся к лифту, пробираясь сквозь этот коридорный бедлам, точно беженцы, спасающие свои пожитки.

Но есть двери, которые так и остаются закрытыми; в них стучат — сперва тихо, потом настойчивей, за ними начинает трезвонить телефон, пока заспанный голос не ответит:

© Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1983

ДИТЕР ВЕЛЛЕРСХОФ — DIETER WELLERSHOFF (род. в 1925 г.). Немецкий писатель (ФРГ). Автор романов «Прекрасный день» («Ein schöner Tag», 1966), «Граница тени» («Die Schattengrenze», 1969), «Приглашаются все» («Einladung an alle», 1972), «Красота шимпанзе» («Die Schönheit des Schimpansen», 1977), повести «Сирена» («Die Sirene», 1980), многих радиопьес, сборников статей, монографии о творчестве Готтфрида Бенна. В «Иностранной литературе» напечатаны повести Д. Веллерсхофа «Морской берег в двойном освещении» и «Стихотворение о свободе» (1978, № 2).

О творчестве писателя см. статью П. Топера «Дитер Веллерсхоф и его новый роман» в разделе «Критика» этого номера, с. 225.

Роман «Победителю достанется все» («Der Sieger nimmt alles») вышел в Кёльне в 1983 г. Печатается в журнальном варианте, подготовленном совместно с Е. А. Кацевой.

— В чем дело? Я же просил не беспокоить.

И тогда вой пылесоса, голоса уборщиц и прочие шумы постепенно удаляются от двери. Может, там, в номере, спасаясь от жестокого похмелья, постоялец отсыпается после вчерашней попойки, или он просто всю ночь ворочался без сна и только под утро, приняв снотворное, провалился в тягучее, рыхлое забытье. Сонным голосом он ответит на робкий стук в дверь и вот теперь останется на целом этаже один до самого полудня, пока коридорные не поведут в номера первых новоприбывших гостей.

Иногда, правда редко, никто не отзывается ни на стук в дверь, даже самый настойчивый, ни на телефонные звонки, пусть даже неумолчные. Тогда-то в дело идет главный ключ, тот, что открывает все двери на этаже. Случается, однако, что и отпертая дверь подается не сразу, например, если на пороге лежит человек. Наверное, пытался выйти из комнаты, но не успел.

Горничная с трудом приоткрыла дверь, навалившись на нее всем телом; в щель она увидела только копну темных волос и руку мужчины. Циферблат часов на руке отсвечивал клейкой слизью, в лицо ударил кислый запах рвоты. Тем не менее горничная сразу поняла, что мужчина за дверью вовсе не пьян.

Согласно регистрационной карточке, номер занимал некто Ульрих Фогтман, уроженец Ганновера, дипломированный коммерсант, место жительства — Зигбург, в Рейнланде. Как выяснилось, накануне он просил разбудить его в восемь утра, о чем имелась соответствующая пометка в журнале дежурной телефонистки. Однако на это время было записано много аналогичных просьб, и, судя по всему, девушка просто не дождалась ответа постояльца. Она, правда, решительно это отрицала, утверждая, будто слышала короткое «Да-да, спасибо». Но, как показала впоследствии медицинская экспертиза, Фогтман к этому времени уже несколько часов был мертв.

Когда санитары с носилками мерно пойдут по коридору, где на полу у дверей все еще сереет грязное белье, надсадный вой пылесоса внезапно смолкает и на пороге одного из номеров появится темнокожая девушка с испуганным лицом. На носилках — их как раз пронесут мимо — она увидит неподвижные контуры человеческого тела под блеклым одеялом, а еще — высунувшиеся из-под одеяла серые, мертвенные ноги. Горничная во все глаза уставится на эти белесые, безжизненные ступни с желтоватыми пятками. Это ноги мужчины, уже немолодого. Лишенные привычной мускульной силы, ступни неестественно раскинулись в стороны и только слегка подрагивают, когда санитары, лавируя среди груд белья, сбиваются с шага.

— Сюда, пожалуйста,— командует управляющий, и маленькая процессия сворачивает в боковой коридор: впереди сам управляющий, круглый, почти совсем лысый человек с пугливой походкой, рядом врач «скорой помощи», в белом халате, из нагрудного кармашка выглядывает красноватая резиновая трубка, потом санитары со своей ношей, а следом коридорный с пальто и чемоданом покойного.

Страшно в этих ногах не то, что это ноги трупа,— гораздо больше пугает небольшое увечье, которое придает им вид живых существ. Оба мизинца, как червяки, странно скрючены внутрь и прильнули к соседним пальцам в боязливом и нежном выверте. Темнокожая горничная долго провожает взглядом эти странные, будто живые, ступни. Уборщица постарше, в оранжевом халате, с коробкой мыла в руках, завидев носилки, останавливается и уступает дорогу.

— Сюда, пожалуйста,— показывает управляющий.

Он велел на несколько минут остановить лифт, и теперь над всеми автоматическими дверями горит красная табличка «занято». Все лифты разом застряли на шестом этаже. Внизу, у главной лестницы, как бы невзначай встал швейцар, дабы просить гостей, если тем вздумается подниматься пешком, минутку обождать. Ему велено вежливо объяснять клиентам: лестница закрыта, выгружают мебель.

— Сюда, пожалуйста. Я подержу дверь.

Покойников, это управляющий усвоил накрепко, выносят только по черной лестнице. В номере, где побывала смерть, в мягкой гостиничной постели, на свежем белье, сегодня же заночует новый постоялец. Рядом с ним на ночном столике положат гостиничную карточку с приветствиями от дирекции и пожеланиями приятного отдыха. И с прикрепленной к ней маленькой шоколадкой.

Тверда и размеренна поступь санитаров по длинным гостиничным коридорам, непроницаемы их взоры, устремленные вдаль. Они не смотрят по сторонам, они не желают видеть свою ношу, будто от этого покойник и впрямь способен стать невидимкой. Но он здесь, он плывет между ними, чуть покачиваясь на носилках. Серое, холмистое одеяло скрадывает контуры тела. И только ноги с уродливыми скрюченными мизинцами торчат из-под каймы, словно выставленная напоказ непристойность. Смотрите, вот он я! Вот каким я был!

2. Чувства-невидимки

Ульрих Фогтман все время ждал: ведь должно же оно случиться, некое знаменательное событие, которое перевернет всю его жизнь и позволит все начать сначала. Но чем неистовей он верил в эту решающую перемену, тем больше сомневался в ней. Нет, не надейся, ничего такого не произойдет. А уж в ближайшем будущем и подавно. А если даже и произойдет, если и наметятся вдруг начатки сдвигов и перемен — он вряд ли распознает их вовремя. Эта выжидательная жизнь тянулась годами и до того опустошила его, что порой он с испугом спрашивал себя, а не ведет ли он существование сомнамбулы: и рад бы проснуться, да не знает, как это происходит и что это вообще значит — не спать.

И вот ему двадцать семь, он сменил два факультета и уже почти год тщетно пытается скрыть от себя, что снова угодил в мертвую зыбь и сопротивляется скорее по инерции, понимая, что, если он опустит руки, это конец.

Стремясь к высоким целям, он и думать не желал о деньгах и прибыльной профессии, а потому начал с философии, но спустя два семестра разочаровался и в смятении все бросил. Ему казалось, будто он растворяется в словесном тумане, и только собственный голос, который в одно прекрасное утро начал вдруг твердить: «Это не я. Это не для меня», вывел его из этого кошмара. Тогда он решил попробовать себя в медицине — с тем же успехом. Правда, голос, повторяющий «это не я», звучал теперь глуше, но и укоризненней, что повергло его в еще большее уныние. И все же он, превозмогая головные боли и приступы тоски, упрямо продирался сквозь зубрежку доклинического семестра, пока совершенно не выбился из сил — и снова, как и в первый раз, обратился в бегство.

Случилось это в анатомичке, где он кромсал серый, заиндевевший от подморозки кусок трупа, ляжку какого-то старика. Он никак не мог сосредоточиться и в конце концов безнадежно испортил препарат. Блеклое месиво мертвых тканей, волокон и сухожилий вдруг показалось ему чуть ли не символом собственной жизни, растраченных впустую возможностей. Он швырнул препарат в контейнер сброса — вместе со своим медицинским будущим.

На сей раз кризис затянулся надолго, полгода Ульрих не показывался в университете, если не считать набегов в бюро студенческой взаимопомощи, где ему подбрасывали временную работу. «Живи настоящим» — таков был теперь его принцип, а это означало, что и думать о том, сколько может продлиться такое существование, не следовало.

Он все глубже погружался в апатию, но однажды встретил на улице знакомого, который уговорил его вместе сходить на лекцию. Это была вводная лекция курса о деньгах — тема, которую Фогтман при его тогдашнем безденежье посчитал просто смехотворной. Однако человечек на кафедре с первых же слов развеял все его предубеждения, можно сказать, буквально раскрыл ему глаза.

Ибо он, этот человечек, говорил о деньгах не как о чем-то безжизненном, видел в них не рациональную систему абстрактных величин, а высшее воплощение человеческой фантазии. Все, что казалось незыблемым, деньги претворяли в движение. Оставаясь фикцией, они осуществляли обмен и взаимосвязь всех вещей и всех человеческих занятий. Это универсальная машина, вечный привод всех других машин. Это обмен веществ и нервная система общества. Это сияющий мост из прошлого в будущее, волшебная палочка, по мановению которой возможное делается действительным, это зеркальная комната чудес, полная самых невероятных превращений. Почти все, о чем люди мечтают, к чему стремятся делами и помыслами, выразимо и достижимо с помощью денег. Деньги — это высшее выражение всеобщего, всеобъемлющее единство частей и элементов изменчивого и подвижного мира. Обратимые во что угодно,

всемогущие и текучие, они напоминали прихотливые видения волшебных снов. Это было самое гениальное порождение человеческого духа. Только изобретя деньги, дух человеческий достиг подлинного самораскрытия, освободился от власти конкретных вещей и, ускользнув из плена сиюминутных данностей, вырвался из царства всегдашней необходимости на вольные просторы умозрительного созидания.

После лекции Фогтман вышел из аудитории с таким чувством, будто ему позволили заглянуть в святая святых. Так вот оно как! Вот, значит, как все происходит! Нужно во что бы то ни стало овладеть этим знанием, которое отмыкает все тайники,— только тогда надменный и недоступный мир откроется и покорится ему.

Принадлежавшая Патбергу фабрика молочных продуктов, главным из которых было сгущеное молоко, в конце пятидесятых годов, когда Фогтман впервые ее увидел, являла собой неказистое сочетание мрачных, темного кирпича зданий в псевдоготическом стиле конца прошлого века и серых бетонных цеховых корпусов, крытых черным железом. Довершал этот «архитектурный ансамбль» холодильник — облицованное белым кафелем сооружение без окон, имевшее форму почти правильного куба. Эта, явно самая новая постройка на территории фабрики, выделялась на фоне грубых бетонных плоскостей ослепительным пятном медицинской стерильности. Длинное двухэтажное здание конторы, тоже построенное относительно недавно, всего шесть лет назад, напротив, скорее напоминало барак. Это была типичная времянка убогих послевоенных лет, кое-как обмазанная желтоватой штукатуркой, с низкими, почти квадратными окнами и скромным главным входом, который уже пришлось однажды расширить.

Изготовление, сортировка и упаковка товаров осуществлялись в бетонных цехах, которые либо примыкали друг к другу, либо соединялись крытыми переходами и мощными трубопроводами. В кирпичных зданиях с высокими, наполовину зарешеченными стрельчатыми окнами размещались котельная и так называемый баночный цех, где листовая жесть, пройдя штамповку, формовку и пайку, превращалась в нескончаемый поток открытых консервных банок, которые плотными рядами устремлялись на ленте транспортера в следующий цех, к наполнительным автоматам. Производственные и складские помещения окружали просторный прямоугольный двор, одной стороной выходящий на улицу. Когда раздвижные ворота цехов бывали приоткрыты, оттуда доносился неумолчный гул машин. Из вентиляционных вытяжек густыми белыми струями валил пар.

Перейдя улицу, Фогтман направился в соседний двор, где находилось здание конторы. Здесь ставили свои машины служащие управления, мастера с фабрики и, конечно, сам Патберг и члены его семьи; рабочим же, если среди них в ту пору вообще попадались такие, кто приезжал на своей машине, положено было ставить их за углом. Со двора можно было увидеть и дом, где обитали Патберги; от конторы и стоянки его отделяла невысокая стена, увенчанная черной чугунной решеткой, и лишь неприметная калиточка, предназначенная для хозяйского семейства, посредничала между этими двумя мирами.

«Вилла», как все называли дом Патбергов, строилась, очевидно, в те же годы, что и старая часть фабрики, однако в ее архитектуре преобладали классические формы итальянских усадеб. Торжественность ярко-желтого фасада с выступающими флигелями задавалась центральной частью: к высокому бэльэтажу под охраной двух раскидистых сосен взбегала изящная лестница, над которой этажом выше красовалась лоджия. Со стороны парка к дому примыкал пристроенный позже зимний сад, наподобие стеклянной галереи он размещался на роскошной террасе, ничуть не скрадывая ее размеров. Под террасой в окаймлении цветочных бордюров стелился аккуратно подстриженный газон, плавно переходящий в английский ландшафтный парк с его прихотливой игрой древесных куп и веселых лужаек. Густой и тенистый, местами почти как настоящий лес, парк длинным клином обтекал фабрику и был обнесен стеной выше человеческого роста. А сразу за стеной в ту пору еще начинались картофельные поля и овощные грядки.

Но все это Фогтман узнал лишь недели спустя. Сперва же его принял в отделе найма немногословный пожилой человек в сером халате и через двор провел в цех — вытянутое метров на сорок в длину здание, где все сотрясалось от шума и грохота множества серо-зеленых машин, соединенных друг с другом лентами транспортеров. Это была грандиозная, в несколько этажей, система транспортировки, по которой

пустые жестянки, поступив из баночного цеха, совершали свой нудный производственный круговорот. Достигнув распределительных пультов, банки попадали на ленты-магниты и, прилипнув к ним, почти отвесно сползали вниз, к наполнительным автоматам. Оттуда ленты везли их к соседним паяльным автоматам, где банки закрывались крышками и, все так же приклеившись к магнитам, взбирались вверх и снова попадали на главный транспортер, который собирал их вместе и тащил в другой конец цеха, к огромному, метров десять в длину, котлу, где они в течение нескольких минут подвергались термической обработке, а затем уезжали в следующий цех — упаковочный.

По дороге человек в сером халате не обронил и двух слов. Теперь же, когда они, миновав раздвижные двери, оказались в цехе, он надел шумозащитные войлочные наушники и проорал почти оглохшему Фогтману какие-то объяснения. Здесь, казалось, вместо воздуха был только шум — равномерный стук и густой, низкий рев моторов, которые работали в двух скоростных режимах, а временами, когда на конвейер попадала бракованная банка, внезапно отключались и потом снова — с истошным подвыванием — набирали обороты. Но и рев машин, и гул транспортеров были только фоном беспрерывного лязга и дребезжания тысяч пустых жестянок, которые, натыкаясь друг на друга, сбиваясь в кучки, стукаясь о бортики, останавливаясь и снова приходя в движение, нескончаемым потоком ползли и ползли по конвейеру из дальнего конца цеха, где еще слышны были глухие удары штамповочного пресса.

Зал освещался искусственным светом множества стеклянных трубок на потолке, хотя в том же потолке был и огромный застекленный плафон; сейчас, в начале дневной смены, летнее солнце било нещадно, раскалив воздух до тропической жары — запахи молока, машинного масла и пара смешивались в удушливое зловоние.

Если ему предстояло работать здесь, значит, он угодил в западню.

Место на фабрике Патберга ему устроил бывший сокурсник Хорст Райхенбах; по заданию своей экспортной фирмы он на три месяца уезжал за границу и искал человека, который смог бы поселиться на это время в его холостяцкой квартире и присмотреть за кошкой. Фогтман согласился сразу же — Зигбург, где находилась фирма Патберга, был от университетского Фрайбурга достаточно далеко, а он в ту пору искал благовидный предлог, чтобы освободиться от женщины, чьи объятия обретали над ним все большую власть.

Это была югославка, на восемь лет старше его, по профессии учительница; после неудачного замужества она покинула родину, жила во Фрайбурге, работала уборщицей и официанткой, тщетно пытаясь найти работу машинистки или переводчицы. Звали ее Йованка — сколь бы нежно ни выговаривал он это имя, оно всегда оставалось для него немного чужим. Познакомился он с ней в закусочной, где она работала и куда он заходил выпить пива. Ему бросились в глаза сомнамбулическая уверенность ее походки, когда она шла между столиками, и какое-то отсутствующее выражение напряженного, а иногда и просто усталого лица. Замкнутость и недоверчивость этого лица не могли скрыть страстности, необузданности и силы, как не могло — а вскоре, пожалуй, и не пыталось — их скрыть и ее некрупное, но ладное, крепко сбитое тело, когда она подходила к его столику, хотя она еще долго обслуживала его так же холодно и немногословно, как и всех прочих клиентов. Обычно на ней была черная, с короткими рукавами, кофточка, черная юбка и передник. Это была ее рабочая одежда, но в сочетании с густыми смоляными волосами черный цвет становился как бы выражением всего ее существа, решительной и мрачной подлинности, которую Фогтман, как ему казалось, угадывал и в ее взгляде. Однажды, повстречав ее на улице в простенькой косынке и дешевом коричневом пальтеце, которое совсем ей не шло, и вдруг поняв, что она бедна и, видимо, носит чужие, дареные вещи, он почувствовал, что его влечет к ней как к тайне, разгадать которую способен он один.

Он тоже беден, а это означало уже почти союз. И она тоже — он догадывался — нетвердо чувствует себя в этой жизни. И все же она была уверенней, опытней — куда ему до нее. Он не решался говорить с ней больше, чем это принято между официанткой и клиентом, потому что ощущал ее готовность в любую минуту дать отпор всякой попытке сближения. Пусть сперва привыкнет к нему, да и он, украдкой за ней наблюдая, тоже не хотел спешить.

Он все чаще захаживал вечером в закусочную, тянул свое пиво, читал газету, специально для этого купленную, обменивался с ней ничего не значащими любезно-

стями и через полчаса уходил. В конце концов она сама перекинула между ними мостик. Встав у него за спиной, она наклонилась, чтобы посмотреть новую программу кинофильмов на неделю, и слегка оперлась рукой на его плечо. И так спокойно, так доверительно было это прикосновение, что он тут же пригласил ее в кино, и они без долгих слов договорились встретиться в следующий же вечер.

В ответ на ее настойчивые просьбы он рассказал о себе, об отце, который пропал без вести на фронте, о матери, которая умерла на третий год войны, о тетке, которая спровадила его в интернат и постепенно о нем забыла. Эти воспоминания всколыхнули в нем такую волну горечи, что голос почти отказал ему и он едва сумел свести рассказ к перечню голых фактов, к сухой справке, удостоверившей, что и он одинок с давних пор, одинок столь же беспросветно, как и она.

Еще не договорив, он уже знал, что теперь окончательно завоевал ее, и подтверждением тому было ее долгое задумчивое молчание. Казалось, она склонилась над рисунком их жизни как над непостижимым ребусом, у которого вдруг обнаружилась простая и счастливая разгадка. Теперь только застарелая недоверчивость сдерживала ее желания.

— Ты все обдумал? — спросила она.— Ты точно знаешь, что тебе нужно?

— Мне нужно то же, что и тебе,— ответил он.— И ты давно это знаешь.

В тот год, когда они были вместе, он снова забросил университет. Переехать к ней он, правда, не решился; крохотный чуланчик на чердаке, в котором Фогтман ютился уже много лет, оставался последним прибежищем его мечтаний и неосуществленных проектов. Но, ночуя у Йованки почти каждую ночь и возвращаясь домой обычно к полудню, когда она уходила на работу в закусочную, он, пробравшись через груды чердачного хлама в свою каморку, долго еще не знал, чем заняться,— за исключением тех дней, когда надо было бежать на приработки.

Часто он приходил к ней лишь поздно вечером, измотанный бесплодными усилиями и истосковавшийся, и она, растревоженная долгим ожиданием, сразу читала все это в его глазах. Пока он поднимался по лестнице, она стояла наверху, свесившись через перила, и распущенные волосы наполовину закрывали ее лицо. Если на ней был купальный халат, он знал, что под халатом ничего нет. Ни слова не говоря, она впускала его в комнату, и пока одной рукой запирала дверь, другая уже ложилась ему на затылок. Что-то от вороватой поспешности заговорщиков было в этом жесте. Поцелуй как бы скреплял пакт, заключенный двоими против всего мира, что оставался сейчас там, за дверью, и уже не мог до них добраться; поцелуй стирал все те часы, когда они были не вместе, и мысль, что теперь ничто их не разлучит, уже не казалась несбыточной. Выражение неведомого, дикого торжества проступало на ее лице, застывшие зрачки расширялись, словно от боли или ужаса, с приоткрытых губ готов был сорваться то ли стон, то ли крик ликования, и неодолимое влечение, подминая их волю, бросало их друг к другу. И тогда, вдруг успокоившись, она смежала веки, словно каждое новое движение, каждый вдох придавал ей уверенности, позволяя все глубже уходить в себя и все больше становиться собой.

Потом они молча лежали рядом. Ее руки обвивали его мягко и обессиленно, и он слышал, как бьется ее сердце. Он знал: ему удалось снять с нее страх. Но сам при этом нередко видел и ощущал себя как бы издали, в чуждости и мраке тоскливой и неизбывной безнадежности. Это было то самое щемящее чувство пустоты, чувство, которое он хорошо за собой знал, но не мог понять, откуда оно берется и почему накатывает именно в такие минуты.

Он не решался сказать ей об этом, чтобы не бередить ее всегдашний страх потерять его, но постепенно ее жаркое, гибкое тело стало для него немой угрозой, и он часто ловил себя на мысли, что она, наверное, тоже это чувствует и тем крепче сжимает объятия, втягивая его в беспросветную близость, чтобы он забыл и утратил в ней себя.

Вот почему предложение бывшего однокашника Хорста Райхенбаха на три месяца переехать к нему в Зигбург показалось Ульриху велением самой судьбы. Он не знал, как сказать об этом Йованке, и лишь за несколько дней до отъезда, когда они вечером гуляли у реки, выложил эту новость как окончательное решение. Она ответила ему без слов: как мертвая, поникла у него на руках.

Так они и стояли прямо на тропинке под испуганными взглядами проходившей мимо пожилой четы. Эта тропка вдоль реки, тихо струившей свои темные воды среди

пологих травянистых берегов, была любимым местом их прогулок. Они часто бродили здесь в обнимку, когда он вечером заходил за ней в закусочную. Теперь же приходилось удерживать ее почти на весу, в каком-то борцовском захвате, и она, хотя и не сопротивляясь, отвергала его своей неподвижностью — она была как убитая.

— Очнись,— сказал он.— Не глупи...

Она не отвечала, только смотрела на него в упор — пристально и почти надменно.

— Йованка, ну в чем дело? Я знаю, я совершил ошибку. Конечно, надо было раньше тебе все рассказать. Но мне нужно уехать, очень нужно. Пойми же наконец.

— Тогда поезжай сейчас,— вымолвила она.

Как только поезд тронулся и ее хрупкая фигурка со вскинутой рукой стала отодвигаться назад вместе с перроном, стремительно превращаясь в черную, едва различимую точку, напряжение последних дней сразу спало. Он закрыл глаза и на некоторое время отдался чувству блаженной усталости. За окном плыли пейзажи верхнего Рейна, омытые свежестью пойменные леса и тополиные аллеи, извилистые ленты ручейков и привольные луга, подернутые ажурной сеткой цветков болиголова. На всех полянках, по всем обочинам яркими желтыми россыпями цвели одуванчики. По глинистым проселкам, сбегавшим вниз, в долину, змеились глубокие следы телег и тачек, а чуть дальше сочную зеленую гладь кукурузного поля бороздил оранжевый трактор. Сразу за полями будто из-под земли вырастала холмистая гряда Шварцвальда — подернутый дымкой серо-зеленый цоколь, на котором покоилось бледно-голубое, водянистое небо.

Чем дольше Фогтман смотрел в окно, тем прочней овладевало им чувство покоя. Движение означало переход к чему-то иному, сулило перемены, мир был снова распахнут ему навстречу.

Да, он угодил в западню. Его определили в первую смену, которая начиналась в шесть утра; он успевал на работу с трудом, часто без завтрака, спросонок шатаясь от усталости, чтобы потом целых восемь часов, всего лишь с двумя короткими перерывами, просидеть на своем рабочем месте — контрольном пункте, расположенном на небольшом возвышении между двумя наполнительными автоматами,— следя за тем, чтобы поток банок двигался равномерно и бесперебойно. Теперь и у него были свои войлочные наушники, они и вправду несколько приглушали лязг, грохот и дребезжание, но они же изолировали его от окружающего, усугубляя неотступную сонливость; глаза уставали от безостановочного движения пустых банок, которые наполнялись струями сгущенного молока из двух автоматов — справа и слева от него, а затем уже, под специальным пылезащитным перекрытием, ползли в паяльные автоматы. Ему надлежало следить, чтобы на ленту-магнит не попала ни одна бракованная, помятая банка, иначе струя молока проливалась на пол, и без того покрытый белесыми лужицами, которые, испаряясь, усугубляли застойное кислое удушье; если же такая банка попадала в паяльный автомат, останавливалась вся линия. Бракованную банку легко было снять с конвейера до тех пор, пока она не уползла под пылезащитное перекрытие — в противном случае был немалый риск поранить руку. Если банка уже была наполнена, он выливал содержимое прямо на бетонный пол и бросал ее в специальный ящик, который время от времени опорожняли уборщицы. Водой из шланга он смывал молочную лужу на полу и опять спешил на свое место, где все так же бесперебойно двигались ленты транспортеров и работали автоматы, неумолимой монотонностью нагоняя на него сон, так что он чуть ли не с радостью ждал очередной неполадки. В случае необходимости он мог остановить свой участок транспортера или переключить на пониженную скорость. Тогда к нему тут же подходил мастер и что-то орал прямо в войлочные наушники. Он в ответ кивал, жестами объяснял причину задержки и снова оставался наедине с собой и равномерным потоком банок, бесконечная повторяемость которых вскоре внедрялась в его сознание как навязчивый образ давно исчезнувшей вещи, пока вой цеховой сирены, возвещавший долгожданный перерыв, не останавливал все машины и транспортеры.

Сколько он помнил себя, ему всегда была ненавистна фамильярность в общении с малознакомыми людьми, поэтому в перерыв он выходил во двор, хотя это было запрещено, и садился прямо на землю, прислонившись к бетонной стене. Однажды, когда он так сидел, во дворе появился пожилой, смуглый от загара человек — седые волосы острижены бобриком — и внезапно остановился прямо перед ним.

— Я вас не знаю,— строго сказал он.— Вы кто такой?

— Я вас тоже не знаю,— отрезал Фогтман.

Человек посмотрел на него озадаченно. Потом догадался:

— А, так вы тот студент?

— В настоящее время я просто подсобный рабочий.

Незнакомец задумался.

— Понимаю,— произнес он наконец.— Студенческий приработок. Но все равно здесь нельзя сидеть.

С этими словами он и удалился. Только потом Фогтман узнал, что это был сам Герман Патберг, хозяин фабрики.

Он часто разглядывал маленькую черно-белую фотографию, которую всегда носил с собой. На снимке была Йованка; в купальнике, спиной к морю, она стояла на берегу какой-то южной бухты, оглядываясь на ленивую волну прибоя, пенный гребешок которой вот-вот лизнет ей щиколотки. Снимок был сделан примерно за год до ее бегства из родных мест, и поскольку он никогда не бывал с ней на море да и из Фрайбурга они выбирались лишь в недалекие прогулки, он часто обманывал ее и себя заведомо несбыточной мечтой, что вот и они однажды отправятся куда-нибудь в далекие края.

Он помнил этот снимок до мельчайших подробностей, но все равно снова и снова смотрел на него. Очень яркий, солнечный день — воздух напоен летним зноем. Далеко на горизонте — шершавый язык скалистого мыса, закрывший широкую бухту почти наполовину. Ласковое, спокойное море. Мягкие, покатые волны, на снимке их можно различить лишь по вспененному гребешку у ног Йованки да по едва заметной игре света и тени, постепенно переходящей в легкую рябь, а у самого горизонта — в тончайшую серую дымку. И над всем этим — небо, яркое, безоблачное, сияющее почти нестерпимой синевой, которая на снимке превратилась в белесое пятно — на фоне этого пятна резко выделяются голова и плечи Йованки. Спокойная молочно-белая морская гладь. Покатая волна прибоя прорезала ее как светлый шрам. Черные головы пловцов в ореоле солнечных бликов, случайно попавшие в кадр дети плещутся у берега, вздымая тучи сверкающих брызг. И тишина — не слышно ни отдаленных криков купающихся, ни визга детей, только ласковый всплеск волны у ног женщины. Йованка одна всецело господствовала в кадре. Можно было мысленно изъять из него море, горизонт, небо — только не ее. Делая снимок, фотограф, видимо, присел или встал на колено и застиг ее в непринужденно-веселой, почти агрессивной позе: она идет прямо на объектив, правая нога чуть выдвинута вперед, руки свободно опущены. Верхняя часть тела, словно противясь этому движению, вполоборота чуть откинулась назад. Она оглядывается на подкатывающую волну, словно только сейчас ее услышала. В игре света и тени вырисовывается упругая округлость ноги выше колена, мягкая выпуклость живота с впадинкой пупка, облитые солнцем плечи. В просвете между левой рукой и туловищем видна узкая полоска моря — словно молния, ударившая под мышку.

По выходным он целыми днями сидел дома один, пробовал заниматься и всякий раз, устав от этих бесплодных попыток, ретировался на кровать. Прямо над собой, в хромированной чаше светильника на потолке, он видел искаженное отражение всей комнаты. Она как бы превращалась во внутренность шара с вогнутыми лепестками стен, готовыми, казалось, вот-вот разомкнуться. В переливчатых и смутных очертаниях шара ему подчас мерещились другие стены, те, которые он так и не смог вытравить из памяти до конца. Голые, холодные стены просторной комнаты, почти зала, с шестью плоскими металлическими койками и шестью узкими шкафчиками, выкрашенными темно-зеленой краской. Длинные, узкие коридоры, освещенные тусклым светом единственного окна в дальнем конце. Черный кафель умывальных комнат со слепыми зеркалами, протяжка труб с шеренгой кранов над длинным желобом, по которому текла мыльная вода. За стеной, в коридорах, крики, топот, хлопанье дверей. Он отвернул кран — труба загудела и затряслась,— он поспешно его закрутил. Кто-то ударил его по плечу мокрым полотенцем. Полотенце скручено жгутом — тяжелое, как канат. «Живо, Фогтман, пошевеливайся!» А он искал свою зубную щетку и мыльницу — кто-то их спрятал.

Тетя привела его сюда за руку, и он никак не осмеливался высвободить руку из ее цепкой ладони, шагая сквозь строй любопытных взглядов в кабинет директора интерната. Он знал, что выглядит смешно, что над ним потом будут смеяться, и ничего не мог поделать. Целый год он ходил в тесных, не по размеру, башмаках, пока у него не скрючились пальцы и он не начал припрыгивать на каждом шагу. Он стыдился своей ковыляющей походки и молча терпел боль. Но попросить новые ботинки не отважился. Ведь была война. Мать умерла, отец пропал без вести, а это означало, что помощи ждать не от кого. Он был сам по себе. Никому не нужный отщепок. Тетка сбагрила его сюда и ясно дала понять, что и за это он должен век ее благодарить. Видимо, он источал запах неприкаянности, как и особый запах страха, который возбуждал остальных. Он заранее был во всем виноват, они заранее были правы. За обедом вилки соседей по-хозяйски тянулись в его тарелку. Первое, чему он научился,— глотать не жуя, чтобы худо-бедно насытиться.

Но он поклялся выдержать. Зачем — он и сам не знал. Просто у него не было возможности отсюда выбраться.

Чувство пустоты — среди бодрого гвалта в столовой, при виде отпечатанной на машинке таблички с его фамилией на дверце шкафчика, при раздаче писем, когда его имя неизменно пропускали, и особенно ночью, когда он, разбуженный очередным кошмаром, тихо лежал в просторной комнате-зале с шестью койками, на которых, незримые в темноте, спали его преследователи.

Они застигли его, когда он брал печенье из чужого шкафчика. «Фогтман, скотина!» — услышал он вдруг. Он обернулся — они уже подходили, обступали его. Нет, они ничего не сказали взрослым. Они хотели судить его сами. Прижали к стене и били по очереди. Ночью он почувствовал: что-то мягкое ползет по лицу, и не успел протянуть руку, как его сдернули с постели. Его снова били, скрученными полотенцами, по спине, по плечам. В умывальне, куда его приволокли после, он увидел в зеркале свое лицо, вымазанное черной сапожной ваксой. Это был и он и не он — и то и другое в равной мере было правдой и жутким сном. По сути, он был для них вещью, игрушкой, и он презирал их за то, что они верят его крикам, хотя кричал он только потому, что по правилам игры ему полагалось кричать, когда они затолкали его под струю горячего душа и их лица скрылись в облаках пара.

С тех пор как он поселился в квартире Райхенбаха и целый день торчал на контрольном пункте между двумя автоматами, он почти не разговаривал. Сперва он не отдавал себе в этом отчета, испытывая разве что приятное чувство безмятежности, покоя и защищенности, когда возвращался домой с работы. Здесь-то все можно было делать вполсилы, и думать тоже.

Однако со временем он стал замечать, что немота сбивает его с толку, он перестает ощущать себя самим собой. Да и мир вокруг как-то поблек, сделался почти незримым.

Однажды он выбежал из дому в полночь и долго петлял по закоулкам, пока вдруг не наткнулся на фабрику Патберга. Ночью здесь никто не работал, и если не считать тусклой лампочки над въездными воротами, фабрика за высокой стеной была погружена в полную тьму. Он смог разглядеть лишь длинные черные прямоугольники цехов, мрачные выступы старых зданий и приземистую фабричную трубу, из которой в этот час к ночному небу не поднималось ни дымка. Он непроизвольно остановился посреди улицы и с каждой минутой словно все больше прирастал к мостовой. Казалось, стена во всей своей мрачной каменной неприступности воздвигнута специально против него и именно на него ощерились зубья стеклянных осколков, вмурованных поверх в ее кирпичную кладку. Что тебе здесь надо? Проваливай! Он медлил. На миг им овладела неприятная расслабленность. Но он стряхнул с себя оцепенение и пошел дальше.

Впереди, в одном из складских дворов, залаяла собака. Это был низкий, рыкающий лай большого и сильного зверя, который, одичав от беспривязной ночной свободы, метался по двору, сотрясая ударами своего тяжелого тела стальные двери и ограду. На соседнем участке отозвался второй пес, у этого голос был повыше и с хрипотцой, он лаял заливисто и азартно, но сбивчиво. Когда Фогтман подошел ближе, из щели под воротами высунулась оскаленная морда. Белые зубы с клацаньем хватали воздух. Фогтман хотел было запустить камнем в металлическую створку ворот — грохот наверняка отпугнет собаку. Но камня под рукой не оказалось. К тому

же собаки были ни при чем — в их лае на него изливалась совсем иная ярость. Ярость тех, кого никаким камнем не достанешь. И пока их ярость лаяла на него собачьими глотками, сами они спали в покое и безопасности. Они были незримы.

Ему стало легче, когда он миновал склады; территория фабрики по другую сторону улицы тоже кончилась. Стена, правда, тянулась дальше, но уже без щетины стеклянных осколков наверху, и за ней мирно шелестели деревья патберговского парка. Еще через полсотни метров стена повернула, а вдоль нее от дороги побежала узкая, поросшая травой тропинка. Сама дорога терялась в овощных полях — темно-серой, клочковатой, рыхло-бесформенной массе, над которой парк с его старыми деревьями вырастал внезапно, как некий фантастический остров. Могучие кроны кустисто чернели в темноте и, казалось, прятали ночь под своими густыми листьями, будто там, в сплетении ветвей, и возникает темнота, с легким шелестом растекаясь по широким ночным просторам, а когда порыв ветра тревожил эти кроны, Фогтману чудилось, будто вместе с волной воздуха и свежим запахом листвы он вдыхает тьму. Неожиданно в просвете между деревьями, в перекрещениях тонких ветвей он увидел верхний этаж виллы, что стояла на отшибе, в глубине парка. Так вот, значит, где они живут. И там они сейчас спят. Наверное, окна спален открыты — чтобы лучше спалось под шелест листвы.

Ухватившись обеими руками за край стены, он нащупал мыском ботинка выемку в кирпичной кладке и подтянулся. Удерживаясь на весу, Фогтман отыскал глазами дом. Спокойный и величавый, он возвышался в призрачной тишине. Цепочку окон верхнего этажа сбоку закрывала древесная крона. Внизу, на уровне террасы, темно поблескивали окна зимнего сада. Дом казался недосягаемым. И неприступным, хотя там, внутри, шла своя жизнь. А он, соглядатай, висел здесь, удерживаясь из последних сил. Как же тут все по-свойски, пронеслось у него в голове. На поляне перед домом, на краю серого в ночном свете газона стояло несколько буксовых пальм в кадках, словно их тут просто забыли. От напряжения у него уже мутилось в глазах, но он хотел продержаться еще чуть-чуть, хотел еще разок взглянуть на все это. Нога соскользнула из выемки. Он спрыгнул.

3. Молодой человек, пригодный ко всему

Он и сам не знал, почему тут сидит. Уж во всяком случае, не из-за Патберга, не из-за того, что тот однажды прошел здесь и перебросился с ним парой слов. Но сейчас, когда машина Патберга въехала во двор и остановилась метрах в тридцати, Фогтман сразу почувствовал себя нашкодившим мальчишкой, которого поймали с поличным. Сидеть здесь не разрешалось, а уж тем более в такой идиотской позе: бог весть почему, он решил соорудить себе нечто вроде трона из валявшихся вокруг бетонных блоков; спинкой трона служила все та же стена цеха. На этом троне он и восседал с сигаретой в зубах, когда машина Патберга зарулила во двор и, не доехав до него совсем немного, остановилась. Выскочил шофер и бросился открывать обе задние дверцы. Из машины неспешно выгрузились Патберг и его спутник, мужчина примерно тех же лет. Фогтман прекрасно видел, что они его заметили. Остановившись по обе стороны от автомобиля, они глянули на него с изумлением, но Патберг быстро отвернулся и направился вместе с гостем к зданию холодильника.

Час спустя, когда он снова сидел на рабочем месте, к нему подошел мастер и тронул за плечо. Фогтман снял наушники, и в нахлынувшей волне лязга и грохота мастер проорал, что ему велено явиться в контору, в комнату номер два. Фогтман выключил автоматы и отправился, куда было сказано. Комната номер два — это была приемная Патберга.

Пришлось подождать. Встретившая его шуршанием бумаг пожилая секретарша по селектору сообщила Патбергу о его приходе, после чего решительно повернулась к нему спиной.

Что понадобилось от него Патбергу? Не слишком ли большая честь — вызывать его сюда для взбучки? С этим вполне справился бы и мастер. Даже увольняемых шеф обычно не удостаивал аудиенции. Так что тогда ему надо? Показать ему, Фогтману, свою власть, воспользовавшись его беспомощностью? Этого он не допустит, ни в коем случае.

— Теперь можете войти,— сказала секретарша.

Когда он вошел, ему показалось, что Патберг специально для него так уселся. Здесь, в кабинете, он показался Фогтману меньше ростом, чем тогда во дворе, хотя и сидел очень прямо за огромным, старомодным письменным столом с резными ножками, двумя телефонами и настольной лампой под темным кожаным абажуром. Перед собой он, вероятно для пущей внушительности, положил нераскрытую зеленую папку. На стене над его головой висела фотография в рамке, с нее неподвижно глядел пожилой господин, похожий на Патберга, но постарше.

— Садитесь,— буркнул Патберг, указывая на скромный стул возле письменного стола и молча наблюдая, как Фогтман усаживается, закидывая ногу на ногу.— У вас что, с головой не в порядке? — начал он.

— Отчего же? — возразил Фогтман.— Напротив.

— В таком случае почему вы продолжаете сидеть во дворе во время перерыва? Хотя вам известно, что это запрещено. Я сам, лично, вам об этом сказал.

— С моими умственными способностями это никак не связано,— сказал Фогтман как можно мягче.

— Тогда с чем же, позвольте спросить?

— Я просто не вижу смысла в этом запрещении.

— А это не вашего ума дело,— отчеканил Патберг.— Так и зарубите себе на носу!

Фогтман опустил голову, чувствуя, как кровь приливает к лицу. Его поставили на место, и сделано это было куда грубей и унизительней, чем он ожидал. Если он сейчас не сдержится, Патберг попросту вышвырнет его, а этого он не хотел допускать. Нет, он повернет разговор иначе. Он еще скажет свое слово.

— Хорошо,— ответил он, поднимая глаза.— Я приму это к сведению. Но вы ничего не объяснили. Вы всего лишь распорядились.

— О, да вы разбираетесь в тонкостях? Да, это распоряжение, и для вас оно так же обязательно, как и для всех прочих.

— Но на этом основании вряд ли можно утверждать, что я глуп. Непослушен, упрям или там своеволен — это еще куда ни шло.

— Верно,— согласился Патберг, и слабая улыбка засветилась у него на лице. Он выдвинул ящик письменного стола и извлек оттуда инкрустированную деревянную шкатулку для сигар.— Курите? — поинтересовался он.

— Только сигареты.

— К сожалению, не держу. Но если сигареты у вас с собой, можете курить.

Он раскурил свою сигару. Фогтман наблюдал за ним. Он понял, что закрепился на плацдарме. Буря улеглась, и Патберг был явно заинтригован. Теперь, когда они снова сойдутся в центре ринга, он уже знал, как за него браться.

— Вы, как я вижу, человек интеллигентный,— начал Патберг.— Неужели вы действительно не можете понять, почему находиться во дворе запрещено?

— Отчего же, это нетрудно. Чтобы не мешать проезду грузовиков.

— Правильно,— кивнул Патберг.— Видите, на все есть свой резон.

— Конечно, когда я один там сижу, это никому не мешает,— продолжал Фогтман.— Но правило есть правило, я понимаю, оно обязательно для всех. Для меня и так сделано исключение — ведь я отнимаю у вас время.

Это было сказано вскользь, но удар был рассчитан точно. Патберг и вправду был польщен.

— Ну-ну,— пробормотал он,— это уж моя забота. Вам ведь тоже некуда спешить, а?

Он улыбнулся плутоватой улыбкой сообщника, и Фогтман заставил себя утвердительно кивнуть. Да, конечно, он примет это отличие, он по достоинству оценит милостивое разрешение посидеть тут еще немного. Он охотно поиграет в эти игры. Как-никак здесь куда лучше, чем в цеху.

— Так вот, возвращаясь к нашему разговору,— продолжил Патберг.— Мне понравилось то, что вы сейчас сказали. Вы серьезно относитесь к словам. А это значит — и думать умеете. Объяснение и распоряжение — разные вещи, вы это верно подметили. Я всегда придавал значение точному слогу. Это у меня от отца,— он указал на фотографию за спиной,— он правил все мои деловые письма, пока я сам не научился.

Он умолк и, посасывая сигару, казалось, ждал от собеседника поддержки. Фогтман не нашел ничего лучшего, как заметить, что точность слога помогает избежать недоразумений, и был удивлен тем, насколько угодил Патбергу этой банальностью.

— Совершенно верно! — воскликнул тот.— Распоряжение — еще не объяснение,

это вы мне хорошо разъяснили. Ну а если поставить вопрос так: разве нельзя сказать, что я вас проучил?

— Отчего же, наверное, можно.

— Но почему? Ведь тут тоже что-то не сходится.

— Можно, конечно, и так сказать. Но чтобы научить, отучить или проучить — в строгом смысле слова,— нужно разъяснить причины.

— Вот именно! — Патберг удовлетворенно откинулся в кресле. Потом вдруг сделал строгое лицо и стал похож на экзаменатора.— Можете объяснить разницу между «видимо» и «очевидно»?

— Да, могу,— твердо ответил Фогтман.

— Просто многие путают,— пояснил Патберг, словно извиняясь. Потом вдруг очнулся, вспомнив, кто здесь шеф и кто сидит в директорском кресле, и начал задавать вопросы: где Фогтман учится, на каком курсе, как оказался в их краях и где живет? Под конец поинтересовался, нравится ли ему работа.

— Нет,— ответил Фогтман.— Я чувствую себя не на своем месте.

Хитрая, заговорщицкая улыбка снова промелькнула на лице Патберга.

— Я тоже чувствую себя не на месте. Это нормально.— С этими словами он встал и подал Фогтману руку.— Рад был познакомиться с вами.— И только у дверей, почти шепотом, добавил: — Посмотрим, может, что-нибудь и удастся устроить.

Три дня спустя, когда Фогтман уже твердо решил, что о нем забыли, его перевели на новое место. Заболел личный шофер хозяина, ему прописали длительное лечение, и Патберг нанял шофером его, Фогтмана. Он любил водить машину, уже не раз подрабатывал шофером такси. Но это была совсем другая работа: прежде всего он стал для Патберга внимательным слушателем. Всякий раз, когда они отправлялись в дальние поездки на переговоры с оптовиками, Патберг, кичась своей житейской умудренностью, пускался в нескончаемые рассказы и рассуждения о своем знании делового мира, о прошлых и нынешних временах, а еще об охоте, которая была его единственной и всепоглощающей страстью. Слушая его, Фогтман терялся в догадках: с одной стороны, Патберг вроде бы устраивал эти спектакли, в которых сам неизменно выступал в главной роли, специально для него, с другой же — он как бы и не замечал его присутствия, ибо ему требовались от слушателя только односложные ответы, чтобы и дальше в одиночку упиваться собственной болтовней.

Ему разрешалось ездить и одному: с мелкими поручениями в город или к клиентам. А так как поездки эти, судя по всему, никем не контролировались, он часто выкраивал время, чтобы выпить по пути чашечку кофе. Это были минуты счастливых грез и полной гармонии с миром и собой. Садясь потом за баранку, он слышал в сытом урчании мотора подтверждение собственной правоты, и ему хотелось ехать все дальше и дальше, подчиняясь игре случая или собственной прихоти, чтобы оказаться не только в другом месте, но и в другом, лучшем времени, которое, он знал, ждет его и которое он никак не мог вообразить во всей отчетливости.

Вернувшись после одной из таких поездок, он и познакомился в конторе с Элизабет Патберг: та только что вышла из кабинета отца.

Ничто в ней его не привлекло, одного мельком брошенного снисходительного взгляда оказалось достаточно, чтобы убедиться: она совсем не в его вкусе. Он посчитал ее несколько странной: высокая, с длинными руками и ногами, худощавая, почти тощая женщина, к тому же нескладная, сутулая, совсем не спортивной внешности, наоборот, скромные формы ее тела, которого она, казалось, старается не замечать, если о чем и говорили, то уж никак не об упругости, а скорее о дряблой податливости. Правда, у нее был красивый овал лица с прямой и строгой линией носа и карими глазами, туманно мерцавшими из-под тяжелых век. Рот был мягкий, но четко вылепленный, с припухлой нижней губой, которая слегка выпячивалась, когда Элизабет сосредоточивалась на чем-то или просто задумывалась. В ее облике сходство с отцом едва угадывалось — Патберг выглядел крепче, жилистей, но потому и производил впечатление человека куда более тщеславного и недалекого. В лице Элизабет сдержанность и строгость боролись с безудержной мечтательностью. Ее голос показался ему каким-то неестественным, а манера говорить — безличной. Как и Патберг, она спросила, где он учится. Это была робкая попытка завязать разговор, которую он пресек подчеркнутой краткостью ответа.

Потом он еще несколько раз встречал ее во дворе, когда она вылезала из машины, направляясь к вилле. Если она смотрела в его сторону, он издалека здоровался, и она на секунду замедляла шаг — или ему это только чудилось? Он, во всяком случае, делал вид, что не замечает этой заминки.

Неожиданно приехала Йованка. Субботним утром ее звонок вырвал его из сна. В халате Райхенбаха он сошел вниз, решив, что принесли телеграмму. На пороге стояла она — бледная, невыспавшаяся и странно неподвижная, будто закоченевшая; только когда он радостно выкрикнул ее имя, она просияла и бросилась ему на шею.

Уже на лестнице она начала рассказывать: она всю ночь провела в дороге, выехала сразу после работы — решила вдруг, что ему без нее плохо. Ей стало страшно, страх этот был настолько непереносим, что она сказалась больной и тайком уехала. И только в поезде ей пришло в голову, что она, чего доброго, явится некстати, непрошеной гостьей, и она перепугалась еще больше: а вдруг он ее и на порог не пустит? В этом случае она твердо намеревалась тут же уехать. Она и сейчас может уехать, посмотрела на него — и достаточно.

— Когда тебе надо уезжать?

— Завтра после обеда,— ответила она тихо, будто спрашивая, можно ли ей остаться до этого часа.

— Я рад тебе,— сказал он.— Ну что, давай завтракать?

Она стояла и молча смотрела на него. Он помнил этот взгляд — так она смотрела, когда ждала его. Ее большие глаза затуманились и потемнели, огромные зрачки были совершенно неподвижны — он даже не знал толком, видит ли она его вообще или каким-то особым, шестым чувством вбирает в себя его присутствие.

Так она голодна? Завтракать будет?

Она плавно подняла руки и мягко обняла его за шею.

— Сперва согрей меня в постели.

•

На следующий день, проводив ее на вокзал, он через силу вернулся домой и с трудом подавил желание немедленно снова уйти. Убрав с кухонного стола остатки их позднего завтрака и перемыв посуду, он с отвращением ощутил вокруг себя прежнюю нежилую пустоту. Почитать? Или сходить в кино на первый вечерний сеанс? Или попытаться всерьез засесть за учебники? Он в тоске завалился на кровать и включил радио. Томясь мучительной неопределенностью, он полежал немного, потом рывком вскочил и направился в кухню ставить чайник. На столе лежала газета. Он пододвинул ее к себе и начал читать наугад, прямо с середины страницы. Оторвался, когда почувствовал, что его мутит от голода. В ящичке для ножей и вилок он обнаружил записку, сразу узнав торопливый почерк Йованки: «Я люблю тебя. Помни об этом!» Он уставился на этот листок, потом скомкал его. Поздно вечером, ложась спать, он нашел в постели вторую такую же записку.

— Дерьмо собачье! — выругался он. Волна стыда, сознание собственного ничтожества и щемящей утраты нахлынули столь неотвратимо, что сопротивляться почти не было сил.

Два дня спустя Патберг пригласил его в гости — в субботу у них будет вечеринка в саду. У старшей дочери день рождения, соберется в основном молодежь. Так что если Фогтман хочет, может тоже присоединиться.

Это было сказано настолько безразличным тоном, что Фогтман ответил в том же духе: он, мол, уже приглашен на субботу в другое место. Но он подумает, может, удастся тот визит перенести.

— Ну, смотрите сами,— буркнул Патберг, круто повернулся и зашагал прочь.

Пока он, пересекая двор, шел к вилле, Фогтман глядел ему вслед. Он вовсе не хочет, чтобы я приходил, неожиданно пронеслось у него в голове.

Выказать пренебрежение более явно, чем это сделал Патберг, было просто невозможно. Это было почти оскорбление. Но с какой стати? Если он не хотел видеть его среди своих гостей, мог ведь просто не приглашать. Его же никто не заставляет.

А вдруг? Возможно ли такое?

Патберг вел себя так, будто крайне неохотно выполняет чье-то поручение. Значит, был кто-то еще, кто его к этому вынудил, кто-то, кому очень хотелось, чтобы

он, Фогтман, пришел на вечеринку, но сказать ему об этом напрямик не решался. И тут его осенило: этим «кем-то» могла быть только Элизабет Патберг.

Эта женщина, чьи шаги замедлялись при встрече с ним, пыталась скрыть то, что выдавал даже разочарованный цокот ее каблучков, когда он проходил мимо, она надеялась, что он остановится, заговорит с ней, она о нем думала. Видимо, Патберг это почувствовал. Возможно, она была слишком настойчива, когда уговаривала отца его пригласить, возможно, он пробовал возражать, а она чересчур пылко отметала все его доводы, чем вконец разозлила старика. Он ведь привык оберегать от посягательств все свое достояние, в том числе, разумеется, и дочь, которая для него, вдовца, была чем-то вроде второй жены. За его сопротивлением крылись ревность и страх.

Знал бы он, как мало она меня интересует, размышлял Фогтман. Но любопытно убедиться, насколько я прав. Главное — его пригласили, не важно, каким тоном. И он воспользуется приглашением.

Еще на подходе к вилле он услышал праздничный шум. Окна первого этажа ярко сияли, двор и прилегающая часть улицы были сплошь заставлены машинами. Он обогнул дом, и в глаза ему первым делом бросились пестрые бумажные фонарики, развешанные на деревьях парка,— их разрисованные лунные рожицы с умильной улыбкой взирали на происходящее. Лужайка перед террасой была освещена лучами прожекторов, и на самой террасе уже начались танцы. В зимнем саду и в комнатах нижнего этажа тоже толпились люди. Гостей было больше сотни. Что же, тем проще — можно потолкаться немного, а потом встать в сторонке и понаблюдать, никому не мозоля глаза. При этой мысли у него сразу возникло чувство, что он попал в фильм, сюжет и действующие лица которого ему неизвестны, да и собственная роль совсем неясна. Создавали эту атмосферу главным образом девушки и молоденькие женщины — в своих широких расклешенных юбках и таких же платьях с туго перетянутой талией они танцевали на террасе или, сбившись перед домом стайками, о чем-то болтали, и вся их нарочитая веселость, равно как и стандартная миловидность, казалось, подсмотрены у кинозвезд. Только Элизабет, которую он тем временем углядел среди танцующих, выделялась на этом фоне, хотя вовсе не потому, что была привлекательней остальных. Но держалась она иначе — смелее, раскованней, было что-то от фурии в ее экстатических движениях, словно она предводительница и жрица всего торжества и зримый исток его энергии. Когда партнер, грациозно вскинув руку, обводил Элизабет вокруг себя, она помахивала свободной рукой в воздухе или, выставив локоток, упирала ее в бедро, как танцовщица фламенко, и проходилась дробным шажком, пристукивая высокими каблуками. Все это выглядело несколько неестественно и натужно — Фогтман почувствовал, как на губах у него стынет неприязненная, ироническая усмешка.

Он хотел было отойти, но танец кончился, и Элизабет направилась к нему вместе со своим кавалером, слегка взмокшим блондином в очках, которого он посчитал юристом или школьным учителем.

— Ах, вот и вы! А я уж думала, вы не придете. Надеюсь, вам у нас нравится?

— Конечно,— ответил он.— Не беспокойтесь, я не скучаю.

— Но вы не уйдете, не станцевав со мной,— бросила она на ходу, увлекая за собой спутника и не дожидаясь ответа. Почему-то ей срочно понадобилось подойти к проигрывателю, и она шумно вторглась в стайку собравшихся там гостей. Чтобы избежать новой встречи с нею, Фогтман через зимний сад прошел в дом. Не торопясь бродил он по комнатам, разглядывая богатую деревянную отделку стен, лепные потолки, паркетные полы, тяжелую дубовую мебель начала века, старые кожаные кресла, ковры и охотничьи трофеи на стенах. Все это было унаследованное богатство, фундамент, на котором даже такому робкому и непоследовательному человеку, как Патберг, нетрудно жить припеваючи.

Он стоял в буфетной, накладывая себе на тарелку салат и ростбиф, когда услышал за спиной голос Патберга:

— Значит, все-таки выбрались?

Фогтман аккуратно положил ложку в салатницу.

— Да, как видите,— ответил он, неспешно отходя от стола и вынуждая Патберга следовать за собой.— Неделю-другую назад я как-то ночью обошел всю вашу усадьбу,— вдруг сказал он.— Даже на стену вскарабкался, чтобы как следует все разглядеть. Вымазался, между прочим, изрядно.

— Но почему, собственно? — опешил Патберг.

— Да потому, что стена у вас мохом заросла.

— Да нет, я о другом: почему вы это сделали? Зачем было лезть на стену?

— Просто хотелось взглянуть, как вы живете. Откуда мне было знать, что вы меня пригласите.

И он снова принялся за еду, наслаждаясь замешательством Патберга. Тот зашевелил губами, словно что-то жуя,— верный признак волнения.

— Ну хорошо. Теперь вы все видели. Что тут может быть интересного?

— О, не скажите. Теперь я гораздо лучше понимаю вас. И на вашем месте построил бы стену вдвое выше, чтобы всякие темные личности вроде меня не лазали по ночам куда не надо.

— Я подумаю,— отозвался Патберг. Ему явно было не по себе.— Вам стоило только намекнуть. Я бы с удовольствием показал вам дом.

— Посмотрели бы вы, как я живу.— И Фогтман начал рассказывать о Фрайбурге, о своем почти неотапливаемом чуланчике, под самой крышей, забитом рухлядью и хламом. Патберг едва заметно кивнул, но ничего не ответил. К ним подошла молоденькая девушка. Патберг представил ее — это была Ютта, его младшая дочь.

— Привет,— кивнула та.— Я вас где-то видела. А где Рудольф? — спросила она у отца.— Он собирался помочь мне разнести вино.

— Да вон он сидит.— Патберг кивнул на соседнюю комнату и снова повернулся к Фогтману: — Моего сына Рудольфа вы, конечно, знаете?

— Да, мы знакомы.

Рудольфа Патберга ему случалось видеть и во дворе, и на складе, это был рослый неуклюжий малый, который толкался среди работяг, то переругиваясь с ними, то перебрасываясь шутками.

— А старшую, Элизабет, так сказать, виновницу торжества?

— Да, мы только что поздоровались.

— Ну, тогда вы здесь не пропадете,— бросил Патберг, оборачиваясь к другим гостям, которые появились из буфетной.

Фогтман вышел разъяренный, презирая и ненавидя самого себя. С чего это ему вздумалось рассказывать Патбергу, как он взбирался на стену? А теперь его поставили на место, и он жаждал отмщения, но не знал, как и кому отомстить.

Спокойно, думал он, спокойно. Патберг слишком глуп, чтобы понять всю унизительность этой сцены. Ему просто было неловко — вот и все.

Он протиснулся между танцующими и, найдя внизу, сбоку от лестницы, складной стул, расставил его и придвинул к стене. Потом сел и закурил сигарету. Прямо над ним был установлен прожектор, направленный на лужайку, и оттуда со всех сторон навстречу своей погибели слетались мотыльки. Глядя на серебристые промельки их мягких крыльев, прорезающие столб света серыми росчерками тени, он вдруг представил себе, какая начнется паника, если взять и отключить электричество. Вмиг все погрузится в кромешную тьму. Погаснут улыбчивые лунные рожицы в кронах деревьев, с утробным завыванием смолкнет танцевальная музыка. Мотыльки, вырвавшись из своего слепящего плена, разлетятся кто куда, и только древесные угли, догорающие в жаровне на дальнем конце лужайки, останутся единственным багровым пятном в сплошной стене мрака.

Разве эта сцена — не закономерное завершение фильма, который здесь снимается, разве не просится сюда эта внезапная, зловещая смена декораций, взволнованно-испуганные крики, суетливая беготня, вспышки спичек и зажигалок, а за всем этим — некий нераспознанный преступник, как знать, может, и он сам, затеявший нечто неслыханное?

От одной из групп, собравшихся у жаровни, отделилась Элизабет и направилась прямо к нему.

— А я уж думала, вы решили улизнуть, не станцевав со мной,— сказала она с тихим укором.

— Ну как же, мы ведь договорились,— возразил он.— Только вот танцую я не особенно...

— Ничего. Как-нибудь справимся.

Молча, стараясь не выказать волнения, они пошли к террасе. Танец как раз кончился, и она сквозь толпу гостей метнулась к проигрывателю.

— Пусти-ка,— бросила она девушке, которая рылась в пластинках, и спросила его, какой танец он предпочитает — быстрый или медленный.

— Лучше медленный,— ответил он.

Она искала довольно долго и выбрала медленный вальс. При первых тактах она застыла перед ним с выжидательной улыбкой. Он обнял ее за талию и сразу ощутил, насколько вся она взвинчена и напугана; им не сразу удалось уловить нужный ритм.

— Ну, вот видите, уже получается,— одобрила она.

— Дальше лучше пойдет.

Было не вполне ясно, кто из них ведет. Она совершала неожиданные па, делая резкий шаг назад, прогибаясь в талии и откидывая голову. Ему постоянно приходилось быть начеку, чтобы не сбиться, и он никак не мог начать беседу. Впрочем, она, похоже, этого и не ждала. В ее аффектированной манере танцевать было что-то отчаянное, как в бегстве.

Потом по его просьбе она поставила фокстрот. Теперь они двигались легче, непринужденней, и она спросила, как ему у них нравится.

— Славно,— ответил он.— Я еще никогда не бывал на таких приемах.

— Никогда? — переспросила она, слегка откидываясь назад и склонив голову набок, словно пытаясь уличить его во лжи.

— Никогда.

— Что ж, тогда самое время.

Они улыбнулись друг другу и снова погрузились в молчание, которое все больше и все настоятельней вынуждало их сосредоточиться на танце. Он чувствовал: музыка и ритм связывают их какой-то темной, смутной близостью, с которой они оба еще не умеют совладать. Ее тело оставалось для него загадкой. Она была стройна, но резковата в движениях и к тому же очень скованна, хотя и откровенно стремилась прильнуть к нему при малейшей возможности. Ей, похоже, было все равно, заметит кто-нибудь или нет, что ее интересует только он. Не прекращая танцевать, она махала рукой уходившим гостям, кричала:

— Пока! Счастливого пути! Спасибо, что пришли! — И тут же с улыбкой снова поворачивалась к нему. С ним она говорила тише и с легким придыханием, словно давая понять, что для нее важен только их разговор.

Уж не потому ли гости стали так поспешно расходиться, что она, хозяйка, танцует с ним одним? Но она, казалось, либо вовсе об этом не думает, либо ей это даже нравится. Время от времени ей все же приходилось ненадолго оставлять его, когда кто-то из гостей непременно желал обнять ее и поцеловать на прощание.

— Извините,— шептала она тогда и, совершая короткую прощальную церемонию, тянула руку назад, как бы удерживая его или укрощая его нетерпение, а в следующую секунду снова возвращалась в его объятия.

Музыка теперь звучала тише, они ее приглушили. Когда надо было перевернуть или поменять пластинку, она тащила его за собой к проигрывателю и спрашивала, что поставить. По нескольку раз подряд, несмотря на протесты окружающих, ставила одно и то же. Впрочем, кроме них, почти никто уже и не танцевал. Гости либо скрылись где-то в доме, либо ушли. Только внизу, на лужайке, уже не освещенной, иногда слышались чьи-то голоса. Они танцевали медленно, словно в трансе.

Поверх ее плеча он видел черные контуры деревьев в парке. Они теперь четче обозначились на темном фоне неба, из которого, казалось, понемногу начинает сочиться теплая светло-серая дымка. Ровные лужайки газонов тоже как бы медленно всплывали из сонного небытия, а когда они с последними тактами уже в который раз игранной в этот вечер пластинки замерли у перил террасы, до них донеслись первые, еще заспанные крики птиц. Он вдруг сразу ощутил усталость и зябкое дуновение утренней прохлады. Элизабет нашла свой шарф, брошенный на спинке стула, и накинула его на плечи.

— Стул уже весь мокрый от росы,— проговорила она.

— Да, и в воздухе влажно. Почти как туман.

— Люблю утро.— Помолчав немного, она добавила: — Все-таки это прекрасно — протанцевать всю ночь.

— Прекрасно и безумно.

— Безумно? Почему? — удивилась она.

— Все, наверное, решили, что мы немного сошли с ума.

— Какое мне дело до всех...

— Ну, а мне тем более.

Оба умолкли, завороженные бесшумным таяньем сумерек. Незримые потоки пронизывали серый воздух, наполняя его прохладным ароматом свежести и предчувствием света. Внезапно, почти как по команде, повсюду запели птицы. Они перекликались друг с другом из своих потаенных гнезд в темных лиственных массах, и разная удаленность их голосов, то близких, то едва различимых, тотчас как бы дала меру окружающему пространству, сообщила ему перспективу и глубину. И вот уже одна из птиц призрачной тенью перелетела с кроны на крону. За ней, торопливо шурша крыльями, последовала другая. Третья спикировала вниз, на лужайку, и скрылась в траве. Сумрачный полусвет заполнял проемы между деревьями. В серое ночное небо постепенно просачивалась голубизна, занимаясь изнутри все более уверенным ровным сиянием, и трава на лужайках, матово-серебристая в паутинках свежей росы, заиграла слабым зеленоватым отливом.

— Пить очень хочется. А вам?

— Вообще-то да,— признался он.

— Сейчас я чего-нибудь раздобуду.

Она ушла в дом, выключив по пути гирлянду лампочек на террасе — их свет был уже едва заметен. Она и в зимнем саду погасила свет, и за зеркальным отражением во внезапно почерневших стеклах он едва различил ее силуэт, исчезающий в глубине дома. В безоблачном небе все ярче разгоралось сияние, обещая погожий воскресный день.

Ну, а он? Ему-то что сулит это воскресенье?

Сейчас он пойдет домой, завалится в постель и постарается отоспаться. Потом встанет, неважно когда, приготовит себе поесть и, если удастся собраться с силами, засядет за учебники. В понедельник он уже снова будет в конторе или повезет куда-нибудь Патберга. И это все, чего он может ждать. Больше ничего.

Он услышал за спиной шаги Элизабет, но не обернулся.

— Я принесла вина. Вино будете? — спросила она, ставя на перила два бокала.— На кухне сейчас кофе варят. Может, вы хотите кофе?

— Да нет, вино в самый раз.

Она налила, а когда они выпили, спросила:

— Что с вами? У вас такой недовольный вид. О чем вы думаете?

— Да так, ни о чем,— ответил он.

— Я вам не верю. Что-нибудь не так?

— Да нет же, все хорошо.

Она задумчиво смотрела на него, словно пытаясь угадать, что он от нее скрывает.

— Жаль. По-моему, вы просто не хотите говорить, и я не понимаю почему.

— Потому что вокруг и так слишком много лжи,— буркнул он.

— Ну, если так... Тогда, наверное, просто не надо лгать.

— А вы никогда не лжете?

— Только по мелочам. А в серьезных вещах — нет, не лгу.

— Полноте,— отмахнулся он.— Мы лжем, даже когда молчим. Или когда тешим себя надеждами. И лжем при этом не только себе, но и другим. И никуда от этого не деться — это неизбежно.

Он допил вино и поставил бокал на перила. Жест вышел немного резкий и театральный, и он с досадой заметил, что она это видит. Она ждет от него чего-то еще. Но сказать не может, не то что ему — даже себе боится признаться. Вероятно, хочет, чтобы он ее поцеловал или даже потащил в постель, только по ней этого никак не скажешь. Она совсем не такая, как Йованка.

— Ну что же,— пробормотал он,— я, пожалуй, пойду. Уже светло.

— И правда, совсем как днем. Я, наверное, не смогу заснуть.

Собравшись идти, оба снова остановились, заглядевшись на заднюю стену дома — первые солнечные лучи осветили ее выпукло и четко, сверкнув в окнах верхнего этажа, тогда как нижние все еще серели в тусклом ожидании.

— Знаете, о чем я думаю? — спросила она.— Мне очень хочется узнать: что для вас в жизни самое главное?

— А если я сам этого не знаю?

— Это плохо. Обязательно надо знать. В каждом ведь что-то заложено, и очень важно выяснить что.

— Понимаю. Но я все только хожу вокруг да около.

— Это потому, что вы ищете.

— Слышать, конечно, лестно, но... Я одно знаю: не хочу вести жалкую, бездумную, убогую жизнь.

— Так ведь это очень важно! Об этом нельзя забывать! Это так вам идет.

— В каком смысле?

— Просто таким я вас вижу. Человеком, который стремится к чему-то особенному.

— Но никогда этого не получит.

— Не скажите. Стоит только захотеть. Главное — поверить в себя. Ведь вам все пути открыты!

— Как бы не так! — отрезал он.— Неправда это. Хорошо, когда у тебя много денег. Вот тогда действительно все пути открыты.

— Нет,— горячо возразила она.— Вы преувеличиваете. Прежде всего надо знать, что для вас самое главное. Себя надо узнать, понять, чего ты действительно стоишь.

— Может быть.

Он уже потерял к разговору всякий интерес и думал о том, как через полчаса завалится в постель и заснет. У него вдруг разболелась голова, его шатало от усталости, да и мутило немного.

В оставшиеся недели до отъезда во Фрайбург Фогтман еще несколько раз встречался с Элизабет. Встречи эти, возможно, и не состоялись бы, если бы не легкая заминка, когда они прощались у ворот виллы. С неожиданной для обоих официальностью они пожали друг другу руку, и Элизабет вдруг спросила:

— Удастся ли еще свидеться?

Он с легкостью ответил, что это было бы замечательно, и тут же предложил сходить в кино.

Хорст Райхенбах вернулся на день раньше срока. Они вместе приготовили ужин, и только сели за стол, как в дверь позвонили: по лестнице к ним поднималась Элизабет. Ни о чем не предупредив, он пропустил ее в комнату. Завидев Райхенбаха, она на секунду замерла, видимо намереваясь тут же уйти, но взяла себя в руки, села с ними за стол и даже после недолгих уговоров согласилась съесть салата. Райхенбах разливался соловьем, описывая Лондон, Гётеборг, Копенгаген, и она слушала, вернее, изображала пристальное внимание, на самом же деле, видимо, воспринимала лишь каждую фразу в отдельности, успевая к месту вставить вопрос или реплику. Очевидно, Райхенбах это почувствовал, рассказ его потускнел, и к концу он совсем выдохся. Им обоим стало легче, когда она вдруг заторопилась домой. Фогтман проводил ее вниз. Элизабет была явно смущена, взволнована и сказала, что хочет ему писать. Она медлила с уходом, а его короткий прощальный поцелуй приняла с покорной отрешенностью.

— Ого! — встретил его Райхенбах.— Это же сама Элизабет Патберг! Что ты с ней сотворил? Она же готова была лечь с тобой прямо здесь!

— Да пошла она...— отмахнулся Фогтман.

— Ну и зря,— не одобрил Райхенбах.— Ты сперва подумай. Пару миллиончиков не в каждой постели сыщешь.

Нет, так он не думал. Изречение Райхенбаха, правда, иногда мелькало у него в голове, но он только отмахивался. Да ну, ерунда какая, думал он, стараясь отогнать все мысли и расчеты, которые так и цеплялись за этот афоризм. В конце концов, Райхенбах просто пошутил.

К тому же по возвращении во Фрайбург он столкнулся с другой, куда более серьезной проблемой, которая и прежде не раз беспокоила его смутным предчувствием беды, но теперь, когда опасения сбылись, он просто обмер от ужаса: Йованка была беременна. Она призналась ему в этом лишь через несколько дней после его приезда, якобы потому, что наперекор очевидностям все еще надеялась: вдруг предположения ее не подтвердятся. На самом же деле, как он подозревал, за промедлением крылись совсем другие, пусть и неосознанные, побуждения. И эти побуждения, он чувствовал, со временем будут крепнуть. Мало-помалу они завладеют всем ее суще-

ством, оградив ее от воздействия чьих-либо слов и посягательств чьей-либо воли. Со дня на день подспудное, неосознанное желание могло прорваться в ней непреклонным решением, о котором она, не обсуждая и не советуясь, просто его известит: «Я хочу ребенка». И тогда то, что он этого не хочет, не хочет ни за что на свете, уже не будет иметь никакого значения.

Но пока что до этого не дошло. Пока что ей страшно. Пока что она еще зависит от него и подвластна его влиянию. Но инстинктивная жизнь в ней, ища от него защиты, благодаря почти недельному умолчанию уже сумела отвоевать себе отсрочку, набралась сил, прибавила в явности — и все это за счет того срока, когда он что-то мог предпринять против ненавистного ребенка, растущего в животе у Йованки. С первой секунды после ее признания он отчетливо понял — время с каждым днем все энергичнее работает против него в этой борьбе на два фронта: ни в коем случае нельзя было упускать из-под своего влияния Йованку, позволить ей принимать самостоятельные решения, но одновременно нужно было уладить практическую, техническую сторону дела, срочно, как можно скорее, отыскав кого-нибудь, кто за деньги — если еще хватит денег! — согласится сделать чистку. Он готов был отдать за это все, что заработал у Патберга. И понимал, что еще дешево отделается, стоило ему подумать, во что в противном случае ему обойдется ребенок. Этот же довод, хотя и в иных выражениях, он пустил в ход против Йованки.

— Мы не можем позволить себе ребенка,— внушал он ей.— С нашей стороны это безответственно. Мы просто не имеем права. В нашем положении это безумство. Это погубит нашу жизнь.

А потом совпали сразу два события, в возможность которых он уже перестал, или почти перестал, верить. От Элизабет пришло письмо, она писала, что едет в Швейцарию навестить подругу и охотно остановится ненадолго во Фрайбурге, чтобы повидаться с ним, если, конечно, ему удобно. Она сообщила и день приезда, и время прибытия поезда и торопила с ответом. Видимо, хотела скрыть их свидание от домашних, потому что телеграмму просила прислать в клинику, где она работает.

Последнее его особенно взволновало. Ведь и ему нужно утаить эту встречу, а именно сейчас, когда он каждый день бывал у Йованки, это было нелегким и щекотливым делом. Он и Элизабет, они оба становились заговорщиками, связанными общей тайной, хоть он и затруднился бы объяснить, в чем суть их заговора. Главное — они будут вместе, и об этом никто не должен знать. Уже в одном этом чувствовалось освобождение, хмельное дыхание совместного предательства.

Он тут же побежал на почту и отправил телеграмму: «Очень рад. Жду у поезда».

В приподнятом настроении, словно ему открылись какие-то новые виды на будущее, он отправился в университет, где намеревался, как и все последние дни, продолжить поиски врача для Йованки. До сих пор ему в лучшем случае удавалось заручиться лишь туманными посулами — люди обещали что-нибудь разузнать и больше не объявлялись. Однако на сей раз в студенческой столовой к нему подошел давний знакомый, еще по медицинскому факультету, и дал телефон.

— Это то, что тебе нужно,— сказал он.— Мужик, говорят, первый сорт. Учился у нас, правда, не кончил, сейчас коммивояжер фармацевтической фирмы. Для него это, конечно, всего лишь приработок, но дело он знает. Правда, берет он недешево. Что-то около тысячи.

— Спасибо,— проговорил Фогтман.— Большое спасибо.

Он не отрываясь смотрел на листок с пятизначным номером. Эти цифры были тайным кодом к слову «будущее».

Незнакомец, пробурчавший в трубку лишь невнятное «да», теперь назвался Вальтером Бройером. Сейчас, когда этот неожиданно маленький и полный человек подошел к их столику и представился, Фогтман усомнился, что это его настоящее имя. Как и было условлено, они с Йованкой ждали его здесь в кафе, положив на стол опознавательный знак — маленький зеленый сверток, в котором был задаток, сто марок. Правда, о том, что в свертке деньги, Йованка не знала. Для нее это был всего лишь предварительный разговор, на который она согласилась после долгих просьб и увещеваний, и сейчас, увидев этого человечка, его покатые округлые плечи, жабье лицо, маленькие ручки, он подумал, что все сорвется. Однако Йованка сразу проник-

лась к нему доверием, и вскоре Фогтман с удивлением обнаружил, что этот Вальтер Бройер ей даже нравится.

— Он такой веселый,—сказала она, когда они остались наедине. Она и вправду поминутно смеялась его остротам. А шутки были глупые, Бройер потешался над своей фигурой и своей страстью к пирожным, наглядно продемонстрировав ее на изрядном куске сливочного торта. Но если Фогтман сумел отреагировать на эти потуги остроумия лишь вымученной, вежливой улыбкой, то Йованка, похоже, веселилась от души. Быть может, она потому так радовалась всем этим кривляниям, что за последние недели слишком устала от тягостно-серьезных разговоров. А может, что-то в этих грубоватых шутках отвечало ее крестьянской натуре? Как бы там ни было, он ей приглянулся. В обществе Бройера она показалась ему гораздо примитивней, чем он привык думать, и хотя он испытывал облегчение от того, что дело идет на лад, внутренне он от нее отстранился. Что-то смешное и отрезвляюще-бесхитростное открылось вдруг в этой истории.

Дальше все покатилось само собой. Йованка, дав согласие, ждала утешения. Он сорвал листок календаря — и Элизабет Патберг сошла с поезда. Господи, успел подумать он, это и вправду она! На руке у нее был светлый легкий плащ, в другой — небольшой чемоданчик. Она выискивала его глазами, стоя на площадке вагона, а когда увидела — улыбнулась.

Да — для нее он был здесь! Но не для Йованки — та считала, что он вместе со своей группой на экскурсии в Людвигсхафене и вернется только к ночи.

Элизабет даже не подозревала об этих его уловках. Радостная и слегка взволнованная, она, видимо, была несколько удивлена решительностью, с какой он тут же взял такси и повез ее в свою конуру. Пока они ехали по городу, он старательно отворачивался от окна, опасаясь случайной встречи с Йованкой, и это маленькое опасение побудило его с нежной улыбкой сообщника взять Элизабет за руку. Но что все-таки переменилось в ней? Откуда это немое согласие, которое он ощутил в ответном пожатии ее руки и позже, когда она, не задавая вопросов, поднималась с ним наверх?

Видимо, чувство нереальности и автоматической предрешенности происходящего как-то передалось и ей. Не говоря ни слова, она прошла следом за ним через завешанный бельем чердак и теперь, ошеломленная, стояла у двери его каморки под скосом черепичной крыши.

— Здесь? Вы здесь живете? Бог мой!

— Для приема гостей не слишком оборудовано,— улыбнулся он.

Она осмотрелась. Вот его матрац без ножек со скатанной постелью, небольшой стол, два не слишком удобных стула, полка с книгами, две кастрюли, хлебница, стопка тарелок. Из угла бугром выпирает занавеска, под которой висит его одежда; на полу — доска с двухконфорочной электроплиткой и обшарпанный красный половик, доставшийся ему от предшественника вместе с другим хламом.

— Как в палатке,— проговорила она.

Ну да, а в палатке полагается сидеть на полу. Матрац для этой цели вполне сгодится. Он наблюдал, как она с готовностью, хотя и чуть боязливо садится на матрац.

— Я сейчас, только за водой сбегаю,— сказал он, хватая чайник.

Когда он вернулся, она уже сняла туфли и забралась на матрац с ногами, и эта незначительная, но сразу бросившаяся в глаза перемена странно его взбудоражила. В синем костюме и шелковой блузке, в вырезе которой поблескивала камея в золотой оправе, с пышной прической — вероятно, перед самым отъездом она побывала у парикмахера,— здесь, среди этого убожества, она казалась диковинной добычей, неведомо как попавшей в его сети. Дорогие наряды пока что защищали ее. Но подтянутые к груди коленки, сброшенные возле матраца туфли уже нарушили целостность картины и сулили довершение распада.

Он поставил чайник на доску, сунул в него кипятильник и, усевшись в изножье матраца, обхватил ее лодыжки.

— Я так рад, что вы здесь.

— Я тоже,— выдохнула она почти беззвучно.

Не переставая улыбаться, он начал гладить ее ноги. Ее неподвижный взгляд был затуманен, в слабой ответной улыбке дрожал страх. На бледном лице накрашенные губы выделялись темным, кричащим пятном, словно исторгнутое признание.

Надо только гладить ее и не молчать, мелькнуло у него в голове. Только не останавливаться — и она сама впадет в забытье, она уже почти в забытьи.

— Я всегда этого ждал,— говорил он,— с тех самых пор, как вы сказали, что хотите меня навестить. С того дня, как мы попрощались. Мне вас так недоставало. Я потом места себе не находил от тоски. Столько осталось недосказано. Даже попробовал обо всем этом написать, но все порвал и выбросил. Не знаю почему. От неуверенности, наверное, и от сомнений. Но это уж моя беда. К тому же мы были так нерешительны.

Наклонившись к ней, он стал целовать ее колени и сразу понял, почувствовал, что она сейчас испытывает: удушливый жар, тяжесть, сковавшую ее по рукам и ногам, и полную беззащитность. Ее покорное тело с трудом сдерживало дрожь. Ее рука зарылась в его волосах, Элизабет мягко прижимала его голову к себе, к своим ногам.

— Даже не верится,— прошептала она.

— А ты поверь, прильни ко мне. Ведь вот я, здесь, рядом. Мы же вместе.

Он приподнялся и подтянул ее к себе. Теперь они лежали, обнявшись, юбка ее задралась, глаза были закрыты, она прижималась к нему в слепом и страстном самоотречении, у него же от прилива вожделения мутилось в голове. Сейчас он возмет ее, ее и все остальное. Возьмет всю. С миллионами, которые не в каждой постели сыщешь. С правдой и ложью, со всем, что причитается. Нет, он не будет ее раздевать. Он возьмет ее здесь, на матраце, во всех ее дорогих нарядах.

— Послушай,— прошептала она,— у меня до тебя никого не было.

— Не страшно,— процедил он, стягивая с нее юбку, которую не глядя отшвырнул в угол. Ноги у нее не бог весть что, ну да плевать. Это все туфта, видимость, дешевка. Ему от нее нужно другое, нужно оправдание всей его жизни, исцеление от всех бед, и она ему это даст, эта женщина, такая чужая и такая близкая, столь желанная и столь же безразличная и, между прочим, с таким же, как у всех, телом, которое трепетно отзывается на его объятия, доказывая ему, что все это не сон.

Вода в чайнике бурлила и выплескивалась на пол.

— Не делай мне больно,— лепетала она,— только не делай мне больно.

Нет-нет, ей нечего бояться. Он знает, как это делается. Он ведь ко всему пригоден. Он ей это докажет. Все будет хорошо.

На следующий день он сидел у Йованки, дожидаясь вместе с ней Вальтера Бройера и его жену, которые должны были прийти с минуты на минуту. Они сыграли в дурака, каждый по разу выиграл, но игра не шла, и они отложили карты.

Только бы Бройер не подвел, только бы пришел вовремя. Фогтман все еще боялся, что в последний миг Йованка передумает и просто не откроет дверь. Как быть, если она вдруг скажет «нет»?

Вон она какая тихая, откуда ему знать, что у нее на уме? Неужели чувствует, что он ее предал?

— Все будет хорошо,— утешил он ее.

Она не ответила. Казалось, она думает о чем-то своем, да и его мысли были поглощены другим. Он перебирал в уме вчерашний день, снова и снова возвращаясь к событию, в реальность которого ему до сих пор не верилось: они с Элизабет решили пожениться. Они стояли на почти безлюдном перроне, когда по радио объявили, что поезд на Базель опаздывает на пятнадцать минут. Оба, наверное, подумали об одном и том же: как трудно будет перенести это затянувшееся ожидание. Надо было что-то сказать.

Но что? О чем они до сих пор умолчали? О чем думали?

— Что теперь с нами будет? — спросила она.

Он не знал. Он был слишком подавлен чувством полной безысходности и потому вдруг задал ей вопрос: уж не думает ли она, что они могут пожениться?

Он произнес эти слова через силу, через стыд, заранее зная, что говорит не то,— и встретил ее изумленный, вопрошающий взгляд.

— Да, а разве ты этого хочешь?

И он вдруг со всей отчетливостью понял: да, да, он хочет только этого, и ему все равно, правильно это или нет, хорошо или плохо. С этого мгновения в его бесцельной, понурой жизни наконец-то забрезжит спасительный просвет.

В ту же минуту все было обговорено: они поженятся, и как можно скорей, а

когда показался поезд, Элизабет попросила завязать ей узелок на носовом платке, она будет его трогать, чтобы убедиться, что все это не сон.

— Только не передумай! Пожалуйста, это очень серьезно! — кричала она ему из медленно уплывающего вагонного окна. А потом взмахи ее руки растаяли вдали вместе с поездом.

Что теперь? — думал он. Он вспомнил Йованку и ребенка, это было препятствие, которое нужно устранить, и сознание собственного предательства легко вытеснилось каким-то новым чувством ясности, неизведанным и абсолютно непоколебимым. Он просто должен поступить так, а не иначе, такая возможность второй раз не представится. Там, вдали, маячит исполнение всех его желаний, оно, правда, видится смутно, подернуто дрожью нетерпения, но отвести взгляд уже нет сил: там все — новизна, жизнь. Там все начинается.

А здесь — здесь все кончено, только Йованка об этом не знает.

Йованка не встала, когда раздался звонок. Он чмокнул ее в затылок и побежал открывать. Вошел Бройер с небольшим черным саквояжем, за ним жена, блондинка чуть выше его ростом, с красивым, но замкнутым лицом,— она сухо обронила: «Добрый день». Бройер поздоровался с Йованкой, бодро ей улыбнулся и первым делом напомнил о гонораре. Фогтман протянул ему конверт, Бройер быстро пересчитал деньги, кивнул и сунул конверт в карман.

Потирая руки, а вернее разминая и как бы проверяя их гибкость, он осмотрелся и начал давать распоряжения. Входную дверь надо запереть, окна зашторить. Пусть Фогтман поможет ему перенести стол в центр комнаты, под лампу. Еще нужен стул или табуретка, чтобы разложить инструменты. Его жена, по-прежнему почти бессловесная, тем временем поставила кипятить воду для инструментов и теперь с явным неодобрением изучала кухонный уголок Йованки, пустые бутылки и кастрюли прямо на полу. Она, конечно, образцовая хозяйка, у которой кухня так и сверкает, а здесь все казалось ей отвратительным.

— А вы уже можете раздеваться,— сказал Бройер Йованке, наполняя шприц,— и, пожалуйста, совсем. Тут все свои.

Кого он хочет унизить — меня или ее? — спрашивал себя Фогтман, глядя, как Йованка, не говоря ни слова, встает и, даже не взглянув в его сторону, уходит в прихожую. Вскоре она вернулась — во всей наготе, какой знал ее только он,— и сказала ему:

— Не хочу, чтобы ты смотрел.

— Да, побудьте лучше там,— сказал Бройер, но сам последовал за ним и у двери шепнул: — Когда я свистну, войдете. Вы мне понадобитесь.

Его маленькие ручки уже были в розовых резиновых перчатках, и прежде чем удалиться в комнату, он компанейски подмигнул. И тут же стал объяснять Йованке, как лечь на стол. Дверь он оставил чуть приоткрытой, видимо, чтобы Фогтман не пропустил условленного свиста. Действительно ли Фогтман ему нужен? Или это только способ дать ему понять, что он тоже соучастник? Или — возможно ли это? — Бройер угадал его потаенное желание: ведь он хочет видеть все это, чтобы еще больше укрепить в себе чувство необратимой ясности, которое владеет им со вчерашнего дня? Ему казалось, что кто-то рядом все время шепчет ему «сейчас, сейчас» и все вокруг слабым эхом отзывается на этот шепот. Сейчас, сейчас. Сейчас начнется жизнь. Холодное воодушевление, лихорадочное и в то же время бесстрастное, рвалось из пределов сиюминутного мгновения, и все, что происходило там, за стеной, уже становилось для него прошлым.

За стеной было тихо. Что там делается? Он уставился себе под ноги, туда, где только что исчезла под половицей золотая рыбка. Элизабет, высунувшись из окна, кричала ему: «Пожалуйста, только не передумай! Не передумай!» Да, когда-нибудь, когда она уже будет его женой, он все ей расскажет. Он все ей выложит, объяснит, что сделал это ради нее, и она — вопреки своим высоконравственным устоям — его одобрит, она бы и сейчас его поддержала. Он помнит ее истомленное лицо и прямо воочию видит, как она стала бы умолять его: сделай, пожалуйста, сделай это. Через три дня он поедет в Базель и обсудит с ней все практические детали.

Раздался свист, тихий, в расчете на его чутко настороженный слух, но вместе с тем и мелодично веселый, ободряющий,— все, мол, в порядке. Йованка лежала на

столе посреди комнаты, глаза открыты, но закатились, зрачков почти не видно, одни незрячие белки, отчего все лицо приобрело какое-то дикое, полоумное выражение.

Вот и все, подумал Фогтман. Перед ним лежало обкраденное тело Йованки, он видел его в последний раз. Ее йоги распластались по поверхности стола и, переламываясь в коленях, безжизненно свешивались вниз. Маленькие крепкие груди упруго смотрели вверх, лицо откинулось набок и, казалось, навсегда погребено под густыми черными волосами.

— Так,— произнес Бройер, сняв перчатки и сделав Йованке еще один укол,— все идет по программе.

Он пощупал ее пульс, приподнял веко. Потом вдруг стал хлестать ее по щекам, приговаривая:

— Просыпайтесь! Ну, живо, просыпайтесь!

Выражением оторопелого испуга в лицо Йованки возвращалась жизнь.

4. *На качелях*

И все это — мое. Мыслимо ли поверить? Все качается, хотя и прочно стоит на своих местах. Все невероятно и все взаправду. Невозможно понять.

Да и нужно ли понимать, чтобы быть счастливой? А можно ли быть счастливой и не бояться? Или счастье и страх неразлучны? Разве счастье не это взмывание ввысь, потом остановка, потом падение, от которого захватывает дух, и снова взлет?

Да, так оно и есть, так она это чувствует. Все взаправду. Все перед ней как на ладони и не требует доказательств. Все это просто есть.

Взмывая вверх, уже на излете, она выпрямила ноги и посмотрела на мыски туфель; на какое-то едва заметное мгновение они, словно в невесомости, замерли в воздухе, а потом, подхваченные нарастающим движением, круто, почти отвесно начали падать вниз, навстречу приближающейся траве, но одновременно — она это уже только почувствовала, потому что откинулась,— устремились вперед, описали широкую дугу над землей и в один миг, так что дух захватило, оказались выше головы, ибо падение и пикирование превратилось в вознесение и взлет, и по мере того, как взлет замедлялся, ее тело все нетерпеливей рвалось вверх, туда, к наивысшей точке, где она, почти распрямившись между канатами качелей и согнув ноги в коленях, снова будет готова рухнуть в воздушную яму, чтобы потом снова взмыть ввысь.

И тут она увидела дом, зимний сад, террасу и людей, которые ей так дороги, своих родных и друзей, своего маленького сына, своего мужа, и она вбирала в себя эту картину, пока качели несли ее вверх и назад, и только там, в высшей точке взлета, все это утвердилось в ее сознании неоспоримой явью, и она со счастливым облегчением отдалась падению и новому взлету, когда картина на миг потеряется из виду. Тут уже ничего нет — только перекладина над маятниками канатов и кусок голубого неба над запрокинутой головой. Платье раздувалось, обнажая ноги выше колен. Но ведь она здесь одна, она одна проваливается в воздушную яму, и вот уже опять ее тело рвется куда-то вверх. А вот и снова они, как прежде, лишь в слегка изменившихся позах. Они все и вправду есть, она видит их — вот сейчас, когда летит вверх и назад, удаляется, отлетает.

Она — колокол, что звучит на два голоса, светло, нежно и гулко, тяжело, сливая свои удары в один раскатистый перезвон: «Я счастлива. Мне страшно. Я счастлива». Она парит над бездной, то падая, то возносясь, и, выныривая из провалов, на миг достигая высшей точки, знает, что в очередной раз уцелела, спаслась, хоть и ненадолго, лишь на миг. Но она и не хочет спасения, не хочет остановки. Она будет падать и взлетать, проваливаться, взмывать ввысь и снова падать, чувствуя, как упругий воздух лениво раздувает платье и сладкий сквознячок страха пробирает все тело.

Да, они здесь! Вот Ульрих, стоит рядом с Лотаром. Видимо, обсуждают дела. Остальные — отец, Ютта, Андреас и кузина Лотара, милая, приветливая девушка,— играют на лужайке в шары. Рудольф тоже бросил разок, но потом сел в сторонке. К нему пришел Дикки, старый школьный товарищ, они, конечно, уже выпили пива, вволю позубоскалили и скоро уйдут. На террасу вышла служанка и принялась накрывать стол для кофе. А вот из дома выходит Кристоф, ее кровинка, ее мальчик, сын Ульриха. В руках у него что-то коричневое — боксерские перчатки, подарок

Ульриха. Он подходит к Ульриху и Лотару, на миг они его заслонили. С лужайки доносится ликующий вопль Ютты — видимо, она сделала удачный бросок. Все покойно, мирно, весело — и невероятно, как сбывшийся сон.

Кристофу только девять, но Ульрих решил обучать его боксу, потому что в школе его побил какой-то мальчишка, хотя он и меньше Кристофа. Сын просто убежал, пришел домой в слезах, а она имела глупость рассказать об этом Ульриху. Пора бы ей знать, как он к этому отнесется. Ведь это Ульрих, он никогда никому не уступит, для него жизнь — борьба, в которой надо победить любой ценой, полагаясь только на себя, на свою силу, волю и ум.

А она любит и понимает их обоих, и этого нежного, боязливого мальчика, и этого мужчину, ее мужа, который когда-то, наверное, был таким же тихоней, но сумел в корне себя переиначить. Она любит их разительное несходство. Ее чувство, как на качелях, летит то к одному, то к другому, стремясь объять, примирить и защитить обоих. Ей так и хочется сказать Кристофу: «Не бойся, я с тобой», а Ульриха попросить: «Отдохни, побудь со мною». Она отошла в сторонку и села на качели, чтобы вволю и без помех насладиться этим чувством, чтобы в плавной смене падений и взлетов видеть их всех, своих близких — отца, брата и сестру, родных и друзей, но прежде всего сына и мужа, что стоят друг подле друга рядом с Лотаром, который помогает им надевать боксерские перчатки и сейчас вот оглянулся на нее и машет рукой.

Да, ей махнул не Ульрих и не Кристоф. Эти слишком заняты. А вот Лотар о ней помнит. Он лучший ее друг и, наверное, до сих пор любит ее, хотя она и бросила его, едва появился Ульрих. Она просто забыла о Лотаре тогда, на террасе, одиннадцать лет назад, в день своего рожденья, на празднике, который для того только и устроила, чтобы познакомиться с Ульрихом, чтобы хоть чуть-чуть его к себе приблизить. Она позвала больше сотни гостей, чтобы никто, и сам он тоже, не догадался, ради кого это делается, а все прочие, и Лотар в том числе, были всего-навсего предлогом и маскировкой. Но когда Ульрих наконец пригласил ее на танец, она забыла о маскировке и до рассвета танцевала только с ним, с ним одним. Чувство, в ней разбуженное, было сродни сладковатому ужасу, который испытываешь на качелях в тот миг, когда летишь вниз: упругий воздух треплет волосы и раздувает платье, ты проваливаешься в яму, зная, что сейчас тебя снова вынесет наверх, и туда, наверх, она всегда и стремилась, но все равно боялась падения, без которого, она знала, невозможен взлет.

Да, вот он стоит. Переменился ли он за эти годы? Она не могла бы ответить с уверенностью: все его образы, запечатленные в ее памяти, как бы слились в один. В нем есть что-то от шахматиста и что-то от спортсмена, но это что-то как бы посередке между одним и другим и потому его так трудно определить. Однажды в каком-то музее, стоя перед картиной, она вдруг подумала, что он похож на воинствующего ангела, такой же суровый, неприступный и немного отрешенный. Но она забыла и картину, и имя художника, так что теперь проверить это впечатление невозможно.

Кристоф и Ульрих уже натянули боксерские перчатки и застыли друг против друга в боевой стойке. Семейный кадр, смешной, трогательный и странный, под такими принято изощряться в остроумных подписях. Но она-то знает, что за сцена сейчас разыгрывается. Вот Ульрих с решительным видом бьет своей огромной перчаткой в крохотные кожаные кулачки. Те только испуганно дергаются, Кристоф не бьет в ответ. Новый выпад — и Кристоф опять пугливо вздрагивает. Но сейчас он ударит — из послушания, потому что так хочет отец. И Ульрих нарочно пропустит этот удар. Его большое, сильное тело — как стена, в которую тщетно барабанят маленькие детские кулачки, движимые мужеством отчаяния, страха и беспрекословного подчинения.

Кристоф снова бросается в атаку, два встречных удара Ульриха проходят в цель, это и не удары вовсе, скорее осторожные тычки, но мальчика они потрясли.

— Хватит! — кричит она.— Ульрих, прошу тебя, прекрати!

Но она кричит слишком тихо, неуверенно, робко. Она не знает, как быть. И так ведь наделала слишком много ошибок, защищая Кристофа от отца или тайком, за спиной у Ульриха, утешая и балуя его. А когда на нее накатывает необъяснимая, дурацкая тоска и ей самой нужны защита и утешение, она притягивает к себе хрупкое детское тельце и осыпает мальчика поцелуями. Но его, похоже, эти приступы материнской нежности пугают не меньше, чем боксерские выпады Ульриха. Он не сопротивляется ей, не может сопротивляться, а когда она пытается поговорить с ним по ду-

шам, в ответ слышит только жалобное, плаксивое «не знаю», от которого Ульрих всегда приходит в ярость. И тогда она видит сына глазами Ульриха, понимает его нетерпение и разочарование и чувствует, что виновата перед обоими.

Слава богу, перестали. Ульрих стянул перчатки и не глядя уронил на траву. Напрасный труд, ему это надоело. Кристоф наклоняется, подбирает перчатки и, видимо подчиняясь отцовскому распоряжению, несет их к машине, чтобы потом на какое-то время исчезнуть.

Не от нее ли у него эта тяга скрываться и прятаться? Девчонкой, играя с другими детьми, она, если вдруг вспыхивала ссора, просто убегала в заросли крапивы и затаивалась, чтобы ее не нашли. И Кристоф такой же. Еще когда он совсем малышом был, она извлекала его из самых немыслимых укрытий, где он сидел как заколдованный, не желая отвечать на ее расспросы, так что иной раз и не поймешь, что его обидело или испугало. А с недавних пор стал бродить по ночам, особенно если днем его что-то взбудоражило. Словно от толчка, она пробуждается от тихого, жалобного хныканья. Скорчившись, он сидит или лежит где-нибудь в углу комнаты, ее почти не узнает и, как правило, бывает мокрый. Сонный, он виснет у нее на руках, пока она меняет ему пижаму и несет обратно в кровать. Однажды они разбудили Ульриха. В тусклом свете ночника она не разглядела его лица, но ощутила волну плохо сдерживаемого отвращения. Он порекомендовал ей сводить Кристофа к врачу.

Она все время чувствует себя виноватой из-за этого ребенка, родившегося на два месяца раньше срока и долго пролежавшего в кувезе, маленькое, сморщенное, красновато-синюшное тельце, подергивающееся от неведомых нервных токов, которые продолжали сотрясать его и позже, когда ей, наконец, разрешили забрать малыша домой. Ульрих был неизменно внимателен, ласков и в клинике, и дома окружил ее цветами. А когда в первый раз пришел в клинику, надел ей на шею двойную нитку жемчуга. Ей стоило немалых усилий сделать вид, что она рада подарку. Слишком она впечатлительна, слишком ранима, чтобы не догадаться: Ульриха разочаровал этот ребенок.

— Он еще вырастет и будет большим и сильным,— выдавила она чуть не плача, но с улыбкой, а когда Ульрих ушел, уже не смогла сдержаться и разревелась. Ей было горько оттого, что он удручен, разочарован этим слабеньким, семимесячным комочком, единственным недоношенным ребенком среди всех этих здоровеньких, крепких младенцев, чьи напористые, горластые крики доносились до нее из коридора по пять раз на дню, когда их везли на кормление к счастливым матерям, а она с перебинтованной грудью лежала в своей заваленной цветами одноместной палате. Но ей было еще и стыдно оттого, что она предала свое дитя этими пугливыми, малодушными извинениями, словно пытаясь оправдать его, когда надо было видеть в нем только хорошее, только счастье и надежду, оберегая его этим чувством от всех дурных глаз. Но ей недоставало уверенности. Слишком мало верит она в себя, слишком трепетно ждет подтверждений, что Ульрих в ней не обманулся. Ибо она до сих пор не знает, почему он на ней женился. Ведь были же у него какие-то свои причины, связанные именно с ней, с ней одной, ведь не мог же он, как предостерегал отец и по-хамски напрямик заявил ее братец, сделать это только ради ее денег? Ее возмутила бесцеремонность, с которой они оба так прямо ей об этом и сказали, когда она по возвращении из Швейцарии объявила им о своей помолвке, но в глубине души она думала то же самое, и только твердая и, как она себя тогда уверила, святая надежда, что она сумеет подвести под их брак иные, новые, лучшие основы, придавала ей мужества.

Когда она приняла это решение, у нее словно камень с души свалился. Теперь она могла без смущения делать Ульриху подарки. У него ведь не было ни денег, ни самых необходимых вещей и первым делом его нужно было одеть. Для нее все это было как бы тайным вступлением во владение, и поначалу она боялась, что он будет сопротивляться. К ее изумлению, он не ломался и не заставлял долго себя упрашивать. Она сочла это добрым знаком. Если бы он нацелился только на ее деньги, он бы наверняка вел себя иначе. Ей и сегодня стыдно вспоминать обо всех этих боязливых расчетах. Всякий раз, когда ее вера в себя колебалась, в память прокрадывались жалкие, подлые подозрения отца и брата. А Ульрих, напротив, оказался куда прямей и проще, он связал с ней свою жизнь доверчиво и без тени сомнений.

Чтобы еще больше привязать его к себе, она уговорила его завершить образование и с ее долей капитала войти в дела фирмы. Сегодня она смело может сказать себе: это решение всем пошло на пользу. Ни отец, ни брат не способны вести дела с таким дальним прицелом. Это было очевидно и раньше, когда положение было гораздо легче, чем

сейчас. Рудольф слишком глуп, отец слишком боязлив. Ему трудно отрешиться от старых привычек и принять радикальное решение, когда это требуется. Ульриху же, наоборот, нужно было дело, чтобы проявить себя и поверить в свои силы.

Она всегда это знала, она чувствовала эти нетронутые залежи дремавшей в нем энергии. Теперь ее иной раз пугает его одержимость работой, хотя ей-то и не следовало бы пугаться. Он пошел по тому пути, который она для него открыла, пошел смело, без оглядки, твердо зная, что всегда может на нее положиться. Ей же остается только надеяться, что однажды она понадобится ему снова.

Тогда же она оборудовала для них и отдельную квартиру в вилле, четыре просторные комнаты на втором этаже и к ним бывшая ванная для гостей. А для свадебного путешествия купила голубую «изабеллу», они оба очень полюбили эту машину. Теперь такие — редкость. Совсем недавно, заметив голубую «изабеллу» бок о бок со своим «фольксвагеном», она вдруг поняла, что смотрит на нее как на видение из прошлого. И у нее сильнее забилось сердце. Неужели все и вправду так далеко?

В том путешествии по южной Франции и Испании она была очень счастлива. Опьянение счастьем началось с двойной свадьбы, которую они праздновали вместе с Юттой и Андреасом. Весь город только об этом и говорил. Две пары белых лошадей в нарядной упряжи подвезли их в двух белых экипажах прямо к церкви, где собралась целая толпа и каждый мог убедиться, что не хорошенькой сестре Ютте, а именно ей достался в мужья куда более интересный мужчина. Когда Ульрих протянул ей руку, у нее голова закружилась от его близости, он же, как ей показалось, был погружен в себя. Что ж, у него за плечами долгий опыт одиночества. Тем прекраснее было идти рядом с ним, показывая всем, что отныне они вместе. Если Андреас сиял и беспрерывно улыбался, то Ульрих на всех свадебных фото выглядит очень серьезным. Его темно-русая шевелюра, возвышающаяся почти над всеми головами, слегка растрепалась. Она не попросила его пригладить волосы, потому что знала: когда-нибудь позже, глядя на эти фотографии, ей легче будет вспомнить то чувство, которое она к нему испытывала, чувство безусловного и полного согласия со всем, что с ним связано, со всем, чем он был.

Вечером следующего дня они начали свое свадебное путешествие. Ульрих был за рулем, она сидела рядом и смотрела на него. Да, он теперь ее муж, это не сон. Она зажмурилась, потом снова открыла глаза. Он не исчез, он рядом, совсем близко, к нему можно прикоснуться — только руку протяни.

Ульрих раньше не был за границей, и это она открывала ему новые страны. Это она настаивала, чтобы они жили только в лучших номерах самых дорогих отелей — пусть для них обоих путешествие станет незабываемой сказкой, которая прочно свяжет их друг с другом и которую ничто и никогда не сможет разрушить.

Перебираясь из гостиницы в гостиницу, она нередко ловила себя на мысли, что их путешествие — как бы бегство, и, когда они, наконец, вернулись домой, в новообставленную квартиру, она, распаковывая чемоданы, сказала себе, что прочное, надежное счастье ей еще предстоит завоевать. Она надеялась утвердить это счастье на двух опорах. Во-первых, она поможет Ульриху преодолеть недоверие и неприязнь домочадцев, а во-вторых, у них будут дети. Видимо, где-то она допустила ошибку. И с Кристофом, наверное, все обошлось бы гораздо лучше, если бы она не думала только об Ульрихе, о том, как бы не обмануть его надежд.

Поначалу, когда она забеременела, все шло хорошо, пока она не узнала, что ее счастье зиждется на горе другой женщины. Однажды, без всякого повода, Ульрих рассказал ей об этом — пусть, мол, знает, на что он ради нее пошел. Но она, холодея от ужаса, поняла: ей это повредит. Другая женщина по его настоянию согласилась убить в себе ребенка и вскоре была брошена ради нее.

С тех пор ей все время казалось, что она чувствует на себе взгляд той женщины. Этот взгляд медленно обшаривал весь свет, находил ее и уже не отпускал. В нем даже не было ненависти — лишь неколебимое требование не присваивать того, что у той, другой, отнято, и она ощущала правоту этого требования как заклятье, из-под зловластья которого пыталась вырваться всеми силами души. Иногда ей снился этот взгляд. Огненная точка в темноте, холодное пламя неведомой энергии, оно не приближалось, но и не исчезало. Она просыпалась с бьющимся сердцем, и ребенок в ней беспокойно шевелился, словно чувствуя угрозу, а когда он родился на два месяца раньше и лежал в кувезе, нервно подергивая крохотными кулачками, с закрытыми глазами, которые все не хотели открываться, она не могла избавиться от чувства, что это дань, которую она

выплатила той, другой женщине. Не всю целиком, потому что ребенок остался жив, но, быть может, часть дани, достаточную, чтобы освободиться от заклятья.

Она сразу же захотела второго ребенка, а после, она знала, захочет и третьего, и четвертого, но тело ее оставалось бесплодным, и, консультируясь у все новых врачей, проводя каждую весну помногу недель на курорте, она мало-помалу поняла, что выплата дани еще далеко не закончена и, быть может, не закончится никогда, если с ней, как и с той женщиной, не случится что-нибудь непоправимое. Она, правда, не всегда так думала. Как правило, ей удавалось подавить в себе эти страхи, призывая на помощь доводы рассудка. Ибо, конечно же, никакой взаимосвязи тут не было, это она сама выдумала взаимосвязь и страшилась ее. Та, другая, была лишь призраком, явность и сила которого зависели только от ее воспаленного воображения.

Но она слишком часто бывала одна, и иной раз, когда сидела у минерального источника со стаканом воды в замершей руке, слушая вкрадчивую или, наоборот, оглушительную музыку курортного оркестра, ее мысли пробирались своими тропками, и она внезапно вздрагивала от вопроса: что же будет? Какова назначенная ей кара? Кого ей суждено потерять? Мужа? Ребенка? Или, быть может, у нее отнимут обоих?

Да, она признала свое поражение в этой безнадежной борьбе, и ей сразу стало легче. Она вдруг сумела примириться с мыслью, что у нее больше не будет детей. Но это долгое испытание укрепило ее дух. Отныне она всецело посвятит себя двум близким людям. Кристофу она постарается быть еще более заботливой матерью, а Ульриху — еще более верной спутницей.

Вот уже три года он руководит фирмой и резко изменил прежний курс. Он вдвое увеличил оборот, хотя, как то и дело подчеркивали отец и Рудольф, добился лишь незначительного роста прибыли. Оба они не желают понимать объяснений Ульриха, что при работе по старинке, без расширения дела, фирме попросту не выжить: конкуренция сбивает цены, вынуждает повышать жалованье рабочим, обновлять и модернизировать производство, тон на рынке задают крупные, растущие фирмы, под натиском которых маленькие семейные предприятия не выдерживают и постепенно гибнут. Он уже много лет твердил об этой экспансии и шаг за шагом склонял их к новому курсу: купил две небольшие, тоже семейные, фабрики, одна выпускала лимонад, другая — овощные консервы. С цифрами в руках доказал им, что оба предприятия снова станут рентабельными, если управление и сбыт продукции сосредоточить в одном месте, в их, Патбергов, фирме. По его мнению, приобретение этих фабрик укрепит и их, как он любил говорить, «собственную позицию на рынке». На семейном совете она проголосовала «за», Ютта, как и почти всегда, примкнула к ней, отец воздержался, зато Рудольф возражал категорически, но был вынужден подчиниться большинству. Впрочем, с его мнением в семье давно уже никто всерьез не считается. Его незрелость и некомпетентность в делах всем очевидны. Ульрих имел достаточно возможностей весьма наглядно это продемонстрировать.

Что, собственно, у него на уме? Какая гордыня его подстегивает? Утверждаться в ее глазах ему нет нужды. Как и в глазах ее семьи, чего Элизабет поначалу очень хотелось. С тех пор как они полтора года назад съехали с виллы и стали жить в собственном коттедже, который Андреас спроектировал по подробнейшим указаниям ее мужа, Ульрих окончательно отдалился от семьи. Теперь он нередко убеждает ее настоять на прижизненном выделении ее доли наследства, стремясь, видимо, окончательно утвердить свою власть над фирмой. Во время этих бесед она сама порою кажется себе ретроградкой, но все яснее понимает, как прочно привязана к семье и особенно к вилле и парку с его старыми деревьями, цветочными клумбами и просторными подстриженными лужайками, — она помнит их с детства, и с тех пор они ничуть не изменились. Отец нанял садовника, чтобы содержать парк в порядке. Теперь, когда в восемнадцати комнатах огромного дома живут только он да Рудольф, это и впрямь сомнительная роскошь. Но когда Ульрих заводит об этом разговор, она сама удивляется упрямству, с каким противится его доводам. Они могли бы и не уезжать. На вилле всем бы места хватило. Куда бóльшая роскошь — их коттедж, который он так хотел построить, а живется им там ничуть не лучше.

Вот он стоит. Рядом с ним Лотар, за которого она ведь тоже могла выйти замуж, но он никогда не будоражил ее мечты. Если подумать, сколь верна и надежна его привязанность, то это даже несправедливо. С ним ей не пришлось бы опасаться, что она нелюбима. Но она всегда была настолько уверена в нем, что ей это наскучило еще прежде, чем в ее жизнь вошел Ульрих. А Лотар сразу все понял, понял раньше

других и просто отступился, без борьбы. Слабость ли это была или мудрость — ей трудно судить. Когда-нибудь после, по прошествии лет, когда все окончательно образуется и все они будут счастливы, она поговорит с ним об этом. Может, Лотар сумеет ей объяснить и то чувство, какое она испытывает к Ульриху. Этот страх высоты, боязнь провалиться в бездонную пропасть — страх, улетучивающийся, едва только он на нее посмотрит.

Да, она любит этого человека. Сейчас, на качелях, ей легко представить, как она летит к нему. Некоторое время она качалась еле-еле. Теперь же ей снова хотелось летать. Видишь меня? — хочется крикнуть ей сейчас, в высшей точке взлета. Видишь меня? Я здесь! Не страшно, что мы пока далеки. Так даже интересней! У нас все впереди. И ничего, что путь может оказаться долгим. Я не боюсь того мига, когда мы наконец обретем друг друга. Видишь меня? Я здесь! Я лечу! Я счастлива! И мне не страшно.

Он помахал ей. Прибыли гости — их давний клиент с женой,— они останутся к ужину. Ульрих хочет, чтобы она подошла поздороваться.

Элизабет остановила качели, резко выпрямившись и тормозя ногами о землю. О господи, не встать — все кружится и качается, парк, дом, даже небо и облака. Сейчас, сейчас она подойдет. Она слишком долго качалась. Надо подержаться за что-нибудь, хотя бы вот за канат или за стальную опору. Взлет и падение, как в детстве, словно тебя укачивают. И тебя, и всех остальных тоже. Как будто она вдруг опьянела, но она уже чувствует улыбку на своем лице. Сейчас, сейчас, вот только земля под ногами перестанет качаться,— и она подойдет к ним, подойдет с этой улыбкой.

5. Короткий отдых в Дании

Долгие годы... С открытыми глазами, которые ничего не видят. Что-то покинуло тебя. Ты хотел спросить, что это было? Но голос, задающий вопросы, по мере твоего раздвоения звучит все тише. Годы, долгие годы... Как ни в чем не бывало, словно ты все тот же и дела твоих рук все еще подвластны тебе, ты идешь к дому. Пора ужинать, вон твое место за столом. Ты принимаешь образы и распадаешься снова. Никто, похоже, не замечает этих метаморфоз. Ничто не подгоняет тебя, ты можешь не торопиться. Чего тебе недостает, когда все есть? Что переменилось, если все остается по-старому? Годы, долгие годы. Скучный, бесцветный голос, что он там бормочет? Говори по буквам, я не разберу. Весна сменяется летом. Привет, как дела? Ничего, боли прошли. Я десять раз тебе звонил. Не разберу, что ты говоришь...

Оттащив шезлонг на несколько метров от террасы летнего домика, Ульрих Фогтман вот уже час изучал газеты, которые купил, съездив после завтрака в киоск к курортному отелю. Позади, в плетеном кресле, которое слегка поскрипывало при малейшем ее движении, устроилась Элизабет. Какое-то время было слышно и тихое позвякивание вязальных спиц. Но сейчас, видимо, она отложила вязанье и углубилась в одну из тех книг, что шеренгой выстроились на книжной полке в гостиной: романы, биографии, психологические репортажи-исповеди и даже справочник-путеводитель по Дании. Это была целая библиотечка, специально подобранная для летнего отдыха, однако для себя он ничего в ней не нашел. Он, правда, заметил, что в газетном киоске продаются и немецкие книги, дешевые карманные издания. Можно было купить несколько детективов, но его не соблазнили даже детективы. Он еще не успокоился, хотя был здесь уже несколько дней.

Странно, что его так раздражает это безделье. Словно его затормозили на полном ходу и теперь силой заставляют отдыхать, ничего не делать, залечь в шезлонг и, что называется, отключиться, гулять по пляжу, плескаться в море и вообще предаться бездумной лени. А ему все хуже и трудней удается изобразить радость блаженного отдыха, хотя это наименьшее из того, что от него ждут. Он постоянно чувствовал на себе настороженные взгляды Элизабет. от него они не укрылись, но он по возможности старался их не замечать. И все же иногда их взгляды скрещивались. Тогда она, набравшись храбрости, с робкой улыбкой спрашивала: «Тебе хорошо?» И он всякий раз с улыбкой бросал в ответ: «Конечно, замечательно»,— или что-нибудь в том же духе. И это было все, чем он мог смягчить разочарование, которое читал в ее глазах.

— За много лет впервые отдыхаем вместе,— сказала Элизабет, когда он, на неделю задержавшись из-за срочных дел, приехал сюда на своей машине. В ее словах

ему послышался мягкий, угасающий упрек, за которым пробивались нотки надежды, и он постарался тут же осторожно отгородиться от столь прихотливого сочетания эмоций.

— Вряд ли это можно так назвать. Мы же не одни. Весь клан тут.

— И все же,— возразила она,— у нас будет много времени, чтобы побыть вдвоем. А кроме того, можно ведь и отделиться.

— Ты считаешь?

И она ответила:

— Ну конечно. Все в наших руках.

Видимо, она с самого начала хотела дать ему это почувствовать. Ведь, когда он приехал, встречала его она одна. Остальные отправились на пляж, вероятно, она их выпроводила, приговаривая: «Поезжайте, поезжайте, а я тут побуду».

Вся семья знала, что Элизабет любит побыть одна. И он тут же представил себе, как она подметает полы в доме, вытирает пыль, а потом застилает в спальне вторую кровать. Потом она, наверное, вышла на воздух, устроилась с книгой или вязаньем на небольшой террасе, сложенной из серых бетонных плит, и стала его ждать. И когда поздним утром, сверяясь с рисунком, который она ему прислала, он вырулил из ближайшего перелеска, он сразу увидел ее возле первого из двух деревянных домиков, словно она сама, тотчас вскочившая с кресла и радостно замахавшая ему рукой,— тоже знак на ее рисунке. В этой незнакомой местности, которую он знал только по фотографии, Элизабет тоже показалась какой-то необычной, будто он видит ее впервые. Да, это она, его жена, она попросила его сюда приехать. Всю дорогу, пока ехал по Ютландии, он избегал думать о ней. Загнал свои страхи глубоко внутрь и старался отвлечься от неприятных мыслей. Они прекрасно проведут эти две недели, внушал он себе. И сейчас, увидев ее на фоне этого пейзажа, вдруг ощутил прилив нежданной уверенности: все будет хорошо.

Место было тихое, в стороне от дороги, вдали от туристов и курортников; до моря отсюда больше часа ходьбы. Ютта и Андреас обнаружили эти два домика с замшелыми, поросшими травой крышами в прошлом году и сразу сняли их и на следующее лето. На сей раз сюда съехался весь семейный клан. На первой открытке, в которой Элизабет извещала его о благополучном прибытии, расписались все. Но сейчас не видно было ни Ютты и Андреаса с их дочурками, ни Кристофа, ни старого Патберга. Одна Элизабет, стоя у порога, широкими взмахами руки показывала ему, чтобы подъезжал прямо к дому, где уже стоит ее машина.

— Вот и ты.— Она обняла его.— Как доехал?

— Благополучно. Да и погода хоть куда.

— Скандинавский антициклон,— объяснила она.— У нас тут все время солнце с утра до вечера. Видишь, как сухо?

— И как ты загорела...

Она улыбнулась, осчастливленная его взглядом, и только тут он заметил, что на ней новое летнее платье. Крупный, броский узор придавал ему очень датский вид, наверняка платье было куплено в одной из курортных палаток, на которых снаружи вывешены соломенные шляпы и пестрые мячи в сетках. Около последней бензоколонки, где он остановился справиться о дороге, он видел в киоске такие платья.

— Да,— сказал он,— вид у тебя отдохнувший. Ты очень помолодела.

— Погоди,— ответила она.— Через пару дней и ты загоришь не хуже.

Голос ее звенел ликованием и счастьем, которых он в себе совсем не чувствовал и не мог вызвать. Больше всего ему хотелось сейчас сказать ей: «Не спеши, дай мне сперва прийти в себя. Не требуй слишком многого. Я еще не приехал».

Вместе они внесли багаж в дом и сложили на кровать в спальне.

— Вот здесь спишь ты, а здесь я,— сказала она.

— А остальные?

Кристоф и старый Патберг спали в соседней комнате.

В узком проходе между кроватями они стояли почти вплотную, и он подумал: если бы все у нас было как надо, мы бы не разговаривали попусту, если бы все было как надо, мы бы уже легли...

Наверное, она думала о том же. Ведь она все устроила, чтобы встретить его наедине. Быть может, надеялась, что здесь у них все начнется сначала. Но почему она всего ждет только от него и ничем, кроме радостной болтовни, своей надежды не выказала?

А раз так — они снова вернулись в гостиную. Она сварила кофе, и они уселись друг против друга в креслах перед домом.

Что-то было упущено, что-то неуловимо осталось по-старому. Ему сейчас это было безразлично. Яркое солнце уже начинало припекать, но легкий бриз приятно смягчал жару. Кофе получился отменный и сразу его взбодрил.

Он сказал, что ему здесь нравится, что здесь сразу чувствуешь себя другим человеком, что завтра он тоже поедет на пляж и еще что-то в том же духе.

Вот тогда-то она и заметила, что они впервые за много лет отдыхают вместе и что теперь, если им захочется, у них будет много времени друг для друга.

Пока что они пользовались этим временем не слишком удачно. Отдых не сблизил их, только все больше погружал в неизменно ровную дружескую привязанность, в которой было что-то искусственное и натужное,— не потому, что у них были поводы к ссоре, а потому, что, оставаясь наедине, они не могли вести себя иначе.

Ему, видимо, вовсе не стоило приезжать. Это была ошибка. Он чувствовал, как день ото дня в нем накапливается раздражение. Вот он сидит в шезлонге, просматривает спортивные заметки и светскую хронику, потому что ни на чем более серьезном просто не способен сосредоточиться, изучает гороскопы и брачные объявления, а тем временем на фабрике, где у него занято шестьдесят рабочих — на треть больше, чем в прошлом году,— кипит работа. Минувший год был крайне напряженным, и завершить его удалось с наилучшим балансом, таких показателей у него еще ни разу не было. Наконец-то он сумел переломить тенденцию к спаду, наметившуюся в предыдущие годы. Кроме того, он выкупил доли Рудольфа и Ютты, брата и сестры Элизабет. Это было совсем непросто, ведь одновременно потребовались крупные дополнительные вложения, чтобы выполнить мюнхенский заказ. Ему пришлось приобрести новый автофургон с прицепом, новый наполнительный автомат, расширить котельную и склады. Но его банк, как только он ознакомил руководство с условиями заказа, охотно и щедро пошел ему навстречу, благодаря чему он смог рассчитаться по всем платежам. Размах требует риска, а рисковать легче в одиночку, без трусливых всезнаек на борту. Теперь невыкупленной осталась только доля его тестя, и еще два-три года Фогтман, видимо, вынужден будет терпеть советы и воркотню Патберга, пресекая робкие попытки старика встревать в дела фирмы.

Да, приезжать не стоило, особенно сейчас. Тревожный сигнал из Мюнхена, не слишком, впрочем, серьезный, теперь не давал ему покоя. Дней десять назад позвонил прокурист новой торговой фирмы и попросил о пролонгации третьего векселя. Объяснения его звучали вполне убедительно. Фирма начала расширение сети супермаркетов, при таком масштабе работ временные финансовые затруднения — дело обычное, и вполне естественно, что от него, будущего главного поставщика, ждали понимания в этом вопросе.

Собственно, ничего особенного в самой просьбе не было, разве что он ничего подобного не ожидал. Это было неожиданно, но в порядке вещей. Теперь, задним числом, он даже удивлялся, насколько его все это встревожило. Ибо в первый момент он даже решил написать Элизабет в Данию, что не сможет приехать. Но когда уселся за стол и принялся писать письмо, причины, на которые он хотел сослаться, ему самому показались смехотворными, все это в любом случае не стоило того, чтобы лишний раз выслушивать назидательные тирады Патберга. Он скомкал начатое письмо, твердо решив ехать и ничего не говорить ни Патбергу, ни Элизабет. Всегдашний довод, с помощью которого он из года в год уклонялся от таких поездок — у него, мол, летом самая работа,— на сей раз послужит доказательством от противного: он едет, значит, в делах полный порядок. «Все идет хорошо,— написал он Элизабет.— Я приеду, как обещал, и очень этому рад».

Тут он, конечно, немного покривил душой. Ничуть он не был рад, просто решил на сей раз устроить себе отпуск, но твердость этого намерения подтачивалась страхом, который по мере приближения отъезда давал о себе знать все чаще. Правда, на него в это время со всех сторон навалилось множество самых разных дел. В службе сбыта нужно было пересмотреть калькуляцию ассортимента. Цены на лимонад и молочные продукты они оставили без изменений. Зато конъюнктура позволяла поднять цену на некоторые овощные консервы. В промежутках между деловыми визитами в суд и в банк нужно было обзвонить задолжавших клиентов. А тут еще инженер, руководивший строительством новой котельной, просил о встрече, потому что возник-

ли осложнения с прокладкой труб. Из котельной его вызвали на склад, куда поступила слишком большая партия грузов. В тот же день ему пришлось уволить одного рабочего, уличенного в краже, а назавтра нанять двух новых. Он посещал и принимал клиентов, кое-как управлялся с текущей корреспонденцией, но вот до папки новых рекламных проспектов, разработанных его агентством, руки не доходили. Он взял эти проспекты домой, в досаде все исчеркал: много слов и мало выдумки. На следующий вечер надо было обязательно поужинать в коммерческом клубе, где он давно не показывался. В другие вечера, когда бывал слишком измотан, он оставался дома у телевизора. И все эти дни, стоило ему на секунду отвлечься от дел, особенно перед сном, когда он один ложился в огромную кровать, в глубине души вдруг шевелилось смутное, подспудное беспокойство: у них с Элизабет не все ладно. Уже несколько месяцев— подумать только, месяцев! — они не спали друг с другом.

Это охлаждение, отдаление — если его можно так назвать — произошло почти незаметно, и, даже осознав это, он не решился посмотреть правде в глаза, мысленно сославшись на множество вполне уважительных причин: в это время он часто бывал в отъезде, да и работы было действительно невпроворот, кроме того, Элизабет долго мучилась сильной простудой и, чтобы не заразить его — ведь он-то не мог позволить себе ни дня болезни,— ночевала в другой комнате. Были и другие дни, когда от него ничего не зависело, да и не молодожены они, в конце концов,— после восемнадцати лет брака.

Но именно сейчас, когда он вывел фирму на рискованный курс, ему, как никогда, нужно полное согласие с женой. Нужен надежный тыл, а это значит — ни в чем не оставаться должником и оправдывать все ожидания, которые на него возлагаются. Он хотел чувствовать под ногами твердую почву и именно поэтому согласился приехать в Данию, уповая на то, что там, на отдыхе, его отношения с Элизабет наладятся.

Приняв решение, он рассчитывал хотя бы на время забыть об этой тревоге, как забываешь о мелком деле, для улаживания которого уже установлен день и час, намечено время и место. Но чем ближе был день отъезда, тем настоятельней и неотвратимее надвигалось на него и смутное беспокойство, и когда наконец этот день настал и он, по-летнему, или, как ему теперь казалось, скорее по-отпускному одетый, сел за руль и тронулся в путь, ему вдруг стало ясно, что тревога эта не где-то вовне, а в нем самом.

И тут на него внезапно нахлынуло чувство тщетности всех устремлений, нередко посещавшее его и раньше. К чему все эти усилия? Разве ему это нужно? Он увяз в поддельной жизни. Вся его жизнь — подделка, и чем больше он утверждается в ней, тем больше подделывается сам. Но разве этого он хочет? Он ищет настоящего, а находит одну фальшь. И стараясь уверить себя, что подделка и есть подлинность, становится фальсификатором. Впрочем, хороших фальсификаторов, мастеров своего дела, не изобличают, даже если они подделывают собственную супружескую жизнь. Ну а он и тут всего лишь посредственность, долгие годы он неумело подделывал собственный брак и сам себе боялся в этом признаться. А теперь ему захотелось большего правдоподобия. Ему и ей захотелось правдоподобия. Чтобы фальшивка выглядела поубедительней. Неужто он не понимал этого раньше? Тогда зачем же он как безумный несется по автостраде, будто впервые это осознал? Иногда весь мир кажется ему гулким туннелем, по которому он мчится сквозь пеструю, свистящую пустоту.

Вечером у него вышла ссора с Патбергом, внезапность которой всех неприятно поразила. Они ужинали, и Элизабет, только что веселым отпускным голосом позвавшая всех к столу, вскользь упомянула о Рудольфе, который, мол, наверное, скучает на вилле один-одинешенек, если не считать двух его охотничьих собак. Без всякого перехода и с резкостью, его самого удивившей, Ульрих в ответ заметил, что если бы у семьи была хоть капля здравого смысла, то Рудольф и Патберг давно бы освободили виллу, которую следует поскорее отремонтировать и сдать внаем.

— Это неслыханно,— проговорил Патберг,— просто неслыханно.

Он выпрямился на стуле и отложил ложку. В глазах его мелькнул испуг. И они тут же вступили в перепалку об «этой священной корове нашей семьи», как Фогтман издевательски именовал виллу и парк, поскольку денег они съедали прорву, а не приносили ни гроша. Он бросил в лицо старику, что тот рассуждает как крестьянин, а не как деловой человек и серьезный предприниматель и подрывает этим их фабрику. Патберг, не находя более весомых доводов, отбивался общими фразами: уж это, мол,

его дело, вилла — его наследство, вверенное ему отцом, и он никому не позволит к ней прикасаться, а уж зятю и подавно; но внезапно он как-то странно обмяк, словно ему нехорошо. Он стал заикаться, рука его судорожно скомкала салфетку.

— Что с тобой, папа? Тебе плохо? — всполошилась Элизабет, но он только сердито отмахнулся, снова ища свою ложку.

— Не оставить ли нам эту тему? — предложила Элизабет, взглядом давая понять, что Патберг очень взволнован и ему не по себе.

— Да ради бога,— согласился Фогтман с усмешкой.— Это все равно без толку.

— Мы же приехали отдыхать,— увещевала Элизабет.— Вот и давайте отдыхать, и не будем ссориться.

Ужин завершился в молчании. Напротив него сидел Кристоф с бездумным, отсутствующим лицом и прятал глаза.

Как только они покончили с едой, он встал и отправился в соседний домик, к Ютте и Андреасу — сыграть с Андреасом в шахматы. Его встретили радостно, Ютта по привычке чмокнула его в щеку, и ему сразу полегчало. Андреас за эти годы отнюдь не стал гениальным архитектором, как все ожидали, а превратился в добродушного, почти совсем лысого толстяка. Но зарабатывал он, судя по всему, прилично и всей своей осанкой, каждым движением излучал довольство, которое распространялось и на окружающих. А Ютта была по-прежнему стройна, сохраняла спортивный стиль и милую угловатость движений, которая так нравилась Ульриху.

— Ну, как дела? — спросил Андреас, расставляя фигуры.

— На твердую троечку,— ответил он как обычно. Взгляд его упал на раскрытый иллюстрированный журнал, где во весь разворот была помещена цветная фотография алкоголика-негра в Гарлеме, и он добавил:—Особенно по сравнению вот с этим.

— Еще бы,— хмыкнул Андреас, мельком взглянув на фото.— Потрясающий кадр, верно?

Да, кадр был потрясающий, иначе и не скажешь. Он бил наповал, от него невозможно было оторваться.

Негр, бородатый мужчина между тридцатью и сорока, скорчившись, лежал на полуистлевшем матраце, вперив в пространство тусклый взгляд из-под оплывших, воспаленных век. Это был не отсутствующий, а именно погасший, горестный взгляд, тщетно пытавшийся отыскать в смутных глубинах души хоть что-то менее безотрадное, чем эта трущобная конура с замызганным полом, усеянным засохшими спагетти, окурками и пустыми бутылками, чем эти грязные лохмотья или этот сломанный стул с лопнувшей обивкой из красного пластика. Этот человек воплощал тупую покорность судьбе, он знал — или чувствовал,— что у него уже нет сил отсюда выбраться. Он смирился со своим поражением, погряз в нем окончательно и бесповоротно. Но была в его безнадежной сломанности какая-то детская нежность, выразившаяся в странном и трогательном жесте: пальцами одной руки он сжимал указательный палец другой, словно последнюю частицу своего распадающегося «я».

— Кадр и вправду потрясающий.— Больше Фогтман ничего не смог сказать, глядя на этот снимок, завораживающий и отталкивающий одновременно. Картина словно засасывала его, тянула в свои темные глубины, и он всеми силами сопротивлялся этому чувству.

— Сейчас решится, кто выиграет,— сказал Андреас, протягивая ему кулаки с зажатыми в них черной и белой пешками.

— Это почему же сейчас? — поинтересовался он.

— Черные проигрывают,— Андреас кивнул на фотографию.

— Я выигрываю любым цветом,— ответил Фогтман.

Ему достались черные, и он действительно выиграл.

Немного погодя к ним зашла и Элизабет, они с Юттой устроились за столом, пока он и Андреас в другом углу за журнальным столиком доигрывали партию, потягивая светлое датское пиво. И потом, когда они вчетвером сидели за бутылкой вина, которую как проигравший выставил Андреас, было тоже очень уютно. Им было хорошо друг с другом, хорошо и привычно, никто никого не стеснял. Когда так долго друг друга знаешь, общение только в радость. Сноп света от лампы, вобравший в себя их тесный кружок, их загорелые лица, был как бы зримым воплощением этой общности, которую, по-видимому, ощущал каждый, отчего всем было весело и легко.

Но все это мгновенно улетучилось, едва он и Элизабет, попрощавшись с Юттой

и Андреасом, двинулись к своему домику в мглистом полусвете северной летней ночи.

— Счастливо добраться! — крикнул им вслед Андреас, словно им предстояло одолеть долгий путь, а не каких-то пятьдесят метров.

Но двум упрямо замкнувшимся в молчании людям и такое расстояние может показаться бесконечным. Внезапно, будто надеясь что-то от него услышать, Элизабет остановилась.

— Я больше этого не выдержу,— выдохнула она наконец.

— Чего? — изумился он.

— Твоей ненависти — ко мне, к Кристофу, к отцу.

— С чего ты взяла? Нет у меня к тебе никакой ненависти.

— Нет, есть, и ко мне больше, чем к другим. Ты, верно, просто не замечаешь.

— Ерунда,— пробормотал он.— Глупости.

Но это была скорее защитная реакция, на самом же деле он был изумлен и ждал, что́ еще она скажет, хотел убедиться, что она действительно все понимает — про него, про себя, про них обоих. Пусть она раскроется, вдруг им удастся наконец поговорить по душам? Вдруг она совсем не такая, как он думал раньше, вдруг он только сейчас и узнает ее по-настоящему?

— Ну хорошо,— попробовал начать он.— Между мужем и женой всякое бывает, ссоры и разлад тут в порядке вещей, как и наоборот.

У него чуть было не вырвалось «как и любовь», но в последнюю секунду он успел проглотить это слово, в котором ему виделась ловушка, жадно подстерегающая его всю жизнь. Он срочно заслонил это слово другим: «наоборот», так-то лучше.

— Но не ненависть,— проговорила она.

— Какая ненависть? — удивился он.— Ничего подобного, поверь.

Неужели она действительно не понимает, что он не может не лгать и что именно она вынуждает его к этому чаще других?

— С какой стати мне тебе лгать? — спросил он.

— Тогда обещай, что никогда этого не сделаешь.

— Но как? Не клясться же?

— Поцелуй меня.

Он наклонился к ней, и их губы соприкоснулись мягко и нежно, но робко и как-то уж слишком торжественно, и казалось, нет силы, способной хоть что-то в этом изменить. Она закрыла глаза, и уже одно это было ошибкой.

Немного погодя они, скользя, спустились по песчаному откосу и направились к дому. В туфли набился песок. Окно их спальни было распахнуто настежь. В комнате, наверное, опять полно мошкары.

— Завтра мы целый день будем одни,— сказала она.— Кристоф собирается взять напрокат велосипед, а Ютта и Андреас поедут во фьорд и берут отца с собой.

— Постой, ведь завтра солнцеворот?

— А как же. Вечером все поедем на пляж. На закате устроим большой костер. Я уже сказала Ютте, чтобы потом они приходили к нам.

С большей охотой он бы пошел праздновать к Ютте и Андреасу, но Элизабет, видимо, все уже продумала и организовала. Наверное, ей не хотелось снова оставлять Кристофа и Патберга одних. На подходе к дому она взяла его под руку и на секунду заставила остановиться.

— Что мы с тобой завтра будем делать?

— Бездельничать. Читать. Я два детектива купил.

— А после обеда поедем на море?

— Там видно будет.

Когда они вошли в темный дом, навстречу выбежала Бесси, виляя хвостом и требуя от Элизабет ласки. Та склонилась над собакой, обхватила ее голову, принялась гладить по спине и бокам. Стоя над ними, он бездумным взглядом взирал на эту сцену.

— Иди первый в ванную,— шепнула Элизабет.

Он кивнул и молча направился в ванную, слыша, как у него за спиной Элизабет говорит собаке что-то ласковое. Вымылся он наспех, стараясь не шуметь, тщательно обмыл только потные ноги. Здесь, на отдыхе, снова дала о себе знать его давняя неприязнь к своим скрюченным пальцам. На пляже, где все бегали босиком, он неизменно появлялся в кедах, хотя в них прели ноги и он натирал водяные мозоли.

— Зачем ты их носишь? — спросила однажды Элизабет.— Это же такая ерунда. Никто не смотрит на твои пальцы. А мне это вообще ничуть не мешает.

Тебе — нет, подумал он. Но когда он бывал с другими женщинами, то всячески старался скрыть этот свой изъян. Быть может, Элизабет даже хочет, чтобы у него было увечье пострашней, тогда бы она окончательно прибрала его к рукам. Сама того не сознавая, она, возможно, желает ему бед и неудач.

Он прислушался. За стенкой, в гостиной, Элизабет о чем-то говорила с Патбергом,— тот, видимо, спросонок был немного не в себе. Он бормотал что-то невнятное и, похоже, не вполне понимал свою дочь, потому что теперь она говорила, отчетливо выделяя каждое слово.

— Во фьорд,— повторяла она,— вы поедете во фьорд. После завтрака они за тобой заедут.

Патберг в ответ что-то пробормотал — то ли не понял, то ли не соглашался.

— Во фьорд. Там, говорят, очень красиво.

Снова послышалось ворчливое брюзжание.

— Нет,— ответила она,— устроите пикник. Где-нибудь на берегу.

Она говорила уже довольно громко. Видимо, Кристоф тоже проснулся. Спать в одной комнате со стариком — непонятно, как он вообще это выдерживает.

— Нет,— снова увещевала Элизабет,— тебе это вредно. Тебе нельзя так волноваться.

И вдруг с удивительной отчетливостью Фогтман услышал, как Патберг сказал:

— Возмутительная наглость,— а потом повторил еще громче: — Возмутительная наглость!

Он знал, что Патберг имеет в виду его и нарочно говорит громко, чтобы он услышал.

— Возмутительная наглость! — выкрикнул старик в третий раз.

Элизабет теперь отвечала тише, вынуждая, видимо, и отца понизить голос. А может, не хотела, чтобы муж из ванной расслышал ее слова. Вот черт! — думал Фогтман. Как же я теперь выберусь? Меньше всего ему хотелось встревать в семейную сцену.

Теперь он слышал, как Элизабет успокаивает старика, оттесняя его обратно в спальню. Голоса доносились уже с другой стороны, к ним примешивался и голос Кристофа. Но разобрать ничего было нельзя. Видимо, они говорили тише, придвинувшись друг к другу. Наконец-то, никем не замеченный, он смог пройти через гостиную в спальню и лечь. Отсюда их голоса слышались разборчивей. Речь шла о таблетке снотворного, которую в порядке исключения собирались дать старику. Мне тоже таблетка не помешала бы, подумал он, натягивая на голову одеяло. И ему захотелось уехать далеко-далеко, прочь из этой жизни, прочь отсюда.

Утром, когда он проснулся, желание исчезнуть все еще не прошло, будто он пронес его через все свои беспокойные сны. Но едва он осознал это желание, как оно тут же втиснулось в пределы достижимого и разумного: он поедет на пляж. В красноватом свете, струившемся на деревянную стену сквозь оранжевые занавески, он увидел рядом спящую Элизабет. Во сне она отвернула разомлевшее лицо от света и, словно ища защиты, зарылась в подушку. Невозможно было понять, как она умудрялась дышать в такой позе, но ее плечи ровно и едва заметно вздымались и опускались. Он тихо встал и прошел в ванную. А когда вернулся в гостиную, Элизабет в купальном халате уже выходила из спальни, на ходу отводя с лица пряди растрепавшихся волос.

— Что с тобой? — спросила она.— Зачем ты поднялся в такую рань?

Испытывая необъяснимое желание причинить ей боль, он ответил:

— Просто неохота созерцать за завтраком глупую обиженную физиономию твоего отца. Лучше уж поеду на пляж.

— Ульрих,— в голосе ее был тихий укор,— ты же сам вчера затеял эту ссору. Надо быть великодушнее.

— А с какой стати я должен портить себе утро? — спросил он, ожидая новых возражений, но она промолчала. Почти раздосадованный столь легкой победой, он сказал, что ему все равно надо купить газеты и позвонить. Потом взглянул на часы и спросил:

— Не знаешь, в котором часу они уезжают?

— Не раньше половины десятого. Он еще спит. Я ведь дала ему снотворное.

— Тогда я к половине одиннадцатого вернусь. А ты поторопи Андреаса, чтобы он долго не возился. Скажи ему, что мне не хотелось видеть старика.

Она не ответила. Только судорожно сцепленные пальцы выдавали ее гнев. Его так и подмывало еще что-нибудь сказать, чтобы проверить меру ее самообладания, но он взял себя в руки. Он был уже в дверях, когда она сказала:

— Может, возьмешь с собой Кристофа? Он тоже хотел на пляж. Заодно и поговорите, ты ведь собирался.

— Хорошо. Скажи ему, пусть поторапливается. Я жду.

И отвернулся, чтобы положить конец дальнейшим разговорам. На террасе уже пригревало. Он потянулся и глубоко вздохнул. Прислоненные к стене, возле дома стояли складные стулья. Он разложил один, пощупал сиденье — просохло ли? — и сел.

О чем говорить с Кристофом? Как начать? Он давно уже не был с сыном наедине, оба инстинктивно этого избегали, и теперь трудно наверстать упущенное. Былой компанейский тон, принятый между ними несколько лет назад, когда они еще играли в футбол и когда он, правда без особого успеха, обучал мальчишку боксу, чтобы тот умел постоять за себя,— теперь это безвозвратно утрачено.

Он ждал. Закурил сигарету. Вообще-то приятно тут посидеть, созерцая приветливый пустынный ландшафт. Только ведь и после пляжа будет достаточно времени, чтобы вдоволь насладиться этой картиной. Теперь же надо поскорей убираться отсюда. А Кристоф все не показывается. Ничего, он подождет, пусть это и потребует выдержки. Он будет терпелив и ничем не выкажет своего раздражения. Ведь если он не сдержится — значит, сам будет во всем виноват. А ему нужно поговорить с Кристофом спокойно, легко, нужно доказать сыну, что он умеет так разговаривать и что причина их разлада вовсе не в нем. Честное слово, он попытается. Фогтман положил ногу на ногу; сигарета догорала, он ждал. Бросил окурок на каменные плиты и растер каблуком. На террасу вышла Элизабет, лицо у нее было испуганное. Он сразу понял, что она сейчас будет его успокаивать.

— Ну, где же он?

— Не сердись, пожалуйста,— сказала она.— Он не хочет вставать.— Поскольку он не отвечал и в первый момент даже не знал, что ответить, она поспешно добавила: — Говорит, не выспался, устал. Я не могла долго его уговаривать, боялась папу разбудить.

Он молча встал и направился к машине, решив как можно скорее уехать. Но столь же непроизвольно, как поднялся со стула, остановился и сказал:

— Так я и думал.— И лишь после этого, словно в ответ на пощечину, с язвительной улыбкой отчеканил: — И ты, конечно же, обещала, что потом сама отвезешь его на пляж.

Она не стала этого отрицать.

По дороге на пляж он долго не мог успокоиться. Но потом, сидя в гостиничном ресторане за завтраком, вдруг понял, что ему хорошо одному. Им овладело необъяснимое веселье, будто он, сам того не ведая, совершил какой-то важный шаг. Он не мог бы точно сказать, в каком направлении сделан этот шаг, но ему сразу стало легче, ибо гнет скованности, гнет ожиданий, который он ощущал на себе все эти дни в окружении своих близких, больше не тяготил его. На несколько часов он предоставлен самому себе и никто ему не помешает. Вот этот завтрак — яйца всмятку, ветчина, гренки с маслом, кофе, мед — все это только для него. И он насладится этой трапезой в полном одиночестве. Как хорошо, что ни с кем не надо говорить, никого не надо слушать! Да и не вышло бы ничего из этой затеи, кроме смущенных недомолвок. Куда лучше вгрызаться в хрустящий хлеб и глотать горький, обжигающий кофе. Чувствовать, как все внутри наполняется сытым теплом, и никого, никого к себе не подпускать.

О Кристофе он думал теперь спокойно и словно издалека, как о постороннем. Он последний раз предложит Элизабет отдать парня в интернат, это, судя по всему, единственная возможность сделать из него человека. Если же она опять будет возражать, он махнет на все рукой. Со временем сама увидит, куда все катится. А ему надоело слушать, что он, мол, сам рос в интернате и должен помнить, как он там страдал. Так это когда было, бог ты мой! Смешно сравнивать ту богадельню, тот голодный зверинец, куда тетка сбагрила его после смерти матери — да еще во время войны, когда ему только-только десять исполнилось,— с нынешними превосходными, привилегированными заведениями, любое из которых они могут выбрать для Кристофа,

препоручив его заботам опытнейших педагогов! Да что объяснять — только слова попусту тратить. Ее это и не интересует вовсе. Она и знать не хочет о том, как ему там жилось, ей лишь бы подыскать еще один довод, чтобы удержать Кристофа дома, под своим крылышком.

По мне — так ради бога. Ведь он не я, подумал Фогтман. Вот и не надо об этом забывать, так куда спокойней.

После завтрака он рассеянно брел по пляжу; группа рабочих подбирала и складывала в огромную кучу все, что способно гореть,— для сегодняшнего костра по случаю солнцеворота. Некоторое время он наблюдал за ними, вслушиваясь в их датский говор. Потом, дав одному из них прикурить, бесцельно двинулся дальше. Минут через десять, когда пляж остался позади, он разулся, снял носки и, засучив брюки, побрел дальше вдоль кромки прибоя. Здесь никто не убирал, и весь берег был усеян намытыми приливом ракушками с темно-бурыми клочьями водорослей, с застрявшими в них красноватыми скорлупками и клешнями дохлых крабов. Тучки мелких мух поднимались в воздух, когда он ворошил палкой водоросли или пытался откопать торчащую из песка капроновую веревку. Тут и там в крохотных заливах и озерцах, распустив свои прозрачные мантии, плавали маленькие голубые медузы, другие пятнами клейкой слизи высыхали на песке. Стаи вспугнутых чаек с недовольным криком поднимались в воздух и, дав ему пройти, снова садились на песок. Потом вдруг откуда-то из дюн появился голый мужчина и зашагал к морю. Пути их пересеклись, и они обменялись церемонным «God dag» [1].

Было почти безветренно. Отогнанное отливом море искристо мерцало на солнце, мерно и ласково обдавая его ноги тихими пенистыми всплесками. Он долго смотрел на бескрайнюю водную гладь, и у него даже слегка закружилась голова. Он все брел и брел вперед, завороженный тихим шелестом волн, купаясь в потоках тепла, струившихся с безоблачного неба.

— Я же хотел позвонить,— пробормотал он вслух.

Да, давно пора. Утренняя почта в бюро уже просмотрена и разобрана. Все бумаги, которые могли представлять интерес, уже разложены у него на столе. Но он и не думал поворачивать, все шел и шел вперед, словно убегая от кого-то. Сперва он побудет наедине с собой. Постепенно на эту мысль наползла другая, все более отчетливая: пусть это дело как следует дозреет.

То есть как? Какое дело? Почему дозреет? Что за чушь в голову лезет?

Он остановился как вкопанный и оглянулся. Вокруг не было ни души, только пустынные километры песчаного побережья, и в тот же миг в нем вспыхнуло и тут же погасло предчувствие: что-то случилось.

Что-то случилось, подумала Элизабет. Она отложила книгу, в которую вот уже минут пять смотрела по инерции, не понимая прочитанного, и встала — сколько можно сидеть без дела. Было четверть первого, солнце на террасе палило вовсю. Ульриха уже часа четыре нет, хотя он прекрасно знает, что она тут одна и ждет его.

Неужели он все еще злится из-за Кристофа? Или что-то случилось в фирме и он до сих пор висит на телефоне, улаживая неприятности? А вдруг они требуют, чтобы он приехал? Или он сам срочно решил ехать? Что бы она ни предположила — все было против нее. Ничего хорошего его отсутствие не предвещало. Оно таило в себе угрозу. Еще час назад она сама была в ярости. Теперь ярость обернулась страхом. Страх комком сжался где-то в желудке и почти парализовал ее. Ей было нехорошо.

Надо мне самой уйти, думала она. Можно подняться в дюны или посидеть в тенька где-нибудь в сосновой роще. Пусть поищет ее, когда вернется. Может, тогда и поймет, каково ей сейчас.

Но нет, слишком жарко, и совсем нет сил. Да и не станет он ее искать. Лучше бы пойти в дом и выпить чего-нибудь прохладительного. Нельзя все время торчать на террасе и глазеть на дорогу. Этого он ни в коем случае не должен увидеть.

Вот уже два часа она одна. Отец, все еще разобиженный и чужой, как и было условлено, уехал с Юттой и Андреасом во фьорд, а Кристоф куда-то убежал с собакой, и она не знает куда. Она его упрекнула, что он не захотел утром вставать, и он тут же замкнулся. Вообще-то она не хотела ничего говорить, но, увидев, как он с заспанным лицом хлебает овсянку, запивая каждую ложку глотком какао, почему-то

[1] Добрый день *(датск.)*.

не сдержалась. Она с испугом поняла, что он ей противен, и, вдруг повысив голос, с нескрываемым и горьким раздражением стала его распекать: только из-за своей расхлябанности и лени он не поехал с отцом на пляж, хотя отец специально его ждал.

— Даже этого ты не можешь,— сказала она.— Того, что должен уметь всякий школьник. Встать вовремя.

В ответ он только скривился в ухмылке, отчего все лицо сразу приобрело полоумное выражение.

— Прекрати кривляться! — прикрикнула она, хотя и знала, что он тут ни при чем. За ухмылкой он пытался спрятать собственную беспомощность, а она сорвала эту маску. Теперь на нее смотрело совершенно опустошенное лицо с тупым, почти идиотским, незрячим взглядом. Рот приоткрыт, спина сгорблена. С неожиданной и какой-то младенческой жадностью, громко сглатывая, он допил какао и вытер рот тыльной стороной руки. Она отвернулась, стараясь не обращать внимания на его громкое сопенье. Хоть бы не заревел, с отвращением подумала она. Но он по-прежнему неподвижно сидел, сонный, понурый и безучастный. Казалось, ничто его не трогает, ничто не доходит до его сознания. Потом он встал, уже на крыльце тихо позвал Бесси и направился вместе с ней куда-то в дюны.

Поначалу она была рада, что от него отделалась, что хоть немного отдохнет от его вялой разболтанности, от его невыносимых привычек. Но потом ярость сменилась страхом. Она допускает непоправимые ошибки. Вечно она кругом виновата. Потому что ее бросают одну, потому что у них с Ульрихом все так нескладно. Ведь почти все ее ошибки неизбежны — не может она угодить всем сразу. Вечно ей приходится лавировать между домочадцами, примирять, исправлять, улаживать, и иногда она чувствует, как под воздействием этих центробежных сил распадается ее индивидуальность, хотя внешне она почти всегда невозмутима, словно она и впрямь хранительница семейного очага, как привыкли считать остальные.

Разве такой хотела она быть? Но у нее нет другой роли, значит, надо играть эту.

Она чувствует, как напряглось и сжалось все внутри. Почему Ульриха никогда нет рядом, когда он ей нужен? Вот сейчас — почему он оставил ее одну? Или он хочет ее наказать? Она все больше склоняется к мысли, что так оно и есть. Впрочем, приговор ей вынесен еще с рождения. Она знает, что некрасива, непривлекательна, что ей недостает изюминки и от этого она всегда заранее в проигрыше и потому скована. Иногда, поймав на себе неприязненный взгляд Ульриха, она чувствует, как он напрягается всем телом при одном только ее приближении, ей кажется, будто вся она стянута путами стыда и не смеет к нему прикоснуться. Кончиками пальцев она ощущает напряжение его мышц, словно он закован в незримый панцирь. Это оцепенение не всегда ее преследует, но зачастую именно в те минуты, когда ее сильнее всего к нему влечет. Ее чувства замерзают на лету, встретив его холодную неприязнь. Он ускользает от нее — и не замечает, как не замечает и самого себя. И ей остается только уверять его, что она всегда будет с ним, что он может на нее положиться. Для него, наверное, это пустые слова. Она прямо видит, как в мыслях он ставит ее в один ряд с нелюбимым сыном и надоедливым тестем, выстраивает в шеренгу своих разочарований.

А ведь он совершенно ее не знает. Не знает, как сильно она его любит, какое пламя способен в ней зажечь, даже сейчас, да что там — сейчас, пожалуй, как никогда раньше.

Господи, как же ей нехорошо, и опять эта жажда. Ей не нравится эта минеральная вода. У нее затхлый привкус, но ничего другого все равно нет. Как же здесь душно, сил нет. И мухи за занавесками жужжат как безумные. В голове пусто, и кровь стучит, и кажется, будто затылок у нее тонкий и хрупкий, а она вот-вот упадет и ударится головой об угол стола.

Она снова вышла на улицу, на яркий солнечный свет, и почти бегом устремилась к дороге за перелеском, откуда должна появиться его машина. Дойдя до опушки, она остановилась, оглянулась на дом. Не хотелось идти до самой дороги, а потом, так никого и не встретив, плестись обратно. Но если нужно, она дойдет и до пляжа и будет искать его там.

Да, она будет искать его. Чутье подсказывало ей, что, идя ему навстречу, она заставляет его вернуться.

Она опять остановилась. Вдали послышался шум мотора. Но это было далеко, на шоссе, и шум удалялся. Однако сквозь этот затихающий гул прорезался другой, все

более отчетливый. У нее застучало сердце. Она круто повернулась, словно застигнутая на месте преступления. Рокот мотора, который теперь казался ей знакомым, явственно приближался, сейчас он был где-то возле загона для лошадей, а вот умолк, нырнув за холм, начинавшийся сразу за перелеском. Она ускорила шаг. Почему-то ее потянуло к дому, будто там, возле дома, она будет в безопасности. Но она не побежит. Нет, она должна быть совершенно спокойной, когда он ее увидит. Вот он уже въехал в лесок, сейчас он ее заметит. Он, конечно, знает, что она его услышала. Только не оборачиваться. Он не должен видеть ее лица. Он ведь запросто может меня сбить, мелькнуло у нее в голове, нажал на газ, и все. Теперь он уже совсем близко, сигналит. Она сошла на обочину, он медленно поехал рядом, на ходу открывая окно. Это его улыбающееся лицо, его голос:

— Эй, ты что, гуляешь?

— Как видишь.

— Тебя подвезти?

— Нет-нет, сама дойду.

Он кивнул, подъехал к дому, аккуратно поставил машину. Потом вышел ей навстречу.

— Извини, пришлось задержаться.

Она не остановилась, он пошел рядом.

— Случилось что-нибудь?

— Это как посмотреть,— ответил он, входя следом за ней в дом.

Легкий сквознячок, пробежавший по комнатам, когда она открыла дверь, взбудоражил мух, и они зажужжали с новой силой. Он этого не заметил, он вообще ничего вокруг не замечал. Он был поглощен своими мыслями.

— Мюнхенцы платить не хотят,— сообщил он.— Я уже второй вексель пролонгировал. Это больше ста тысяч.

Называя цифру, он сосредоточенно глядел себе под ноги. Сто тысяч, сто тысяч, лихорадочно повторяла она про себя, не зная, как сказать ему, что она с ним и хочет помочь. Но он уже оторвал взгляд от пола и сказал:

— Придется ехать, надо это уладить.

— Я так и думала.

Слова эти были эхом его собственной фразы, сегодня утром или когда-то раньше он произнес то же самое. Но он и этого не заметил, как не слышал надоедливого жужжания мух, не видел испуга в ее лице.

— Думаю, ничего страшного. Но съездить надо.

Она давно уже все поняла, она ведь все знала заранее. Приговор должен быть приведен в исполнение, кара неотвратима. Ей оставалось только покориться.

— Хорошо, давай укладывать чемодан.

— К чему такая спешка? — успокоил он.— Я еще весь день здесь пробуду и на вечерний праздник останусь. Ночью поеду.

Нежно, а может, лишь в знак примирения, он обнял ее за плечи, и в тот же миг затравленные чувства всколыхнулись в ней бурной ответной волной, готовые затопить его приливом новой надежды. Но все было тщетно — она не смогла.

Откуда-то из серого месива пришла волна, невесомая и бесплотная, легко приподняла его, протащила и мягко бросила на песчаный берег.

Как будто я не сплю, как будто взаправду, как будто мне это снится...

И снова это наваждение: шустрые серые лужицы сливаются друг с другом, стягиваются в темный звездообразный узор, в центре которого их засасывает жадный, беззвучный зев, он заглатывает их вместе с мокрым зыбучим песком в свою ненасытную воронку.

Такого же не бывает, думал он, и тем не менее вот оно, работает, прекрасно работает и без меня, хотя мне немного жутко...

Потом, без всякого перехода, словно от легкого толчка, пробежавшего по нервам, Ульрих Фогтман проснулся. Три часа. Он знает, что сейчас три, чувство времени никогда его не подводило. Он лег в двенадцать, чтобы три часа поспать, значит, сейчас ровно три. Он совсем не устал, и сна ни в одном глазу; лежа на спине, он чувствовал во всем теле колющие токи возбуждения, которое, как ему теперь казалось, не оставляло его и во время настороженного, чуткого сна и мгновенно исчезнет, едва он встанет и начнет

двигаться. Он еще полежал, прислушиваясь к себе. Только глаза закрывать нельзя, иначе навалится усталость, неодолимая, липкая усталость...

Сейчас, сейчас встаю, подумал он, сжал кулаки, пошевелил пальцами ног, слегка потянулся всем телом. Да, он проснулся.

— Уже пора? — услышал он голос Элизабет.

Значит, она тоже проснулась, а ведь он едва успел пошевельнуться. На соседней кровати он смутно различил обращенное к нему лицо жены и спросил себя: а спала ли она вообще или так и пролежала эти три часа, не сводя с него глаз.

— Да, мне пора,— ответил он.

— Я заварю тебе чая.

— Не надо, лежи. Я сам.

— Я потом снова лягу.

Когда он ушел в ванную, она встала и направилась в гостиную. Он отчетливо представил себе, как она неторопливо, стараясь не шуметь, хозяйничает в кухонном уголке, включает газ, ставит чайник на голубое пламя конфорки, время от времени поглядывая в окно и не переставая удивляться тому, какие светлые здесь ночи, никогда не бывает по-настоящему темно, вот и сейчас можно различить белесый песок дюн, размытые контуры деревьев и кустов, соседний домик и даже бугорки и кочки на травянистой лужайке перед их террасой.

Хорошо у них тут, думал он, одеваясь. Может, я еще сюда вернусь на денек-другой. Ведь машину так и так придется оставить в аэропорту в Гамбурге. К полудню он уже будет в Мюнхене.

Фрау Крюгер пыталась заказать для него номер в отеле «Байеришер хоф». Но не получилось, так что придется жить в Швабинге, в гостинице поскромней, он там дважды уже останавливался. Ничего, так даже лучше. Он ведь едет выколачивать свои деньги, а не новый заказ, шикарный отель в таких случаях ни к чему. Главное, в той гостинице тоже есть телетайп, и фрау Крюгер сможет сообщить ему все необходимые данные о состоянии их дел с клиентом на сегодняшний день: объем и сроки его поставок, выплаты клиента, за что и сколько тот ему задолжал. Названиие обеих фирм он велел зашифровать. Что бы там ни случилось — главное, кто-то раздул в нем пламя, которое все эти дни только слабо тлело, а теперь заполыхало ярко и во всю силу.

Да, он сгорал от нетерпения уехать отсюда. Но не хотел, чтобы Элизабет это заметила. Не хотел вырывать ее из сонного оцепенения и потому страшился мига, когда, уже одетый и готовый к отъезду, войдет в гостиную. Но она встретила его совершенно спокойно; почти неподвижная в своем черном халате, она сидела за накрытым столом и лишь с трудом оторвалась от созерцания какой-то незримой точки на скатерти. Казалось, она вообще едва заметила, что он сел за стол.

Несмотря на отрешенный вид, она ничего не забыла, даже свечка горела в чайной грелке, и этот огонек в своей вопиющей ненужности (ведь подогревать чай было ни к чему) либо свидетельствовал о том, что она накрывала на стол совершенно бездумно, автоматически, либо был неким тайным знаком заклятья против его отъезда, зловещим жертвенным пламенем, при виде которого ему сделалось не по себе. Он наскоро пожевал бутерброд, допил горячий чай без сахара. Больше его ничто не задерживало, он встал.

— Уж на дорогу-то мог бы съесть лишний кусок.

— Спасибо, не хочу.

Она не настаивала. Торопливо принесла ему термос с горячим чаем.

— Будь осторожен.— Казалось, она еще не вполне проснулась или ее мучает какая-то тяжесть, какая-то недодуманная мысль.— Надеюсь, в Мюнхене у тебя не будет неприятностей.

— Обойдется как-нибудь.

— А как тебя найти? — вдруг спросила она.

— Лучше всего через фирму. Я буду им звонить два раза в день.

Она кивнула. Неясно было, поняла она его или нет. Внезапно его охватило острое, почти неодолимое желание никогда больше не видеть ее, но долголетняя, вошедшая в плоть и кровь привычка взяла верх, он через силу улыбнулся и пожелал ей и всем хорошей погоды и приятного отдыха.

— Как, разве ты не вернешься? — испугалась она.

— Сперва надо выяснить, что стряслось. Ничего, я все устрою.

Он вдруг поцеловал ее, едва коснувшись губами ее безжизненного рта, и отстранился, не дожидаясь ответного поцелуя. Где-то в голове поползла черная заслонка, и едва он повернулся к двери, заслонка захлопнулась, отгородив его от всего, что осталось за спиной.

6. Лови миг удачи

Не сон и не явь, а некая межеумочная полудрема, и радость, прежде всего радость, что он наконец-то один и на несколько часов вне чьей-либо досягаемости. Вот так бы всегда: мир перед тобой, но невесомый и доступный, без тягот, забот и неурядиц.

«Почему тебе вечно надо уезжать?» — спросила Элизабет.

Почему я вообще с тобой? — невольно подумал он в ответ. И постарался вытеснить эту мысль. Но она упрямо возвращалась, дробясь на множество других вопросов. Разве он ради нее сюда приехал? Разве она нужна ему? Или он просто надеялся перехитрить собственное равнодушие? Можно ли, нужно ли дальше так жить? Пусть даже недолго?

Когда ты один, от мыслей никуда не деться. Ты разрешаешь им прийти. Они все равно неосуществимы, но ты впускаешь их в себя. И смотри-ка, оказывается, они знакомы тебе, они давно с тобою срослись.

Ты едешь, не встречая помех и преград, и не оттого ли хочется думать, что все еще можно изменить, что все еще впереди? Самое лучшее — еще впереди. И эта мысль, такая привольная, такая утешительная,— твой переход в невесомость. Ты возносишься в ней, как в огромной защитной капсуле, и почти не чувствуешь своего тела — только голову, руки на руле, ногу на акселераторе и легкую усталость где-то в затылке. И делать ничего не надо — но ты едешь, тебя словно несет, ты будто летишь. Он уже много ночей провел вот так, за баранкой. Ночью куда приятней ехать. Особенно такой светлой ночью. Надо держать скорость, иначе он не успеет к самолету.

Теперь он и вправду тревожился не на шутку. Беспокоили его не столько эти два векселя, сколько другие задолженности — около четверти миллиона,— набежавшие тем временем за неоплаченные поставки. Каждую неделю с его базы, согласно контракту, отправлялся автофургон с консервами по круговому маршруту, от Вюрцбурга до Пассау, а в последний раз даже до Линца, снабжая все двенадцать филиалов. Ему необходим этот сбыт, особенно после всех инвестиций, которые он до сих пор продолжает, но все это хорошо при разумном, надежном партнере, который соблюдает платежные сроки и держит свои обещания. Не слишком ли легковерно он согласился на пролонгацию первого векселя? А что было делать? Объяснения мюнхенского прокуриста звучали вполне убедительно и солидно. Правда, теперь-то у него есть основания сомневаться, ведь в тот раз его твердо заверили, что все последующие векселя будут погашены в срок. И, поверив на слово, он продолжал поставки, неукоснительно, пункт за пунктом выполняя условия контракта.

Он прибавил скорость, откинувшись на сиденье, вытянутые руки на руле, перед глазами — твердо очерченный капот машины и слившаяся в сплошную ленту полоса шоссе, это успокаивало. Вдруг из серой мглы прямо на него вылетела птица и исчезла, мелькнув над ветровым стеклом, еще две просвистели слева, мимо бокового окна, крылья распахнуты, хвост веером, словно в резком вираже. Они проскользнули за стеклом беззвучно, как тени, но почему-то в ушах у него все еще стоял пронзительный крик этих морских птиц, и он успел подумать: они облетают меня, как корабль в море. Внезапно впереди снова замелькали крылья, и он, уже тормозя, наконец увидел их всех — чаек и других птиц, которые тесными рядами сидели прямо на шоссе, куда их, видимо, привлекло тепло неостывшего асфальта, и, казалось, что они то ли спят, то ли окоченели от холода, ибо взлетали они медленно и тяжело, уже почти из-под колес. Но все же взлетали — будто порыв ветра поднял с дороги полог покрывала и уже в воздухе трепал его в клочья. Наконец стая рассеялась, шоссе снова было свободно. Он поехал медленней, не сводя глаз с серого асфальта. Где-то совсем рядом, должно быть, фьорд. Да и море с широкими залысинами прибрежного песка и волнистой грядой дюн тоже где-то неподалеку. Иногда ему казалось, что он даже различает их — там, справа, где из-за горизонта порой выглядывает тонкая, дымчатая полоска. Впрочем, с тем же успехом это могла быть и кромка леса.

И вдруг он понял, что просто не способен вообразить, как это уже сегодня в полдень он очутится в Мюнхене, будет вести переговоры с партнерами, что-то выяснять,

принимать решения. И ему стало страшно, будто он опоздал, опоздал давно и безнадежно, и теперь уже ничего не наверстать.

Впрочем, пожалуй, это был и не испуг, потому что он сразу успокоился. Это было обреченное ожидание. Знакомое и ненавистное чувство. Он помнит его с детства, так бывало с ним в интернате, когда он не мог, например, решить задачку. Дрожь внезапно отпускала его, и он вдруг отчетливо осознавал: больше он ничего не сможет, остается только ждать. Потом, с годами, он понял, что унаследовал эту черту от матери, а та в свою очередь унаследовала ее от своих родителей, и так из поколения в поколение. И все поколения до него воспринимали это чувство как добродетель смирения и скромности, послушания и терпения, и только он, он первый догадался, что это вовсе не добродетель, а оковы. И с той поры пытается освободиться. Ты справишься! — твердил он себе, едва только прежнее чувство бессилия начинало подкатывать к горлу, и, вероятно, все, что он сделал в жизни, было лишь нескончаемым самоутверждением наперекор этому бессилию, которое он еще ребенком привык видеть в глазах матери, которое — только с примесью страха, недоумения и немой тоски — читает во взгляде Элизабет, но которого нет, напрочь нет в глазах дочерей Ютты, так что иной раз ему кажется, будто они совсем ему чужие и, даже хуже того, что у них нет души. Да, у них нет души, с изумлением подумал он.

Душа — это значит страх, скованность, подчинение; и главное отличие высших слоев именно в том, что у них нет души. Вот жена Хартвиха, директора банка,— наглядный пример; та самая Ина Хартвих, что шикарно проводит время, катаясь на лошадях и яхтах, играя в теннис, но притом умудряется еще и быть председательницей комитета помощи странам третьего мира, поощрять молодые таланты, открывать всевозможные благотворительные мероприятия и напропалую крутить романы, хотя последнее, скорее всего, только сплетни. Он никогда не осмеливался подступиться к таким женщинам, даже представить себе не может, как они ведут себя наедине с мужчиной. Так же по-деловому, или им ведомы страсти, а может, они прикидываются? Тут ему просто отказывало воображение, и это тоже оковы прошлого. Пока ты не отваживаешься поднять глаза на жену господина, ты все еще жалкий раб. Нет-нет, Ина Хартвих вовсе его не интересует. Она вообще для него все равно что переодетый мужчина. Зато в Мюнхене Лотар познакомил его с сестрами-двойняшками, красивыми, элегантными, и они вчетвером ходили ужинать. Вот им он позвонит. С одной из них он не отказался бы переспать. С которой из двух — он еще толком не знает, там видно будет. А может, если он правильно понял их намеки, они и обе не прочь. «Мы друг к дружке не ревнуем,— так они сказали.— И влюбляемся все время в одного мужчину». Правда, мужчина должен быть пожилой и непременно при деньгах. Теперь, когда он часто будет наезжать в Мюнхен, это можно устроить, если, конечно, овчинка стоит выделки.

Все пойдет прахом — вдруг, без всякой связи, пронеслось у него в голове. Нет, это всего лишь страх, нельзя ему поддаваться. Его надо прогнать, стряхнуть с себя. Главное — уверенность, сознание собственной силы. Тогда он будет хозяином положения.

Внезапно, словно он столкнулся со стаей в узком туннеле, его захлестнула лавина крыльев и перьев,— тормозя и с трудом выравнивая машину на вираже, он видел все новые и новые волны вспархивающих птиц и все новые их скопления впереди, на автостраде. Они взлетали почти из-под колес и тут же пропадали из виду — но медленно, нехотя, точно в трансе, из которого невероятно трудно вырваться. Он все сбавлял и сбавлял скорость, пока вместе с нарастающей злобой в нем не вспыхнула мысль, что из-за этих глупых птиц, из-за их ленивой, тупой неподвижности, а быть может, из-за их враждебного сговора против него, против его машины, он, чего доброго, совсем остановится, и тогда — поначалу нерешительно, а затем изо всех сил — он вдавил в пол педаль акселератора, и машина ринулась вперед сквозь мягкие серые сумерки, которые в тот же миг разорвал треск крыльев и птичий гам, и он, казалось, собственным телом ощутил подскоки колес по мягким птичьим тушкам, которые мгновенно превращались в кровавое месиво из мяса, внутренностей, перьев, перемолотых костей, и эта каша, налипая на протекторы шин, оставляла на сером асфальте долгий мокрый след. Он видел этот след, тянувшийся за ним, как роковое наследство, как непристойный двойной шлейф, испускаемый им самим, постыдный и неотвязный шлейф дурной славы, от которого он изо всех сил, увеличивая и увеличивая скорость, пытался оторваться, пока не понял вдруг, а вернее, пока какое-то шестое чувство не подсказало ему, что он теряет контроль над машиной и не справится с первым же поворотом. Сейчас его занесет на скользких, заляпанных кровью покрышках, он врежется во что-нибудь и перевернет-

ся,— от одной этой мысли его парализовал внезапный испуг, он будто наяву увидел, как стремительно вырастает, летя прямо на него, то ли дерево, то ли столб, то ли стена, и весь съежился в ожидании страшного удара и наваливающейся черноты,— и только стряхнув с себя это тягучее, навязчивое, кошмарное наваждение, он сбавил скорость, прижал машину к обочине и остановился.

Едва он вышел из машины, его обступила тишина и удивительный, бездыханный покой, в котором словно еще угасали недавние взмахи бесшумных птичьих крыл. Казалось, воздух напоен тихим струением, в нем медленно перемешиваются потоки мельчайших, почти незримых частиц, явность которых ощущалась только в этой чуть заметной дрожи. Не только воздух, но и все предметы были пронизаны этим бестелесным движением. Они то уплотнялись, то как бы растекались, контуры их равномерно и зыбко подрагивали, и только тут он понял, что эта таинственная пульсация, заполнившая собою весь мир, подчиняется частому ритму его дыхания. Понемногу он успокоился, и все стало на свои места. Неверными руками он достал сигарету, закурил, потом обошел машину. В решетке радиатора застрял ошметок пера. Он выдернул его, отшвырнул в сторону и, усевшись за руль, тронулся.

•

Во второй половине дня, вернувшись после деловой встречи в свой отель в Швабинге, Фогтман снял пиджак, сбросил ботинки и улегся на кровать: надо было подумать. Разговор прошел до того гладко и безмятежно, что он теперь едва ли не стыдился своего поспешного приезда, и тем не менее на душе у него спокойнее не стало. Он не мог отделаться от чувства, что ему показали только сляпанный на скорую руку фасад, в то же время придраться было совершенно не к чему, и в конце концов он сказал себе, что, видимо, все дело в личной неприязни, которую вызвал у него управляющий фирмы,— вероятно, именно эта неприязнь и была причиной его недоверия.

Урбан оказался плотным, приземистым человеком с черными как смоль, зализанными назад волосами, гладко облегавшими массивный череп. Слушая собеседника, он вдруг ни с того ни с сего, осклабившись, раздвигал углы рта в странной улыбке, которая сообщала его неподвижному лицу выражение дикого, почти людоедского восторга. Фогтмана он приветствовал с преувеличенным и шумным радушием, обдав его терпким запахом то ли туалетной воды, то ли мужских духов, которых он, судя по всему, не жалел. Дольше необходимого задержав его руку в своей и величая «милейшим господином Фогтманом», он усадил гостя в кресло и повел разговор так, будто считает его приезд в Мюнхен случайной оказией, визитом вежливости, нанесенным по пути, в промежутке между другими более серьезными делами, как бы между прочим. Поскольку Фогтман не знал, как о нем доложили, пришлось принять этот легковесный тон, и, когда они перешли к делу, «к нашим взаимным дружеским интересам», как выразился Урбан, он уже не сумел привнести в беседу ту серьезность и настоятельность, на которые рассчитывал. Выходило, будто причин для беспокойства вовсе нет. Обороты супермаркетов росли с каждым месяцем, так что скоро дела у них пойдут совсем блестяще.

— И тем не менее я встревожен, господин Урбан,— возразил Фогтман.— Вы ведь не погасили два последних векселя. Это около ста тысяч. Для вас, быть может, это пустяк, а для меня деньги немалые. Как прикажете это понимать?

Урбан помолчал, одаривая его застывшей, наклеенной улыбкой, потом сконцентрировался до ответа:

— Дорогой господин Фогтман, разумеется, мне нетрудно погасить оба векселя. Я просил о пролонгации только потому, что подвернулись новые, благоприятные возможности и обидно их упускать. Вы ведь знаете, мы открыли новый филиал в Линце. Одновременно мы значительно расширили наши магазины в Фюрте, Ингольштадте и Розенхайме. В будущем все это, несомненно, пойдет вам же на пользу. Ведь мы открываем для вас весь южнонемецкий, а вскоре, возможно, и австрийский рынок.

— Значит, вы в состоянии погасить просроченный вексель? — снова спросил Фогтман.

— Разумеется,— ответил Урбан,— разумеется. Но меня сейчас больше интересует другое: насколько прочны наши связи? Впрочем, не хотите ли послушать господина Кирхмайра, нашего главного закупщика? Он обрисует вам положение дел.

Урбан вызвал Кирхмайра, невзрачного человека в пиджаке спортивного покроя, который приветливо поздоровался с Фогтманом и крепко пожал ему руку. Кирхмайр выложил на стол весьма отрадные цифры. Они свидетельствовали о резком увеличении оборота за последний квартал, что подтверждалось и банковскими сводками двухнедель-

ной давности. Фогтман все больше терялся и как бы раздваивался — столь разное впечатление производили на него оба собеседника. Кирхмайр, похоже, человек надежный, а вот Урбан оставался для него загадкой. Однако в делах между ними было полное единодушие. Урбан настолько доверял своему подчиненному, что на какое-то время, пока тот говорил, даже вышел из кабинета.

Действительно ли Кирхмайр занервничал и как-то сбился с мысли, едва Урбан оставил их с глазу на глаз, или Фогтману только почудилось? Может, стоит воспользоваться моментом? Но едва он собрался напрямик спросить у Кирхмайра, что́ тот ему посоветует, как вернулся Урбан и, улыбаясь своей зловещей улыбкой, спросил:

— Ну, что скажете?

— Что ж, все это весьма заманчиво,— вынужден был признать Фогтман,— но надо бы еще подумать.

— Разумеется,— сказал Урбан.

Видно, это было одно из его любимых словечек. Вероятно, оно соответствовало его представлению о вальяжных манерах преуспевающего дельца, за которыми он что-то прятал. Только вот что? Все еще улыбаясь, Урбан проводил его до двери, потом через приемную, даже вышел с ним в коридор и пригласил на ужин. Около восьми он обещал заехать за Фогтманом в гостиницу.

Лежа на спине, Фогтман смотрел в потолок, изучая остатки орнамента,— над окном белая лепнина слегка пожелтела. В тарелке дешевого коричневатого плафона из прессованного стекла, свисавшей из венчика гипсовых листьев посреди потолка, чернели грязные комочки — видимо, засохшие прошлогодние мухи. Этажом выше кто-то пустил воду в ванну. Далекий звук плещущей воды нагонял сон, и Фогтман сразу ощутил усталость: ночь за рулем не прошла бесследно. Невольно он закрыл глаза, отдаваясь безоблачному парению, мягкой, укачивающей дреме. Шум воды, заполняя все вокруг, перерастал в ритмичный, низкий гул. В гаснущих глубинах сознания шевельнулась мысль, что спать нельзя, что надо поставить будильник, потом навалилась вязкая чернота. Но вскоре он проснулся. Шум наверху утих. Теперь он чувствовал себя иначе, каким-то подавленным, разбитым, и с острой жалостью к себе, понимая всю несбыточность этого желания, мечтал о помощи и толковом совете.

Так как же быть? Он все еще склонялся к тому, что первым делом надо взыскать долг, неважно, как Урбан к этому отнесется. Так он по крайней мере выяснит, платежеспособна ли фирма или, наоборот, нужно срочно думать о том, как остановить дальнейшие поставки. Впрочем, прекращение поставок так ударит по нему самому, что этого надо избежать любой ценой. Вероятно, Урбан это понимает и потому так уверен в себе. Он ведь прозрачно намекнул: мы открываем вам южнонемецкий и австрийский рынки. Кто способен сказать такое, в состоянии сделать и обратное: Урбан может его до этих рынков и не допустить. А это, поскольку он уже перестроил все производство в расчете на новые масштабы, едва ли не равносильно катастрофе. Половину товаров он еще как-то сбудет с рук, но куда денет остальное?

Придется увольнять людей, выпрашивать в банке новые кредиты, а значит, отдать себя на милость Патберга, владельца всей семейной недвижимости, под которую эти кредиты только и можно получить.

Чем больше он думал, тем яснее понимал: путь к отступлению практически отрезан. Его загнали в нору, и нора, очевидно, сужается. Назад пути нет, остается одно — пробиваться вперед, к другому, дальнему выходу, а уж там, наверху, он сам будет диктовать другим свои условия. Но он не знал, далеко или близко этот выход, ибо впереди были темнота и неизвестность.

Тяжело приподнявшись, он сел, потом выудил из-под кровати свою обувь, дорогие ортопедические ботинки, удобные, но, к сожалению, весьма неуклюжие на вид. Он вообще не любил ботинки на шнурках, но элегантные туфли-мокасины ему носить нельзя. Он нагнулся завязать шнурки и тут снова вспомнил, что хотел позвонить сестрам-двойняшкам, Катрин и Дорис, двум — как же они себя называли? — «самостоятельным незамужним женщинам», тем более что живут они здесь же, в Швабинге, в одном из дорогих многоквартирных домов под названием «Лисья нора». Лотар, познакомивший его с ними, впервые встретил их на конгрессе юрисконсультов по налогообложению, где обе работали переводчицами, видимо, как считал Лотар, с целью подцепить богатых кавалеров. Обе являли собой тип элегантной свет-

ской дамы. С такой где угодно не стыдно показаться. Но хотя обе были чрезвычайно эффектны, помнил он их крайне смутно и с трудом отличал одну от другой. Обе стройные, со вкусом одеты, благоухали дорогими духами, обе пепельные блондинки с роскошными прическами, которые они друг другу укладывали. Обе проучились несколько семестров в художественной академии, но бросили, не из-за того, как они объяснили, что разочаровались в искусстве, а из-за «натлатых джинсовых пролетариев», которые все там заполонили и алюминиевыми ложками хлебали в столовке жуткую бурду, столь же неудобоваримую, как и каша в их мозгах. Как они уверяли, их там форменным образом травили, точно евреев или негров. Это была самая настоящая расовая ненависть, агрессивная и неприкрытая, и ни один из молодых людей, ни один из этих трусов не взял их под защиту. Их беда в том, что они — райские птицы, женщины, рожденные для роскоши, знающие толк в красоте. В наши дни такого не прощают.

Эту историю они рассказали ему во всех подробностях, когда он в первый раз пригласил их в ресторан. Они наперебой развлекали его беседой, и, слушая их, он вполне допускал, что они способны вызвать ненависть и даже стремятся к этому. Всей своей повадкой они показывали, что хотят выделиться. Пусть каждый видит: они не чета всем прочим. Их уверенные манеры, самовлюбленный тон, светский лоск поначалу запугали и его. Он казался себе увальнем, не умеющим элегантно распорядиться картой вин и меню, сбить спесь с надменно-безупречного метрдотеля, а главное, легко поддержать беседу. Он вспомнил их аффектированную речь, преувеличенную выразительность интонаций, театральные, почти истерические голоса, награнную живость, с какой они перебивали друг друга, смеялись, изображали наивное изумление или иронию, снова и снова ошарашивая его наскоками безудержного флирта. Под этим натиском он сперва растерялся и даже сник. Но понемногу пришел в себя, стал находить их болтовню забавной и понял, что все это просто спектакль, в котором ему отведена роль статиста. Это была инсценировка беседы в исполнении слаженного дуэта, где за непринужденностью импровизации нетрудно было угадать отрепетированную заученность множества аналогичных сценок, разыгранных для других мужчин.

Он только одного не мог понять: как пойдут события дальше? С кем они спят и на каких условиях? Как бы выяснить, чем с ними расплачиваться — деньгами или подарками? А может, они занимаются этим просто так, ради собственного удовольствия, из спортивного интереса? Или в надежде подцепить богатого, пожилого мужа, который заменит утраченного отца? Об этом они тоже ему рассказали: родители много лет назад разошлись, отец живет с другой женщиной, их ровесницей, тогда как «бедная, брошенная мама», одинокая и беспомощная, целиком на их попечении. В следующий раз, когда он, пригласив Катрин в ресторан, заехал за ней домой, его представили матери, и он опешил от изумления: откуда у этой рыхлой, бесцветной и неуклюжей особы такие стройные, гибкие, экстравагантные дочери?

В тот вечер, уже на обратном пути в такси, Катрин, ничуть не смущаясь водителя, который все мог видеть в зеркале, проявила неожиданную отзывчивость и даже пылкость. Она довела его до исступления, но дальше порога не пустила, отделавшись прощальным поцелуем. Возможно, ему следовало отвезти ее к себе в гостиницу, но она ни словом на это не намекнула. Потом в фирму от нее пришли два письма, исчерканные крупным, броским, порывистым почерком, и он несколько раз ей звонил. И в письмах и по телефону речь то и дело заходила об упущенной возможности переспать. Хотя упоминала она об этом только иносказательно, намеками, казалось, ни о чем другом она просто не в состоянии думать. Она говорила, что его следует опасаться, она чувствует, какой он развратник, и уж если окажется в его власти, пощады ей не будет. Здесь, в кабинете, этот соблазнительный и зазывный женский голос звучал в ушах совсем уж непривычно, и у него снова возникло ощущение, что все это инсценировка. Однако сквозь театральный шепот ему послышались тихие, едва различимые нотки подлинных затаенных желаний. Как бы там ни было, она стремилась пошатнуть его предубежденность и раздразнила в нем любопытство.

Потом ему дважды пришлось на несколько дней уехать, и связь оборвалась. Она больше не звонила, не писала, и он, закрутившись в сутолоке дел, вспоминал о ней все реже. В конце концов, для него это всего лишь интересное знакомство, приятное, даже волнующее, но не более того. Может, они еще увидятся, может, нет. Не так уж это важно.

Ее звонок застиг его врасплох, и уж совсем он опешил, когда выяснилось, что звонит не она, а Дорис, которая, приняв эстафету, подхватила флирт сестры до того уверенно и похоже, что он каждую минуту сомневался, уж не Катрин ли это, решившая его разыграть, и, опасаясь подвоха, отвечал осторожно и уклончиво. Но это была Дорис. И его сдержанность ничуть не поколебала ее решимости. На следующей неделе она будет в Кёльне вместе с мюнхенским антикваром, новой сотрудницей которого она и отрекомендовалась. Им обязательно надо увидеться. Они договорились вместе пообедать, и с первой минуты их свидания она принялась его обольщать, сразу поцеловала в губы и взяла под руку.

— Мы с Катрин всегда влюбляемся в одного мужчину,— без обиняков объяснила она.— О, Катрин просто без ума от тебя. Просила передать тебе самый нежный привет. Так и сказала: обязательно, непременно его навести, когда там будешь.

Она рассказала о своей новой работе. Вместе с антикваром, богатым пожилым господином, они осматривают западногерманские художественные музеи. Судя по всему, она была не столько сотрудницей, сколько нежной спутницей этого старичка, ибо соблюдала такую конспирацию, будто собирается изменить мужу. Антиквар, поехавший в Леверкузен в гости к приятелю, ни в коем случае не должен знать, что она встречалась с другим мужчиной. По ее словам, он «ревнив, как дикарь», хотя в остальном человек в высшей степени интеллигентный. Вообще ревность — глупый, отвратительный атавизм, который нельзя оставлять безнаказанным,— не правда ли? Конечно, с готовностью согласился он и, улыбаясь, потянулся через стол к ее руке.

Но и на этот раз дело кончилось ничем. Ей нужно было спешить в гостиницу. Только в подземном гараже у собора, где они сели в его машину, она на несколько минут скользнула в его объятия, в точности как в прошлый раз ее сестра, распалила его страстными поцелуями и смелыми ласками, задыхаясь, шептала, что он обязательно должен ее похитить, но, когда он стал чрезмерно пылок, проявила твердость, опасаясь, как бы их встреча не оставила следов на ее лице и шее, что вызовет неминуемый гнев антиквара. В конце концов он почти грубо отстранился от нее, она тут же выпрямилась на сиденье и раскрыла пудреницу с зеркальцем, дабы удостовериться, все ли в порядке. Закурив сигарету, он наблюдал, с какой самозабвенной, истовой сосредоточенностью она исследует чуть ли не каждый миллиметр своей кожи, вертя головой в разные стороны, пудрится, специальной щеточкой подкрашивает ресницы и брови, как растягивает губы, обводя их коричнево-красным контурным карандашом, потом, чуть выпятив, наносит слой вишневой помады, а после, поджав их, точно два валика, размазывает этот слой, чтобы он лег ровно. Снова повертев головой, окинув себя взыскательным взором, она завинтила тюбик, и в тот миг, когда щелкнул замок ее сумочки, Фогтман понял: с этой секунды она для него неприкосновенна. Он довез ее до гостиницы, где она на прощание одарила его легким, как дыхание, поцелуем, скорее даже едва ощутимым кремовым прикосновением губ к его щеке, после чего, уверенная и воздушная, выпорхнула к подъезду. Швейцар распахнул перед нею дверь. Еще раз помахав ему рукой, она исчезла.

Ему казалось, что он сходит с ума, он обнюхал свои руки, свой пиджак, стараясь запомнить аромат ее духов, чтобы потом легче было мечтать о ее теле, грезить о ее объятиях. Таких женщин у него еще не было, он их не знал. Жизнь обделила его и тут, он никогда не бывал в таких кругах, где блистали роскошные красавицы вроде Дорис и Катрин. Заполучить одну из них в любовницы, изучать их дорогостоящие привычки, их уловки и капризы, приобщиться к их эротическому опыту — да, на некоторое время этому стоило посвятить свой досуг.

Он думал больше о Дорис, остановил свой выбор на ней и написал ей длинное, пылкое послание, умоляя о новой встрече. Две недели ответа не было, зато потом пришло письмо от обеих сразу, где одна называла себя его старой, другая — его новой подругой и обе изъявляли желание с ним увидеться, если не сейчас, то при первой же благоприятной возможности. В некотором замешательстве он ответил обеим, но постепенно участие Дорис в переписке свелось к нежным приветам. В конце концов Катрин дала понять, что Дорис «вступила в союз» с богатым антикваром, стала ему, так сказать, чем-то вроде второй жены, что было закреплено юридическим документом, контрактом, оговаривающим ее права и притязания. Теперь в письмах из Мюнхена приписки от Дорис встречались все реже — она часто была в разъездах вместе со своим антикваром. Зато Катрин подробно писала о себе: она разочаровалась в мужчинах, не желает больше себя связывать, и вообще, будь ее воля,

она весь мир перевернула бы вверх тормашками. Но, к сожалению, без денег не проживешь, и она знает только один способ их раздобыть: продаваться.

— Господин Фогтман? — спросил мужской голос.

— Да, я у телефона,— ответил он.

— Это Кирхмайр,— представился голос.— Извините за беспокойство, господин Фогтман. Я так рад, что наконец дозвонился. У вас все время было занято.

— Да, я разговаривал. Так в чем дело?

Только теперь, с внезапным испугом, словно в нем пронзительно задребезжал сигнал тревоги, он сообразил, кто ему звонит,— ведь это Кирхмайр, главный закупщик фирмы. Может, хочет предупредить, что они с Урбаном опоздают? Да нет, вряд ли, голос слишком серьезен и, видимо, настроен на долгий разговор.

— Прошу простить, господин Фогтман, что я выбрал именно такой путь. Но я посоветовался с двумя коллегами, и оба они настоятельно рекомендовали мне срочно, еще до ужина, вам позвонить. Я и сам уже начинаю сомневаться, правильно ли поступаю. В любом случае хотел бы надеяться, что разговор этот останется между нами.

— Хорошо,— ответил Фогтман,— обещаю.

Он вдруг понял, что вместе с этим голосом, доверительно и вкрадчиво лившимся из трубки, на него наползает что-то грозное и неведомое. Невольно ища опору, он откинулся на спинку стула.

— Я буду краток, господин Фогтман, тем более что времени у нас немного. Собственно, я хотел сообщить вам только одно: хотя фирма процветает, в настоящий момент она почти неплатежеспособна. И вызвано это одной-единственной причиной: бельгийский владелец, господин Хохстраат, самым безответственным образом изымает из дела свой капитал.

Кирхмайр умолк. Видимо, ему предлагалось переварить эту новость. Но он ничего не чувствовал, только опустошенность, будто самое страшное уже позади. Наконец, спросил:

— А почему Хохстраат это сделал?

— Я слышал,— отвечал Кирхмайр,— он ввязался в какое-то сомнительное предприятие с танкерами и понес большие убытки. И вот теперь, чтобы их покрыть, забирает у нас свой капитал.

— Все равно не понимаю. Дойную корову какой прок резать?

— Я и сам об этом думал,— согласился Кирхмайр,— но, видно, у него нет другого выхода.

Снова повисла пауза, собеседник словно спрятался в укрытие и затаился. У Фогтмана вдруг возникло чувство, будто он тычется в темной комнате с завязанными глазами, а кто-то другой или другие наблюдают за ним, ждут, что он предпримет, куда повернет в поисках выхода, которого, быть может, и нет вовсе. Наконец он сказал:

— Что-то в этом роде я предчувствовал.

— Правда? — удивился голос, который Фогтману все труднее было связать с воспоминанием о недавнем разговоре.— Это обнадеживает. Наверное, у вас уже есть план?

— План? Какой план?

— Как вам спасти ваши деньги.

Страх сковал его по рукам и ногам, внутри все сжалось. Хорошо еще, Кирхмайр не видит, как он потрясен этой фразой.

— Что вы пытаетесь разнюхать? — спросил он резко.

— Я? Упаси бог! Я хотел только в сугубо личном порядке поделиться с вами своими тревогами и опасениями моих коллег, которые, как и я, не хотели бы потерять работу. Вы ведь не против, если я тоже приду на ужин?

— Да нет. Почему я должен быть против?

— Видите ли, господин Фогтман, вполне возможно, что между нашими и вашими интересами не так уж мало общего. Мы видим единственный путь к спасению: фирма должна сменить владельца. Сколько я понимаю, господин Урбан склоняется к той же мысли.

Он что — сумасшедший? Во что его хотят втянуть? В нечестную игру, в заговор?

Он не верил своим ушам, он отказывался понимать эти намеки, сколь бы откровенно они ни звучали. Ему купить фирму? Бред!

— От чьего имени вы звоните? — сухо осведомился он.

— Упаси бог! — вскричал Кирхмайр.— Я и двое коллег посоветовались и решили вам позвонить. До этого мы были у господина Урбана и изложили ему наши опасения. Мне кажется, он думает так же, как мы.

— Я понятия не имею, о чем думаете вы и о чем думает господин Урбан. Я хочу одного: получить обратно свои деньги, как и положено во всяком солидном деле.

— Это бы, конечно, лучше всего,— отозвался Кирхмайр.— Пожалуйста, извините меня за эту поспешность. Я просто хотел вас подготовить к тому, что сегодня вам будет сделано конкретное предложение. И обрисовать подоплеку. А еще, чтобы вы не отказывались с ходу, хочу вам сказать: и с моей стороны, и со стороны моих коллег вы можете рассчитывать на всяческую поддержку. Полагаю, руководители всех филиалов думают точно так же. Но еще раз прошу: никому ни слова о нашем разговоре.

— Хорошо. Спасибо,— бросил он.

Не дожидаясь ответа Кирхмайра, он положил трубку. Впрочем, тот, видимо, сделал то же самое.

Он встал, прошелся по комнате, остановился. Все услышанное казалось невероятным, словно сон, и подробности разговора уже начали расплываться в памяти. Остался неприятный осадок, будто кто-то пытался втереться к нему в доверие с явной целью обмануть или будто он говорил с болтливым сумасбродом. Хотя дело тут не в Кирхмайре, а в ситуации, которая толкнула его на этот шаг, вот ситуацию-то и нужно разгадать. Пусть побуждения Кирхмайра ему ясны, но ситуацию тот, видимо, обрисовал достоверно. Надо попытаться прокрутить все еще раз. Итак, бельгийский владелец где-то попал в переплет и забрал из фирмы свои деньги. Он считал, что может себе это позволить, ведь оборот неуклонно возрастал. Но тем временем от поставщиков набежали просроченные векселя, как вот его вексель, к примеру. И если сейчас опротестовать этот вексель, а за ним и остальные, банкротство неминуемо. Чтобы этого не допустить, Кирхмайр и Урбан — либо каждый на свой страх и риск, либо сговорившись — решили круто сменить курс и попросту выбросить бельгийца за борт. Ну что ж, это понятно. А его втягивают, потому что он основной поставщик и больше других увяз в этом деле. У него на руках самые сильные козыри, чтобы загнать бельгийца в угол и вынудить к продаже. Один вексель уже просрочен, а за ним через каждые две недели последуют новые,— по-видимому, это достаточно опасное оружие, особенно если к нему присоединятся другие поставщики и предъявят свои векселя. Такая угроза должна подействовать, тут любой спасует.

Пожалуй, Урбан верно все оценил. Главное — выждать. Улучить подходящий момент, тот кратчайший, едва уловимый миг, когда противник раскроется,— точным ударом любого уложить можно. Спокойно, думал он. Только не терять головы. Я и так слишком далеко зашел. Не надо торопить события. Первым делом я потребую самой тщательной проверки всей документации. Это надо Лотару поручить. Мы все вверх дном перевернем, каждый уголок обшарим. Любую мелочь, как рентгеном, просветим — нет ли где затемнений. Может, позвонить ему сейчас же, посоветоваться и предупредить, чтобы в случае чего сразу приезжал? Может... Нет, надо успокоиться, лучше пока ни о чем таком не думать. Но помечтать-то можно... Руководство фабрикой он передоверит заместителю, а сам по меньшей мере три недели из четырех будет жить в Мюнхене. Тиски, в которых он бьется все эти годы, ослабнут, он сможет наконец вздохнуть посвободнее. Отсюда, из Мюнхена, он будет управлять своей империей, всеми двенадцатью филиалами, и при этом будет сам себе поставщиком, это же оптимальная ситуация, прежде всего для финансового планирования! Даже Патберг должен это понять, но все равно он будет сопротивляться и может испортить все дело, если не припереть его к стене, пригрозив, что в противном случае они потеряют не только деньги, но и клиентуру.

Ну а потом? Что значит «потом»? До этого еще далеко. Нельзя уноситься в заоблачные выси, у него должна быть ясная голова, чтобы правильно все решить. Правильно? А что значит «правильно»? Правильно для меня, уточнил он. Для меня правильно.

Он купит себе здесь, в Мюнхене, шикарную квартиру в старом доме. Его будет навещать Дорис или Катрин, а может, и та и другая. У него будут деньги, и он

наконец-то ощутит, что такое свобода. Деньги — это синоним слова «жизнь», вернее, это сама радость жизни, ведь почти все, к чему устремлены людские желания, помыслы и страсти, можно купить. Либо получить в качестве бесплатного приложения к вещам, которые покупаешь: например, свободу и праздность и все неисчислимые возможности, все необъятные перспективы, которые даруются человеку вместе со свободой и праздностью; а еще власть, и преклонение других, и, вполне вероятно, любовь, если, конечно, в ней вообще будет нужда при таком-то счастье. Ведь счастье — это пьянящее чувство восторга, когда кидаешься в пучину жизни, смело ныряешь в глубины, зная, что тебя вынесет наверх, на гребень новой волны, зная, что не утонешь, что непобедим. Да, и чем больше у тебя денег, тем больше простора под этим небом, тем больше у тебя места в этом мире. Хочешь — живи в вилле с огромным парком, хочешь — ютись в жалкой лачуге. Можно позволить себе и пожить бедняком, если ты богат. Да, только так, отбросив кисленькую мораль и сантименты, надо смотреть на вещи. Ибо победителю достается все, а побежденному — ничего, и только ради этого стоит жить, ловя миг удачи.

Что же он сделает в первую очередь, когда у него будут деньги? Какие желания исполнит? Сперва... ох, сколько всего! Просто голова кругом идет. Ведь вообразить можно только самую малость. Грезы так расплывчаты, словно там, в мечтах, ты почти слеп.

Видно, он и вправду грезил наяву. Иначе с чего бы вдруг ему показалось, что телефон, затрезвонивший на столе,— предмет совсем из другого мира, куда он, беря трубку, не сразу сумел вернуться.

— К вам господин Урбан и господин Кирхмайр,— доложил портье.

— Спасибо. Сейчас спущусь.

Он надел пиджак, ощупал карманы, проверяя, на месте ли сигареты и зажигалка, и мельком взглянул на себя в зеркало. Волосы слегка растрепались, он наспех причесался и сунул расческу в карман. Голова была ясная, он чувствовал себя спокойно и легко. Готов к любым злодеяниям, сказала бы Катрин. Ну что ж, думал он, что ж...

Какими безобидными, какими жалкими и смешными посредственностями показались ему эти двое, ждавшие внизу, пока он спускался по лестнице.

(Продолжение следует)

Публицистика

ГЕОРГИЙ ШАХНАЗАРОВ

КАК ОДОЛЕТЬ ДЬЯВОЛА

Читатели «Иностранной литературы», привыкшие заглядывать в раздел публицистики, помнят, вероятно, наш отклик на книгу Джонатана Шелла «Судьба Земли» [1]. Книга эта сразу же после своего появления в 1982 г. привлекла к себе на Западе самый широкий читательский интерес. И она того заслуживала, ибо автор страстно звал людей отрешиться от благодушия, проникнуться пониманием масштабов ядерной угрозы и включиться в действенную борьбу за ее предотвращение. В конце своей книги Шелл признавался, что не имел в виду предлагать политическое решение проблемы и оставляет на долю других разработку практических мер, при помощи которых человечество, впервые в истории действуя совместно, сможет спасти цивилизацию и жизнь на планете.

И вот перед нами новый труд, автор которого без обиняков называет его «попыткой ответить на вызов Шелла». Это — монография профессора экономики Нью-йоркского университета Дитриха Фишера «Предотвращение войны в ядерный век» [2]. Нас, естественно, заинтересовала возможность продолжить размышления, начатые в связи с книгой Джонатана Шелла. И укрепила в этом намерении весьма лестная рекомендация, которую дает работе Фишера известный американский специалист по международной политике Ричард Фолк: «Быть может, это наиболее важная книга из всего написанного когда-либо о ядерной войне».

А надо ли говорить, сколь важен сегодня любой, даже малый вклад в решение этой самой насущной и головоломной проблемы не только нашего времени, но, быть может, человеческой истории. Точнее, суперпроблемы. В ее дьявольском отсвете приобретают не свойственную им окраску все боли и радости человечества, его заботы и надежды. Она вынуждает к переоценке многих традиционных понятий, обретающих в ее контексте смысл, противоположный изначальному, ставит под вопрос веками освященные принципы нравственности, классические философские истины, подрывает мосты, которые человеческое сознание от рождения своего перекидывало в вечность времени и необозримость пространства и без которых оно никогда не смогло бы двигаться вперед.

Подход к такой проблеме может быть продуктивным только при условии, если мы исходим из возможности ее решения. Иначе лучше не браться за это дело, чтобы не лишиться рассудка самому и не свести с ума других. Вот первая мысль, которая заслуживает быть отмеченной в книге Фишера. Он с самого начала убежденно заявляет о реальности достижения

[1] См. статью «Пусть никогда не наступит «ядерная полночь» («ИЛ», 1983, № 7).

[2] Dietrich Fischer. Preventing War in the Nuclear Age. Totowa (New Jersey), Rowman and Allanheld, 1984.

ШАХНАЗАРОВ ГЕОРГИЙ ХОСРОЕВИЧ (род. в 1924 г.)

Советский ученый, доктор юридических наук. Лауреат Государственной премии СССР. Президент Советской ассоциации политических наук, вице-президент Международной ассоциации политических наук. Автор книг «Коммунизм и свобода личности» (1956), «Социализм и равенство» (1958), «Социалистическая демократия» (1972), «Социалистическая судьба человечества» (1978), «Фиаско футурологии» (1979), «Грядущий миропорядок» (1981), «Социализм и будущее» (1984), «Куда идет человечество» (1985).

безопасности в ядерный век. И здесь мы с ним вполне солидарны. Тем более что дальнейшее изложение не дает основания упрекнуть автора в благодушии, и оптимизм его не казенный, не легковесный, он подкреплен серьезными аргументами и расчетами.

ФИШЕР весьма лаконично излагает цифры и факты, характеризующие размеры ядерной угрозы, ссылаясь на то, что они широко известны. И тем не менее книга его, опубликованная спустя всего два года после выхода «Судьбы Земли», позволяет оценить скорость, с какой на мир до сих пор надвигалась катастрофа, а также меру противодействия ей, темпы, какими человечество мобилизует свои защитные силы.

Данные заметки, разумеется, не претендуют на подведение баланса плюсов и минусов в развитии обстановки. Ясно одно: после Женевы можно говорить о наметившейся тенденции к ее улучшению, но пока еще эта тенденция остается в сфере намерений. Материальная подготовка войны продолжается и даже нарастает.

Напоминая о том, что война может начаться из-за ошибки человека или машины, автор приводит следующий факт: за 18 месяцев с 1 января 1979 по 30 июня 1980 г. компьютеры системы НОРАД 3804 раза оповещали о «советской ядерной атаке». Причинами ошибок оказывались пробные запуски ракет, лесные пожары и даже стая гусей. В четырех случаях ядерные бомбардировщики и ракеты были по ложной тревоге приведены в состояние повышенной боевой готовности. Однажды такая тревога была объявлена, когда техник неумышленно ввел в систему предупреждения учебную ленту с сигналами ядерного нападения, немало ошибок произошло из-за сбоев в работе компьютеров.

Вот как комментирует Д. Фишер факт размещения американских ракет в Западной Европе. До сих пор продолжительность полета межконтинентальных ракет составляла примерно 30 минут. И соответственно времени, для того чтобы распознать ошибки в системе предупреждения, оставалось около 25 минут. Поскольку же «Першинги-2» размещаются теперь у нас под боком, то им понадобится всего лишь 5 минут, чтобы достигнуть Москвы. Следовательно, делает вывод автор, учитывая возможность ошибки, эти новые ракеты вместо повышения безопасности Запада резко уменьшают ее.

И еще одно предостережение: если полагать вероятность ядерной войны равной двум процентам в год, то вероятность того, что она произойдет через 50 лет, составляет 64%, через 100 лет — 87%, через 200 — 98%, через 500 лет — 99,99%, а через 1000 лет война разразится непременно.

Ценность подобных подсчетов не столько в их научной достоверности, сколько в психологическом воздействии на умы. Должно быть ясно для всех: если мы будем без конца откладывать радикальное решение проблемы, то рано или поздно катастрофа произойдет. И другой вывод: с каждым потерянным годом вероятность ее возрастает.

В ПОСЛЕДНИЕ годы по ту сторону океана появилось множество произведений, авторы которых стоят на позициях крайнего национального эгоизма и буквально брызжут слюной по адресу ненавистных им коммунистов. Подобное ослепление ненавистью сводит на нет все их рассуждения о возможных путях обеспечения безопасности. Ибо к предотвращению ядерной катастрофы ведет лишь один путь — путь переговоров, соглашений, взаимопонимания и доверия между противостоящими военно-политическими лагерями. Переговоры же, как известно, только тогда могут достичь успеха, когда обе стороны стремятся понять своих оппонентов и учесть их интересы.

Этот постулат с самых первых страниц книги и провозглашает Фишер, добросовестно отстаивая его до конца. Уже во введении мы читаем: «Стремление к безопасности ни в коей мере не есть «игра с нулевой суммой», то есть ситуация, когда выигрыш одной стороны оборачивается для другой проигрышем. Чтобы обеспечить собственную безопасность, совершенно необязательно снижать безопасность потенциального противника. На самом деле, мы не можем быть в полной безопасности, пока другие чувствуют угрозу с нашей стороны, ибо они, естественно, будут пытаться найти пути и средства устранения этой угрозы. Признание и уважение законного стремления других к безопасности отвечают нашим собственным интересам».

Если водитель автомобиля, приближаясь к перекрестку, видит зеленый свет и в то же время мчащийся наперерез тяжелый грузовик — развивает эту мысль автор,— неразумно с его стороны настаивать на своем «преимущественном праве». Существует термин «защитительное вождение», он употребляется для обозначения осторожного, дальновидного подхода, гарантирующего, что мы не попадем в аварию, даже если другие будут делать ошибки. Знаменитая надпись на могильном камне гласит: «Мир праху его. У него было предпочтительное право проезда».

Позиция Фишера, отражающая мнение реалистически мыслящих научных и политических кругов США, далеко еще не стала общепризнанной. Напротив, она лишь пробивает себе дорогу, ибо американский правящий класс до сих пор не усвоил суровых реалий ядерной эры и во многом продолжает мыслить категориями периода ядерной монополии США.

Фишер упоминает, что однажды пытался обсуждать проблему безопасности с профессором, преподающим ядерную стратегию в военной академии США. Тот прервал обсуждение, сказав: «Наша задача заключается в том, чтобы защитить себя. Как русские собираются защитить себя — это их проблема; мы не можем решать ее за них». Такая близорукая концепция, замечает автор, наверняка, как он полагает, выдвигаемая и советской стороной, частично повинна в создании

того опасного положения, в каком мы оказались.

Вот упрек, принять который мы не можем. Разумеется, в высказываниях отдельных советских авторов могла прозвучать недооценка неразрывной связи между задачами обеспечения безопасности обеих крупнейших ядерных держав: подобные вещи осмысливаются далеко не сразу и не всеми. Однако на политическом уровне на протяжении всего послевоенного периода неизменно подчеркивалось, что Советский Союз не стремится решать проблемы своей самозащиты в ущерб безопасности США. Наиболее определенно и полно это положение было сформулировано Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым на пресс-конференции в Женеве: «Мы решительно выступаем за то, чтобы были достигнуты соглашения, обеспечивающие одинаковую безопасность для обеих сторон... Более того, я попытался не раз наедине и на пленарных заседаниях высказать наше глубокое убеждение, что меньшая безопасность Соединенных Штатов Америки по сравнению с Советским Союзом была бы нам невыгодна, так как это вело бы к недоверию, порождало бы нестабильность» [1].

НАРЯДУ с необходимостью учитывать взаимные интересы Фишер ратует за то, что можно назвать стремлением к психологической совместимости. Чтобы убедить других, говорит он, мы должны стремиться понять их собственную озабоченность, интересы, логику мышления. Иначе нельзя ожидать, что они к нам прислушаются.

Вполне разумная мысль. Хотя, к сожалению, Фишер не во всем верен ей на практике. Так, на протяжении книги мы не встретим почти ни одной ссылки на работы советских теоретиков по вопросам войны и мира и ядерного разоружения. Между тем в последние годы у нас появилась серьезная литература, знакомство с которой помогло бы западным специалистам понять, как формируется советская политика в области безопасности, какие аргументы стоят за теми или иными ее компонентами. К чести советской науки следует сказать, что со своей стороны она самым внимательным образом следит за политической литературой в США и вообще на Западе; это помогает нашим авторам избегать примитивного и упрощенного толкования мнений «другой стороны».

Но поскольку подобным недостатком страдает не один Д. Фишер, а вся американская политология, удовольствуемся тем, что в отличие от многих своих коллег наш автор добросовестно учитывает политическую позицию Советского Союза, выраженную в официальных заявлениях его руководителей. Объективность Фишера подтверждается и тем, что он, не колеблясь, опровергает мифы, создаваемые американской пропагандой, и во многих случаях оценивает политику Соединенных Штатов как она того заслуживает.

Вступая в полемику со своими соотечественниками Грэем и Пейном, которые утверждают, будто наращивание ядерной мощи США вызывается соответствующими мерами Советского Союза, Фишер им возражает: «В действительности США всегда первыми развертывали новые ядерные вооружения, а СССР лишь следовал за ними через несколько лет. Так обстояло дело с атомной, водородной и нейтронной бомбами, с ракетами подводного базирования, многозарядными боеголовками и крылатыми ракетами». Теперь к этому перечню надо добавить и намерение американской администрации приобрести сомнительной чести приоритет в создании и развертывании космического оружия. И Фишер резонно добавляет, что попытки держаться впереди в гонке наступательных вооружений напоминают сизифов труд: всякий раз, когда преимущество кажется достигнутым, оно ускользает, и требуются новые усилия, чтобы вновь его обрести. Каждый виток более труден и опасен, чем предыдущий. Это — путь к самоуничтожению.

Достаточно четко Фишер говорит и об основных источниках гонки вооружений, называя в том числе погоню военно-промышленного комплекса за барышами и политику вмешательства во внутренние дела других стран. В качестве примеров подобного вмешательства, способного перерасти в более широкую войну, он указывает агрессию США во Вьетнаме, захват Гренады, другие факты американского экспансионизма.

НАПОМНИМ, что одним из главных упреков, который мы считали возможным предъявить Джонатану Шеллу, было почти полное отсутствие в его яркой работе попытки связать проблему мира с проблемой развития. При таком подходе идея мира как бы отрывается от реальной почвы, переносится в искусственный лабораторный вакуум, где сравнительно несложно найти пути ее решения, которые, увы, окажутся абсолютно бесполезными в суровом мире, раздираемом классовыми и межнациональными противоречиями.

Нельзя сказать, что Фишер в полной мере учел этот фактор и сумел дать серьезный ответ на вопрос, волнующий человечество в канун третьего тысячелетия: как добиться органичного сочетания двух кардинальных задач, стоящих перед человечеством,— задачи выживания, сохранения рода людского и задачи революционного обновления общества, утверждения в нем большей справедливости и равенства. Но он, по крайней мере, признает наличие самой этой проблемы, отдает себе отчет в том, что, размышляя над путями предотвращения ядерной войны, невозможно отвлечься от того факта, что нынешнее мироустройство является далеко не образцовым. Иначе говоря, американский автор приближается к признанию необходимости параллельной работы: в интересах упрочения мира и одновременно его преобразования.

[1] Советско-американская встреча на высшем уровне. «Политиздат». М., 1985, с. 25—26.

Мир, пишет Фишер,— это нечто гораздо большее, чем простое отсутствие войны; мир предполагает активное, взаимовыгодное сотрудничество. Далее он отмечает, что прямое насилие (когда люди гибнут в войнах) до сих пор в целом уступало структурному насилию (когда они гибнут от голода или болезней, порожденных неравенством и несправедливостью). По некоторым подсчетам, при равномерном распределении дохода на душу населения во всем мире, в 1965 г. можно было бы избежать 14 млн. смертей (и это еще весьма осторожная оценка). Для сравнения: в том же году от международных и внутренних конфликтов погибло примерно 115 тыс. человек, то есть менее одного процента от числа тех, кто стал жертвами «структурного насилия». Однако сейчас, когда возникла угроза всеобщего ядерного уничтожения, заключает Фишер, особое значение приобретает предотвращение прямого насилия.

К этому мы могли бы добавить: все дело как раз в том, что так называемое структурное насилие не только требует сугубого внимания и борьбы с ним само по себе, оно в возрастающей степени становится источником военной угрозы. Конечно, люди, умирающие с голоду, не могут кому-то угрожать — их призыв к состраданию должен лишь оставить рубцы на совести человечества. Зато вполне реальную и серьезную угрозу представляет увеличивающийся разрыв в уровнях экономического развития между группой империалистических государств и большинством развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки.

КАК же воспрепятствовать прямому насилию? Фишер обоснованно начинает с анализа понятий. В наше время одним из источников недоразумений, серьезно мешающих достижению соглашений на переговорах, является разное толкование сторонами одних и тех же вещей. Впрочем, проблема эта далеко не сегодняшняя. Еще Гегель считал центральным в науке и политике точное определение понятий. И не случайно возникла потребность в специальной отрасли семантики, главная задача которой состоит в соединении субъективной логики с объективной, установлении как можно более точного соответствия между сутью вещей и их отображением в языке.

Центральное понятие своей работы — безопасность — Фишер определяет как способность страны избежать войны, а в случае войны обеспечить максимальное выживание населения. Он предлагает своеобразный математический критерий для оценки достигнутой степени безопасности. Таким критерием «от обратного» должна служить средняя цифра потерь во время войны — в год на 1 млн. населения. Предложение может показаться странным, однако в нем есть смысл; оно позволяет судить, до какой степени оправданно или обоснованно расходование средств и применение усилий для обеспечения безопасности.

Национальная безопасность, продолжает Фишер, зависит также от способности народа поддерживать свой образ жизни в условиях свободы от иностранного господства. Но в это понятие ни в коем случае нельзя включать интересы государства за границей, так как защита вооруженным путем подобных интересов двумя или более сторонами неизбежно ведет к войне.

На последнем тезисе стоит остановиться несколько подробнее, ибо одним из главных источников военной опасности сегодня является стремление империалистических держав, прежде всего США, силой обеспечивать присутствие своих монополий в тех или иных районах земного шара, ставить себе на службу сырьевые и трудовые ресурсы слаборазвитых стран.

Законна ли защита источников сырья, находящихся за границей? — спрашивает Фишер. Говорят, продолжает он, что современные индустриальные страны не могут существовать без постоянного притока нефти, металлических руд, других жизненно важных видов импортной продукции, а посему надо гарантировать этот приток любой ценой, включая применение вооруженной силы. Отсюда делается и более широкий вывод: защищать национальные границы недостаточно для обеспечения существования страны.

Думаю, нет необходимости указывать, кому принадлежат эти рассуждения. Без труда узнаются Соединенные Штаты. Это их нефтяные монополии протянули щупальца повсюду, где можно добывать черное топливо,— к странам Ближнего Востока, в Мексику и т. д. А с другой стороны, даже самые отъявленные антикоммунисты не обвинят в такого рода действиях Советский Союз, ибо всем хорошо известно, что СССР довольствуется собственным сырьем, а если ему все же чего-то не хватает — закупает за границей.

Именно этот простой совет Фишер и дает Соединенным Штатам — не добывать сырье из-за границы путем применения силы или угрозы силой, а делать это посредством взаимовыгодной торговли.

Американский автор не склонен аргументировать свою точку зрения ссылками на нравственность и благопристойное поведение на международной арене. Он подходит к вопросу чисто прагматически. В свое время Великобритания, окруженная морями и располагавшая мощным флотом, была почти неуязвима для нападения и поэтому могла самочинно распоряжаться богатствами колоний. Теперь времена эти канули в вечность. В век межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками ни одна страна не может считать себя неуязвимой. А что будет, если и другие страны, также претендующие на источники сырья, вознамерятся «защищать» их военной силой? По словам Фишера, один из сценариев начала ядерной войны основан на предположении, что во время внутреннего кризиса в Иране как Соединенные Штаты, так и Советский Союз решают «защищать» его.

Из всех этих рассуждений Фишер делает вывод: страна, желающая предот-

вратить войну, должна преследовать только те цели, которые не мешают другим странам преследовать аналогичные цели. Если не считать некоторой непривычности формулировки, нельзя не заключить, что перед нами все тот же категорический императив Иммануила Канта или — обратимся к более древнему источнику — одна из евангельских заповедей: не делай другим того, чего не пожелаешь по отношению к себе. Нет ничего плохого в напоминании принципа (максимы, идеала), который был выработан человечеством и продолжает оставаться эталоном поведения как людей в отношении друг друга, так и государств на международной арене. Но, по совести говоря, ограничиваться повторением подобного требования в нашу эру по меньшей мере недостаточно.

ПОСМОТРИМ, однако, не предлагает ли Фишер чего-либо более весомого для предотвращения ядерной войны. Предлагает. В его книге поддерживаются идеи и замораживания ядерных вооружений Советского Союза и Соединенных Штатов, и всеобъемлющего запрета испытаний ядерного оружия, и всеобщего обязательства ядерных держав не применять первыми это оружие, и многие другие достаточно широко известные предложения подобного рода, вплоть до технических.

Говорит американский автор и о полезности некоторых мер, направленных на укрепление доверия между потенциальными противниками. Поскольку национальная безопасность — область чувствительная, замечает он, сопряженная с эмоциями, стоило бы направить усилия на взаимовыгодное сотрудничество двух сверхдержав. Примерами могут служить обмен научной информацией или прямое сотрудничество в таких областях, как мирные исследования в космосе, медицина, производственная технология, не загрязняющая окружающую среду, разработка новых источников энергии.

Нельзя не присоединиться к этому суждению. После Женевской встречи на высшем уровне идее сотрудничества американской и советской наукой, обмена в области культуры был дан определенный импульс. Можно будет лишь рукоплескать, если удастся осуществить проект совместного овладения термоядерной реакцией или грандиозную, почти фантастическую идею Карла Сагана об организации коллективного советско-американского полета на Марс.

ВЕРНУВШИСЬ из космических высей на грешную землю, следует заметить, что, хотя Фишер и признает полезность подобных мероприятий, он говорит о них вскользь. Объясняется это тем, что у него припасена для читателя «суперидея», ради которой, собственно говоря, и написана книга. Единственно радикальным средством предотвращения ядерной войны американский профессор считает тотальную оборону, или трансвооружение.

Постараемся понять логику автора и дать ей оценку. Основной довод автора заключается в том, что войны возникают лишь в результате применения наступательного оружия. Поэтому наращивать его (в том числе в целях обороны) — все равно что запасать орудия взлома для предотвращения грабежа. И наоборот, выступать за уменьшение количества чисто оборонительного оружия ради защиты мира — это все равно что запрещать использовать замки, дабы не соблазнять грабителя. Есть, по его мнению, более перспективная альтернатива, а именно трансвооружение или переход от наступательных видов обычного оружия к чисто оборонительным.

Сегодня общественное мнение во многих странах, пишет Фишер, как бы поляризуется, занимая два противоположных лагеря. Сторонники одной точки зрения, которых называют «ястребами», считают, что главное — это обеспечить национальную безопасность путем наращивания военной мощи. Их оппоненты, «голуби», полагают, что главное — это мир, и выступают за одностороннее разоружение. Те и другие, замечает Фишер, являются жертвами лингвистической путаницы (запомним это высказывание! — **Г. Ш.**).

Оказывается, все дело в том, что слово «мощь» имеет два различных значения: оно означает способность нанести ущерб другим или устрашить их и в такой же мере — способность воспротивиться удару, который хотят нанести другие, или не поддаваться угрозам. Та же двусмысленность характерна и для понятия «военная мощь». Неверно, что любое оружие укрепляет безопасность страны, но также неверно, что любое оружие ставит под угрозу международную безопасность. Оборонительное оружие может укрепить безопасность, не создавая угрозы другим странам. Чисто наступательное оружие угрожает безопасности других, не укрепляя безопасности своей страны.

Или еще более четкий и лаконичный вывод: оборонительные меры укрепляют мир, наступательные угрожают ему. А отсюда — разрешение дилеммы безопасности заключается не в том, иметь больше или меньше оружия, а в том, чтобы оружие было другим, чтобы оно могло использоваться для отпора агрессии, но не в целях агрессии.

Чтобы избежать недоразумения, автор поясняет (со ссылкой на известного норвежского социолога Й. Галтунга), что́ следует понимать под оборонительным и наступательным оружием. Первое — это оружие с малым радиусом действия и ограниченной мощности, применять которое можно лишь для военных действий на своей территории или очень близко к собственным границам. К оружию чисто оборонительного порядка относится, например, все, что находится в фиксированном положении — укрепления, неподвижные батареи береговой обороны, минные поля и т. п. К разряду в основном оборонительного оружия следует

отнести, например, самолеты-перехватчики или мобильные противовоздушные ракеты. Что же касается наступательного оружия, то к нему относятся прежде всего стратегические бомбардировщики, межконтинентальные ракеты. Классическим наступательным оружием прошлого были канонерки, посылавшиеся имперскими державами к крупным городам более слабых стран, чтобы вырвать у них уступки. А их современными наследниками можно считать авианосцы.

РАЗУМЕЕТСЯ, все эти определения условны. Автор приводит пример, когда оружие оборонительное неожиданно может рассматриваться как наступательное, и наоборот. Так, убежища сами по себе никому не угрожают, однако, если страна, владеющая ядерным оружием, начинает использовать их для укрытия своего населения и тем более межконтинентальных баллистических ракет, они становятся частью наступательной системы. Не имея убежищ гражданской обороны, замечает Фишер, ни один здравомыслящий руководитель никогда не применит ядерных ракет первым (по крайней мере до тех пор, пока его страна не будет в состоянии уничтожить все ракеты противника), поскольку население страны будет уязвимо для сокрушительного ответного удара.

В свою очередь те же самые авианосцы в особых случаях могут быть использованы в качестве подсобных аэродромов для самолетов-перехватчиков. Но все подобные превращения не отменяют, конечно, принципиальной разницы между оборонительным и наступательным оружием.

Далее. В случае обычных вооружений можно говорить о наличии оборонительного и наступательного потенциала. Когда же речь идет о ядерных вооружениях, то надо проводить различие и внутри самого наступательного потенциала, а именно между вооружениями первого удара и ответными вооружениями второго удара, которые служат целям устрашения и поэтому не могут считаться оборонительными.

Рассортировав оружие и детально проанализировав специфику каждого разряда, американский автор делает общий вывод: если оборонительный потенциал обеих сторон больше наступательного потенциала любой из них, то обе находятся в относительной безопасности. Обстановка стабильна, если они считают, что начинать войну хуже, чем не начинать, потому что оборонительных сил другой стороны достаточно для отражения нападения.

И наоборот, обстановка нестабильна, если одна из сторон имеет перспективу выиграть войну, начав ее, так как другая сторона была бы не способна защищаться. Аналогичная нестабильность возникает и тогда, когда ни одна из сторон ничего не рассчитывает «выиграть» путем войны, но хотя бы одна из них боится понести больше потерь в случае нападения на нее и поэтому склонна нанести упреждающий удар.

Эти рассуждения могут показаться на первый взгляд несколько банальными: нужно ли особенно мудрить и прибегать к помощи математических символов, чтобы прийти к столь очевидному умозаключению, как, например: «Тот, кто боится противника, не начнет войны»? Но не будем спешить с оценками. Постараемся увидеть и в этих нехитрых максимах международного поведения рациональное зерно. В данном случае — опасность соблазна нанести упреждающий удар из страха перед своим уязвимым положением. Фишер цитирует в этой связи американского экономиста Т. Шеллинга, который формулирует проблему так: «Считая, что я собираюсь уничтожить его в целях самозащиты, он собирался уничтожить меня в целях самозащиты, и поэтому мне пришлось уничтожить его в целях самозащиты». А от себя Фишер добавляет: поэтому для собственной безопасности важно не угрожать нанесением первого удара и не допускать, чтобы у другой стороны могло возникнуть ложное чувство, будто мы готовим первый удар.

НО ПО-НАСТОЯЩЕМУ радикальное средство упрочения всеобщей безопасности Фишер видит в преобразовании дестабилизирующих наступательных сил в стабилизирующие оборонительные. Это, как уже говорилось, именуется им процессом трансвооружения.

Далее он рисует идиллическую картину. Стоит только всем государствам и политическим деятелям уразуметь, что безопасность обеспечивается наращиванием не наступательных, а оборонительных вооружений — и ситуация в мире начнет постепенно меняться. Те страны, которые могли бы рассматриваться в качестве легкой добычи, превратившись в «твердый орешек», перестанут привлекать завистливые взгляды потенциальных агрессоров. А у последних, после того как они убедятся, что нет возможности легко поживиться, отпадет охота к авантюрам. Цепная реакция «взаимного реагирования» очень скоро прекратится, когда обе стороны сочтут себя в достаточной степени защищенными. Итак, пишет Фишер, мы приходим к удивительному выводу о том, что, если обе стороны будут в достаточной степени использовать оборонительное оружие для самообороны, гонка вооружений в конечном счете остановится даже при отсутствии какого-либо взаимного соглашения на этот счет. Но при условии, что каждая из сторон будет стремиться лишь к поддержанию собственной безопасности.

Американский автор не ограничивается абстрактными рассуждениями, а приводит конкретный пример стран, выигравших в результате своей ориентации на оборонительное оружие,— Швецию и Швейцарию. Обе они не принимали участия ни в каких сражениях со времен наполеоновских походов и ухитрились остаться нетронутыми островками в бушевавших вокруг пожарах первой и второй мировых войн. В чем причина? Оговорившись, что здесь дает о себе знать действие многих факторов, Фишер делает упор все на той же приверженности обороне. Он напоминает, что Швеция и Швейцария преднамерен-

но избегают приобретать бомбардировщики дальнего действия, а вместо этого имеют истребители ближнего действия, штурмовики и разведывательные самолеты. Поскольку они не могут быть использованы для бомбардировки городов возможного противника, это не повлечет за собой превентивного удара для ликвидации угрозы.

Чтобы подтвердить свою концепцию, Фишер напоминает, что во время второй мировой войны Бельгия, Голландия, Люксембург, Дания и Норвегия, несмотря на свой нейтралитет, были оккупированы гитлеровскими армиями, в то время как Швеция и Швейцария избежали этой участи. По его словам, сыграла свою роль сравнительно сильная швейцарская армия, а также предостережение тогдашнего президента этой страны, что она будет сражаться до последнего, включая разрушение дамб и затопление горных проходов.

Весьма сомнительно, однако, что это могло бы остановить Гитлера при том колоссальном перевесе военных сил, который тогда существовал, не будь у него более серьезной причины отказаться от вторжения. Такая причина, разумеется, была. Фашистской Германии было выгодно не трогать Швейцарию, поскольку через ее банки германские монополии поддерживали прямой или косвенный контакт с другими центрами финансовой мощи капитализма. На швейцарской территории велось взаимное прощупывание разведок, собиралась информация и т. д. Здесь был, иначе говоря, именно политический расчет, а не страх перед потерями; в случае прямой схватки между ними швейцарский Давид мог разве что слегка поцарапать германского Голиафа, не более того.

КАКИЕ же выводы напрашиваются из признания тезиса о том, что сильная оборона обеспечивает каждой стране, даже небольшой, если не полную гарантию, то, по крайней мере, довольно высокую степень безопасности? Если все страны, считает Фишер, последуют такому курсу, на Земле сам собой, безо всяких соглашений, воцарится чуть ли не вечный мир. А отсюда и установка для практической политики: вооружайтесь до зубов оборонительным оружием — стройте доты и дзоты, ройте подземные убежища, покупайте самолеты-перехватчики, ракеты «земля — воздух» и т. д.

Но этого мало. В случае нападения страна должна превратиться в средневековую крепость, способную выдержать осаду в течение длительного периода. Посему следует позаботиться и о неуязвимости экономической. Фишер называет в этой связи некоторые задачи: накопление жизненно важных запасов, создание избыточных мощностей в производстве, изыскание возможных заменителей, планирование сокращения — в экстренном случае — потребления менее необходимых продуктов. Примером служит все та же Швейцария, у которой есть, в частности, подобный план относительно продуктов питания; она прибегала к нему в течение какого-то времени в годы второй мировой войны.

Что можно сказать на этот счет? Запасы еще никогда никому не помешали. Опыт показал, что их полезно иметь на случай не только войны, но и стихийных бедствий, суровой зимы, резких колебаний экономической конъюнктуры на мировом рынке. Однако не всякий может позволить себе подобную роскошь. Что, спрашивается, делать бедным странам, большинство которых вдобавок вынуждено ежегодно выплачивать долги и проценты по кредитам международным банкам? Класть зубы на полку и создавать запасы?

Справедливости ради следует отметить, что книга Фишера содержит частичный ответ на этот вопрос. В добавление к средствам, так сказать, «экономической обороны» автор рекомендует каждой стране приготовиться к народной войне. По его словам, в образцовой Швейцарии около 80% всех мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, за исключением физически или умственно неполноценных, состоят в народном ополчении. Подобные «милицейские» армии готовятся для войны исключительно в пределах собственной территории, где они пользуются поддержкой местного населения. А наряду с ними предполагается создание партизанских сил — небольших автономных отрядов, способных наносить удары по оккупационным войскам, если регулярная армия будет разбита или вынуждена отступить. Короче, если бедные страны не способны обеспечить себе экономическую неуязвимость, то они, по крайней мере, в состоянии подготовить свое население к тому, чтобы встретить потенциального агрессора пожаром народной войны.

Очень хорошо, скажет читатель. Сама по себе мысль о крепкой обороне совершенно правильна, в особенности если речь идет о защите от империалистической агрессии. Потенциальный насильник в каждом случае должен знать, что его ожидает отпор, и если даже ему удастся одержать победу, достанется она дорогой ценой. Это заставит его трижды призадуматься, прежде чем пускаться на авантюру. Так, урок, полученный кубинскими контрреволюционерами и их американскими покровителями в бухте Свиней, не пропал даром. Одним из главных факторов обеспечения безопасности Кубы и сегодня остается готовность ее народа и правительства грудью стать за родную землю. С тем же фактором американцам приходится считаться и в Никарагуа.

Но, спрашивается, при чем тут предотвращение ядерной войны? Разве не ясно, что этот вопрос может и должен решаться совсем в иной плоскости, чем проблема защиты отдельных стран от нападения извне. И совершенно очевидно, что если бы ядерная война все-таки разразилась, то никакие оборонительные усилия отдельных стран не могли бы гарантировать им даже выживания, ибо радиация, ядерная зима и тому подобные вещи не знают границ и не признают политики нейтралитета.

ПОПРОБУЕМ вообразить себе идеальный миропорядок по Фишеру (его можно было бы назвать оборонительным). Около 150 государств, насчитывающихся в современном мире, выстроили на своих границах линии Мажино, оснастили свои армии всеми видами оборонительного оружия, создали народное ополчение, партизанские отряды, запасы пищи и топлива, ну и, наконец, после всех этих трудов, переведя дух, стали ожидать, что произойдет дальше, готовые ощетиниться как ежи при первой опасности. Но поскольку нападать на кого-либо теперь невыгодно, то не находится и агрессоров. А поскольку некому нападать, ни к чему готовиться к обороне. А если так, то, выждав некоторое время, страны начнут постепенно ликвидировать свои оборонительные системы как дорогостоящие и никому не нужные. Но как только они начнут ликвидировать эти системы, у тех, кто посильнее и не отказался от всякого рода агрессивных помыслов, возникнет соблазн использовать свое военное превосходство. И следовательно, тем странам, которые уже начали отказываться от оборонительного оружия, придется вновь возрождать тотальную оборону. И так далее, сказка про белого бычка.

Невольно вспоминается в этой связи знаменитый рассказ Гашека «Конференция по разоружению». Великий чешский сатирик прозорливо указал на ситуацию, в которой выход будут искать на путях так называемых оборонительных вооружений. На описанной им конференции всем государствам предлагается обеспечить примерно равные силы, чтобы они могли отстоять свою независимость и тем самым не искушали бы агрессоров возможностью легкой добычи. В соответствии с этим маленькой стране с населением менее чем в миллион человек необходима армия, превышающая миллион солдат, сухопутным государствам рекомендуется иметь столько-то дредноутов и т. д. В остропародийной форме Гашек высмеивает саму абсурдную постановку вопроса, когда пути к миру усматриваются в вооружении, пусть даже речь идет об оружии оборонительного характера.

МЫ ПОДОШЛИ теперь к самому важному вопросу, вокруг которого развертываются яростные политические и дипломатические баталии. Речь идет о рейгановском проекте «звездных войн». Как известно, Советский Союз и другие социалистические страны решительно и категорически выступают против этого плана милитаризации космического пространства, указывая, что его осуществление не только подняло бы на новую, гораздо более высокую отметку уровень военной опасности в мире, но и фактически блокировало возможность достижения соглашений по другим аспектам проблемы разоружения — в первую очередь ограничения и ликвидации стратегических ядерных вооружений. Заметим, что против СОИ высказывается подавляющее большинство ученых на Западе, и в самих США мыслящие политики призывают администрацию одуматься.

Вот, например, что говорит член палаты представителей демократ Дж. Стаддс: «Основной тезис» «звездных войн» заключается в том, что планета будет в большей безопасности, если обе сверхдержавы укроются за абсолютно надежным щитом от ядерного наступательного удара... Но ведь это фантазия. Ни один человек, который всерьез бы занимался наукой или военными вопросами, я подчеркиваю — ни один, не верит, что Соединенные Штаты могут быть полностью закрыты щитом от ядерного удара противника. Даже самые горячие приверженцы программы «звездных войн» признают, что система космической обороны не смогла бы защитить от ударов бомбардировщиков или низко летящих крылатых ракет. Более того, расходы на осуществление нашей программы «звездных войн» значительно превысят издержки русских на создание новых наступательных вооружений, которые смогли бы прорвать нашу систему в силу количественного перевеса или «перехитрить ее».

Американский конгрессмен делает общий важный вывод: «Концепция опоры на национальные оборонительные системы не является сейчас и, возможно, никогда не будет реалистической альтернативой нашей традиционной опоре на создание противовеса наступательной мощи». По его словам, мечта президента о «звездных войнах» — ошибка, она будет подстегивать гонку вооружений, поставит США в двусмысленное положение и одновременно подорвет их безопасность.

Но пожалуй, самое поразительное заключается в том, что буквально на наших глазах так называемое оборонительное оружие, еще не успев появиться на свет, уже превращается в наступательное. Основная идея СОИ состоит в том, что лазеры, действующие с космических станций или с Земли и направляемые зеркалами в космосе на мишени, могут стать частью оборонного щита против ракет противника. Однако недавно получены новые аналитические данные, которые свидетельствуют, что мощные лазерные лучи можно использовать также в наступательных целях, вызывая с их помощью огненные бури, способные привести к экологической катастрофе типа ядерной зимы.

Как указывают специалисты на страницах журнала Американского физического общества, за какие-то часы лазерная оборонительная система, достаточно мощная, чтобы справиться с угрозой со стороны баллистических ракет, может также уничтожить пожарами крупные города противника. А советник по ядерному оружию при начальнике штаба американских ВМС заявил, что использование оптического лазера способно вызвать пожары более мощные, чем тот, что практически стер с лица земли Дрезден во второй мировой войне.

Вот вам и оборонительное оружие.

Как же, однако, относится к СОИ наш американский автор? Казалось бы, возможность защиты от ядерных ракет идеально вписывается в концепцию тотальной обороны, если не составляет ее са-

мый сильный, почти неотразимый аргумент. Такой ревностный сторонник этой концепции, как Фишер, должен был бы обеими руками ухватиться за идею непроницаемого антиракетного щита.

Тем не менее Дитрих Фишер выступает... п р о т и в «звездных войн». И приводит все известные из широкой печати доводы, в том числе главный: вместо того чтобы исключить ядерную войну, антиракетное лазерное оружие космического базирования способно служить лишь стратегии «ограничения ущерба» и «преобладания» в условиях ядерного столкновения. А это могло бы примирить некоторых людей с идеей ядерного апокалипсиса. Такой курс равносилен самоубийству.

РЕШИТЕЛЬНО отвергая СОИ, Фишер подчеркивает, что на взаимном устрашении мир долго не продержится, что равновесие стратегических сил — категория весьма неопределенная, и крен в ту или иную сторону, образовавшийся в результате действия каких-то объективных причин или злонамеренного стремления к военному превосходству, может мгновенно устранить эту преграду ядерной войне.

Вероятно, в этом рассуждении есть доля преувеличения, потому что так называемое «взаимное устрашение» служило до сих пор единственной надежной преградой против применения ядерного оружия. Но американский автор прав в том, что мир не может вечно покоиться на страхе. Вот почему одним из принципов политики Советского Союза в этом вопросе было и остается постоянное снижение уровня военного противостояния при сохранении примерного равновесия военных сил.

Весь комплекс антивоенных мер автор сводит в одну таблицу. Приведем ее полностью (см. столбец справа).

В этой таблице мы найдем немало дельных предложений. Однако обратим внимание сейчас только на один момент, а именно на рекомендацию сверхдержавам отказаться от ядерных вооружений первого удара, сохраняя жизнеспособные средства ядерного устрашения, пока не будет осуществлено взаимное ядерное разоружение. Эта формулировка фактически выдает бессилие автора ответить на главный вопрос: как все-таки добиться предотвращения ядерной войны не с помощью промежуточных решений, не сохраняя нынешнее неустойчивое положение, а на длительную перспективу и даже навечно?

Фишер вынужден, хотя и в косвенной форме, признать, что в этом смысле исследование его, в сущности, потерпело фиаско. Он пишет, что добиться действительно серьезных перемен на международной арене чрезвычайно сложно, поскольку это зависит от одновременных действий многих стран. Создание нового мирового порядка, «менее склонного к войне», весьма желательно, но осуществить его труднее, чем постепенные перемены в оборонной и внешней политике отдельных стран.

Перечень предлагаемых мер для предотвращения войны, которые могут быть приняты отдельными государствами

ДЛЯ СВЕРХДЕРЖАВ	ДЛЯ ДРУГИХ СТРАН
Отказаться от ядерных вооружений первого удара (конкретно — ракет МИРВ), сохраняя жизнеспособные средства ядерного устрашения, пока не будет осуществлено взаимное ядерное разоружение. Отказаться от тактического ядерного оружия, что снизило бы ядерный потолок.	Чтобы не стать мишенью в ядерной войне, не позволять сверхдержавам размещать какие бы то ни было виды ядерного оружия первого удара на своей территории.
ТРАНСВООРУЖЕНИЕ: перейти от наступательных к оборонительным вооружениям обычного типа (то есть к противотанковому и зенитному оружию), которые помогут предотвратить агрессию, не являясь средством для совершения агрессии.	
Способствовать тому, чтобы союзники больше полагались на свои собственные оборонительные вооружения. Остерегаться быть втянутыми в войну в результате действий воинственной малой страны независимо от того, является ли она союзником или противником.	Держаться подальше от конфликтов между другими странами. Укреплять самооборону в чистом виде. Готовиться к проведению диверсий и партизанской войне на своей территории в случае оккупации. Избегать играть роль пешки в глобальной борьбе за сферы влияния.
Стремиться устанавливать хорошие отношения с п о л ь з у ю щ и м и с я п о д д е р ж к о й н а р о д а правительствами, а не с «дружественными» диктаторами.	Укреплять внутреннее единство, разрешая внутренние конфликты мирным путем, стремясь к достижению экономической справедливости и предоставляя права меньшинствам.
Уменьшать свою уязвимость, укреплять экономическую безопасность, поддерживая на высоком уровне важный для страны импорт, а также выявляя альтернативные источники снабжения. Планировать использование заменителей и программ нормирования в случае чрезвычайного положения, вместо того чтобы полагаться на военное вмешательство ради обеспечения поставок из-за границы.	
Если стране позволили жить в условиях мира, стать полезным, даже незаменимым партнером для других стран путем взаимовыгодной торговли, научного сотрудничества, культурного обмена, оказания помощи в случае стихийных бедствий и т. п.	
Подходить к переговорам творчески и в целях достижения соглашения предлагать нечто заманчивое д л я о б е и х с т о р о н. Не дожидаться обострения конфликтов, а стремиться предвосхитить возможные проблемы и решать их на ранней стадии, используя, где это возможно, правовые средства и беспристрастный арбитраж.	

Если бы правительства решили ждать того момента, когда все страны разом откажутся от применения силы, ждать им пришлось бы долго. Человечество может до этого и не дожить. Винить других в отсутствии прогресса и ждать, когда они сделают первые шаги,— дело безнадежное. Поэтому любое правительство, стремящееся избежать войны, может, не дожидаясь действий других, предпринять шаги в этом направлении, то есть отказаться от применения или угрозы применения силы в отношениях с другими странами, не позволяя при этом другим странам применить силу против себя.

Иными словами, все тот же императив Канта, только в более энергичной, если можно так выразиться, вооруженной форме.

А почему, собственно, правительства должны откликнуться на призыв Фишера и других идеологов, которые, подобно Канту в конце XVIII века, озабочены сохранением мира в конце XX века? На этот вопрос мы не найдем ответа в книге, как не найдем и самой элементарной попытки осмыслить различия в природе государств, в факторах, влияющих на формирование их внешней политики. Подобно другим буржуазным теоретикам,— зачастую весьма образованным и мыслящим людям, Фишер остается в плену сугубо формалистического толкования общественных явлений. Для него государства — это не сложнейшие социальные организмы, чьи позиции на международной арене обуславливаются действием целого ряда факторов, и прежде всего соотношением классовых сил в национальном и международном масштабе. Это, скорее, автономные стандартизированные единицы, принимающие участие в международных играх, следуя законам своего рода политической механики. А чтобы можно было математически точно рассчитать их маневр на шахматной доске мировой политики, изобретается и чрезвычайно простой алгоритм.

СЕТУЯ на то, что такие понятия, как «военная мощь», «равновесие сил», «военное превосходство», «военная слабость», «сравнительная мощь», употребляются без уточнения, идет ли речь о наступательной или же оборонительной мощи, Фишер предлагает следующий способ избежать возникающей путаницы — прибегнуть к диаграмме, предложенной австрийским математиком Карлом Менгером в 1934 г. Менгер поделил людей на тех, кто склонен обижать других, или неуживчивых, и тех, кто не обижает, то есть вежливых, уживчивых. Далее он проводит различие между теми, кого легко обидеть, и теми, кого обидеть нелегко. Так выстраивается не слишком хитрая классификация характеров — ее-то Фишер и переносит на страны. Она сводится к нескольким типам. Во-первых, те, кто выступает за неуязвимость без угрозы другим, или «миротворцы». Во-вторых, те, кто занимает позицию уязвимости и склонны угрожать другим — «поджигатели войны». Те, кто неуязвим и все-таки угрожает, заслуживают быть названными «ястребами». Ну, и, наконец, противоположное понятие — «голуби».

Следующая стадия рассуждений — это разделение стран на пары «совместимых» и «несовместимых». Не станем утомлять читателя и подведем итоги этих теоретических упражнений. Оказывается, есть группы стран, совместимые и способные поддерживать мир между собой, а есть такие, которые несовместимы и способны пойти друг на друга войной. Если две страны агрессивны и уязвимы, то, всего вероятнее, они окажутся в состоянии войны. Если же две страны неагрессивны и неуязвимы, то между ними существует самый устойчивый и прочный мир.

Едва ли нужно квалифицировать эту методику. Даже неискушенный в политической теории человек поймет, что с ее помощью ничего путного, кроме банальных истин, не получишь. Проведем нечто вроде эксперимента. Выше читателю предлагалось вообразить, как будет выглядеть международное сообщество, ориентированное на тотальную оборону. Поскольку же теперь характер государства уравнивается с человеческим, попробуем представить себе некую замкнутую колонию в составе 150 человек, воплощающих в себе все социальные, национальные и иные лики современного человечества. У кого за поясом пистолет, а кто готов подставить для битья щеку; кто силен, как бык, а в ком еле дух теплится; кто богат, как Крез, а у кого заплаты на потертом пиджачке. И вот на основании анализа темпераментов или характеров этих разнообразных джентльменов зададимся вопросом, как они поведут себя друг с другом и что надо сделать, чтобы никому из них не пришла в голову гибельная мысль взорвать бомбу и отправить всю колонию в тартарары.

Эта незамысловатая картинка позволяет понять, что американский автор необоснованно упрекает в путанице тех, кто усматривает между «ястребами» и «голубями» гораздо более глубокий водораздел, чем просто неоднозначное толкование оборонительной и наступательной мощи. Все дело как раз в том, что анализ проблемы войны и мира не может сводиться к одним дефинициям — обязательно должны быть вскрыты глубокие классовые корни политических позиций.

Задача совсем не простая. Ведь есть хозяева промышленных предприятий, производящих оружие, и есть рабочие, которые трудятся за станками этих предприятий. Среди первых могут быть вполне разумные люди, которые не очень одобрительно относятся к собственному бизнесу. Среди последних может оказаться немало таких, кто, занимая под влиянием ультрапатриотической пропаганды агрессивно-националистические позиции, выступает рьяным сторонником гонки вооружений. Метаморфозы случаются порой и на сцене большой политики. Признанный «ястреб» вдруг произносит миротворческую речь, и, наоборот, убежденный «голубь» обращается в каркающего ворона. Но все это, конечно же, ни в коей мере не отменяет основной, доминирующей тенденции экономической, социальной, политической

жизни. Миролюбие или, напротив, агрессивность, если брать их не в личностном плане, а в общественном, есть не этическое свойство человеческих натур, олицетворенных в государствах, а продукт, производный от их классовой сущности.

НО ОЗНАЧАЕТ ли это, что мир обречен на гибель, потому что на земле существуют противоположные по устройству государства — социалистические и капиталистические; потому что практически не менее глубокая противоположность интересов отделяет экономически развитые капиталистические страны от стран слаборазвитых; потому что, наконец, в пределах самого империалистического лагеря есть свои богачи и бедняки? Нет, не означает, ибо все мы, независимо от рода и племени, хотим жить и обладаем достаточным разумом, чтобы реализовать это самое исконное и общепонятное желание. А для этого нужно прежде всего осознать связывающую в конце XX века все народы и страны г л у б о ч а й ш у ю в з а и м о з а в и с и м о с т ь.

Справедливости ради следует признать, что американский автор не обходит этой стороны дела. Он сам спрашивает, что́ лучше: расчет на собственные силы или создание более взаимозависимого мира? Более высокая степень интеграции в экономической, а равно и других сферах порождает общие интересы и лучшее взаимопонимание. Те страны, которые поддерживают между собой солидные торговые связи, обычно находятся в лучших отношениях друг с другом, чем те, которые оказались экономически изолированными.

С другой стороны, возражает сам себе Фишер, войны часто ведутся из-за иностранных источников сырья. Например, если Соединенные Штаты почувствуют, что они оказались в сильной зависимости от нефти, поступающей из района Персидского залива, и сочтут необходимым вторгнуться туда, когда приток этой нефти иссякнет, это может привести к войне с вовлечением в нее Советского Союза. А если бы США полагались на свои возможности в энергетической области, например, путем сохранения части своих нефтяных запасов на Аляске на случай чрезвычайной обстановки, это могло бы укрепить мир.

Какой же из двух аргументов предпочтительнее? Ответ Фишер дает обтекаемый: нужно укреплять взаимовыгодные отношения в торговле и во многих других областях, но и «не допускать, чтобы вы сами или другие оказались в столь сильной зависимости от этих отношений, что пошли бы на риск войны для их восстановления или сохранения».

Внешне позиция кажется вполне мудрой. Зачем же, спрашивается, самим лезть в сети зависимости, чтобы потом выбираться из них путем войны. Но вся беда в том, что это опять совет, оторванный от реальности. В мире существует не так уж много стран, которые могли бы ему последовать. И число их постоянно сокращается. Потому что взаимозависимость — это результат не только субъективной воли, но и объективного — и во многом даже стихийного — процесса интернационализации хозяйственной и всей вообще общественной жизни человечества, который, как указывали еще К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин, берет начало при капитализме и находит полный простор в условиях социализма.

«Наш век,— говорил М. С. Горбачев, обращаясь к участникам годового собрания Американо-советского торгово-экономического совета,— это век, когда каждая страна, каждый народ — не только большой, но и самый малый — видит величайшую ценность в своей независимости, всеми силами ее отстаивает. И тем не менее все мы имеем дело с растущей взаимозависимостью государств. Это — объективное последствие развития современного мирового хозяйства и вместе с тем важный фактор международной стабильности. Такую взаимозависимость мы должны приветствовать. Она может стать мощным стимулом для строительства устойчивых, нормальных, я бы даже не побоялся сказать, дружественных отношений» [1].

НЕЗАВИСИМОСТЬ — необходимая предпосылка взаимозависимости. Только страна, обладающая возможностью добровольно, без военного насилия, политического давления и экономического принуждения извне решать вопрос, с кем и как ей сотрудничать, воспринимает возникающие узы взаимозависимости как благо, а не проклятие. В противном случае отношения, п о в и д и м о с т и отвечающие критерию взаимозависимости, окажутся на деле отношениями господства и подчинения. Иначе говоря, в современную форму будет вложено старое содержание, в одежды XX и даже XXI столетия будет рядиться XIX век.

Так и обстоит сейчас дело. В международных отношениях существует два вида взаимозависимости. Один из них означает неравенство и принадлежит прошлому; другой, принадлежащий будущему, означает равноправное сотрудничество, направленное на преодоление национальной ограниченности. Поэтому трудно, если вообще возможно, выработать некую общую формулу, пригодную для раскрытия феномена взаимозависимости. Нужен конкретный анализ в каждом конкретном случае, чтобы ответить на вопросы: полезно или вредно, прогрессивно или реакционно?

Но есть одна сфера, в которой взаимозависимость приобретает совершенную определенность и однозначность. Это — б е з о п а с н о с т ь в я д е р н у ю э р у. В результате навязанной США, НАТО гонки вооружений все страны и народы оказались в одной лодке, им суждено вместе спастись либо погибнуть. Вот где мыслимый предел зависимости от намерений и поступков друг друга. Вот где высшая, диктуемая интересами собственного выживания и продления жизни всему роду человеческому, необходимость осознания обязанностей по отношению к партнеру

[1] «Правда», 11 декабря 1985 г.

(сопернику, потенциальному противнику) и принятия взаимных обязательств.

Сама вынужденная природа данного вида взаимозависимости не придает ему привлекательности. Но это не вопрос предпочтения, пристрастия. Это вопрос жизни или смерти, требующий высшей ответственности государств и их лидеров.

В самом начале статьи речь шла о том, что ядерная эра сообщает новый смысл веками устоявшимся понятиям. И более всего это относится к понятию безопасности. В наше время даже те страны, которые способны обеспечить полнейшую самодостаточность, зависимы, хотят они этого или нет. Они могут быть невинны, как агнцы божии, в политическом отношении, не посягать ни на чью собственность и никому не желать зла; чисты, как новорожденные младенцы, в экологическом отношении, сохранить все леса и пажити, перевести всю промышленность на безотходную технологию; хитры, как дьяволы, в военном отношении, не имея никакого наступательного оружия и располагая всем необходимым для защиты своего отечества. Но суть-то как раз в том, что никто и не станет вторгаться на их территорию, а их партизанам не придется проявлять чудеса героизма в борьбе против захватчиков. В случае ядерной войны их население вымерзнет вместе с остальным человечеством или погибнет от голода. В случае экологической катастрофы континентального или всепланетского масштаба их неизбежно унесет мор.

При всех добрых намерениях Фишера его мысль, равно как и теоретические искания многих других американских политологов, не выходит за рамки все тех же двух полюсов военной стратегии — наступление или оборона. Безусловно, в ядерный век более предпочтительна оборонительная стратегия, но она также не является решением проблемы. И поэтому ответ на вопрос — оборонительное или наступательное оружие — должен быть таков: ни то, ни другое, а разоружение.

Именно с такой программой выступает Советский Союз. Послевоенная история не знала более важного политического документа, чем Заявление М. С. Горбачева от 15 января 1986 года, в котором изложена концепция тотального разоружения. В ее реализации — уникальный шанс избавить человечество от нависшей над ним угрозы, позволить ему, минуя ужасы ядерной эры, пойти пусть нелегкой, непростой, но все же мирной дорогой к решению других стоящих перед ним проблем.

В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии дана глубокая характеристика реальностей современного мира, которые предопределяют единственно разумную и ответственную линию поведения на международной арене. И первый вывод гласит: «Характер нынешнего оружия не оставляет ни одному государству надежды защитить себя только военно-техническими средствами, скажем, созданием обороны — даже самой мощной. Обеспечение безопасности все больше предстает как задача политическая, и решить ее можно лишь политическими средствами» [1].

Заключая свои размышления над книгой Дитриха Фишера, скажем, что обоснованные упреки, которые она вызывает, компенсируются ее гуманистическим пафосом. Сам автор так определил главную мысль своей работы: в наших собственных интересах не быть угрозой для других. Чем скорее и глубже эта мысль овладеет умами американцев, тем лучше для мира и для самой Америки.

А мы можем заверить их в том, что так называемая «советская угроза» — это миф. Нет в мире другого народа, сильнее приверженного идее мира и стремящегося одолеть «ядерного дьявола», чем наш, более всех других испытавший на себе тяготы минувшей войны.

[1] Материалы XXVII съезда КПСС. М., «Политиздат», 1986 г.

◆

РЕПЛИКА
редакторам журнала «Энкаунтер»

Редакторы «Иностранной литературы» с интересом ознакомились в январском выпуске английского ежемесячника «Энкаунтер» со статьей под многообещающим названием «Русские читатели и западные писатели», подписанной именем Тереза Черфас — тем более что наш журнал удостоен в ее статье особенного внимания.

Увы, в этом внимании мы усмотрели — едва ли не на каждой странице — не столько строгую взыскательность, сколько старательное выискивание промахов, пробелов, перекосов, чаще всего мнимых. Сотрудники журнала «Иностранная литература» могли бы утешиться мыслью, что они не ангелы и не боги и в отличие от папы римского не претендуют на непогрешимость, или сослаться на древнее речение: feci quod potui, faciant meliora potentes (сделал все, что мог, пусть, кто может, сделает лучше). Но мы не испрашиваем индульгенций и не хотим уповать на спасительные формулы.

Критику — откуда бы она ни исходила — мы выслушать готовы. И потому, что она прямо или от обратного помогает нам еще раз реалистично взглянуть на свою работу. И потому, что вместе со всем советским обществом мы сейчас многое в своей работе переосмысливаем и пересматриваем, ищем новые подходы. Стараемся оперативнее и точнее отбирать иностранную прозу, поэзию и публицистику, привлекать как можно больше первоклассных переводчиков, повышать литературный и научный уровень наших статей и комментариев.

Вместе с тем хотелось бы в духе времени, который более чем когда-либо требует откровенности и взаимного доверия, высказать соображения по поводу некоторых принципиальных установок журнала, к сожалению представших перед читателями «Энкаунтера» в кривом зеркале.

«Иностранная литература», говорится в статье,— «один из официальных каналов, по которому доходит до читателей зарубежная литература в русском переводе». Не совсем, правда, понятно, что именно подразумевается под эпитетом «официальный»: подчас слова имеют свойство менять смысл, пересекая государственные границы. «Иностранная литература» — один из более чем сотни журналов Союза писателей СССР — как известно, организации сугубо профессиональной. Тем не менее мы с удовлетворением констатируем признание популярности журнала «среди советских подписчиков».

Сравнительно высокая цена одной книжки журнала (1 рубль 80 копеек), которую «обыгрывает» ваш автор, не помешала в текущем году тиражу «Иностранной литературы» вырасти почти до полумиллиона экземпляров, а это означает, по самым скромным подсчетам, во много крат большее количество читателей. Подчеркиваю, сравнительно высокая, потому что любой английский или американский ежемесячник стоит гораздо дороже[1].

«Русских отличает отменный аппетит к иностранной литературе, которая дает им возможность отщипнуть кусочек «буржуазной жизни», иначе недосягаемой для них, если не считать, конечно, благонадежных граждан, коим разрешены поездки на Запад»,— таким хлестким пассажем открывается статья Терезы Черфас.

Убедительная отповедь обветшалым пропагандистским стереотипам насчет

[1] Вряд ли уместна ирония мисс Черфас по поводу низкой цены журнала «Коммунист». Во-первых, объем этого журнала почти в два с половиной раза меньше. Во-вторых, ценообразование на печатную продукцию у нас в стране строится по принципу роста номинала в следующей очередности: учебная и детская литература, научно-популярная и общественно политическая, художественная классическая и художественная современная. Действительно, «все дело в приоритетах», однако же, предпочтение, как видите, отдается детям и просвещению.

запрета нашим гражданам поездок за границу не раз и не два давалась на страницах советской печати. Добавлю к известному лишь одно: редакторы «Иностранной литературы» только в 1985 году посетили Англию, Болгарию, Венгрию, ГДР, Голландию, Грецию, Данию, ДРВ, Индию, Румынию, Сирию, Тунис, США, ФРГ, Чехословакию. Японию (не говорю уже о десятках тысяч советских людей, ежегодно выезжающих за границу по линии обмена — культурного, научно-технического, торгового, спортивного — и просто туристах). А уж сколько зарубежных гостей мы принимали у себя в редакции — не счесть.

Далее, если следовать логике вашего автора, то благодаря тремстам сорока сяти двум книжкам нашего журнала, а также иностранным публикац м в других журналах, например в «Новом мире», в издательствах «Радуга», «Художественная литература» и т. д., русская публика сумела не только «отщипнуть кусочек «буржуазной жизни», а отхватить большущий ломоть пирога оной. И представьте себе, это отнюдь не повредило ее пищеварению и не сказалось на нормальной жизнедеятельности социального организма нашего общества.

Однако утверждение, будто вся западная литература отражает лишь «буржуазную жизнь», в сущности, равносильно тезису о том, что на Западе нет людей, своим трудом зарабатывающих на содержание себя и семьи, нередко едва сводящих концы с концами, а то и вовсе не имеющих ни работы, ни крыши над головой. Если Тереза Черфас всерьез полагает, что в Британии или США, во Франции или ФРГ нет неимущих классов, то такое сногсшибательное социологическое открытие следовало бы не мешкая обнародовать как можно шире, не ограничиваясь страницами «Эн каунтера».

Такие классы есть, и об этом свидетельствуют не только мировая пресса самых разных направлений и не только объективные социологические труды, но и литература. Почитайте опубликованные в «Иностранной литературе» произведения американцев Патрика Д. Смита «Энджел-Сити, или Ангельский город» и Майка Хэнсона «Найди свое!» гаитянина Роже Дорсанвиля «Умереть за Гаити», шведа Арвида Рундберга «Путешествие в Новый Орлеан», англичанина Гордона Паркера «Омут», рассказы парагвайца Рубена Барейро Сагиэра, документальные повести итальянца Томмазо ди Чаулы «Голубая спецовка», французов Робера Линара «Станок» и Мадлен Риффо «Ночное белье», любое из произведений западногерманского писателя Гюнтера Вальрафа и т. д. и т. п.

Ваш автор может возразить, что эти имена мало что говорят ей, но такое возражение ровным счетом ничего не доказывает: неведение — не аргумент. Мисс Черфас напрасно ходила в местную библиотеку на Примроуз-Хилл для того, чтобы узнать, кто же такая Эмма Смит, автор публиковавшегося у нас романа «Только раз в жизни», да и узнала лишь то, что сообщала рекламная издательская аннотация. Не проще было бы прочитать сопроводительную заметку Джеймса Олдриджа к нашей публикации, где сообщается, что Э. Смит дебютировала романом «Путешествие девушки», по которому впоследствии был отснят в Англии многосерийный телевизионный фильм, что она — лауреат литературных премий и «по праву считается художником слова». Если, паче чаяния, Д. Олдридж покажется ненадежным или пристрастным источником информации, то рискну отослать мисс Черфас к другому — к справочнику «Современные романисты», выпущенному не кем-нибудь, а солидным лондонским издательством «Сент-Мартин пресс» под редакцией Джеймса Винсона (издание 1972 года). Там тоже читаем о мисс Смит: начала печататься еще в 1948 году, когда ей было всего двадцать пять, «ее произведения свидетельствуют о необыкновенном понимании людей и истинно художнической чуткости к деталям».

Так обстоит дело с одним из «бестселлеров» «Иностранной литературы» за 1982—1983 гг., список которых составлен по письмам читателей (см. редакционный обзор почты в № 5 за 1984 год) и в котором обнаруживаются «некоторые удивительные книги». Терезу Черфас удивляет, что «фаворитом оказался» роман Ирвина Шоу «Нищий, вор». А почему, собственно? Можно поразному относиться к тем или иным вещам этого плодовитого писателя, ныне покойного, но вряд ли кто возьмется оспаривать сказанное в том же справочнике «Современные романисты»: в прозе Ирвина Шоу «всегда обнаруживаешь серьезный нравственный подход и искреннюю попытку исследовать политические, социологические и исторические проблемы современной Америки».

Пожалуй, я отчасти присоединился бы к оценке «Опрокинутого мира» Кристофера Приста, зато до глубины души был оскорблен «удивлением» автора статьи по поводу того интереса, который вызвал роман Джеймса Джонса «Только позови». Не потому вовсе, что сам перевел его на русский, а потому, что большинство советских, да и американских критиков считают его одним из самых сильных и трагических произведений англоязычной прозы о второй мировой войне. Странно, что мисс Черфас «удивляют» отличные рассказы «Священный брак» Джойс К. Оутс и «Самодельные гробики» Трумэна Капоте. Не скрою, нам послышались нотки национальной ущемленности, что ли, в рассуждениях об американской литературе. Надеемся, у автора статьи не вызвала «удивления» повесть Грэма Грина «Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой», но вот с другим своим соотечественником, автором романа «Омут», она разделывается бесцеремонно: «некий Гордон Паркер».

Паркер уже упомянут выше, и вот почему: мы всегда ставили себе целью открывать русскому читателю малоизвестные или вовсе не известные имена, поскольку убеждены, что постигать куль-

туру другой страны надобно во всей ее противоречивой целостности, а не только по книгам, о которых говорят (а чаще кричат). Да и чего бы мы стоили как редакторы, если бы следовали только рекомендациям «Таймс литерари сапплмент» или «Нью-Йорк таймс бук ревью»?

Комментируя пожелания наших читателей, собранные в упомянутом редакционном обзоре, ваш автор находит и «более знакомые имена: Курт Воннегут... Грэм Грин... Питер Устинов... Айрис Мердок... Уильям Стайрон... Джон Фаулз... Э. Л. Доктороу... Гюнтер Грасс... Габриэль Гарсиа Маркес... Колин Уилсон... Барбара Пим» (отточия автора статьи из «Энкаунтера». — Г. З.) и признает, что «эти авторы тоже публикуются в Советском Союзе», в том числе, добавлю, широко — в «Иностранной литературе». Но, пишет она, «публикация их жестко нормирована и подается тонкой прослойкой между превосходящими слоями м и р о в о й литературы, не замеченной на Западе и представленной странами от Кубы до Греции, от Индии до Сирии, от Вьетнама до Никарагуа». Нам неизвестно, какими компьютерами подсчитана «жесткая нормированность» западной прозы, поэтому отдельно почтой посылаем вам только что выпущенный библиографический каталог-указатель нашего журнала за 1975—1984 годы — языком статистики он опрокидывает сей аргумент.

Сошлемся вдобавок на знаменитого литератора Уильяма Купера, посетившего СССР и писавшего еще в 1980 году в одном лондонском издании: «Я был поражен размахом в выборе и разнообразием английских романов, которые публикуются в переводах в Советском Союзе»[1]. Или — на многочисленные и откровенные признания американских участников последней (ноябрь 1985 года, Вильнюс) встречи писателей Советского Союза и США, с горечью говоривших, что в нашей стране издают куда больше американских авторов, чем у них в стране — советских.

И уж совсем с головой выдает себя автор статьи иронической фразой насчет «м и р о в о й литературы, не замеченной на Западе». Выдает даже не европоцентризм, а — простите за резкость — своего рода великобританский шовинизм. Чем иначе объяснить снисходительные интонации в отношении американских писателей? Чем иначе объяснить тот факт, что из писателей Западной Европы названы только Гюнтер Грасс и Юхан Баргум, из Латинской Америки — только Гарсиа Маркес и — ни одного имени из Австралии, Азии, Африки? Чем иначе объяснить полное пренебрежение восточноевропейской литературой и вообще литературами социалистических стран? Разве можно представить себе современную мировую культуру без Жоржи Амаду, Айи Квеи Армы, Юрия Брезана, Ван Мэна, Аны Бландианы, Павла Вежинова, Кристы Вольф, Тибора Дери, Гюнтера де Бройна, Юлиана Кавальца, Алехо Карпентьера, Кобо Абэ, Яна Козака, Хулио Кортасара, Михайло Лалича, Азиза Несина, Нгуги Ва Тхионго, Кэндзабуро Оэ, Йордана Радичкова, Мигеля Отеро Сильвы, Сембена Усмана, Карлоса Фуэнтеса, Николая Хайтова, Богдана Чешко, Бранко Чопича, Воле Шойинки, Эрвина Штриттматтера? Называю, понятно, далеко не всех и одних лишь прозаиков, которых «Иностранная литература» напечатала в 80-е годы.

Именно так мы понимаем мировую литературу и намерены следовать такому принципу и впредь во всех разделах нашего журнала — от большой прозы до хроникально-информационной рубрики «Из месяца в месяц».

Тут мы вплотную подошли к вопросу вопросов — что и как выбирается нами для публикации в «Иностранной литературе».

Не только большинство советских, но и многие иностранные критики различных направлений констатируют в последнее время — при всех и всяческих исключениях — известный застой в западноевропейских и американской литературах, вялость мысли и выражения, утрату пластики характеров и, главное, однообразие темы: «тот или иной аспект общественного и нравственного упадка, человеческого отчуждения», если воспользоваться выражением из статьи мисс Черфас. Речь, естественно, идет о содержательной литературе, а не о коммерческо-конформистских сочинениях, изготовляемых по методу массового, поточного производства, которые, загрязняя эстетическую среду, оттесняют хорошую книгу на второй и третий план.

«Проблема выбора,— цитирую другое место из статьи в журнале «Энкаунтер»,— осложняется увеличением в современных западных произведениях объема непристойного языка, сленга и описания сексуальных подробностей». Это — реальная проблема. Не потому, что русские — ханжи и «еще не дозрели до чтения о менструациях», как изящно язвит мисс Черфас. Дело в другом — в силе традиций российской культуры, которая как-никак располагалась подальше от античной, нежели западноевропейская.

Если же сказать попросту и напрямик, то, согласитесь, живописать извращенный секс легче, «доходней оно и прелестней», как говаривал Маяковский, чем передать всю гамму любовных чувств и их проявлений. Самое интимное, земное, плотское может быть выражено целомудренным словом — при условии, конечно, что мы не разучились чувствовать. Благо, большинство зарубежных авторов или праводержателей хорошо понимают это и дают согласие на соответствующие сокращения (равно как и на сокращения, диктуемые ограниченным объемом журнальной площади). Даже неуступчивый Джон Апдайк — и тот дал в конце концов «добро» на журнальный вариант последне-

[1] Britain-USSR, Published by the Great Britain-USSR Association, No. 57, Spring, 1980.

го по счету и лучшего, по-моему, романа о Гарри Энгстроме — «Кролик разбогател», где наверняка будет исключена длинная, утомительная, отдающая дурным вкусом сцена псевдополового акта[1].

Элементарный здравый смысл подсказал Терезе Черфас, что одна «не подходящая для русского вкуса» книга того или иного писателя не служит препятствием для издания другой, «подходящей». В качестве примера «неподходящего» романа указывается «Майра Брекенридж» Гора Видала.

Попробуем, однако, спросить у самого мистера Видала, что он ценит больше — «Майру...» или свою американскую — не трилогию, как говорится в статье, нет, а тетралогию, ибо полтора года назад он издал замечательный роман «Линкольн». И «Иностранная литература» намерена печатать этот роман, хотя ни сам автор, ни мы, редакторы, пока не представляем в точности, как это сделать, потому что в романе 660 страниц большого формата. Значит, придется сокращать — но как и что? Вот с такими действительными, а не придуманными проблемами нам приходится сталкиваться каждодневно.

Итак, книга выбрана, согласие автора и (или) правообладателя получено, достигнута договоренность о гонораре и сроках публикации. Что же происходит дальше?

Если верить автору «Энкаунтера», получается, что отобранному произведению надо еще пройти некий «суровый экзамен» на «оптимистичность» — это «первейшее условие» публикации русского перевода. Тут уж поневоле разведешь руками! Подозреваю, что в «Энкаунтере» просто плохо знают современную западную словесность, где на фоне чуть ли не вселенского пессимизма редко-редко встретишь роман, утверждающий веру в будущее. Мы — исторические оптимисты и в принципе не приемлем идею бессилия человека изменить мир к лучшему, но это вовсе не мешает нам печатать произведения, проникнутые подобными настроениями.

В статье «Энкаунтера» признается: «Именно на редакторов ложится ответственность за ошибки в выборе». Как говорится, и на том спасибо! Ведь иные советологи не устают твердить, будто не столько редакторы, сколько партийные функционеры и цензоры решают, что печатать из зарубежной литературы, а что нет. Скажу под большим секретом: попадались, и сейчас, пожалуй, еще не перевелись горе-работнички, которые, боясь взять ответственность на себя, по малейшему пустяку спешат «наверх» за указанием. Таких в народе и партии презрительно называют перестраховщиками. Если среди сотрудников «Энкаунтера» есть люди, знающие русский,— а судя по всему, такие там есть,— то они поймут всю убийственную меткость этого прозвища, соединившего два однокорневых, но далеко разошедшихся по значению слова: страх и страховаться. Уместно напомнить недавнее высказывание Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева: «Отбор произведений для публикации, их редактирование, сокращение и т. д. — это дело самих средств массовой информации и книгоиздательств, их редакционных коллегий и редакционных советов».

Наши коллеги из «Литературной газеты» и журнала «Техника — молодежи» сами ответят на кое-какие претензии сомнительного свойства, которые вы предъявляете к ним,— если сочтут необходимым.

«Холодная война заморозила «Ледяной век» Маргарет Дрэббл» — этот упрек адресуется, очевидно, нашему журналу, хотя мисс Черфас должна была бы знать, что книги Маргарет Дрэббл не раз издавались у нас в стране, о них много писали, и понять, почему советские издатели не горят, мягко выражаясь, желанием обратиться к этой книге. В ней, помимо всего прочего, выведена вымышленная страна Валахия за «железным занавесом», причем так, что старейший специалист по английской литературе, известный в Британии, прокомментировал роман следующим образом: «Не понимая ни экономической, ни тем более идейной сути социалистического мира, Дрэббл вышла за пределы того, что было доступно ей как художнику-реалисту. Параллели проводятся... там, где параллелей нет и быть не может...»[1]

Ага, могут воскликнуть в редакции «Энкаунтера», вы не печатаете по политическим мотивам?! Да, ответим мы спокойно и твердо, не печатаем, так как политические и философские идеи романа в конечном счете сеют недоверие и рознь между народами и государствами.

И вряд ли кто из советских издателей возьмется сейчас публиковать Сола Беллоу — но не потому, что русских читателей «не интересует еврейский Нью-Йорк» (интересно, откуда цитата? — Г. З.), а потому, что книги-трактаты Беллоу, начиная с «Планеты мистера Саммлера» (1969) и кончая «Декабрем у декана» (1984), проникнуты духом буржуазного национализма и неприкрытой враждой к социализму.

Если это «холодная война», господа редакторы «Энкаунтера», то ведем ее не мы.

Немало места уделено в статье публикации фрагментов из сатирической книги «Да, министр!» Джонатана Линна и Энтони Джея. Чего только нет в рассуждениях Терезы Черфас! И то, что редакторская «бдительность» (?! — Г. З.) вынудила напечатать их в разделе не прозы, а non-fiction — публицистики и доку-

[1] Мисс Черфас ошибается, полагая, будто апдайковский роман «Кролик, беги» «не может быть переведен из-за своего натурализма»: книга давно издана по-русски (М., «Художественная литература», 1979), и тем самым всякому желающему предоставляется полная возможность сличить оригинал и перевод.

[1] «Современная художественная литература за рубежом», 1978, № 4, с. 20.

ментальной прозы[1]. И то, что без предисловия О. Васильева материал «мог бы и не пройти для публикации в СССР», ибо какой-нибудь несмышленыш, читая английских авторов, усмотрел бы — упаси бог — «нежелательные параллели». И то, что главное «диалектическое требование советской литературной критики» гласит: «содержание имеет большее значение, чем форма». Помилуйте, мисс Черфас, неужели вы и впрямь считаете, что две странички предисловия «сбалансируют», «подкрепят», «объяснят» — выбирайте любое выражение — 15 тысяч слов самого произведения? Тем более что в другом месте вы обмолвились, сославшись на письмо одного нашего читателя, что критику «читают немногие» (как будто с Темзы виднее!)

Что до «диалектического требования» советской литературной критики, убедительно просим: сообщите источник или хотя бы назовите имя. Ни у кого нет ни малейшего желания ловить Вас на слове, но мне хотелось бы въявь увидеть советского литературоведа, который во второй половине XX века изрек такое.

Если мы правильно поняли, то основная претензия к нам, редакторам «Иностранной литературы», и советским издателям вообще состоит в излишней политизированности подхода. За недостатком места нет возможности углубляться в предмет подробнее. Позволительно же обратить внимание редакторов «Энкаунтера» на предпоследний абзац напечатанной ими статьи. Цитирую: «Не так-то просто приглушить социальную критику, присутствующую во многих западных романах, публикуемых в Советском Союзе, и она встречает отклик у читателей, коим не дано найти столь откровенную самокритику в современной отечественной литературе. Видимо, западным писателям приходится играть роль социальных критиков не только в собственном обществе, но и быть своего рода литературной «системой помощи» изголодавшимся зарубежным читателям».

Это ли не политика чистой воды?

Впрочем, не совсем чистой, а нечистота идет опять-таки от вопиющей неосведомленности в нашей литературе — или от намеренного искажения ее. В статье верно замечено, что русские — «народ, воспитанный на гоголевских сатирах, высмеивающих чиновничество и бюрократизм». Даже если ограничиться послевоенным периодом, можно было бы привести внушительный список произведений советских писателей, содержащих острейшую (само)критику негативных явлений в нашей жизни, начиная с «Русского леса» Леонида Леонова (1953) и кончая «Пожаром» Валентина Распутина, «Фуку» Евгения Евтушенко, «Серебряной свадьбой» Александра Мишарина (1985), «Печальным детективом» Виктора Астафьева (1986).

Что до собственно сатиры, то советская и начиналась с имен Маяковского и Бедного, Булгакова и Катаева, Ильфа и Петрова, Кольцова и Зощенко...

Неведение — всегда источник недоверия. Так не лучше ли было бы для устранения того и другого основать в Англии — или на Западе вообще — журнал, аналогичный «Иностранной литературе» и печатать там хотя бы иногда прозу, поэзию, очерки советских писателей сообразно художественной весомости каждой конкретной вещи?

С самого начала редакторы «Энкаунтера», следуя своему антикоммунистическому курсу, делали все возможное и невозможное, дабы название их журнала прочитывалось как «столкновение» или «нападение». Статья Терезы Черфас — тоже попытка нападения, нападения с негодными средствами вчерашнего и позавчерашнего дня.

Мы же предпочли бы читать название вашего ежемесячника в другом, добром значении этого английского слова — «встреча», — если, разумеется, оно будет соответствовать содержанию.

ГЕОРГИЙ ЗЛОБИН

[1] Думается, что русскоязычные понятия «публицистика» и «документальная проза» точнее определяют жанр non-fiction — который привлекает читающую публику не менее художественной прозы как таковой, — точнее, чем маловразумительное наименование "Writings about Current Affairs", употребленное Терезой Черфас. И вообще: кто осмелится разделить всю мировую словесность на "fiction" и "non-fiction"?

◆

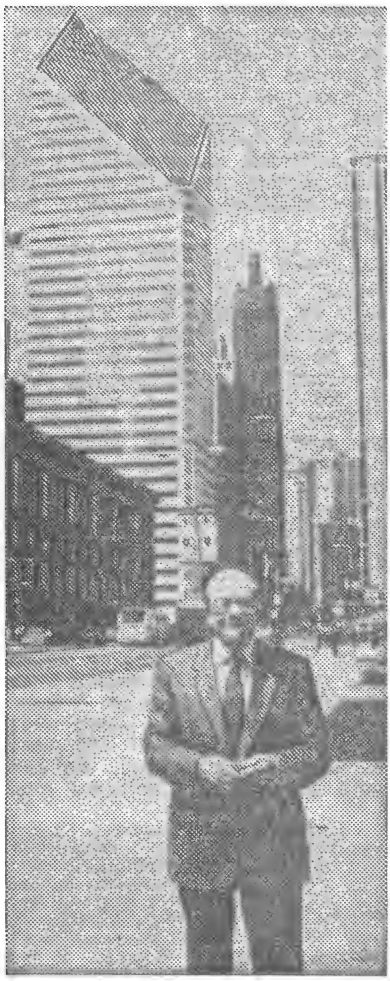
АНРИ АЛЛЕГ

SOS, АМЕРИКА!

Главы из книги

Перевод с французского
ВАЛЕНТИНЫ ЖУКОВОЙ

Вступление



Статуя Свободы, от пьедестала до диадемы огороженная металлическими «лесами», совсем уже не видна. О старой даме — в 1986 году ей исполняется сто лет — действительно пора было позаботиться. Ибо она нуждается не в косметическом, а в очень серьезном ремонте. Большой вертолет одним рывком поднимет факел вместе с обзорной площадкой. Факел соорудят новый, более мощный. А до тех пор (о, как тяжело стареть!) «Свобода», запертая в металлическую клетку, не будет освещать Нью-Йоркский порт, а уж весь огромный мир — и подавно.

Для длинного ряда поколений эта статуя была символом Американской мечты, страны «равных возможностей для всех», с распростертыми объятиями принимающей обездоленных и гонимых, была эмблемой нового континента, где утопающие сегодня в роскоши миллиардеры только начинали сколачивать свои состояния, подбирая, как рассказывают, даже центовые монетки на улицах или торгуя газетами, — была эмблемой огромных пространств, открытых для искателей приключений, где каждый, если он достаточно смел и решителен и, подобно золотоискателям и героям вестернов, способен действовать и не сдаваться, найдет свою удачу.

Конечно, современные французы имеют об Америке не столь наивное представление, какое сложилось у наших отцов и де-

1985, Editions Messidor/Temps Actuels, Paris

АНРИ АЛЛЕГ — HENRI ALLEG (род. в 1921 г.)

Французский писатель, публицист, один из ведущих сотрудников газеты «Юманите». С 1949 по 1955 г. издавал газету «Альже репюбликэн», участвовал в борьбе за освобождение Алжира. С 1955-го — на нелегальном положении, в 1957-м — арестован, подвергался пыткам и приговорен к каторжным работам. В 1961 г. бежал из тюрьмы, с 1962 г. вновь руководил газетой. С 1965 г. живет во Франции. Автор книг «Допрос под пыткой» (перевод напечатан в «Иностранной литературе», 1958, № 6), «Бойцы в плену» («ИЛ», 1962, № 1 — 2), «Победоносная Куба» («Victorieuse Cuba», 1963), «Дороги надежды» («Les Chemins de l'espérance», 1975), «Красная звезда и зеленый полумесяц» («Étoile rouge et croissant vert», 1983) и «SOS, Америка!» («S.O.S. America!». Paris Editions Messidor/Temps Actuels, 1985). Лауреат нескольких премий, в том числе Международной премии журналистов (1979).

дов. Они знают, что не все жители этой страны миллиардеры, не у всех есть собственная яхта или частный самолет, что уровень жизни миллионов американцев значительно ниже официальной черты бедности, что работу найти невозможно и все длиннее становятся очереди за бесплатным супом, что наркомания, воровство, вообще преступность побивает — и намного — все мировые рекорды и, несмотря на то что куклукс-клан не в такой степени, как прежде, диктует свои законы, здесь по-прежнему отдают предпочтение людям с белой кожей. Однако утверждать, что мои соотечественники не питают иллюзий в отношении Америки было бы преувеличением. Ежедневно подвергаясь со всех сторон усиленной обработке, они поневоле начинают верить в американский миф, который преподносится в новой упаковке, более отвечающей требованиям сегодняшнего дня. Разве им не внушают, что американское общество — это вдохновляющая модель, образец для подражания, можно сказать, во всех отношениях? Идет ли речь о культуре, экономике или политике, Америка всегда оказывается в авангарде нашего «свободного мира», и нам остается лишь следовать за ней по пятам. К тому же, дают нам понять, воспроизведение у нас во Франции всего, что появилось в Соединенных Штатах,— процесс столь же непреложный и естественный, как чаще всего имеющее место перемещение атмосферных циклонов с запада на восток. «Америка — это Франция через десять — пятнадцать лет».

Желая обеспечить подобной перспективе благосклонное отношение со стороны соотечественников и даже вызвать стремление приблизить ее, множество политиков и всякого рода «специалистов» состязаются в создании и тщательной отработке нового мифа: мифа об Америке процветающей, преодолевшей кризис и приблизившейся — с помощью революционных экономических методов, ресурсов высокоразвитой технологии и унаследованной от первопроходцев предприимчивости — к порогу XXI века. Что значат на фоне столь лучезарного будущего какие-то сопутствующие осложнения вроде безработицы и голода, ударяющих по десяткам миллионов людей? Разве экономисты Белого дома и сам Рональд Рейган не объяснили, что эти трудности разрешаются сами собой, когда система свободного предпринимательства функционирует без помех? На основании этого во Франции начинают сожалеть, что поступательное движение — или, скорее, стремительный бег — навстречу будущему тормозится неискоренимым «духом рутины» и «непониманием» со стороны отдельных наших граждан, в особенности рабочих. Последние, в самом деле не проявляют особого энтузиазма, когда их убеждают последовать примеру служащих «Дженерал моторс», согласившихся на 15-процентное сокращение заработной платы. Точно так же их вовсе не соблазняют проекты «модернизации», которые, будучи предназначены для увеличения прибылей, повлекут за собой сокращение рабочих мест, рост безработицы, снижение уровня жизни. Никто не отрицает, что для некоторых это тяжело, но — поучает нас Дядя Сэм — такова цена прогресса. Естественные законы социального «дарвинизма» требуют, чтобы сильные выживали и процветали, а слабые хирели и погибали. Не ставьте под сомнение систему, не то сыграете на руку коммунизму. Это данность: общество разделено на «везучих» и «невезучих», или, точнее, на «победителей» и «побежденных», ибо речь идет об отличительном признаке, а не случайной или временно сложившейся ситуации. Понятие «победитель» подразумевает определенные способности и склад мышления: сумейте быть смелым и не бояться риска, уверуйте в свою «идею» и бесстрашно устремляйтесь навстречу Дикому Западу, этому новому миру конкуренции и соперничества, не сомневайтесь, что для вас все возможно — и вы станете «победителем», подобно Рокфеллеру, Джону Уэйну или Рональду Рейгану. И тогда вы по праву займете достойное место в кругу избранных, среди богатых и сильных мира сего, и господь вас благословит. Но если вы «побежденный», пеняйте лишь на самого себя и не опускайтесь до ламентаций по поводу того, что в этой игре вас «подставили».

Подобный стиль рассуждений уже заявляет о себе во Франции. На протяжении моего путешествия мне довелось не раз столкнуться с американскими корнями многих «новых идей», которые под видом оригинальных построений преподносят нам иные из наших политических деятелей «соответствующей ориентации» и новомодных «мыслителей». Так что странствие по американским путям-дорогам помогло мне на многое открыть глаза и в сегодняшней Франции.

Эта книга — вовсе не выпад против Америки, как будут утверждать некоторые, ссылаясь на то, что я больше говорю о тяжкой доле десятков миллионов людей, чем о сладкой жизни привилегированного меньшинства. Да, я действительно не познако-

мился с тем, как живут во дворцах, меня не приглашали на светские рауты, а средой моего обитания были рабочие — и безработные — «другой Америки», той, что борется за существование и которую нам так редко показывают, той, что не позволяет ослепить себя кичливыми лозунгами и смотрит реальности в лицо. Я проехал Соединенные Штаты от Бостона до Лос-Анджелеса, от Вашингтона до Чикаго и от Детройта до Далласа — с широко раскрытыми глазами,— стремясь ощутить все, что есть одновременно притягательного и устрашающего в этой огромной стране с ее гигантскими возможностями. Но прежде всего я узнал и полюбил ее многоликий народ, открытый и гостеприимный. Я встречался именно с «простыми людьми», которые редко появляются на телеэкране, а не только с конгрессменами или высокопоставленными политическими и профсоюзными деятелями; и книгу эту я писал, думая о них, мирных, сердечных людях. Тех, кто, несмотря на неслыханный нажим, отказывается верить, что величие их страны должно измеряться числом и мощностью ядерных бомб, а ее назначение — быть «мировым жандармом» и защищать интересы транснациональных концернов; таких людей значительно больше, чем принято думать.

Они по праву гордятся своим вкладом в свершения их страны, и потому сегодня их особенно заботят симптомы ее нарастающей деградации, особенно тревожат судьбы ее будущего.

Мучительно, подчас вслепую, они нащупывают свой путь, добиваясь, чтобы их услышали. Именно им предстоит сказать завтра, сохраняет ли еще статуя-эмблема, поднявшая свой факел над Нью-Йорком, какой-то смысл или же, забранная решетками и металлическими конструкциями, она теперь и впрямь не более чем символ разбитой мечты.

Стоит ли говорить, насколько зависит от их ответа на этот вопрос наше собственное будущее.

Метро, где обитает тревога

Насилие так же характерно для Америки, как яблочный пирог.

(Расхожая американская шутка)

Узкая лестница с черными выщербленными ступенями ведет к кассе. За грязными стеклами сидит служащий и продает «tokens» — входные жетоны по 90 центов. В полутемном коридоре на проводах висит несколько желтых запыленных лампочек, которые подрагивают всякий раз, когда поезд вырывается из туннеля на станцию. На путях, между едва поблескивающими рельсами,— горы отбросов: старые газеты, банки из-под пива и кока-колы, обломки шпал, бумажные тарелки, стаканчики и тому подобное. И поверх всего этого — чудные предметы: каркас зонтика, женская туфелька, бейсбольная кепка. Где-то возле 125-й улицы, на пути к Гарлему, рельсы почти совсем завалены мусором. По сравнению с этой картиной, станция 42-й улицы, в самом центре, выглядит почти чистой. Повсюду, и на серых стенах, и на металлических опорах, поддерживающих свод, как в колодце шахты — все тот же, вызывающий невольную улыбку, призыв: «Ничего не бросайте на рельсы, мусор может быть причиной пожара».

Ступив на перрон, лучше и не пытаться разговаривать. Здесь такой сильный грохот, что, даже если нужно сказать всего несколько слов, приходится громко кричать. Поезд же так сильно трясет, что кажется, он вот-вот сойдет с рельсов. Когда два или три состава встречаются или разъезжаются в разных направлениях (есть «местные» поезда, которые останавливаются на всех станциях, и «экспрессы», которые проскакивают некоторые из них), грохот стоит такой, что приходится зажимать уши обеими руками. В толпе пассажиры передвигаются, отгородившись от окружающего мира либо наушниками «плейера», либо заткнув уши берушами. В газетных киосках на перронах метро это такой же обычный товар, как жевательная резинка; на ценнике написано: «Затычки для ушей — 2 доллара».

У молодежи из Гарлема и пуэрториканских кварталов другой способ «спасения»: они не расстаются с запущенными на полную мощность огромными транзисторами, такими прочными, что в случае необходимости их используют вместо сиденья. И если батарейки новые, а музыка достаточно ритмична, им все-таки удается заглушить раздирающие пространство скрежет, стук и шипение. Стенки вагонов изрисованы в несколько слоев, так что невозможно определить, какого они цвета. Надписи — «граффити», — выполненные порой довольно искусной рукой, неразборчивы, к тому же они не содержат ничего такого, о чем бы следовало оповестить мир. Понадаются вагоны, где одно слово, снабженное несколькими восклицательными знаками, занимает целую стенку: «Душа», «Ад» или еще «Ангел», «Дьяволы»; росписи членов спортивной команды или организованной шайки какого-нибудь квартала, отметившей таким образом факт своего существования и поездки в метро.

Иногда вдруг промелькнет вагон, поразительно чистый на фоне окружающей грязи. Его только что покрасили заново. Тем не менее слой краски — молочно-серой — не может полностью скрыть прежние «художества», а на боковых

стенках уже видны следы первых атак «граффитоманов». В основном они совершают нападения по ночам; пробираются тайком на станции метро или в депо и щедро поливают вагоны краской из аэрозольных баллонов. Некоторым это стоит жизни, как, например, двадцатипятилетнему Стюарту Микаэлю, который в сентябре 1983 года был пойман с поличным в тот момент, когда «разукрашивал» вагоны. Он был до смерти избит полицейским патрулем метро. «Синдром риска», говорят психиатры, но вместе с тем для тех, кто вот так играет со смертью,— подсознательная потребность «отвести душу», осквернив «подземку», ненавистный символ их заточения в огромном городе, с его подчеркнутой бесчеловечностью и презрением к изгоям общества «свободного предпринимательства».

Метро — это своего рода декорация, на фоне которой толпа выглядит так, как ни в каком ином месте. Галстук и строгий костюм здесь увидишь довольно редко. Преобладают джинсы, спортивные рубашки, бесформенные куртки, кроссовки, унифицирующие внешний облик представителей всех континентов. В Манхэттене вы встретите китайцев — многие из них садятся в районе Кэнелстриг и едут в направлении Чайна-тауна; черных, возвращающихся в Гарлем или Бруклин; пуэрториканцев, растекающихся в разные стороны на всех остановках после 110-й улицы, приблизительно оттуда начинается «barrio» (латиноамериканский квартал); кореицев, которые монополизировали торговлю овощами и фруктами в разбросанных по городу мелких лавочках; сверхправоверных евреев — бородатых, в черных сюртуках и больших круглых шляпах,— за которыми тянутся стайки детей в ермолках; итальянцев из «Литл Итали» («Маленькой Италии»), расположенной неподалеку от Чайна-тауна и Гринич-Виллидж; гаитян, мексиканцев, арабов, пакистанцев, эфиопов.

То там, то здесь можно увидеть, как старик — русский, украинец или югослав — разворачивает набранную кириллицей газету. И тут же — голубоглазые блондинки, вполне возможно принадлежащие к «Wasps» (сокращение от «White Anglo-Saxon Protestants» — белые протестанты англо-саксонского происхождения), иначе говоря, в американской социальной иерархии — привилегированные. Но в метро «Wasps» растворяются в потоке американцев иностранного происхождения, «американцев через черточку»: афро-американцев, латиноамериканцев, американцев-итальянцев, -евреев, -немцев, -китайцев, -кореицев и т. д. Черточка эта далеко не всегда свидетельство принадлежности к избранным. Единообразия тут нет. В любом случае лучше быть американцем иностранного происхождения с белой кожей, а не черной или «темной», как, например, «испано-американцы», или, как их еще называют, «латинос», которых немало в толпе. Они приезжают из Центральной Америки, главным образом с острова, расположенного совсем рядом с Пуэрто-Рико, «присоединившимся государством», гражданам которого не нужно получать визы на въезд в США. В Нью-Йорке более миллиона пуэрториканцев (и три с половиной — в Пуэрто-Рико). Их оказалось здесь так много, что испанский язык стал в городе вторым языком. Об этом свидетельствуют валяющиеся под ногами проспекты, названия газет, которые читают многие пассажиры, рекламные плакаты — преимущественно на испанском, а не на английском.

Реклама помимо всего прочего дает представление о жилищных условиях массы ньюйоркцев, во всяком случае тех, кто ездит в метро. Один из таких плакатов попадается чаще других: он расхваливает великолепные качества ловушки для тараканов под названием «Тараканий мотель». На плакате чрезвычайно реалистично изображена кучка этих черных как уголь насекомых, которые толпятся у входа в великолепный мотель, соответствующий их габаритам. Они смогут туда войти, но не смогут выйти! Это ловушка. «Тараканы расселяются внутри, но им уже не выбраться!» — написано по-английски и по-испански.

Когда побываешь в нью-йоркских квартирах и увидишь, какие огромные пространства завоеваны тараканами, какова наглость этих насекомых, проникающих практически повсюду,— а избавиться от них практически невозможно,— становится яснее ясного, что новые виды «оружия» в этой непрекращающейся битве могут оказаться доходным бизнесом.

Но это — всего лишь тусклая повседневность. Другой плакат, также часто встречающийся на серых стенах метро, приглашает помечтать (по-испански и по-английски). Закройте глаза и вкусите наслаждение от «настоящего французского коньяка». На заднем плане — романтический лунный свет и экзотические пальмы. На переднем — молодой чернокожий атлет в изысканном костюме: пиджак из шелковистой ткани и галстук-бабочка. Рядом с ним — юная особа, тоже черная, в декольтированном платье, с жемчужным ожерельем на шее. Прекрасные как боги, они с улыбкой протягивают друг другу бокалы, отливающие золотистыми бликами. Вот что нужно для того, чтобы забыть о метро и тараканах, ожидающих вас дома. Еще один плакат советует не пропустить ближайший тираж местной лотереи. Отовсюду вновь и вновь подстегивают все те же наставления: «Попробуйте...», «Сэкономите...», «Выиграете...» столько-то долларов на таком-то товаре! Это неотвратимо надвигающееся событие будет стоить вам гораздо дороже, если вы не подумаете о нем заранее и не обратитесь в соответствующую фирму»: «Удешевляйте стоимость смерти!» «Нептьюн сосайети», «самая крупная в Америке похоронная фирма, к вашим услугам: обряды, кремация, транспорт, бес-

платный проспект по требованию». В самом деле, говорит мне один знающий человек, умереть в Нью-Йорке стоит значительно дороже, чем в Париже. Отличный «рэкет»! Пристойные, но скромные похороны обходятся в две тысячи пятьсот — три тысячи долларов. К этому надо добавить неизбежные «доплаты».

Стиснутые в вагоне, как сельди в бочке, задыхающиеся, как в турецкой бане, оглушенные грохотом поезда, пассажиры редко отваживаются произнести, точнее, прокричать хотя бы несколько слов... Они стоят неподвижно, погрузившись в себя. Глядя невидящими глазами на тех, кто входит или выходит. Не проявляя ни малейшего интереса к тому, что творится рядом с ними. Хотя происходящее вокруг — настоящий спектакль. Прислонившись к двери, стоит атлет — Чингисхан в высоких кожаных сапогах, коротких брючках на розовых плетеных подтяжках, с обнаженными руками и торсом. Голова обрита, за исключением тонкой косички, спускающейся от макушки до талии и зажатой на конце позолоченной заколкой. Длинная серьга, кожаные браслеты и — портфель делового человека под мышкой. Напротив него, в плотно облегающих брюках и небесно-голубой кофте с заклепками на поясе и манжетах, вся в ожерельях и кольцах, позвякивающих в ритме сотрясающегося вагона, веки, губы и щеки накрашены,— «чудо-женщина», только что приехавшая из Пуэрто-Рико.

В белых арабских одеяниях, с миской в руке, продвигаются вперед, стараясь, невзирая на толчки, сохранить равновесие, два негра. Они собирают деньги для религиозной секты и продают брошюры с арабскими заголовками. Похожие на обитателей далекого Томбукту, хотя они всего лишь из Бруклина, эти люди постоянно курсируют по одному и тому же маршруту. Забившись в угол, какой-то старик большими глотками заливает в себя спиртное прямо из горлышка бутылки, обернутой в бурую бумагу. По закону алкогольные напитки и пиво нельзя распивать «на виду» у окружающих, если ты не хочешь рисковать и дорожишь душевным покоем.

Рядом со стариком — наркоман с застывшим взглядом и мягкими, как в замедленной киносъемке, движениями, уставился в стекло, где маячит его мутное отражение. Другой пассажир откинул назад голову и ухитрился уснуть, несмотря на толчки. Роликовые коньки, надетые прямо на его голые ноги,— опасный барьер в проходе между сиденьями. А рядом молодой негр развлекает себя игрой на губной гармонике Несмотря на темперамент исполнителя, его игра никого не беспокоит: не пробившись сквозь чудовищный грохот, звуки сразу же тают.

Грузная дама лет пятидесяти в сером поношенном пальто, с каким-то потусторонним взглядом, словно она уже отрешилась от мира сего со всеми его печалями, предлагает вниманию толпы висящую у нее на шее дощечку с надписью: «Раскайся, пока не поздно! Читай библию!»

Никто из этих людей не вызывает у других пассажиров ни малейшего интереса или же раздражения — им безразлично абсолютно все.

Когда наступает ночь, метро вдруг превращается в рассадник преступлений, и вас уже у входа предостерегают, что место, куда вы спускаетесь, опасное. «Когда нет скопления народа, стойте в этом секторе»,— гласит плакат. Вычерченная на перроне желтая линия ограничивает слабо освещенное пространство, которого следует держаться. Стоя здесь, вы находитесь в поле зрения служащего, продающего «жетоны», и «если с вами что-то случится, он успеет поднять тревогу». Слева и справа от этого «убежища», гарантирующего неприкосновенность, вас окружает terra incognita[1]. «Подземка» погружена во мрак, и того, кто сюда попадает, подстерегают всевозможные опасности.

Даже поезд теперь не совсем такой, каким был всего лишь несколько часов назад. Хотя он по-прежнему замусорен, под ногами все так же валяются обрывки газет и промасленной бумаги, и при каждом сотрясении по полу перекатываются пустые бутылки или банки из-под кока-колы. Состав кажется пустым, за исключением двух головных вагонов, куда забились все пассажиры. По-видимому, скопление людей и постоянное присутствие в этих вагонах двух полицейских — с раскачивающимися на боку кольтами и прикрепленными к поясу атрибутами нью-йоркского «полисмена»: наручниками, рацией, запасной обоймой, записной книжкой и резиновой дубинкой, то есть всем, что нужно,— действует успокаивающе В октябре 1984 года в метро была убита первая женщина-полицейский, преследовавшая вора. Ей устроили пышные похороны: перед гробом прошло 3500 ее коллег.

Пребывание в метро опасно не только потому, что там совершается огромное количество бандитских нападений, но и из-за неправдоподобно скверных условий перевозки пассажиров.

В 1980 году правительственная комиссия пришла к выводу, что вследствие технических неисправностей оборудования и неправильной эксплуатации «подземка» представляет «смертельную опасность» для ее служащих и пассажиров. Трещины в рельсах, щели в шпалах; даже у самых новых вагонов серьезные недоделки в тормозной системе, из-за которых поезд может сойти с рельсов или загореться. Впрочем, пожары той или иной силы случаются почти каждый день. В течение одного только 12 октября 1984 года их было шесть (втрое больше «нормы»). «13 000 пассажиров вынуждены были в спешке покинуть дымные вагоны. Тысячам других преградили путь пожары, вспыхнувшие на линии между Манхэттеном и Бруклином, а также в других местах,— писала газета «Нью-Йорк таймс» 12 октября 1984 го-

[1] Неизвестная земля, неизведанная страна (лат.). *(Здесь и далее прим. перев.)*

да.— По меньшей мере 22 человека, в том числе 6 служащих метро, были отправлены в больницу... Считается, что в большинстве случаев причиной пожаров является самовозгорание мусорных куч, загромождающих пути, и изношенность электрического оборудования...»

По утверждению «Интернэшнл геральд трибюн» (от 24—25 ноября 1984 года), с января по ноябрь 1984 года произошло 4 000 пожаров и 700 из них были «сильными». Благодаря разоблачениям «Нью-Йорк таймс» стало известно, что многие вагоны к моменту пуска в эксплуатацию так и остаются неисправными, но умело распределяемые взятки рассеивают «сомнения» и преодолевают все препятствия. Мэр Нью-Йорка Эдвард Коч впоследствии привлек к суду две промышленные фирмы, обеспечивающие поставки вагонов: им предъявили обвинения в том, что они получили за подобную сделку около двухсот миллионов долларов.

Но в Нью-Йорке хотя бы есть метро. В других больших городах Америки, таких, например, как Лос-Анджелес (третий в США город после Нью-Йорка и Чикаго по численности населения; протяженность — более 100 километров по самой длинной оси), метро нет, и практически здесь можно ездить только на автомобиле.

В 1935 году в Лос-Анджелесе существовала превосходная система городского транспорта: 3 000 работающих на электричестве, быстроходных, относительно тихих и, во всяком случае, не отравляющих атмосферу трамваев. Ежегодно они перевозили 80 миллионов человек в радиусе 120 километров. Так продолжалось до тех пор, пока «Дженерал моторс» и «Стандард ойл оф Калифорниа», получив концессию... очень быстро не ликвидировали общественный транспорт. Это привело, как и было задумано, к тому, что каждый был вынужден обзавестись личным автомобилем. Правда, в течение недолгого промежуточного периода было открыто несколько автобусных маршрутов. Сорок других городов таким же образом и по тем же причинам были лишены общественного транспорта, к величайшей выгоде «Дженерал моторс» и нефтяных компаний.

Подобные финансовые операции приравниваются американским законом к «заговору». И «Дженерал моторс» пришлось предстать перед судом: в 1949 году компания была приговорена к смехотворному штрафу в ... 5 000 долларов! Между тем продажа автомобилей (и горючего для их заправки) жителям городов, лишившихся автобусов и не располагающих метро, принесла фирмам-«заговорщицам» прибыль в несколько сот миллионов долларов.

И ныне все обстоит точно так же. Лос-Анджелес, как и другие крупные населенные пункты (Питтсбург, Детройт, Кливленд, Бирмингем и т. д.), по-прежнему не располагают общественным транспортом, достойным так называться.

Вашингтон и Сан-Франциско — это города-исключения, обладающие современным, скоростным, чистым и хорошо освещенным метро. К сожалению, цены за проезд высоки (они варьируются в зависимости от расстояний), и до бедных кварталов линии метро не протянуты. В Вашингтоне (где население на 70 процентов состоит из афро-американцев) с удивлением обнаруживаешь, как мало в метро пассажиров-негров. Объясняется это просто: линии метро в основном проложены там, где живут белые служащие и находятся учреждения и фирмы. Что же касается негров и «латинос», проживающих в гетто, то они теснятся в автобусах.

По тому же принципу, хотя и не столь ярко выраженному, проложена в Сан-Франциско линия BART (Bay Area Rapid Transit[1]), которая ведет от центра к Беркли и Окленду. Чтобы добраться до многонаселенного квартала Ричмонд, где живут главным образом чернокожие, нужно еще не менее четверти часа ехать на машине. Местное население очень обеспокоено проектом продления линии BART до их квартала. «Почему же? — задает вполне естественный вопрос иностранец.— Разве это не радует тех, кто должен каждый день ездить в город»? — «Ничуть. Если, к несчастью, проект осуществится, для нас, негров и бедняков, это будет означать экспроприацию и изгнание. Вероятнее всего, квартал превратится, как это уже произошло в других местах, в «жилую зону» для той категории людей, которая в состоянии платить высокую квартплату или покупать квартиры в домах, принадлежащих группе лиц-совладельцев,— их возведут фирмы, специализирующиеся на недвижимости. Линии метро и станции, построенные для обитателей бедного квартала — такого здесь еще никогда не было...»

Нью-йоркская же «подземка» демократична и пересекает Гарлем, Бронкс и Чайна-таун. И она такая, какая есть,— грязная и опасная: она — для бедняков.

Богатая и надменная Америка говорит им, что для таких, как они, и этого вполне достаточно.

В доме под номером 2 по Коламбус-Сёркл, напротив памятника первооткрывателю Америки и неподалеку от Центрального парка, расположен информационный центр Нью-Йорка («New York Convention and Visitors Bureau Incorporated»). Это совсем новое 25-этажное здание — значит, не совсем небоскреб,— куда направляют путешественников, которые хотят получить какую-либо информацию о городе. Вы можете здесь ознакомиться со статистикой: в Нью-Йорке 8 миллионов жителей, 11 500 000, если учитывать ближайшие пригороды, и 16 миллионов вместе с населением Джерси, Ньюарка, Паттерсона, Клейтона, Пассейика; протяженность улиц — 10 240 километров; 100 небоскребов; 65 мостов; 100 000 номеров в первоклассных отелях; 25 000 ресторанов; линии

[1] Экспресс, обслуживающий район залива.

метро протяженностью в 370 километров ежедневно обслуживают 3 400 000 пассажиров.

Но ваша любознательность не должна простираться за эти рамки. И если вам захочется узнать, каково число безработных, непригодных для жилья квартир или выданных в специальных пунктах тарелок бесплатного супа, вам придется добывать эти сведения самому. «Видите ли,— с улыбкой отвечает молодая женщина, принимающая посетителей,— в основном мы стараемся информировать людей об интересных вещах... Вы уже любовались силуэтом Нью-Йорка? Великолепное зрелище...» Кто же станет это отрицать?

Зрелище, открывающееся перед вами с борта парома, который от Бэттери-парк, что в самом конце Манхэттена, перевозит вас через бухту на Стейтн-Айленд, действительно фантастическое. На заходе солнца небоскребы вырисовываются на горизонте, как гигантские трубы органа; вдоль океанского побережья пышным и дерзким пламенем загораются их беспорядочные огни. Храмы из стекла и металла, они как бы возносят ввысь гимн величию человеческого гения.

Конторы, страховые компании, банки, торговые агентства — здесь обитает довольно мало народу, и даже те, кому принадлежат эти учреждения, живут в других местах, на роскошных, утопающих в зелени виллах, приблизительно в часе езды на автомобиле от города или в красивейших кварталах Нью-Йорка — на Парк- или Мэдисон авеню.

У входа в их дома стоят разодетые в яркие ливреи портье, их обязанность — охранять жилище и принимать посетителей. С небескорыстным смирением они открывают и закрывают двери, подносят багаж богатых жильцов, здороваются с ними по имени и в случае необходимости поддерживают старую даму, пальцы которой унизаны бриллиантовыми кольцами, чтобы та не оступилась на лестнице. Большой тент, натянутый над тротуаром от места стоянки «роллс-ройса» или шикарного «бьюика» до входной двери, защищает обитателей этих богатых домов от ливней и солнца, но в первую очередь придает зданиям особую внушительность. Даже если хозяева и жильцы дома не рокфеллеры, наличие портье — наглядное свидетельство того, что здесь живут люди «солидные».

Главная артерия города, Бродвей, пересекает Манхэттен и тянется на двадцать километров. В южной его части — совсем старый Нью-Йорк: прежний центр, планировку которого еще сохраняет Уолл-стрит и в беспорядке разбегающиеся от нее по-европейски узкие улочки. Несколько выше, если подняться к Кэнел-стрит, с ее маленькими магазинчиками, где перепродают электронную аппаратуру, попадаешь в Чайна-таун — кусочек Гонконга в Нью-Йорке. Даже на закусочных «Макдоналд» и «Бёргер кинг» — вывески на китайском языке, а «гамбургеры» здесь едят среди лакированных ширм и золотых, красных и черных драконов. Чуть подальше начинается Бауэри, нечто вроде огромного Двора чудес, где на каждом шагу наталкиваешься на торговцев расфасованным кокаином, мелких воришек, которые на виду у всех перепродают свою добычу, скупщиков, «работающих» среди наркоманов, нищих и безработных, буквально опустившихся на самое дно — валяющихся прямо на тротуаре посреди огромных мусорных куч.

Картина несколько меняется, когда добираешься до середины Манхэттена, на перекресток 42-й улицы. Здесь — площадь Пигаль, помноженная на тысячу. Всевозможные порнозабегаловки. В жалких запыленных витринах выставлены откровенно непристойные фигурки из пластика и надувные куклы. Бары, где посетителей обслуживают обнаженные до пояса официантки. «Видеобары» и порноспектакли всех видов, о которых оповещают гигантские неоновые буквы: «Girls! Girls! Girls»; «За 50 центов вы насладитесь беседой наедине с обнаженной девушкой». Высшая категория: «Живые картины». Сетка, протянутая перед зрителями, позволяет наблюдать воочию любовные «забавы». Мода на эти зрелища пересекла Атлантику, но до американских мизансцен европейцам еще далеко.

Порнографическая литература на все вкусы представлена в изобилии, так же как и фотографии, плакаты, журналы с порой удивительными названиями. Один из них называется «Oui!» («Да»— по-французски). Другой — «Международный пуританин». И это юмор? В одной из витрин — серия политико-порнографических романов. И бестселлер под названием «Ужасы Кремля». На иллюстрированной обложке изображена обнаженная монахиня (она узнаваема, поскольку ей оставили монашеский плат и крест на шее), которая терпит невероятные надругательства от двух агентов КГБ с диким оскалом. Они тоже вполне узнаваемы. Хотя на них почти нет одежды, фуражек с красной звездой и серпом и молотом они почему-то не сняли.

В витринах некоторых табачных лавочек (здесь продают также газеты, жевательную резинку, конфеты и шоколад) выставлены все приспособления, необходимые для потребления наркотиков. За исключением самих наркотиков. Разнообразнейшие трубки, нагреватели для опиума, лактоза, которую смешивают с кокаином, аптекарские весы, шприцы для подкожных инъекций. Объяснение простое: закон запрещает продажу наркотиков, а не сопутствующих товаров, необходимых для их потребления. Иногда вывешенный в витрине плакат подтверждает: «Никаких наркотиков здесь нет. Абсолютно никаких!» Последние слова подчеркнуты двумя чертами. Клиенты тем не менее не долго мучаются в поисках того, что им так нужно: «товар» — в двух шагах. Торговцы наркотиками пристают к прохожим прямо на улице, нисколько не смущаясь близостью полицейского, который разгуливает совсем рядом с револьвером на поясе. Либо ему дана инструкция не

вмешиваться, либо он сам участвует в «деле» и получает свою долю.

Да и может ли быть иначе? Ежегодный оборот торговли наркотиками уступает лишь обороту торговли горючим. И как бороться с этим черным рынком, если столько людей заинтересовано в его процветании — от оптовиков, поставляющих наркотики, до торговцев в розницу, от банкиров, которые «оправдывают» прибыли от продажи наркотиков, до полицейских, «которые ничего не видят». Сие противоречит нравственным принципам и официальным заявлениям? Конечно, но более чем соответствует всеобщему, высшему закону: «Make money» — «Делайте деньги». Но избегайте скандала, а если он разразится, замните его как можно скорее. Всем существующим здесь и связанным между собою звеньям контрабандной торговли наркотиками никогда и ничто — в жизни, а не на киноэкране — всерьез не угрожало.

В двух шагах от Содома и Гоморры, на углу 41-й улицы и Седьмой авеню, стоит чернокожий пастор. На нем, несмотря на жару, костюм с жилетом и галстуком. Он окружен группой молодежи: девушки и юноши, тоже черные, одетые в голубые костюмы (у девушек — белые воротнички), дружно славят Христа.

Юноши, отбивая ритм на тамбурине, через громкоговоритель — они всегда носят его с собой — хором обращаются к прохожим с вопросом: «Что случилось с Иисусом? Что случилось с Иисусом?» Затем с удвоенной энергией фразу эту подхватывают девушки, после чего весь хор, хлопая в ладоши и раскачиваясь из стороны в сторону, скандирует: «Все хорошо! Все хорошо!» В промежутках, когда они останавливаются, чтобы перевести дух, пастор взывает к прохожим: «Покайтесь! Покайтесь! Иисус любит вас! Он любит вас больше, чем родители! Он любит вас больше, чем вы сами себя любите!.. Храните Иисуса в душе своей! Он всегда с вами, как регулятор отопления! Иисус — лучшее из капиталовложений!»

Напротив, прямо на асфальте, трое мальчишек танцуют брейк-данс. Среди зевак — человек лет шестидесяти, со всеми приметами подлинного англосакса и протестанта — розовое лицо, седые волосы, очки в золотой оправе, темный, очень строгий костюм. На плакате, который он держит, как свечу, от руки написано: «Все мы грешники! Молитесь богу! Читайте библию!»

Неподалеку от 47-й улицы попадаешь в квартал ювелиров. Витрины с решетками, оснащенные сложнейшими системами сигнализации. Рядом с дельцами современного образца — бородатые люди в долгополых сюртуках и черных шляпах, будто бы вышедшие из довоенного польского гетто; все они переговариваются друг с другом на идиш. Между 80-й и 110-й улицами, по западному берегу реки Гудзон, расположен Риверсайд-Драйв — там тоже обитает довольно большая еврейская община. В основном это люди зажиточные, принадлежащие, как говорят американцы, к «среднему слою среднего класса» (в отличие от «высшего» и «низшего» слоев среднего класса). В действительности речь идет не о различных «социальных классах» в привычном для Европы смысле слова, а только о различиях (произвольно установленных) в средствах существования и уровне жизни.

В этом районе города количество продовольственных магазинов, супермаркетов, где продают «кошерные» продукты, растет так же, как число синагог. Нью-Йорк стоит на первом месте в мире по численности еврейского населения. Богатые коммерсанты, адвокаты, врачи, художники, как правило, устроены лучше, нежели представители других национальных меньшинств. В прежние времена они приобрели репутацию наиболее активных сторонников либеральных идей и борцов с расизмом; они традиционно считались и самыми надежными избирателями кандидатов от демократической партии. В большинстве своем таковыми они и остались, поскольку во время президентских выборов 1984 года 70 процентов своих голосов отдали Мондейлу. Но социальное возвышение, особенно в сочетании с давлением, которое оказывает на американских евреев усиленная сионистская пропаганда, заставляющая их выступать на стороне малопонятных им интересов Израиля, привели к изменениям в политических позициях многих из них.

За столиком кафетерия на Бродвее пожилая, очень ухоженная — в светлом платье, шляпке, очках на цепочке — и очень словоохотливая дама завязывает разговор: «Вы не здешний? Из Франции? О, я была там! Проездом, по пути в Израиль. Вы из Парижа? А вы случайно не знакомы с моим кузеном, Симоном Финкельштейном? У меня дома есть одна фотография: Симон рядом с генералом де Голлем. Знаете, с тем, который был президентом во Франции... А я родилась здесь. Мой отец приехал в Америку из Польши, из маленького еврейского местечка, когда ему было семнадцать лет. Я всю жизнь прожила в этом квартале, но он так изменился. На месте, где мы сидим, был обувной магазин, и евреев здесь было намного больше, чем теперь. Уверяю вас, я не против смешения разных национальностей. Я посещаю службу в синагоге каждую пятницу, по вечерам, но не поддерживаю правоверных, их называют «Hassidim». Эти типы ввязываются в драки с черными. Что же в этом хорошего?.. Вы спрашиваете, кого я предпочитаю: Рейгана или Мондейла? Ну так я вам скажу, что я за Рейгана. Я считаю его очень достойным человеком. Раньше я голосовала за демократов. Но должна вам сказать, что не все евреи думают так же. В моей собственной семье сын и невестка смеются надо мной, когда я им говорю, что Рейган защищает Израиль и поэтому нужно, чтобы все евреи его поддерживали. Дела Израиля их не очень волнуют, не то что меня. Я говорю им: «Вы, кажется, забыли, что здесь мы находимся под защитой Израиля. Если бы Израиля не стало, я не

много бы дала за нью-йоркских евреев, несмотря на то что некоторые из них приехали сюда с Христофором Колумбом...»

Такова уж сила пропаганды.

В северной части Манхэттена («Uptown»), на уровне 125-й улицы, начинается Гарлем, где живут афро- и латиноамериканцы. Еще более тоскливый, мрачный и грязный, по сравнению с другими, квартал бедняков. Но по торжественным дням, например, когда Джесси Джексон приезжает сюда, чтобы провести митинг, Гарлем преображается, начинает бурлить. Десятки тысяч его обитателей заполняют улицы и громко требуют осуществления их общих надежд.

Попадая из одного квартала Манхэттена в другой, а оттуда в Бруклин, Куинс или на Стейтн-Айленд, невольно задумываешься, насколько разным может быть один и тот же город. От кишащего людского муравейника на улицах Чайнатауна, где торговцы рыбой, лапшой и маринованными утиными лапками по-китайски расхваливают свой товар, до «Литл Итали», с ее «ростиччериями», «тратториями», церквами и часовнями, витринами магазинов, где выставлены четки, распятия, статуэтки святых, привезенные сюда прямо из мастерских Неаполя, и старушками, болтающими на сицилийском диалекте; от Хестерстрит с еще сохранившимися пока островками, где говорят на идиш, а объявления пишут на древнееврейском, до пуэрториканского «barrio», где английский — иностранный язык, в мгновение ока переносишься из одной страны, с одного континента, из одной цивилизации в другую.

Но где же содержимое того «котла», в котором все нации, все расы, прибывшие на американский континент, должны были раствориться и создать новое существо — «гомо американус»? Оказывается, это больше миф, чем реальность, миф, в любом случае исключающий из «смеси» — это даже не нуждается в уточнении — чернокожих и всех других «цветных». В обществе, которое постоянно сталкивает на рынке труда все новые конкурирующие потоки эмигрантов, соперничество и предрассудки скорее обостряются, нежели стираются, даже среди людей одинакового цвета кожи. Идиллической Америки, где расы и этнические группы постепенно растворялись в единой общине, никогда не существовало — и, несмотря на отдельные завоевания, связанные с активной деятельностью того или иного национального меньшинства, до сих пор реально не существует.

Правильнее было бы говорить здесь не о «котле», а о мозаике, камешки которой в основном еще отделены друг от друга. И то, что характерно для Нью-Йорка, с некоторыми нюансами приложимо и ко всей Америке; разумеется, это не означает, что различные национальные прослойки живут совершенно обособленно и не оказывают друг на друга никакого влияния. Напротив, национальные меньшинства уже «американизировались» или активно американизируются под влиянием доминирующей англосаксонской культуры и того, что принято называть «американским образом жизни»; при этом каждое из них в большей или меньшей степени привносит нечто свое, включая речевые особенности и рецепты национальной кухни. Язык американцев (особенно в Нью-Йорке), в частности, обогатился словами из идиш, которые попадаются в статьях «Нью-Йорк таймс», где ирландские католики или темнокожие баптисты, например, могут сказать о каком-нибудь напористом человеке, что он «chutzbah» (что на идиш равнозначно арготизму «наглый») или же что дело не кажется им «кошерным», в том смысле, что оно нечисто. Все американцы, независимо от происхождения, научились есть «курицу по-луизиански» и «свинину на ребрышках под соусом» по рецепту негров с Юга.

Наряду с национальным «hot dog» (булочка с горячей сосиской) все с удовольствием смакуют мексиканские «тортильяс» и «такос» с пряностями (простые маисовые лепешки или лепешки с начинкой), которые продают рядом с карпами, фаршированными по-еврейски, и «карне кон чиле» — мясом с соусом из перца чиле. И именно это необыкновенное скопление людей, приехавших из разных стран, это более или менее гармоничное и в то же время противоречивое сочетание культур, несмотря на некоторые уродливые их проявления, придают Нью-Йорку и некоторым другим американским городам необычайную привлекательность.

Независимо от происхождения, от того, живут ли они в Гарлеме, Бронксе или Чайна-тауне, все здесь едят и пьют «по-американски», то есть так, будто заправляются горючим. Очень быстро и где попало, на улице — где торгуют вразнос «hot dogs» или «begels» (кольцами из крутого геста, рецепт которых сюда завезен евреями — эмигрантами из Центральной Европы), — в метро, в кинотеатрах... На дверях некоторых магазинов висят объявления с просьбой к клиентам, перед тем как войти, доесть бутерброд или мороженое. Целая сеть закусочных, без сомнения с учетом их практического назначения, названа «Eat and run», что с некоторой долей преувеличения можно было бы перевести как «Закуси и катись!» — во Франции такой вывески было вполне достаточно, чтобы отбить аппетит у любого клиента.

Кстати, американцы знают, что для моих соотечественников еда означает нечто другое. Вот почему сообразительные владельцы ресторанов, даже если они мексиканцы, объявляют свои заведения «французскими ресторанами» и подыскивают для них соответствующие названия. Так возникли рестораны «Париж», «Версаль», «Лафайет», «Барбизон», «Мадлен» и т. д. Больше заботясь о том, чтобы выглядеть оригинальным,

нежели о правилах французской грамматики, один торговец деликатесами назвал свой магазин «У прекрасной гурмана». Возможно, что первые блинные — их довольно много в Нью-Йорке при «настоящих» французских ресторанах — появились здесь вместе с бретонцами. Но они, по-видимому, захирели, и блины были заменены мексиканскими «такос». Рогалики также были видоизменены и превратились в «сандвич-рогалики» (разрезанные пополам рогалики с ломтиком сыра или сосиской внутри, а иногда с тем и другим); к тому же сыр, достойный такого «титула», может называться только по-французски. Камамбер («настоящий французский сыр») продается под названием «Жанна д'Арк». На цветной крышке коробки, в десять раз превышающей по размеру упаковку обычных нормандских сыров,— Орлеанская дева, в доспехах и на коне, с развевающимся на ветру знаменем, летит на врага совсем как героиня вестерна. Это — Америка. И разумеется, соус, который подают к «гамбургеру», булочке с сосиской или чему-нибудь другому, тоже «французский». Это нечто вроде жидкого майонеза в полиэтиленовых пакетиках или металлических банках, как из-под кетчупа.

По бросающейся в глаза бедности прохожих и загрязненности улица похожа на метро. В любое время дня на тротуарах громоздятся огромные черные полиэтиленовые мешки, иногда высотой в полэтажа. Наполненные до краев мусорные ящики, а иногда и металлические тележки целыми днями дожидаются появления мусорщиков, которые встречаются значительно реже на улицах Гарлема и «barrio», нежели на авеню, окружающих Центральный парк. Город «выбрасывает» около двадцати миллионов тонн мусора в день, и говорят, что теперь его уже некуда девать. Свалка на Стейтн-Айленд переполнена. Отдел здравоохранения и санитарии муниципалитета предложил построить семь новых предприятий по сжиганию мусора, которые превращали бы в электрическую энергию 80 процентов городских отходов. Но это обошлось бы в три миллиарда долларов, а Нью-Йорк в целях экономии был вынужден даже сократить число мусорщиков. Увы!..

Многочисленные вмятины на мостовых и тротуарах быстро превращаются в глубокие ямы, и желательно, чтобы прохожие смотрели, куда ставят ногу. Муниципалитет отвечает за сломанную лодыжку или ногу (теоретически его можно привлечь к суду) только в тех случаях, когда о наличии ямы в указанном месте было заявлено заранее, то есть до инцидента.

В сентябре 1984 года мэр города Эдвард Коч похвалялся тем, сколько сделал за то время, что возглавлял муниципалитет (ликвидировал миллион выбоин), не упомянув, однако, о том, сколько новых выбоин появилось за тот же период. Пытаясь найти новые формы борьбы с захламлением тротуаров, он начал «кампанию против банок». Тысячи людей ежедневно разгуливают по улицам с банкой кока-колы или пива в руке, и, опорожнив ее, бросают где попало. Вот так у мэра и возникла мысль платить по пять центов за каждую подобранную банку. Двадцать банок — уже доллар. Сначала этим занимались мальчишки, но их очень скоро вытеснили взрослые конкуренты. Множество безработных, не имеющих пенсии стариков — а их в США сотни тысяч — каждый день отправляются теперь на охоту за пустыми банками. Они выуживают их даже из мешков с мусором, в которых роются, разбрасывая при этом содержимое на тротуар. Эдвард Коч, очевидно, не предвидел подобных последствий; не поставишь же полицейского около каждой мусорной свалки.

Тем временем число собирателей пустых банок растет во всех кварталах. Они бродят по улицам и авеню, внимательно все осматривают и запихивают свою добычу в огромные мешки из черного пластика. «Я собираю около двухсот банок в день,— рассказывает пятидесятилетний южанин, уже более года как безработный.— Выручаю десять долларов — на еду и ночлег. Но знаете, мистер, приходится ходить, ходить без передышки, потому что этим промышляют очень многие. Тяжело...»

У входа в супермаркеты целые ряды специальных машин заглатывают пустые банки, и на светящемся табло появляется число принятых банок и сумма, которая за них полагается. Сборщики терпеливо стоят в очереди с мешками у ног. Когда в машину закладывают по двести банок, операция длится долго. Стоя возле одной из машин, совсем дряхлая старушка — в выцветшем пуловере и потрепанных джинсах — наклоняется, чтобы достать банку из своего огромного мешка. Распрямляется, закладывает ее в машину, которая с глухим шумом регистрирует предмет, после чего на мерцающем табло возникает одна цифра «пять». Женщина снова наклоняется, достает другую банку, закладывает ее в машину, и так до изнеможения. Получив свои деньги, старушка сворачивает мешок и, согнувшись вдвое, снова отправляется на улицы Нью-Йорка на свой изнурительный промысел.

Подобные сцены происходят около каждой из этих машин, столь совершенных, что они могут отличить банку из-под кока-колы от банки из-под пива и отказываются оплачивать сосуд, в котором было нечто, не имеющее отношения к «безалкогольным» напиткам (не следует поощрять алкоголизм!). Кто осмелится сказать, что будущее не за электроникой? Удивительная страна Америка — она позволяет своим старикам умирать от голода, но при этом снабжает их сверхсложными аппаратами, заглатывающими пустые банки.

«Я приехал из Италии более пятидесяти лет назад. Портной, работал по

индивидуальным заказам. Хорошо зарабатывал. Прежде мы действительно жили неплохо. А теперь... Видели, что они сделали с Нью-Йорком?» В строгом костюме — белый воротничок и темный галстук,— может быть, даже слишком опрятный для окружающей обстановки, почтенный старик, дожидающийся поезда на пустынном перроне метро, грустно качает головой. Станция находится неподалеку от Южного Бронкса, и отсюда через загородку видны развороченные улицы. Они выглядят так, будто только что окончилась вторая мировая война и перед нами руины пострадавшего от бомбежки города, куда, после того как его разбомбили, высыпали еще тысячи тонн мусора: на километры и километры тянутся улицы, вдоль которых стоят каркасы выпотрошенных домов с выломанными окнами и дверями, почерневшими от пожаров стенами, лестничными клетками, что вот-вот рухнут. На верхних этажах в открытых всем ветрам комнатах на стенах еще уцелели куски старых обоев, которые свисают из оконных проемов; во дворах гниют всякие отбросы и нечистоты.

В этой пустыне мусора, камней, ржавых кузовов и старых покрышек, завоеванной полчищами крыс, есть и обитаемые островки: в Южном Бронксе насчитывается около миллиона жителей — 51% «латинос», в основном пуэрториканцев, и 43% чернокожих. С 1970 по 1980 год число живущих здесь людей сократилось примерно на 37%. Одновременно усиливался процесс упадка этой части Нью-Йорка, вызванный прежде всего всеобщим обеднением населения. Не получая прибыли от своих домов, хозяева бросали их на произвол судьбы.

Муниципалитет, который владеет тремястами зданий, напоминающих французские дома с умеренной квартплатой, также не в состоянии что-либо изменить в этом районе. Сегодня здесь остались одни руины или трущобы, в то время как 60 000 человек в Нью-Йорке, не имея жилья, спят на улицах или в случайных убежищах.

В северной части Манхэттена, в Восточном Гарлеме, близ 96-й улицы и вдоль Лексингтон авеню постепенно пустеет и начинает походить на Бронкс другой район. Упадок этих кварталов и состояние, до которого довела их политика властей,— выигрышная тема для избирательной кампании, и кандидаты от демократической и от республиканской партий не забывают обращаться к ней. Так, например, в 1977 году Джимми Картер в сопровождении целой армии журналистов и кинооператоров совершил осмотр Южного Бронкса. Движимый прекрасным порывом, он пообещал миллиард долларов на его обновление. Квартал ждет до сих пор.

Во время кампании 1980 года Рональд Рейган также не преминул появиться здесь. Обращаясь к толпе, которая слушала его с некоторой иронией, он заявил: «Пока меня не изберут — да поможет мне бог,— я ничего не смогу для вас сделать». Его избрали, но тем не менее он ничего не предпринял. Единственным напоминанием о посещениях двух президентов осталась гневная надпись размашистыми крупными буквами на стене обрушившегося здания: «Broken promises» («Невыполненные обещания»), а точнее — «разбитые надежды», разбитые так же, как улицы, дома и жизни обитателей этого огромного района.

Южный Бронкс — феномен, далеко не единственный в своем роде. Это — лишь символ упадка, в который пришло большинство крупных городов Соединенных Штатов, может быть наиболее очевидное выражение глубокого кризиса, затронувшего американское общество в целом

С годами Нью-Йорк «деиндустриализировался». С 1969 по 1975 год, вследствие закрытия или «утечки» предприятий в другие штаты или за границу, город потерял 500 000 рабочих мест. Уровень жизни каждого пятого жителя Нью-Йорка (20% населения) ниже официальной черты бедности, и эта статистика примерно одинакова для самых разных городов. При таком положении вещей финансовые поступления, складывающиеся из налогов, значительно уменьшились и уже не покрывают расходов; ежегодные доходы Нью-Йорка за тот же период времени (с 1969 по 1975 год) уменьшились на полтора миллиарда долларов. Поэтому муниципалитеты вынуждены занимать деньги, и чем больше они занимают, тем сильнее запутываются в долгах. 20% годового бюджета Нью-Йорка, например, поглощают проценты, которые город выплачивает банкам, предоставившим ему кредит. В 1975 году его муниципалитет чуть не обанкротился, поскольку не мог наскрести 500 миллионов долларов, которые срочно потребовались для выплаты прежних долгов. В конце концов группа финансистов во главе с Дэвидом Рокфеллером предложила предоставить городу ссуду, потребовав взамен право полного контроля за его бюджетом. Под их давлением муниципалитет Нью-Йорка в первую очередь вынужден был пойти на значительные сокращения расходов на социальное обеспечение. Многие оздоровительные учреждения (в частности, наркологические центры), клиники, приюты для стариков, детские площадки были просто-напросто закрыты. Сорок три тысячи муниципальных служащих, в том числе учителя, работники служб здравоохранения и борьбы с пожарами, были уволены, льготы на обучение в Нью-Йоркском университете (исключительное явление в США) были отменены. Цены за проезд в общественном транспорте, и без того высокие, были повышены неоднократно, и по карману жителей Нью-Йорка ударили новые налоги.

В подобном состоянии экономики и заключается основная причина упадка Нью-Йорка и других больших городов. Жильцы домов, зачастую оказавшись без работы, не могут выплачивать ежемесячную квартплату, которая к тому же постоянно растет. Домовладельцы, сталкиваясь с сопротивлением жильцов,

а иногда даже с «забастовками против повышения квартплаты», вроде той, что была устроена в 1975 году, отказываются содержать дома в приличном состоянии, и поскольку их доходы все уменьшаются, хотят от них избавиться. Из года в год дома все более «изнашиваются», и те жильцы, у которых есть средства, покидают свои квартиры и почти непригодный для жизни квартал, чтобы поселиться в ином месте. Опустевшие квартиры постепенно оккупируют люди без работы и профессии, занимающиеся всякими «махинациями», зачастую это мелкие гангстеры, торговцы наркотиками и прочий сброд. Количество краж, преступлений и насилий молниеносно возрастает, страх, все сильнее овладевая оставшимися жителями квартала, гонит их с насиженных мест, и район постепенно превращается в «no man's land»[1]. В 1973 — «рекордном» — году в Нью-Йорке было брошено по меньшей мере 100 000 квартир, в Филадельфии — 30 000, в Балтиморе — 12 000, в Сент-Луисе — 10 000. К 1975 году в Нью-Йорке в общей сложности пустовало 400 000 квартир.

Однако домовладельцы, как правило, не оставались внакладе, как этого можно было бы ожидать: они, к примеру, в течение многих лет предусмотрительно воздерживались от выплаты налогов государству и городу. Иные из них даже присваивали себе плату за воду, газ, электричество и отопление, не пересылая никаких денег соответствующим компаниям, а затем исчезали, перепродав дом хитрому и хорошо осведомленному дельцу, который будет ждать момента «реабилитации» квартала, чтобы начать здесь новое строительство.

Разумеется, новое строительство возможно далеко не везде, но в некоторых местах административные здания и роскошные дома, принадлежащие группе совладельцев, вырастают, к величайшей выгоде торговцев недвижимостью. Именно это ожидает Восточный Гарлем, где Дэвид Рокфеллер, возглавивший смешанную компанию банкиров и городских властей Нью-Йорка, намеревается, как было объявлено в апреле 1985 года, купить участок земли для строительства пятисот квартир экстра-класса. Муниципалитет, мэр которого Эдвард Коч, ни в чем не может отказать Рокфеллеру, решил помочь осуществлению проекта, вложив в него 52 миллиона долларов. Но прежде надо будет «очистить место», иными словами, выгнать последних жильцов. Это осуществляется с помощью некоторых «понятливых» чиновников, а их всегда удается найти. Дельцы не относятся к породе неблагодарных людей: они не забудут «ублажить» тех, кто, не слишком сковывая себя правовыми нормами, умеет удовлетворить потребности «бизнеса».

Вот как это происходит: административные службы принимают решение об экспроприации определенной территории, откупаются от владельцев домов, выбрасывают на улицу — если понадобится и с помощью грубой силы — жильцов, которые все еще там находятся, а затем перепродают по низкой цене купленный участок заинтересованным фирмам. Муниципальные и федеральные капиталовложения в случае необходимости заполняют финансовую брешь. Таким образом, миллиарды долларов вполне законным путем перекочевывают из общественных фондов в частные, при этом проблема обеспечения жильем самых бедных семей так и остается нерешенной. Бывший сенатор, председатель Национальной комиссии по проблемам градостроительства Пол Дуглас, подводя итоги проведенного по данному вопросу исследования, пришел к выводу, что правительственная деятельность в сфере восстановления городского хозяйства «способствовала тому, что домов для бедных было больше разрушено, нежели построено».

Некоторые домовладельцы выигрывают со всех точек зрения: они не только ухитряются продать обветшавшие постройки вместе с принадлежащими им участками по высокой цене, но и умудряются получить деньги по страховке, предусмотренной на случай пожара в их домах. Ежегодно тысячи зданий становятся жертвами огня. Только в 1974 году в Южном Бронксе было зарегистрировано 12 300 пожаров (по 30—35 каждую ночь). В двух случаях из трех страховые компании не могут доказать, что речь идет о поджогах. В 70-е годы поджигателями нередко оказывались подростки, выполнявшие «заказ», который оплачивался из расчета три — десять долларов за каждый загоревшийся объект. С тех пор цены возросли. Для выполнения по-настоящему серьезной работы заказчик может предпочесть и услуги «профессионалов». В этом случае договор со специализированной шайкой обходится примерно в 2000 долларов и даже больше — в зависимости от суммы страховки. К ответственности привлекается менее 2% виновных или подозреваемых лиц. Индустрия поджогов процветает: за десять лет по стране в целом их число возросло на 400% — за этой цифрой скрывается множество погибших и раненых людей, разрушенных зданий.

Сегодня первое место в этой области у Нью-Йорка оспаривает Бостон. Мэр города Реймонд Флин, который был инициатором создания групп пожарного патрулирования в «огнеопасных» кварталах Бостона, утверждал, что в 1983 году в городе было совершено по меньшей мере 500 поджогов, во время которых 27 человек погибли, а 587 получили ожоги и ранения. В 1982 году (по последним данным) на всей территории Соединенных Штатов было арестовано 16 900 поджигателей — ничтожная цифра по сравнению с количеством пожаров.

Однако пожары — еще не самое страшное бедствие для обитателей гетто. Преступность, которая здесь царит, пострашнее огня. Хотя среди развалин Бронкса украсть можно меньше, чем в

[1] Ничейная земля *(англ.)*.

каком-либо ином месте, статистика ограблений здесь в три раза выше, чем в других кварталах. К тому же в целом преступники убивают больше бедных, чем богатых. Число убитых негров также намного превышает количество белых жертв: в семь раз больше женщин и в десять раз — мужчин. Совершают преступления и воруют главным образом бедняки. «Мы скрываем от окружающих,— говорит крупный полицейский чиновник из Бостона Роберт Д. Ди Грация,— одну из наших маленьких грязных тайн: преступления на улицах, повергающие граждан в ужас, в основном совершают люди, травмированные бедностью, безработицей, крахом в семейной жизни, невозможностью получить образование, страдающие от наркомании, алкоголизма и других экономических и социальных бедствий, бороться с которыми полиция бессильна или почти бессильна...»

Эта «маленькая грязная тайна» на самом деле известна всем, но о ней предпочитают умалчивать, потому что она с беспощадной ясностью свидетельствует о том, что в «идеальном обществе» свободного предпринимательства «не все гладко». «Большая часть краж, ограблений квартир,— пишет бывший экономический советник президентов Рузвельта и Трумэна,— является чем-то вроде «панацеи» от безработицы, которую индивидуум сам себе находит при отсутствии нормальной, доступной ему работы».

Но это не единственная причина чудовищного роста преступности в Соединенных Штатах, и если в этой области они побили — и намного — все рекорды, то это произошло потому, что язвы общественной жизни здесь глубже, чем где бы то ни было, и это совершенно очевидно. Целая прослойка населения Америки — столь многочисленная, что ее нельзя даже назвать «маргинальной»,— существует сегодня лишь за счет воровства, преступлений и самой разнообразной контрабанды. «Этот иной «способ жить» с точки зрения экономики и культуры,— отмечает один преподаватель-социолог из университета в Беркли,— стал привычным для значительной части обитающей в гетто молодежи, ведь ей некуда приложить свои силы, помимо той сферы нелегальной экономики, с которой связаны различные виды преступности». В течение одного только 1980 года в стране было зарегистрировано около 25 000 убийств, тогда как в 1970-м их было 17 000, а тридцатью годами раньше, в 1950 году,— менее 8000. Кривая непрерывно ползет вверх, и если сравнить с Францией, то процент совершенных в США преступлений окажется в десять раз выше. В 1982 году американская полиция арестовала около 10 миллионов человек, обвиненных в кражах и преступлениях, связанных с посягательством на частную собственность; из них — 1 700 000 за «тяжкие преступления» (убийства, изнасилования, вооруженные нападения, поджоги и т. д.). 1984 год оказался рекордным по числу приговоренных к смертной казни, которые ожидают в камерах смертников приведения приговора в исполнение или же помилования. К апрелю этого года их было 1200 (в том числе 500 чернокожих и 13 женщин), то есть на 13% больше, чем в 1983 году.

Несмотря на внушительное число арестов, огромное количество преступлений остается безнаказанным. «Каждый год в уединенных местах, на свалках, скверах, пустырях и т. д. мы находим примерно 4000 трупов, которые так и не удается опознать»,— рассказывает один из служащих министерства юстиции. Примерно десять лет назад ФБР, обожающее статистику, обработав полученную информацию на компьютерах, опубликовало следующие данные: каждую минуту на территории Соединенных Штатов совершается одно крупное преступление, каждые двадцать шесть минут происходит убийство, каждые девять минут — изнасилование, каждые шестьдесят пять секунд — вооруженное нападение, каждые пять секунд — «обычная» кража, каждые тридцать две секунды — угон автомобиля. Так было в 1975 году. Никому еще не пришло в голову «обновить» эти чрезвычайно «красноречивые» цифры. Несомненно только одно — преступность неуклонно возрастает.

И нет никакой необходимости обращаться к статистике, чтобы установить: американцы не преувеличивают, когда говорят, что по улицам — особенно по улицам Нью-Йорка — ходить опасно. И потому не следует пренебрегать следующими советами: «Выходя на улицу, не берите с собой ничего ценного, в том числе большие денежные суммы. Однако нужно обязательно иметь при себе, в наружном, самом видном, кармане, пять-шесть долларов. На вас может наброситься наркоман — в тот момент, когда у него «кризис». Если на вас нападут, главное — не опускать руку во внутренний карман. Нападающий может подумать, что вы достаете оружие, и, вполне вероятно, выстрелит, чтобы опередить вас. Лучше отдайте ему приготовленные заранее деньги. Не иметь этой маленькой суммы тоже опасно, потому что агрессор способен выстрелить со злости».

Страх следует за вами по пятам. Вы останавливаете прохожего, чтобы спросить у него дорогу, и замечаете, что сначала он отшатывается от вас: первое его движение — самооборона. Успокоившись, он становится любезнее: «Вы ищете Хестер-стрит? Пройдете квартал, затем сверните направо — и вы на месте, но лучше сверните за вторым кварталом, первая улица опасна...» Бросим мимолетный взгляд на эту улицу. Действительно, выглядит она зловеще: грязные дома, часть из них заброшена, окна и двери выбиты. На ступеньках — не внушающие доверия личности в лохмотьях выпивают или курят.

На стенах некоторых общественных учреждений, например на почте, стенды с надписью: «Разыскиваются поли-

цией» — как в вестернах. Здесь вывешены десятки фотографий с перечнем примет мужчин и женщин, разыскиваемых за совершенные убийства, разного рода нападения, кражи со взломом и т. д. Отдельные фотографии снабжены особым указанием: «Этот человек опасен». Тому или той, кто поможет арестовать преступника, обещано вознаграждение (текст на английском и испанском). За поимку крупных преступников полиция Нью-Йорка предлагает до 250 000 долларов. «Не бойтесь. Если вы что-нибудь знаете, звоните по телефону 508.00.71. Гарантируется абсолютная тайна».

Насилие — настолько обычное явление, и сама атмосфера города кажется пронизанной им до такой степени, что иные убийцы даже не затрудняют себя поисками «повода» для убийства. Одна нью-йоркская семья, жившая на первом этаже, была расстреляна во время обеда неизвестными автомобилистами, которые на полной скорости пронеслись мимо их освещенного окна. «Им хочется убивать просто так, безо всякого повода,— сказал жилец одного дома с Риверсайд-Драйв; окна своей квартиры он держит всегда закрытыми.— Береженого бог бережет...»

(Окончание следует)

Советская литература за рубежом

ИТАЛИЯ

Повесть ВСЕВОЛОДА ИВАНОВА «Возвращение Будды». Издательство «Риунити».

ПОЛЬША

Рассказ ЮРИЯ КОВАЛЯ «Картофельная собака». Издательство «Наша ксенгарня».
Книга ЮРИЯ ЛОТМАНА «Структура художественного текста». Издательство «ПИВ».
Роман НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО «Как закалялась сталь». Издательство «КиВ».
Роман ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Время и место» Издательство «Чительник»

ФРГ

Сборник рассказов ИСААКА БАБЕЛЯ. Издательство «Европа».
Рассказы АЛЕКСАНДРА ГРИНА. Издательство «Кипенхойер унд Вич».
Повесть ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «Предтеча». Издательство «Нойер Малик».
Книга стихов ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА «Черная земля». Издательство «Зуркамп».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Роман АНАТОЛИЯ АФАНАСЬЕВА «Командировка» Издательство «Словенский списователь».
Повесть КИРА БУЛЫЧЕВА «Девочка с планеты Земля» Издательство «Свобода».
Повести ЭННА ВЕТЕМАА. Издательство «Одеон».
«Книга о поэте. А. Твардовский. Жизнь. Творчество» АЛЕКСЕЯ КОНДРАТОВИЧА. Издательство «Лидове накладателстви»
Повесть СЕРГЕЯ КРУТИЛИНА «Мастерская в глухом переулке». То же издательство.

К нашим иллюстрациям

НЕЗАМУТНЕННЫЙ МИР ДЕТСТВА

На шумной, деловой улице Дели, среди домов, «начиненных» всевозможными конторами и коммерческими учреждениями, расположилась организация, весьма необычная и подающая много надежд. Вернее, получающая их. По почте, в конвертах. Это Детский книжный фонд Индии. А «надежды в конвертах» — это рисунки и рукописи, которые присылают сюда дети поистине из всех уголков Земли. Маленькие художники и писатели более ста двадцати стран уже приняли участие в ежегодном международном конкурсе, который проводят хорошие, добрые люди — сотрудники фонда во главе с директором Ямуной Шанкаром. Их немного, этих искренних энтузиастов детского просвещения и детского творчества, но то, что они делают для ребят, немаловажно.

Прежде всего они выпускают книжки. Красиво оформленные книжки, которые развлекают и учат детей — грамоте и счету, любви к природе и к людям, доброте, терпимости, умению дружить.

Помимо этого здесь организован музей, для детей очень привлекательный. В нем — десятки кукол в национальных костюмах народов Индии и многих других стран, в том числе и нашей. Костюмы не просто удивительно хороши, они этнографически точны до мельчайших деталей, что тоже имеет образовательный смысл. Костюмы и куклы сделаны руками сотрудников книжного фонда.

Ну, и наконец, то, с чего мы начали,— творческие конкурсы для ребят до пятнадцати лет.

Картины на огромных листах и крошечных листочках бумаги, нарисованные красками или карандашами и фломастерами; многостраничные повести и короткие скетчи, стихи, сказки и даже пьесы. Несколько ребячьих работ мы публикуем в этом номере «ИЛ». Разглядывая их, читая, погружаешься в незамутненный мир детства, где нет ни лукавства, ни корысти, но есть доверчивость и естественность мироощущения, есть трогательная любовь к маме, папе, доброй бабушке, родному дому, бережное отношение и привязанность ко всему живому — зверям, птицам, деревьям, цветам. Здесь царят безоговорочная любовь к правде и столь же безоговорочное неприятие какой бы то ни было фальши и несправедливости.

И еще одно радует. Знакомясь с тем, что создают дети, повсюду видишь не только милую непосредственность, но и щедро рассыпанные блестки таланта. Взгляните, как уверенно владеет рисунком бирманская девочка Мэй Зан, каким колористическим даром она наделена. Обратите внимание, как точно «схвачены» разные характеры героев в пьесе Креёши Хабиб, какое не по годам зрелое знакомство с законами новеллистической прозы обнаруживает Тина Люкс...

На последних страницах ежегодного альманаха на английском языке, в котором Детский книжный фонд публикует работы, получившие всевозможные награды, перечисляются имена участников делийского конкурса. И читать эти списки — представьте себе — интересно. Конечно же, далеко не все эти ребята станут профессиональными художниками или писателями, но иные могут и стать. Пожелаем же доброго пути в литературе и живописи тем, кто завтра, быть может, двинет вперед национальное искусство своего народа — ведь порой конкурсанты представляют страны, где оно делает лишь первые шаги.

Впрочем, сотрудники Детского книжного фонда Индии, судя по всему, далеки от тщеславного желания открывать новые звезды. Их благородная задача — помогать детям открывать лучшее в них самих. Вот почему они стремятся к тому, чтобы почтовый адрес:

Children's Book Trust, Nehru House
4 Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi — 110002
INDIA

был известен ребятам повсюду.

И. ДОРОНИНА

Что значит быть лучше всех

ТИНА ЛЮКС, 12 лет, Австрия

Премия

Однажды мне приснилось, что я летаю. Я разбежалась по дорожке в саду, замахала руками, как крыльями, и вдруг почувствовала себя совсем легкой. Медленно поднялась в воздух и, проплывая над верхушками деревьев, заглянула через дымоход, словно через огромный телескоп, в свой собственный дом. Я увидела все, что там происходит, в том числе и себя спящей в кровати. Это было очень удобно: можно было оставаться в постели и одновременно лететь в школу. А на перемене, когда в коридоре толпа, можно было бы просто вылетать во двор через окно. Летать было гораздо легче, чем плавать. И никто не видел меня, потому что я становилась совсем маленькой. Но чувствовала я себя свободной и сильной.

Проснувшись, я не потеряла этого чудесного ощущения и попробовала, не смогу ли и в самом деле взлететь. Ничего не вышло. Только нос разбила.

Тогда в голову мне пришла нехорошая мысль. Я отправилась к своей однокласснице Микаэле, которая была страшной хвастуньей и всегда во всем хотела быть первой, и рассказала ей, что случилось со мной прошлой ночью.

— Я единственный во всем мире человек, который может летать,— гордо сказала я.

— Замолчи, глупая гусыня! — крикнула Микаэла. Она кипела от злости. — Конечно же, и я смогу, только еще лучше! Вот смотри!

Я знала, что на этот-то раз ей не удастся взять надо мною верх, а посему уселась в тени, потягивая холодную кока-колу, и стала злорадно наблюдать. Микаэла из кожи вон лезла, стараясь взлететь. Солнце палило, и пот градом лил у нее со лба. Я хихикала, видя, как она яростно топала ногами и махала руками, будто хотела оторвать их от себя.

— Я знаю, что ты мне наврала,— кричала она. — Но это неважно — я-то действительно своего добьюсь!

— Буду очень за тебя рада,— ответила я и откинулась на спинку скамейки. И вдруг мне показалось, что я опять вижу сон. С каждым новым взмахом рук Микаэла задерживалась в воздухе чуть-чуть дольше. Я была потрясена! Невероятно! Вот она и в самом деле оторвалась от земли, покружилась немного у меня над головой, показала язык и взвилась в небо! Больше я ее никогда не видела.

До сих пор не могу понять, как ей это удалось. Может быть, дело в том, что она была такая самоуверенная и решительная? Так или иначе, но после той истории я уже не слишком уверена, что я лучше всех моих друзей и остальной части человечества. Наверное, именно поэтому я все еще не умею летать.

Исказитель сказок

КРЕЙША ХАБИБ, 12 лет, ОАЭ

Серебряная медаль

В одном небольшом американском городке девочка по имени Маргарет решила однажды рассказать своему приятелю Деннису сказку.

Маргарет. Я только что прочла замечательную историю... о Золушке!

Деннис. О Золушке? Это что-то вроде головешки?

Маргарет. Нет-нет! Золушкой звали девочку. Вот я сейчас расскажу тебе сказку про нее.

Деннис. Но ведь мне еще не пора спать!

Маргарет. Ну послушай же! Эту девочку назвали Золушкой, потому что ей приходилось прочищать очаг от золы и дымоход...

Деннис. Почему же ее тогда не назвали Дымоходушкой?

Маргарет. Ну, не знаю! Слушай! Как-то раз ее уродливые сводные сестры и мачеха отправились на бал, а бедную Золушку оставили дома.

Деннис. Ну и что? Она же могла смотреть телевизор.

Маргарет. О, Деннис, тогда не было телевизоров! Ну так вот, бедная Золушка была очень несчастна. Но вдруг появилась Добрая Фея.

Деннис. А что, у Золушки выпал зуб?

Маргарет. При чем тут зуб?

Деннис. Добрые феи приходят и приносят монетку, когда у тебя выпадает зуб. Это все знают.

Маргарет. Это была другая Добрая Фея. Она превратила Золушкины лохмотья в прекрасный бальный наряд, а старые башмаки — в хрустальные туфельки.

Деннис. Хрустальные?! Не может быть!

Маргарет. И еще она превратила нескольких мышей в лошадей, а тыкву — в замечательную карету.

Деннис. А, в дилижанс! Что же ты сразу не сказала, что это будет ковбойская история?

Маргарет. Ох, Деннис! Не перебивай. Итак, Золушка поехала на бал, и там в нее влюбился красавец принц.

Деннис. Ну да! Ковбои любят только своих лошадей.

Маргарет. Она танцевала с принцем весь вечер, и ей было так хорошо, что она совсем забыла о времени.

Деннис. Что же Добрая Фея не подарила ей часы?

Маргарет. Во дворце были часы, на башне, и Добрая Фея предупредила Золушку, чтобы она вернулась домой не позднее полуночи. Но Золушка обо всем забыла.

Деннис. Может быть, она еще не умела узнавать время по часам?

Маргарет. Да нет, умела. И когда часы начали бить полночь, она вспомнила, о чем говорила ей Фея, и убежала. Но по дороге она потеряла одну маленькую хрустальную туфельку.

Деннис. Я обе скинул бы — было бы легче бежать.

Маргарет. А когда часы пробили двенадцать раз, ее замечательное бальное платье снова превратилось в отрепья, а карета — в тыкву.

Деннис. Ну и что в этой истории особенного?

Маргарет. А это еще не конец. Принц начал повсюду разыскивать Золушку.

Деннис. Почему же он не позвонил ей по телефону?

Маргарет. Тогда еще не было телефонов! Но он знал, что девочка, которой придется впору крошечная хрустальная туфелька, и будет той самой девочкой.

Деннис. Ковбой должен был бы найти ее по следам.

Маргарет. Будешь ты слушать или нет?! В конце концов принц пришел в дом, где жила Золушка, и дал примерить туфельку ее сестрам.

Деннис. А ее он что же, не увидел?

Маргарет. Он не узнал Золушку в лохмотьях. Но когда она надела туфельку и та подошла ей, он понял, что это и есть девочка, которую он искал.

Деннис. А что случилось с другой туфелькой? Она что, разбилась?

Маргарет. Какая разница! Принц и Золушка поженились и всю жизнь были счастливы.

Деннис. Н-да... Вот этого-то я и боялся.

Маргарет. По-моему, это чудесная сказка!

Деннис. Ага! Только из-за того, что они поженились? Лучше бы она взяла этот старый дилижанс и отправилась в Техас!

Маргарет. В Техас?!

Деннис. Ну конечно! Там бы она встретила настоящего ковбоя Боба! Потом на них бы напали разбойники, а ковбой Боб...

Маргарет. Нет, Деннис! Нет! С Золушкой этого не могло случиться!

Деннис. Почему? Очень даже могло!.. Если бы только к ней пришла м о я Добрая Фея!

Перевод И. ДОРОНИНОЙ

Дождик

ХИРАНАКШИ ДЖОШИ, 5 лет, Индия

Премия

Брызнул дождик на мои
орхидеи.
И цветам сразу
стало веселее.
Красные лепестки
на леденцы похожи.
Очень я люблю смотреть,
как танцует дождик!

Мокрая трава

ДЖОЗЕФ ТОРНЛИ, 8 лет, Новая Зеландия

Премия

Весной
Пошел я гулять по мокрой траве.
Было топко,
Было хлюпко,
Холодно и сыро.
Червяки повылезли,
Заерзали в траве.
Им трава понравилась,
Понравилась и мне.

Осень

МИХАЭЛА АВРАМУТ, 12 лет, Румыния

Премия

Кто-то
В древние времена,
А может в средневековье,
Обронил на небе
Золотую монету —
Мы зовем ее «солнце».
На улицах,
В парках
Диковинные доспехи,
Брошенные воинами
(Которые тоже, быть может, растаяли
в потоке времени),
Поскрипывают заржавевшими
суставами —
Мы зовем их «деревья».
Ребенок за партой
Выводит рассеянно цифры
И поет про себя:
«Виноградные листья рыжеют».
Я провожаю глазами
Каждый листок,
Что падает на тротуар,
Но я не могу
Унести с собой все эти листья,
Как не могу
Вернуть их домой, на ветку...

Перевод НОРЫ КИЯМОВОЙ

◆

Антирубрика

Научно-фантастические рассказы

Перевод с испанского и немецкого РОСТИСЛАВА РЫБКИНА

ДАИНА ЧАВИАНО

Искушение

О милосердии молю, господи! Изо всех испытаний, коим ты подвергал мою веру, сие есть, по разумению моему, наитруднейшее. В сомнении пребывает слабый мой дух. По воле твоей стал я ныне счастливейшим и несчастнейшим из смертных. Прости, всевышний, раба твоего, чье сердце переполнено к тебе любовью. Избавь меня от тревог и вызволи, ибо ты это можешь, из происшествия о коем не ведаю, к худу оно или к добру.

Открываю тебе сердце свое, о будущий декан семинарии святого Анаклета. Я, аббат Херонимо, чье имя завершает сии записи, открываю тебе сокрушенный дух свой на заре дня, что, быть может, станет наистрашнейшим или наисчастливейшим из дней моих. И дабы ты безрассудств моих не повторил, надобно знать тебе мою историю или хотя бы начало оной — ибо завершение ее мне неведомо, и неведомо, буду ли я жив, чтобы тебе о ней рассказать. Посему пусть свидетельствует и пребудет доказательством происшедшему мой дневник — то, что я записал в нем с рокового дня, послужившего всему началом.

I

Месяца января десятого дня года тысяча шестьсот шестого.

© Daina Chaviano, 1983

Нечто весьма прискорбное постигло меня сегодня. После утренней службы я поднялся опять в свою келью, и только сел переписывать старинные хартии, как до ушей моих донесся звук тихих шагов. Я обернулся, полагая, что это какой-нибудь из юных послушников, убежавший от своей работы, однако, к величайшему изумлению моему, увидел, что тот, кого счел я послушником, на самом деле прекрасная отроковица.

Сразу подумал я, не убежала ли дева сия, повредившись разумом, из отчего дома, ибо одежда ее едва прикрывала наготу, и держала себя отроковица не стыдливо, а дерзко, как ни единая из отроковиц, коих я видел в своей жизни. И, глядя на нее, глаголал я:

— Юная дева, ты, верно, повредилась рассудком. Не иначе как шла ты в исповедальню и ошиблась дорогой. Лучше вернуться тебе к отцу и матери.

На что ответила отроковица:

— Простите, ошиблась не я, а вы. Это эксперимент. Темпоральные координаты перенесли меня в вашу келью.

(«Темпоральные координаты» я запомнил хорошо, ибо попросил ее диковинные сии слова повторить дважды.)

— Не ведаю, о чем глаголешь,— промолвил я.— Не англичанка ли ты будешь? Или, может, цыганка?

— Я живу в Южной Америке,— произнесла она.

— За океаном, значит?

— Да.

— И как же живется тебе среди дикарей? Не думал я, что и там тоже живут женщины.

ДАИНА ЧАВИАНО — DAINA CHAVIANO (род. в 1957 г.)

Кубинская писательница. Автор двух сборников рассказов: «Миры, которые я люблю» («Los mundos que amo»; литературная премия за лучшую кубинскую научно-фантастическую книгу 1979 года) и «Планета любви» («Amorosa planeta», La Habana, Letras cubanas, 1983), из которого взяты публикуемые рассказы.

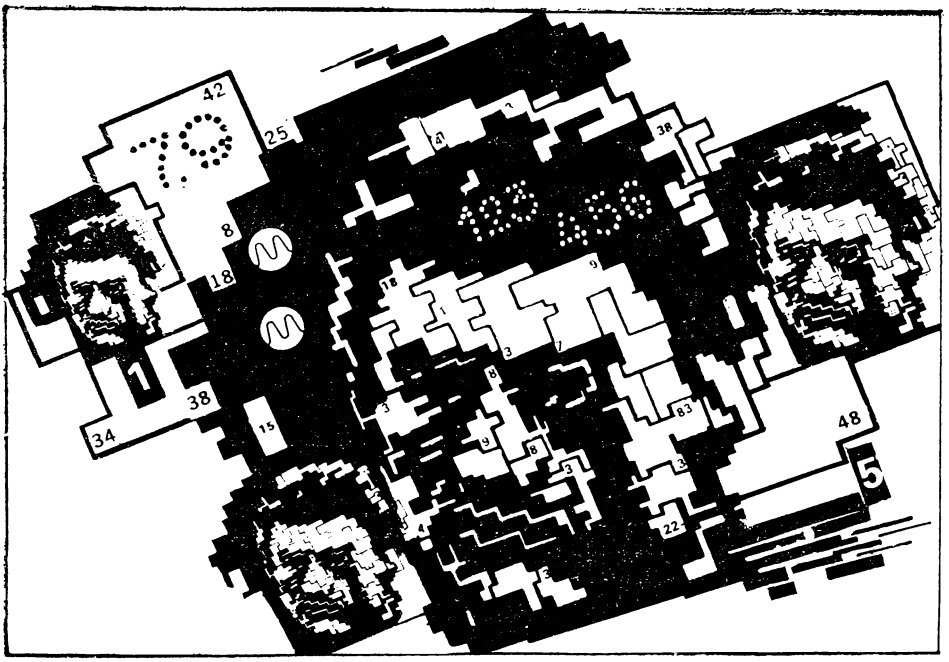


Рисунок В. Баркови

— В моей стране дикарей нет, и женщин в ней живут миллионы.

— Полагаю, уважаемая госпожа, тебя я старше, и едва ли, потешаясь над смиренным аббатом, поможешь ты спасению души своей

— Вы старше меня? Сколько же вам лет?

— Тридцать девять.

— А мне — пятьдесят один.

— Пятьдесят о...дин? Смотри, дитя, я предупредил тебя о том, сколь опасны такие шутки. Уверен, тебе не больше двадцати лет.

— Только так думать вы и можете: ведь знания ваши невелики,— промолвила она, пожав плечами.— Но в моей стране люди живут лет до ста тридцати, так что я еще и половины не...

— Боже милостивый!.. Возвращайся немедля к отцу и матери.

— Вы не поняли, сеньор. Отец и мать мои не здесь.

— Не здесь?! Где же они?

— Они...— и показалось мне, будто в сомнении она, что ответить,— еще не родились.

— Что за вздор ты болтаешь?

— И я тоже не родилась еще,— строптиво рекла она.

— Неужто? А с кем же я разговариваю?

— Со мной.

— Так я и думал! В сей же миг удалишься ты отсель, с родителями или без оных.

— Простите, но я не смогу уйти, пока мои...

И узрел я нечто ужасное, отчего до конца дня утратил дар речи. То, что я, по простоте души своей, принял за смертное создание, начало таять в воздухе! Сквозь тело девы проглянул мой шкаф. Затрепетал я, уразумев, какой великой опасности подвергся: сам сатана явился ко мне во плоти!

И пал я на колени, моля всемогущего о милосердии. Потом спустился поспешно к большому алтарю и там, между двух колонн, провел остаток дня и всю ночь в покаянии. Только услышав птах щебечущих, поднялся я в свою келью и сомкнул вежды.

II

Месяца января одиннадцатого дня года тысяча шестьсот шестого.

Еще светало, когда, проснувшись, ощутил я вдруг дуновение могучего ветра, что сбросил многие бумаги мои на пол и едва не загасил свечу. Собрав бумаги, я вновь узрел, к великому страху своему, то же дьявольское видение.

— Сгинь, сатана! — возопил я, потрясая распятием перед дьяволом.

Сколь тяжкое испытание, боже, послал ты мне! С ужасом взирал я на дьявола, что нежно мне улыбался. Но не пал я духом и замахнулся крестом. Однако дьявол в образе отроковицы увернулся ловко от святого распятия, отошел в темный угол и там уселся

— Не бойся, ничего плохого я тебе не сделаю,— молвил сатана.

Хорошо ведомы мне уловки, к коим прибегает искуситель для погибели нашей.

— Зачем ты здесь? — вопросил я, пытаясь взором своим пронзить сатану.— Не хочу внимать тебе.

— Выслушай меня. То совмещение пространственно-темпоральных сил и координат, благодаря которому я здесь, очень скоро исчезнет. Еще несколько минут — и я вернусь в свою эпоху. Поэтому буду кратка. Поручение мне дано очень простое: взять тебя с собой туда, откуда я прибы-

ла. Там ты...— Тут произнесла она непонятные слова.— В общем, не могу объяснить тебе сейчас, что́ именно ты будешь делать. Когда окажешься там, поймешь. Сперва, конечно, подвергнешься интенсивному лечению, но оно безболезненно и продлится всего несколько часов...

— Замолчи! — возопил я гневно.— Ежели мнишь смутить рассудок мой множеством небылиц, коих сама не разумеешь, то не надейся.

Вставши, пошел сатана ко мне. Видя это, опять поднял я распятие и стал крестить им нечистого.

— Сгинь! — возревел я.— Подойдешь — конец тебе!

Узрев перед лицом своим крест господень, заморгал искуситель и остановился.

— Неужели ты меня ударишь? — спросил с простодушием притворным враг рода человеческого.

О небеса, почто дозволено сатане превращать в свою игрушку самоё Красоту? Диковинная одежда облегала формы столь многообещающие, что..

Тут-то и понял я: дьявол меня соблазняет. Убедившись, что не одолеть меня словесами лживыми, пустил он в ход теперь самое сильное свое оружие: плотское вожделение.

— Я вижу,— произнесла сатанинская отроковица,— сегодня ничего не получится, уж слишком ты разволновался, лучше нам подождать несколько дней. Может, за это время ты разберешься, что к чему; во всяком случае, подумай о том, что́ я тебе сказала. Тебя у нас ждет изобилие. У тебя будет все. И проживешь ты у нас вдвое дольше, чем здесь.

— Ни богатством, ни бессмертием не соблазнишь! Возвращайся в темные владения свои и оставайся там навеки! Во имя господа, повелеваю тебе...

И, как и ожидал я, сатана начал растворяться в воздухе и исчез прежде даже, чем я успел совершить крестное знамение.

За полночь уже, а сон никак не берет. Вожделение мучит меня беспощадно. Как возможно, чтобы порождение ада было так прекрасно? Подобной улыбки я ни у одной смертной не видывал. В твои руки, господи, себя вручаю!

III

Месяца января двадцатого дня года тысяча шестьсот шестого.

Из-за прибытия тому несколько дней назад монсеньора Франсиско поднялся переполох. Потому, наверное, искуситель и не появлялся более.

Когда монсеньор отслужил мессу, попросил я, чтобы он оказал мне милость: исповедал меня в своей келье. Там рассказал я ему, что со мной приключилось. Пособолезновал мне он и дал кропило, освященное самим папой.

— Возьми,— сказал монсеньор,— и когда князь тьмы появится и снова будет тебя искушать, соверши сим кропилом обряд изгнания беса.

Возблагодарил его я и удалился. Полагаю, что он известит обо всем святейший престол. Тому, как я у него исповедовался, уже два дня. А вчера поутру от нас поспешил монсеньор в Вальядолид.

Несмотря на подарок монсеньора, не покидает меня страх. Смущает некая мысль, не оставляет меня ни днем ни ночью. Весьма трудно было мне убедить себя, что столь красивая и на праведницу похожая дева есть всего лишь образ искушающий, дьяволом сотворенный на погибель смертным. И временами охватывает сомнение: а что, если это не дьявол вовсе?.. Но того быть не может. Что это, если не порождение ада?

Подобно стреле отравленной, вонзившейся в сердце, сомнение разъедает мой дух.

Оторвался на миг взять священное писание. Открыл наугад и прочитал:

«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна».

«Еще, отошед в другой раз, молился, говоря: отче мой! если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя».

Теперь снова чувствую я, что не победить меня и наихудшему бесу Вспоминаю, сколько бодрствовал и размышлял спаситель, дабы смог вынести потом предвозвещенные ему муки, и дух мой крепнет. Ведь рядом с его муками мои ничтожны.

Месяца января тридцатого дня года тысяча шестьсот шестого.

Пришел наконец час испытать святой обряд изгнания беса; но, к величайшему смятению моему, произошло все не так, как я надеялся.

Когда, после ужина вскоре, писал я, склонившись над бумагами, пала на меня тень. Заградясь распятием, поспешил я в угол, где поставил загодя сосуд со святой водой и кропилом. Но ни вода, ни кропило не помогли.

Создание (ибо не знаю уже, как видение сие называть) стояло посреди кельи и только моргало, пока кропил я его святой водой и произносил заклятия, и лишь потом, когда обряд совершился, молвило:

— Надеюсь, теперь ты убедился, что я говорила тебе правду. Никакой я не дьявол и не демон. Их в моем мире нет.

Улыбнулось видение сие глаголя, а может, это мне померещилось просто. Затем продолжало:

— Я вижу, окончательно ты еще не решил. Сейчас я опять уйду, но потом вернусь. Мы хотим предоставить тебе максимум возможностей все обдумать и принять решение. Каждый раз, как вводим твои данные в...— опять какое-то слово неведомое,— мы получаем один и тот же ответ: никто лучше тебя, после того как ты адаптируешься, не поможет нам в совершении намеченного. Напоминаю, аббат: ты увидишь места, какие тебе и не снились; места, где люди не знают, что такое война и бедность.

В сих словесах почудилось мне нечто новое.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что люди в тех местах не враждуют? — усомнился я.

— Хочу. Там, где я живу, царит вечный мир.

— А король и повелитель ваш разве вас не наказывает?

— Никаких повелителей у нас нет, человека почитают только за его знания, а

поскольку все нравственны, никому никого наказывать не приходится.

И создание исчезло.

V

Месяца февраля десятого дня года тысяча шестьсот шестого.

Ныне живу я как в преисподней. Бессчетное множество раз открывал я ученые книги и отыскал наконец ответ. С самых первых мгновений подозревал я истину. Сотворить столь великую красоту никакому демону не под силу. И как ни много огня в очах этих, глядящих столь нежно, огонь этот не огонь преисподней. Господи, как же она прекрасна!

Боль непонятная и пронизывающая раздирает мое нутро. Страдаю я, брожу как в тумане, и разум мой более мне не служит.

Понял я все после неудавшейся попытки изгнать беса. Прости глупость раба своего, господи! Не демон, а ангел уговаривал меня, и так терпеливо, принять его царство. А ныне тоскует душа моя оттого, что столь опрометчиво сей дар отринула. Страх, что создание это может не вернуться, терзает меня и не дает мне покоя. Как же не уразумел я? Ведь изобилие, здоровье, долгая жизнь, вечное счастье, мир — это рай! И был он совсем рядом!

Снова открыл наугад священное писание и теперь прочитал:

«Отче! о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! впрочем, не моя воля, но твоя да будет».

И пусть свершится все по слову твоему, боже!

Последнее желание мое — чтобы дневник сей, к коего началу дописал я несколько строк, сохранен был другим в назидание и поучение.

Помоги, господи, чтобы все сбылось! Чую, вернется она скоро, и хоть не ведаю, что меня ожидает, верю, однако, что ничего дурного, ибо там, где живет она, ничего дурного быть не может.

Вот он я, господи, пред тобой, блуждающий по невесть каким дорогам. Огради раба твоего от погибели, и хоть раз, но да будет воля моя, ибо с таким ангелом-хранителем готов я отправиться в рай и в ад.

Опять этот робот!

Гавана, 19 февраля 2157 года

Дорогой Рени!

Лидия летит на Ганимед, и я пользуюсь случаем отправить тебе несколько строк Едва узнав о том, что мы расстались, и о том, как опечалена я твоим отъездом, она сразу предложила захватить для тебя письмо, поэтому оно должно попасть к тебе очень скоро. Лидия сказала мне, что на Деймосе пробудет недолго, но все равно успеет оставить письмо на местной почте

Твою прощальную записку Роби мне передал. Ты представить себе не можешь как я расстроилась! Я столько раз перечитывала ее, что буквально зачитала до дыр

Любимый, неужели ты не понимаешь: нельзя, чтобы из-за ерунды разрушился наш брак! Такое было бы просто глупо. Все произошло из-за Роби, но ведь он, бедняжка, руководствовался самыми лучшими намерениями. Если бы ты его сейчас видел — он такой грустный! Он робот очень впечатлительный и теперь ничего не делает, только лязгает суставами и горюет.

И уж если говорить честно, давай признаем, любимый: ты виноват не меньше, а то и больше, чем он. Если бы не эти противные стеклянные конденсаторы, ничего бы не случилось. Ведь не зря, наверное, пишут на этикетке: «Берегите от роботов». О чем ты думал, когда оставил их на полке в кухне? Наверняка о своих ужасных сатурнианских кругах. Не понимаю, чем эта гадость так тебя приворожила?

Но возвратимся к Роби: если бы ты не оставил стеклянные конденсаторы на виду, Роби не схватил бы их и не поменял бы на свои. А ведь ты знаешь сам, как эти конденсаторы влияют на внутреннее, такое чувствительное, устройство любого робота: Роби впал в эйфорию, и когда ты попросил у него лунное средство для укрепления волос, он, не посмотрев на этикетку на пузырьке, дал тебе пятновыводитель.

Повторяю: опять виноват только ты. Кому бы другому могло прийти в голову поставить пятновыводитель рядом с лунным средством для укрепления волос?

Легко могу представить себе, что ты сейчас думаешь: если бы я внушала Роби, что брать чужое нельзя, он бы не поменял конденсаторы. Ты прав, дорогой, но только наполовину: Роби еще очень мал и слова «нет» не знает. Завод, отправляя роботов на рынок, наклеивает на каждого этикетку с надписью: «Хороший робот, может делать все», и любому ребенку известно, сколько приходится потратить сил, чтобы устранить такое представление о собственных возможностях из маленького металлического мозга.

Лучше будет, если историю с пятновыводителем ты выкинешь из головы. Наберись мужества и признай: виноват был не только он. К тому же лысым ты был немногим более полугода. И как быстро у тебя потом выросли волосы, и какие замечательные!

Да, да, знаю, о чем ты думаешь: о случае в лаборатории. В этой мерзкой лаборатории! Как же я рада если бы ты только знал, что Роби покончил, хоть на какое-то время, с твоими ужасными экспериментами

«Опять этот робот!» — зарычал ты тогда свирепо. Это были первые твои слова на следующее утро после того, что ты называешь «катастрофой», и ты не подумал о том, что бедный Роби стоит около тебя и для его схемы то, что он услышал, может иметь роковые последствия!

Но кому, кроме тебя, любовь моя, придет в голову, что маленький робот в состоянии отличить сатурнианского крука от ящерицы? Хотя тебе очень хотелось спать, ты ни в коем случае не должен был соглашаться на то, чтобы Роби навел в лаборатории чистоту, пусть намерения у него были при этом самые хорошие. И уж подавно не следовало тебе поручать ему выбрасывать мертвых ящериц в мусоропровод.

Что Роби по ошибке выбросил из сосудов не мертвых ящериц, а живых круков, не так уж важно. Но никогда не позволю я тебе взваливать на него свою вину за то, что случилось позже.

Если твоим обожаемым крукам взбрело в голову вылезти из мусоропровода, вернуться в лабораторию, разбить два пузырька несмываемых чернил, съесть подопытных крыс и разбросать по всей комнате твои неудобочитаемые записи, то уж Роби, извини, абсолютно здесь ни при чем. Он только выполнял приказ выбросить мертвых ящериц. И коли на то пошло, раз уж твои мерзкие круки съели крыс, их-то, круков, ты и должен был использовать как подопытных животных, а не вопить истошно в присутствии малыша.

Но понимания и чуткости от тебя ждать не приходится. Все мысли у тебя только о круках, и ты не придумал ничего лучшего, чем подобрать их, заговорить с ними, как с детьми, и бережно и любовно посадить их назад в клетку.

Просто стыд! Что сказали бы знакомые, если бы увидели, как ты стоишь перед клеткой и любуешься этими омерзительными тварями, которые только и знают, что строить рожи и показывать язык.

Нет, просто в голове не укладывается! Убеждена, любовь моя, что тебе следовало бы сходить к психиатру. У меня всегда было ощущение, что работа на Деймосе твою нервную систему вовсе не укрепляет; более того, сейчас у меня ощущение, что она тебе просто вредна.

Но оставим эту неприятную историю и поговорим о нас самих.

Если вернешься на Землю, мы сможем поехать отдохнуть на несколько дней. Уверена, что на Базе возражать не станут.

Я уже думала об отеле «Селена» в Варадеро — идеальное место для нового медового месяца. Говорят, в баре «Космос» чудесно, и к тому же это единственный бар на Кубе, где можно услышать хорошую «космическую» музыку.

Сейчас Роби стоит около меня. Смотрит из-за моего плеча, как я пишу, и когда я уверила его, что ты скоро приедешь, глазенки его заморгали от радости. В том, что ты приедешь, убеждена я не только потому, что ты меня любишь, но и потому, что, *кроме меня никто на Земле не вынесет твоих противных-препротивных круков,* без которых ты жить не можешь.

Жду космограммы, в которой ты сообщишь, что возвращаешься.

С безграничной любовью

Ана

P. S. Роби просит, чтобы ты, если можно, что-нибудь ему привез. По-моему, лучше всего — стеклянные конденсаторы.

ГЕРБЕРТ В. ФРАНКЕ

Управляемые на расстоянии

За пультом сидел преподаватель, человек лет сорока — волосы коротко подстрижены, черты лица правильные, глаза живые. Белый халат на нем был расстегнут, под халатом виднелись голубая рубашка и поношенные джинсы. Одежда отнюдь не форменная, да никакой форменной одежды и не должно было быть: тут царила свобода, ограничения для ученых и преподавателей были самые минимальные.

Преподаватель подождал еще немного, пока не появятся последние опоздавшие. Они все столпились у заборчика, предельно сосредоточенные, жаждущие новых знаний.

— Обратите теперь, пожалуйста, внимание на белую курицу! — сказал преподаватель и нажал на клавишу.

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1981

Сам он на то, что происходило внутри загона, почти не смотрел: гораздо интереснее было наблюдать за студентами. Просто удовольствие преподавать этим молодым людям!

Все взгляды устремились на курицу, которая и не подозревала, что она в центре внимания. Она медленно подошла к кормушке, повертела головой, начала клевать зернышки, выискивая их в песке. Вела себя точно так же, как остальные десять — двенадцать кур, бродившие по песку загона.

— Обычное эксплоративное поведение,— стал объяснять преподаватель,— снова и снова прерываемое приемом пищи. Контроль осуществляется минимальный.— Он подождал несколько секунд: нужно время, чтобы студенты посмотрели на движения птицы под новым. указанным им углом зрения.— А теперь попытка к модуляции: демонстрируется социальная иерархия. Высшее место в популяции, которую мы наблюдаем, занимает серый петух. Однако сейчас положение изменится — смотрите внимательно!

Он снова нажал на клавишу, и наседка распушила перья, подбежала к петуху и приготовилась его клюнуть. Крылья у нее были немного растопырены. Этого оказа-

ГЕРБЕРТ В. ФРАНКЕ — HERBERT W. FRANKE (род. в 1927 г.)

Немецкий писатель-фантаст (ФРГ). Доктор философии, математик, химик, автор работ по теоретической физике и прикладной кибернетике. Автор многих романов, сборников рассказов и радиопьес научно-фантастического жанра.

Публикуемые рассказы взяты из его сборников «Рай в трехтысячном году» («Paradies 3000». Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1981), «Зеленая комета» («Der grüne Komet», München, Wilhelm Goldmann, 1982).

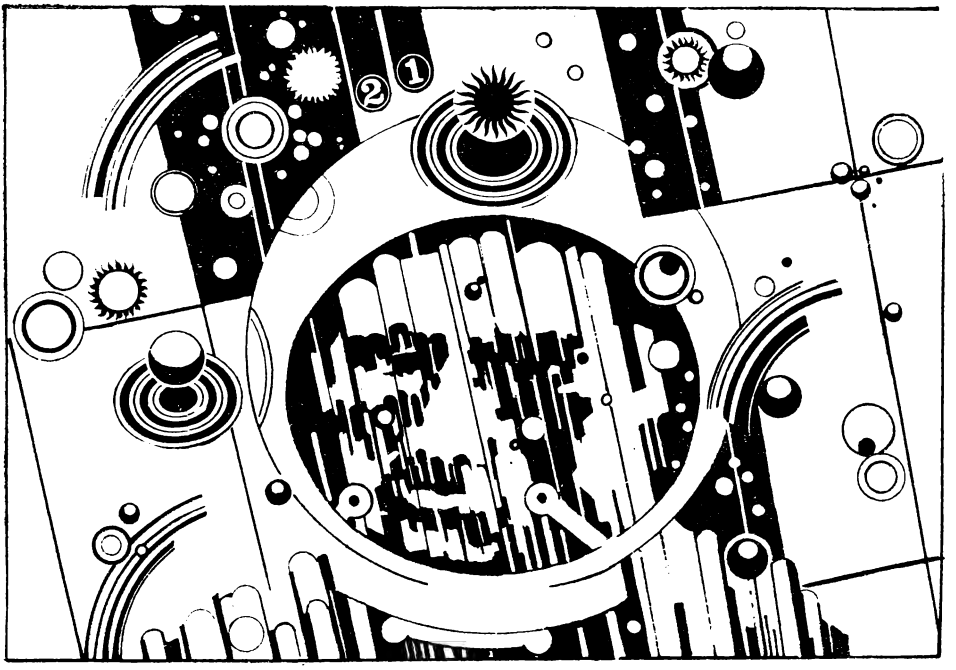


Рисунок В. Баркова

лось достаточно: петух от кормушки отошел.

— А теперь — агрессивность! Именно она определяет, какое место в иерархии займет та или другая особь

Преподаватель снова повернулся к клавиатуре, и пальцы его заиграли на клавишах. Петух повернулся, задрал голову, его перья взъерошились. Две или три секунды двое пернатых стояли друг против друга, переступая с ноги на ногу; несколько быстрых шажков вперед — и полетели перья

— Ну, кто у нас сейчас победит? Петух или курица? — спросил преподаватель.

Он подождал ответа, но все молчали Тогда он сказал:

— Мы пощадим обоих! Один крохотный импульс — и боевой пыл сменится миролюбием. Вы увидите сами, какой прогресс становится возможным благодаря этому техническому достижению

Он нажал на клавишу — и птицы разошлись в разные стороны, начали копаться в песке, чистить перья. Вид у них был немного подавленный

— Вопросы есть?

Преподаватель повернулся во вращающемся кресле, посмотрел на юные лица В них читались сосредоточенное внимание, одобрение, восхищение. Учащиеся всё усвоили, и усвоенное останется с ними навсегда. Они сами станут учеными, преподавателями или биотехниками Путь в будущее им указан.

— Все понятно? Тогда пусть они спят.

Преподаватель нажал указательным пальцем на клавишу сна. Обеих птиц словно придавило чем-то, и они спрятали голову под крыло. С немного рассеянным, как показалось студентам, видом преподаватель посмотрел на часы. Потом встал:

— Завтра в девять пятнадцать, как обычно, встречаемся у клетки с бобрами. До свидания!

Директор повернулся к гостям:

— Вживленные серебряные проволочки, миниатюризованный приемник под кожей — вот и все!

Группа мужчин и женщин, некоторые в экзотической одежде, окружила его и жадно ловила каждое его слово. Он чуть заметно улыбнулся: быть в центре внимания приятно, и не потому, пожалуй, что он кичится своим положением или знаниями, а потому, что труд его приносит людям огромную пользу

Он поднял руку и коснулся пальцем клавиши. Дюжина телевизионных экранов, расположенных в два ряда над пультом, позволяла наблюдать разом все лаборатории. Было видно, как поднимаются со своих мест преподаватели, покидают аудитории студенты Демонстрация закончилась.

До этого гости молчали, теперь, однако, они не скрывали восхищения:

— Потрясающе, прямо глазам своим не веришь! И ведь методы известны давно — просто область применения новая!

— Да,— сказал директор,— работающие рвутся работать, учащиеся — учиться! А сколько мы раньше с ними мучились! — Он подождал; ни возражений ни вопросов не последовало.— Все подробности узнаете на конференции завтра, документация уже подготовлена А теперь я вас провожу к автобусам: они уже ждут.

На экраны смотрел как завороженный какой-то коллега из провинции. Он присоединился к остальным лишь после того,

как директор, подойдя к нему, взял его за локоть.

— А теперь?— спросил гость.— Какие эмоции вы теперь активировали? Или вы перестали контролировать поведение своих подопечных? А не рискованно ли это?

— Нет,— ответил директор — Автоматика сейчас поставлена на «притупленность» и «спокойствие», а не на «повышенную активность». Чуть-чуть усталости, чуть-чуть сонливости. Сейчас они довольны собой. Сознание, что ты принес пользу, радость по поводу достигнутых успехов — вот награда за усердие.

— Превосходно! — воскликнул гость.— Мы тоже введем такую систему, я абсолютно уверен. Я буду за это голосовать — вы меня убедили.

— Ваше решение, безусловно, правильное,— доброжелательно сказал директор и повернулся, отыскивая взглядом шляпу.— А сейчас я устал, очень устал, хотя и удовлетворен. День был удачный!

Он надел шляпу на голову, на свои редкие волосы, на гладкую красноватую лысину, посередине которой, на макушке, была небольшая шишечка. Крохотная антенка внутри нее принимала приятные, успокаивающие импульсы, излучаемые центральным передатчиком: .... усталость... довольство... усталость... довольство...

Второй экземпляр

Увидев перед собой капитана Эшли и его глаза, она поняла, что спасти Боба не удалось. С усилием она приподнялась на больничной койке:

— Он?..

Эшли подавил владевшее им чувство неловкости. Кивнул.

— Только не волнуйтесь.

Он ясно видел, как сейчас бессмысленны его слова, но продолжал говорить:

— И вас-то едва поставили на ноги! Чудо, что вам удалось выкарабкаться. Сперва надо выздороветь совсем...

— А потом что? — всхлипнула она.

Он подождал, пока она успокоится.

— Мы обшарили место взрыва. У нас есть кусочек его кожи.

Слезы перестали течь.

— Вы хотите?..

— Если вы хотите.

Мэри зарыдала снова.

— Обдумайте хорошенько,— посоветовал Эшли и тихо удалился

Через неделю пришел биолог и все с ней обсудил

— Вы знаете, что из набора хромосом человека мы можем вырастить точную его копию. Мы поместили кожу в питательный раствор Она живет. Пока живет кожа человека, жив и человек, которому она принадлежала. В каждой клетке кожи — полный набор его хромосом.

— А это будет... Боб? — спросила, запинаясь, Мэри.

— Будет человек с наследственными данными Боба. Человек, который, если переживет то же, что Боб, станет Бобом. Каждое живое существо — продукт своей наследственности и своего окружения. Он будет вашим мужем, но таким, будто после своего рождения пережил не то, что Боб, а нечто иное. Пережил очень немногое. Вам придется воспитывать его, как воспитывают ребенка. Справитесь вы с этим?

— Надеюсь, что да,— ответила Мэри.

Прошло полгода. И вот его привели к ней. Она уже тысячу раз рисовала у себя в воображении эту сцену, однако сейчас колени у нее дрожали. Пришлось даже прислониться к стене. Перед ней стоял Боб. Только этот Боб выглядел моложе. Морщин, которые оставляют годы, не было. Это был Боб, но словно увиденный ею впервые,— другой человек и одновременно тот же самый. Второй выпуск, горько подумала она.

И тут стоявший перед ней мужчина улыбнулся. Это была та же улыбка, какой всегда встречал ее Боб, и много раз виденным, привычным было движение, которым он, чуть смущенно, откинул со лба прядь волос. Мэри почувствовала, что расположение и приязнь определяются наследственными данными объекта больше, нежели тем, что тот пережил.

— Пошли, Боб,— сказала она, теперь мать и жена одновременно.— Ты снова дома.

Психотерапия

— А теперь ложитесь поудобнее,— сказал врач.— Подушка мягкая?

— Вам столько со мной хлопот,— тихо отозвался больной.

— Что вы! — запротестовал врач.— Мы сделаем все, чтобы вас вылечить!

Уже принятое больным успокаивающее средство явно на него действовало: лицо его смягчилось, веки сомкнулись.

— Расслабьтесь,— сказал врач. Он говорил тихо и монотонно. — Вы засыпаете. В вашем мозгу проплывают все мысли, какие только можно себе представить... но ничего плохого в этом нет... Вам кажется, будто все это происходит с кем-то другим... Однако когда об этом рассказываешь, чувствуешь себя лучше... сразу же становится легче... Так что вас так сильно потрясло? Вы шли с женой, которую до этого очень любили, через цех вашей фабрики. Вертятся колеса, грохочут штампы — вы их слышите? Вы около пресса, жена рядом с вами, и — что дальше?

Врач и его помощник стояли возле кушетки. Они не сводили глаз с лица человека, лежащего перед ними; сейчас лицо это исказила гримаса боли.

Губы больного задвигались:

— Сюзанна... Я взял ее за левую руку — хотел, чтобы она отошла подальше от молотов пресса. Она повернулась, споткнулась, выставила инстинктивно вперед правую руку, ища, на что бы опереться, и предплечье оказалось под пресс-формой..

Врач и помощник переглянулись:

— Но ведь с Сюзанной вроде бы ничего не случилось? Она побежала делать перевязку. Несколько царапин всего-навсего Что же так потрясло вас?

Больной снова тихо забормотал, однако они ясно разбирали каждое его слово:

— В том-то все и дело. Молот ударил ее посередине предплечья, а она даже не заметила! И побежала только, когда заметила мой взгляд. Сюзанна — робот!

— С вашей женой в детстве произошел несчастный случай. На месте предплечья у нее протез. Она не решалась вам об этом сказать. Но ведь вы ей это простите? Или нет?

Голова больного снова утонула в подушке.

— Вам и задолго до этого казалось, будто вас преследуют роботы,— продолжал врач.— Может, у вас связано с роботами какое-нибудь неприятное переживание? Поройтесь в памяти! Подумайте хорошенько! Вам ничего не хочется мне рассказать?

— Я вырос в деревне,— заговорил больной. Глаза его по-прежнему оставались закрытыми.— Зимой мы топили железную печку, в холодные дни так долго, что она раскалялась. В один такой день мать села около нее. К ней спиной. И вдруг, забыв, придвинулась ближе и коснулась раскаленной печки.

— Знаю,— сказал врач.— Вы тогда потеряли мать. Это очень грустно. Но вы были здоровым подростком. С этими переживаниями вы давно уже справились.

— Вы знаете не все,— возразил больной.— Спина сразу загорелась. Как целлулоид. Я попробовал было загасить огонь платком, но когда отнял его на миг, то увидел, что на нем висит, зацепившись, проволочная сетка — вот что оказалось под кожей у моей матери! Она была робот!

— Нет,— сказал врач.— На ней тогда было новое платье из затканной целлюлозой пластмассовой сетки. Целлюлоза сразу вспыхнула, пластмасса же в огне затвердела. Вы это заметили. Но не поняли, что именно произошло. Теперь вам ясно?

— Да, конечно,— шепотом ответил больной.

Врач повернулся к помощнику:

— Пока пусть не встает. Я продолжу.

Он снова обратился к больному, бледное лицо которого смотрело на них с подушки.

— Все это не дает никаких оснований бояться роботов. Ни одному человеку ни один робот еще не сделал ничего плохого. Может быть, вы пережили еще что-нибудь, что вас испугало? Вспомните! Было когда-нибудь такое? Может, еще раньше?

Веки больного беспокойно затрепетали. По его лбу, как волны по воде, пробежали морщины. Он заговорил опять:

— Это случилось незадолго до смерти матери. Я играл с Джорджи, соседским мальчиком. Мы долго бегали, возились, и нам очень захотелось пить. На подоконнике у меня дома стоял стакан с соляной кислотой — я использовал ее в своих химических опытах. Джорджи схватил стакан. «Это пить нельзя!» — закричал я и бросился к нему, но он уже выпил полстакана. Только теперь он понял, что было в стакане. Поднес руку к горлу, потом наклонился, будто его сейчас вырвет. Но вместо этого выплюнул сперва язык, потом несколько зубов, а потом два желтоватых комочка, с них сходила слоями шелуха. Но я успел увидеть винты, на которых держались зубы. Джорджи был робот!

— Да,— признал врач,— Джорджи был робот. Его отправили в центральное управление и там отремонтировали. Так радуйтесь же! Окажись на его месте человек, тот уж едва ли остался бы в живых. Так что все закончилось наилучшим образом. Вы не можете с этим не согласиться!

Больной молча кивнул.

— Ну вот,— сказал врач, и теперь, полный решимости вылечить, он вкладывал в слова всю способность внушать, какой только располагал.— Тогда все в порядке. Больше вас не тяготит ничто. Вы только устали, и вам нужно теперь уснуть. Когда проснетесь, будете уже здоровы! Здоровы!

Произнося последнее слово, он выделил его голосом.

Больной шевельнулся несколько раз, потом дыхание его стало глубоким и ровным: он спал.

Помощник вздохнул.

— Что мы будем делать,— спросил он,— если допустим новый промах?

Со щелчком он поднял закрепленную на шарнирах крышку у себя под волосами: позитронный мозг нуждался в охлаждении.

Врач не ответил. Но на человека, который, расслабившийся и спокойный, лежал перед ним, он смотрел очень озабоченно.

Полет в неизвестность

Из кабины снова послышались глухие звуки; сначала тихие, они становились все громче.

Кай вздохнул. Окинул взглядом оба проекционных экрана. В черноте космоса висели миллионы звезд. Но по-прежнему ни намека на Хайдур и Пар, ни намека на их затерявшееся где-то солнце.

Усталый, он оттолкнулся от своего кресла: нужно взглянуть на Бена. У Бена опять была температура. Он висел наклонно посередине кабины и, пытаясь обрести устойчивое положение, беспомощно двигал руками и ногами. Рядом в воздухе плавало переговорное устойство.

Кай придал кораблю медленное вращательное движение. Постепенно все парившее в воздухе опустилось на стены корабля и к ним прижалось, и ноги Бена тоже уперлись наконец во что-то твердое.

— Ты нашел курс? — спросил он у Кая.

— Ждать осталось недолго,— ответил Кай.— Скоро я его найду, это точно. А ты пока лежи!

Бен наклонился к переговорному устройству:

— Может, попробую еще раз?

— Попробуй,— ответил Кай

Он заставил больного лечь и подал ему ларингофон и наушники. После этого снова вернулся в навигационную рубку.

Радиолокатор не показывал ничего. Даже какой-нибудь кометы не было в этой леденящей душу пустоте.

Кай услышал бормотанье: Бен все еще надеялся установить связь. И Кай знал, на-

сколько это бессмысленно. Бен только потратит зря последние силы.

В конце концов Кай взял собственное переговорное устройство и вышел с ним в складской отсек. Надел наушники, настроился на аварийную волну. И услышал повторяемое снова и снова:

— Хайдур, Пар, вы нас слышите? Слышите? Хайдур, Пар...

Положив на горло носовой платок, Кай надел поверх него ларингофон. Поставив регулятор громкости на минимум звука, сказал:

— Говорит радиостанция Хайдура, кто вызывает?

Произнося это, он, чтобы создать иллюзию помех, царапал ногтями по наружной стороне ларингофона.

— Говорят Бен и Кай, космический корабль «Омега»! Укажите нам курс! — зазвучал у него в ушах голос Бена, искажаемый переговорным устройством, но полный бодрости и надежды.

— Вы идете правильным курсом,— ответил Кай.— Мы уже вас видим!

И стал слушать снова. Но ничего больше слышно не было. Сорвав с себя ларингофон и наушники, он поспешил к Бену. Тот лежал, глубоко дыша, и на лице у него была улыбка.

Кай улыбнулся тоже и вернулся бесшумно на свое место в рубке.

Бегство и убежище

Космический корабль вошел в облако светло-коричневого тумана, и поверхности планеты не стало видно. Только туман плыл, волновался за окном навигационной рубки.

Кай нажал кнопку, и мягко засветились люминесцентные трубки.

— Они еще преследуют нас? — спросил он Бена.

Бен не отрываясь смотрел на экран локатора. Как стрелка часов, экран обегала по кругу узкая полоска света. В одном месте она осветила три яркие точки.

— Вот они,— ответил наконец Бен,— так легко от них не отделаешься.

— Обитатели этой планеты нас защитят?

— Они обещали.

— И сдержат слово? — спросил Кай, однако ответа не последовало.

Еще с четверть часа туман стоял за окном коричневой стеной, потом коричневый цвет уступил место чернильно-черному. Только ниже, у поверхности, было немного светлее. Бен уже давно повернул фотоноскоп в направлении спуска, и они видели, что внизу расстилается необозримая равнина. Разглядеть детали пока еще было невозможно.

— Мы приближаемся к указанному нам месту,— сказал Бен.

Он чуточку скорректировал курс. С помощью радарного глубиномера стал наблюдать за уменьшением высоты. В фотонном конусе все яснее вырисовывались детали поверхности; сначала быстро, потом все медленнее, они разбегались к горизонту.

— Вон там! — воскликнул Бен.

Он показал на темный прямоугольник на поверхности, который быстро увеличивался. Бен предусмотрительно замедлил спуск, и корабль сел мягко, как перышко. Рядом с местом посадки возвышалось нечто напоминающее здание метров в двести высотой. Стена, около которой они опустились, представляла собой переплетение распорок, трубок, проводов разной толщины и веретенообразных стержней, в котором зияли кое-где темные дыры.

Надев скафандры, Кай и Бен вышли из корабля и подошли к этому сооружению вплотную. Нигде вокруг не видно было ничего живого. Через одну из дыр они протиснулись внутрь сооружения. Кай, освещая дорогу фонариком, шел впереди, за ним Бен нес ящичек с рацией и измерительными приборами.

Продвигаться вперед оказалось совсем нелегко. Между стенами, полом и потолком не было никакой разницы, все напоминало строительные леса, густо опутанные трубками, проводами и какими-то непонятными деталями, правда, без привычного металлического блеска.

— Силикаты,— сказал Бен.

С трудом балансируя на каких-то наклонных досках, Кай и Бен протискивались между какими-то натянутыми нитями, перелезали через ряды каких-то цилиндрических предметов.

Они остановились: проход разветвлялся, и ответвления шли не только горизонтально, но и вертикально. Бен посмотрел на стрелки измерительного устройства.

— Минус шестьдесят градусов по Цельсию, разреженная гелиевая атмосфера, радиоактивность равна нулю, зато наблюдаются медленно движущиеся магнитные поля. Странно, что никого не видно: нас должны были встретить!

— А куда мы, вообще говоря, попали?

— Я потерял ориентировку. Глупо. У меня впечатление, будто мы в какой-то огромной машине.

Бен снова взглянул на стрелки измерительного устройства.

— Вон там наш корабль,— он показал назад и чуть вбок,— а вон туда простирается еще на восемьсот шестьдесят метров это здание,— и он показал рукой вперед.

— Но ведь как-то нужно сделать, чтобы нас заметили! — заявил Кай.— Спроси их, как нам их найти!

— Ты знаешь сам, как трудно добиться, чтобы тебя поняли. Если что и получается, то только с цифрами. Еще раз запрошу об их точном местонахождении.

Бен склонился над ящичком и включил рацию. Нажимая кнопку, стал передавать что-то азбукой Морзе, после этого перешел на прием. Ответ был дан сразу. Бен смотрел, не произнося ни слова, на выползающую из рации ленту. Кай следил нетерпеливо из-за его плеча.

— Опять это поверхность всего здания! Неужели не могут указать точнее?

Бен глядел на него, моргая.

— По-моему, нет,— ответил он.

— То есть?

— Мы ошиблись,— ответил Бен.— Мы ожидали встретить здесь органическую жизнь. А ее здесь нет. Мне еще раньше следовало бы догадаться об этом по резуль-

татам анализов. Тут возникла форма разума, на нашу абсолютно не похожая. Можно даже спорить, правильно ли вообще называть ее жизнью. Это система проводников и поддерживающих их опор, управляемая, по-видимому, магнитными полями. А это означает...

— ...что мы сейчас внутри живого существа?

— Да,— подтвердил Бен,— и ты сам навел меня на эту мысль, когда сказал, что мы, по-твоему, внутри машины. И правда, очень похоже.

— И что из этого следует? — спросил Кай.

— А то, что мы в безопасности, если это существо свое обещание сдержит.

Бен взвалил ящичек с измерительными приборами на плечо, они с Каем повернули назад и дошли до дыры, через которую проникли внутрь. Корабль был таким же, каким они его оставили. Не изменилось ничего. Зато сейчас что-то произошло в верхней части здания, их глазам не доступной: от нее оторвался светящийся прозрачный шар и стал подниматься вверх на фоне черного неба, при этом увеличиваясь в размерах. Внезапно в нем оказались все три корабля преследователей. Их прямолинейное движение оборвалось, они повернули круто почти на 180°. Потом изменился их цвет, стал светло-розовым; потом за хвостом у каждого появилась полоса газов. Словно обескровливаясь, они стали съеживаться, и в конце концов от них остался только дугообразный розовый след. Затем шар, внутри которого разыгрались эти события, побледнел и исчез.

Кай и Бен стояли неподвижно, пока призрак этот не растаял совсем.

— Они сдержали слово — сказал Бен.

— Сдержали,— как эхо отозвался Кай.

Однако по телу его пробежали мурашки.

◆

Критика

Предлагаемая статья посвящена актуальной и многогранной теме — живому присутствию Максима Горького на Западе, его восприятию литераторами, критиками. Она посвящена также различного рода интерпретациям (не всегда дружественным) наследия Горького, обусловленным в конечном счете отношением к революционному мировоззрению автора. Статья раскрывает новаторские поиски и достижения Горького, плодотворные для литературы XX века.

Мы приурочиваем эту публикацию к VII съезду Союза советских писателей, у истоков создания которого стоял великий пролетарский художник слова.

М. ЛАНДОР

МАСТЕР ДЛЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Проза Горького на Западе

«Он был одним из действительных творцов всей современной литературы...» Эти слова о Горьком, выношенные и точные, принадлежат Шервуду Андерсону. По-своему их прокомментировал каталог личной библиотеки Андерсона, не так давно опубликованный в США. Мы находим там издания начала века — «Фому Гордеева» и «Супругов Орловых». В них вчитывался молодой американец, еще мучительно искавший путь из мира бизнеса в литературу: Горький формировал у него само понятие о современной прозе. Находим там, вместе с книгой горьковских воспоминаний о Толстом, и первый том «Самгина», в английском переводе названный «Зритель». Творческий контакт американского новеллиста с одним из первых для него современных классиков не прерывался десятилетиями.

В XX веке к Горькому оказалось повернуто немало ярких людей западной культуры. Мы не вполне еще осознали, насколько широк их круг. И до чего сильно тяготение к Горькому не только родственных ему талантов, но и больших писателей совсем иного, чем он, склада. Для них его проза была не экзотикой, не эстетическим парадоксом: они могли обостренно реагировать на то в ней, чего им не хватало в текущей прозе Запада, находить черты насущного и для них художественного идеала.

Вот уже публиковавшиеся у нас, пережитые строки Германа Гессе из статьи «Май среди платанов» (1927): «Я перечитал несколько рассказов Горького в прекрасном собрании его сочинений, выходящем в Берлине (в издательстве «Малик»). Я люблю Горького не за пролетарское происхождение и не за прекрасное и благородное мировоззрение — все это может быть, но при этом может не быть поэта; я люблю его незабываемые образы, картины, увиденные и переданные со жгучей болью, как то бывает лишь у великих».

С этими строками Гессе перекликаются мысли о Горьком Альбера Камю. В эссе «Литература и труд» (1954), заговорив о «рабочей литературе», Камю вспоминает и Толстого и Горького: «...я люблю обоих отчасти по тем же причинам — языком простым и прекрасным они говорят о самом высоком в сердце человеческом — радости или боли». Оба представляют для него литературу, «которую вы при случае можете назвать рабочей, а я назвал бы, если нет менее смешного слова, истинной. В этом искусстве могут соединиться самое простое сердце и самый изысканный вкус»[1].

[1] Albert Camus. Essais. Paris, Gallimard, 1965, p. 1911—1912.

ЛАНДОР МИХАИЛ БЕЛОВИЧ (род. в 1935 г.)

Советский литературовед, критик, автор статей по западноевропейской и американской литературам, а также по международным связям русской литературы, публиковавшихся в журналах, в том числе в «Иностранной литературе».

Здесь Камю полемически утверждает свое художественное кредо. А его перекличка с Гессе тем более любопытна, что это и перекличка двух эпох: 20-х, когда издательство «Малик» выпускало Горького том за томом, и 50-х, когда его очень мало издавали на Западе. Но для прежних читателей, подобных Камю, он тоже был и остался — из великих.

В особенности 30-е, пора мирового кризиса, полны живых и неожиданных откликов западных художников на горьковскую прозу. Тогда и распространилось ощущение, что Горький не только принадлежит мировой прозе, но и необходим ей.

Американского поэта Арчибальда Маклиша, посвятившего его памяти статью в журнале «Нью мэссис» (4. VIII 1936), волновало: что поможет созданию произведений «той же действенности» в другое время в другой стране? Эта личная по тону статья и названа была с оттенком полемики: «Горький-камнерез». Он представлен у Маклиша художником из каменоломен жизни, высекавшим из нерасчленной глыбы повседневности тот материал, без которого ничего не построишь в литературе. У Маклиша это метафора непредвзятого и неустанного наблюдения, честного и прямого свидетельства о реальности.

Еще более неожиданным, чем эта программная статья поэта о Горьком, может показаться лирический пассаж о нем у Жоржа Бернаноса в «Дневнике сельского священника» (1936), вошедшем в русский однотомник писателя. И там эта страница совершенно органична. Отзывчивый герой, бьющийся, как рыба об лед, чтобы изменить унылую жизнь своего бедного прихода, оглядывается на отроческую пору — в дыре, среди отупевших шахтеров, когда отчаяние было рядом. Тогда он и прочел горьковское «Детство»; испытанное впечатление поддерживало его много лет: «...вдруг эта книга, явившаяся издалека, из сказочных краев, дала мне в товарищи целый народ».

Если от 30-х годов перейти к 60-м, когда на Западе интерес к Горькому стал еще шире, бросается в глаза: он входит в это десятилетие знакомым незнакомцем. Повсюду его ревностно переводили с начала века, а энтузиасты рекомендуют его публике, не привыкшей его читать. Конечно, и в годы «холодной войны» появлялись издания Горького и проницательные суждения о нем, но они редко попадали в фокус общественного внимания. А вот в поспешных приговорах всей его прозе, полных замшелого предубеждения, ни тогда, ни после недостатка не было.

У романиста Чарльза Сноу, рекомендовавшего то же «Детство» в 1961 году английским читателям, вырвались такие слова о Горьком-художнике: «...на Западе к нему отнеслись с диким и несправедливым невниманием, подобное отношение встретил и китаец Лу Синь. Оба умерли в 1936-м. Как подумаешь о тех, канувших в безвестность писателях, кому дали Нобелевскую премию при жизни Горького и Лу Синя, вытаращишь глаза»[1]. Но и при жизни Горького, можно тут вспомнить, Томас Манн назвал его в интервью «Фоссише цайтунг» (13. XI 1929) среди тех, кто безусловно достоин Нобелевской премии. А ныне у автобиографической трилогии на Западе широкая популярность: издательство «Пенгвин» включило «Детство» в серию классики, а повесть «В людях» вышла во французском карманном издании «Ливр де пош».

И тем не менее. Откликом на одну из американских книг о Горьком была заметка слависта Роналда Хинли, биографа и переводчика Чехова, в лондонском «Спектейторе» (5. V 1967). Название ей дано совсем не парламентское — «Antiwriter» («Неписатель»); можно перевести и так: «Гений плохого письма». Уже по заголовку-ярлыку видно, что Хинли не жалует Горького как писателя-революционера XX века, а мишенью выбирает его стиль. И мы узнаем, что в его прозе вечный скрежет, что языком «неписатель» пользовался «как дубинкой» и литературные советы Чехова оставил втуне. К отношениям двух классиков Хинли обращается лишь затем, чтобы представить их полными антиподами в искусстве. Подобный подход совершенно некорректен.

Это «не общепринятый взгляд», оговаривается Хинли. Еще бы! Но давно привычный на Западе. Вот и другой арбитр изящного, славистка Людмила Кёлер из Питсбурга, столь же непарламентски высказалась о Горьком, когда его повесть «Жизнь ненужного человека» вызвала в США отклики повсюду — и в «Ньюсуик» и в «Нейшн». Оценивая ее в ученом журнале[1], Кёлер без всякого там академизма написала, как отрезала: «...удивляешься, почему довольно слабая вещь такого второсортного писателя, как Горький, должна быть «продана» читателям англоязычных стран...» Вот уж докатились: какой товар навязывают публике западные издатели!

Долго они этого не делали, и журнал англо-советской дружбы, приветствуя в 1972 году *возрождение интереса* к Горькому, напоминал, что «часто на Западе проявлялось пренебрежение к его прозе». Тем более радовался журнал успеху двух его вещей в английском переводе: названной выше повести и сборника портретов и миниатюр «Заметки из дневника».

В том возрождении интереса к Горькому, о котором говорили на Западе в 70-е, было и нечто беспрецедентное. Почти все его старые драмы вошли в мировой репертуар, вызывая живую реакцию зала, привыкшего к театру абсурда. Над этой ситуацией размышляли и режиссеры и рецензенты. Мир пьес Беккета избрал контрастным фоном для своей интерпретации «На дне», по-прежнему первой из горьковских драм, итальянский режиссер Джорджо Стрелер; «На дне», по его убеждению, «шире и человечнее» многих современных драм, ставящих проблему человеческого существования. А рецензент американской постановки «Врагов», осуществленной Эллисом Раббом, писал, что идеал пьесы — общество, свободное от гнета и бремени денег, копейки,— остается идеалом человечества, оно «глубоко тоскует по нему и волей-неволей должно добиваться его осуществления. Вот

[1] Maxim Gorky. Childhood. The World's Classics, London, 1961, p. IX.

[1] "Canadian-American Slavic Studies", v. 7, N. 3, Fall 1973.

почему и ныне пьеса имеет отношение к нам» («Нейшн», 27. XI 1972).

Контакт Горького с сегодняшним миром всего заметнее сказывается в постановках его пьес — по обе стороны океана. Парижский еженедельник «Экспресс» (№ 1649) отметил уже в 1983-м: «На дне», «Дачники» или «Мать» в инсценировке Брехта чаще появляются на театральных афишах, чем «Клим Самгин» или «Фома Гордеев» в витринах книжных лавок». Но и проза Горького, настаивал журнал, касается нынешних читателей: он остро реагировал на «Городок Окуров», переизданный во Франции после большого перерыва. Повесть была принята здесь как живая классика, достаточно близкая Достоевскому по картинам глуши — взбудораженной, входящей в 1905 год.

Сегодняшними глазами прочесть и оценить всю горьковскую прозу попыталось несколько западных исследователей, обозревавших творчество писателя по жанрам — от рассказов к автобиографиям и романам. В США это Элен Мучник, с ее большим эссе 1961 года, в Англии — Ф. М. Боррас, выпустивший книгу о Горьком в 1967 году, и Джорджетта Дончин, с ее сжатым очерком 1976 года. Для каждого из них Горький «Детства» и воспоминаний о Толстом — подлинно мировой писатель. Но и воспринят он у каждого вызывающе неполно: его циклы рассказов и почти все романы, особенно «Самгин», оцениваются обычно невысоко, если не сурово.

Точку зрения, характерную для этих исследователей, раскрывает замечание английского новеллиста и критика В. С. Притчетта: «Долговечная проза Горького — в трех томах его автобиографии, которую он писал с 1913 по 1924-й, и в знаменитых портретах Толстого и Андреева»[1]. Так, с какими-то вариациями и определяют ныне на Западе горьковский «канон». Но тут и спросишь: почему из круга «долговечного» вынесено столько живых вещей? В другой раз Притчетт мог назвать чудесными ранние рассказы Горького о бродячей жизни, но целые десятилетия его жизни в рассказе в канон не допущены. Как и романы: о них (без исключений) Притчетт отзывается полемически.

Мы еще коснемся критериев, принятых этой критикой со столь избирательным вкусом. Насколько они распространены, видно и по книге о Горьком Ирвина Уайла: и этот исследователь проходит мимо циклов рассказов и в лапидарной форме отвергает «Самгина». А ведь книга Уайла, вышедшая в 1966 году, остается в западной науке по-своему уникальной. Не только по независимости трактовок, но и по самому замыслу: осветить Горького как современную фигуру, проследив его традицию в советской прозе с 20-х годов и вплоть до 60-х.

Не забудем, что на Западе XX века современный вкус мог быть и более широк и гибок: немецкая критика 20-х и английская 30-х оказалась куда восприимчивее к большой прозе Горького. И в наши дни новые издания его книг не раз колебали устойчивость оценок, пусть и повторенных не в одной работе. Не забудем и того, что художники XX века, с их острыми мыслями о Горьком, тоже и представляют и формируют современный вкус.

И наше внимание к ним тем больше, что эти мысли, давние и недавние, входят *в сегодняшний день литературы.*

Открытые жестокой жизни, рассказы молодого Горького словно приблизились к западным читателям в пору мирового кризиса тридцатых годов. Когда его ранние опыты из «Самарской газеты» появились в английском переводе, известный в США составитель ежегодных антологий новеллы Э. О' Брайен внес их в свой «Почетный реестр» как малую прозу высшего ранга. Эти найденные в самой жизни острые новеллы вполне того заслужили. И необычная встреча-разговор после холерного года, «Дележ»: там горбатый мальчик, сирота, делится собранной милостыней со спившимся лакеем; искусная сцена, вся на диалоге, не устарела и в эпоху Хемингуэя. И очерк «На соли», где адов труд на солнцепеке, за полтину в день, расчеловечивает работяг, и артель встречает чужака в очках, взявшегося за их каторжную тачку, злой забавой. Не в одной западной книге, уже в 60-е, разбирался этот очерк — вместе с давно известными и сохранившими свежесть рассказами о босяках, озорниках, изгоях. Заново стал обсуждаться в эту пору и вопрос о малой форме у Горького и его традициях в русской прозе.

«Очерк-рассказ» — так определил эту форму сам писатель, живо ощущая традицию «Записок охотника». И на Западе могли приковать внимание те его вещи, что дальше всего отстояли от классической новеллы. Так, в его сборник рассказов, изданный в США в 1959-м, вошел очерк об Арзамасе из цикла «По Руси» — «Как сложили песню». А из ранних его вещей давно выделены «Бывшие люди» — новелла, вырастающая из большого очерка. Неканоничность ее формы (отсутствие интриги, описание ночлежников по «разрядам») вызывала и недоумение, но как трагическая проза о человеке она получила признание на родине Шекспира.

В новейших работах освещаются творческие контакты Горького с Лесковым, мастером сказа, и с Достоевским, чьи «Записки из подполья», порой вызывая на полемику, всегда волновали его своим искусством. А особенно с Чеховым, которому Горький написал в 1898 году: «В русской литературе еще не было новеллиста, подобного вам...»

С чеховской меркой и подходят обычно к рассказам Горького. И это естественно, лишь бы широкий подход к ним самого Чехова не сужался до невозможности. Э. Мучник сочувственно разбирает «На плотах» и «В степи», вызвавшие теплый отклик старшего мастера. Но того развития Горького-рассказчика, на которое Чехов и рассчитывал, делая свои замечания, она не признает. Эти замечания возводятся в абсолют, как критика, верная для всей прозы Горького. И мастерских вещей нечеховского образца она у него тоже не видит.

[1] V. S. Pritchett. The Living Novel and Later Appreciations. New York, Random House, 1966, p. 426.

А что же «Двадцать шесть и одна» — поэма, созданная на нелитературном до того материале? Э. Мучник ее ценит, но совершенно лишает качества «поэмы». Хотя неожиданная чеховская похвала — «сильно чувствуется место, пахнет бубликами» — имеет его в виду. Ведь непосредственно она относится к поэтически сгущенному началу о буднях отчужденного труда, где возвышенное, «риторическое» слово насквозь проникнуто реальностью. Есть тут и скрытый чеховский совет: и другие места, вошедшие в жизнь и рассказы писателя, должны быть не менее ощутимы.

Чехов восхищался у Горького и таким рассказом, где босяк деромантизирован, как «Мой спутник»: за неисчерпаемым Шакро ощущается «масса», из которой он вышел, «и воздух, и дальний план...». И тут за похвалою скрыт совет: Чехов привлекал внимание к человеческому разнообразию рассказа, ощущению жизни, до мелочей определяющей характер героя. Этими советами великолепно воспользовался автор циклов, складывавшихся в 10-е («По Руси») и 20-е («Заметки из дневника. Воспоминания»).

Объективность и сжатость письма: этим чеховским заповедям он следует и сурово пересматривая свои ранние тексты, и публикуя новые. Ю. Тынянов нашел, что его «микроскопические отрывки» (вошедшие потом во второй цикл) впервые после Чехова дают литературное ощущение малого жанра. Вот кто продолжил линию чеховского лаконизма! Но если в упомянутых работах не освещаются горьковские миниатюры, то отклики на новое издание «Заметок из дневника» словно спешат исправить эту аберрацию.

Рой Джонсон отметил в лондонском журнале «Коммент» (1972, т. 10, № 18), что книга создает «богатую по ткани картину жизни простых людей» в предреволюционные годы и революционные дни: каждая мелочь, до описания чьей-то одежды или выдержки из письма, исподволь готовит ее «накапливающийся эффект». Особенно значительны для него «моментальные снимки» в конце: поразительные фигуры на улице, монологи и споры в 1917-м, голоса массы. Эти «снимки», или кадры, счел весьма долговечными и Альва Бесси в США; его статья в «Нью уорлд ревью» названа «Горький: современный гений». Во всей этой книге необычного строя Бесси поражает качество писательского наблюдения и воображения (в пример берется эссе о людях «наедине с собой», разговор женщины с шоколадками — кто еще мог услышать его и ввести в прозу?). А Чарльз Бейзермен улавливает новеллистическую остроту очерков о странных героях книги, таких как «Законник». «У Горького был дар выделять моменты, когда сами открываются навязчивые мысли и страсти» («Нейшн», 27. XI 1972). Наряду с мелочами, в целое входит развернутый очерк о миллионщике Бугрове, которого тянуло к автору «Фомы Гордеева»,— это одна из опорных глав цикла. И критик чуток к ней: по его словам, герой и открылся так неожиданно благодаря дружескому контакту с человеком «другой стороны». Заметим, что тут углубляется и горьковский портрет купца, ибо автор находит черты личности и тревожную мысль за типовым обликом и стертым, «безглазым» лицом героя.

Обе полярные разновидности горьковской малой формы развивались и в цикле «По Руси». Развернутым проблемным очерком или рассказом-эмблемой были там «Страсти-мордасти». А среди миниатюр был очерк песенного строя, восхищавший Бабеля своим ритмом: «Едут...» Обе эти вещи включили в представительный том рассказов Горького, вышедший в 1939 году в Нью-Йорке с предисловием Олдоса Хаксли. Преобладали там рассказы, созданные до 1905 года, но впервые ранний Горький являлся перед американцами в редакции позднего. Тем более уместно было в предисловии поговорить о его мастерстве.

Хаксли сравнивал его с живописцами, которым выразительная поверхность картины не менее важна для создания впечатления, чем ее композиция. Выделив таким образом словесную ткань рассказов Горького о «бывших людях», Хаксли говорил затем об их музыкальном строе: свои основные идеи автор порою выражал «почти исключительно посредством вариаций в словесной ткани текста». В пример приводилась его мысль о таящихся в низах красоте и добре, о той привычно не замечаемой реальности, что существует «под всей грязью, нищетой и жестокостью жизни человеческой — и несмотря на них». Проводя эту мысль, Горький, по слову Хаксли, пользуется обычно «модуляцией» — крутым, без подготовки, переключением «с грубейшего просторечия на язык лирически напряженный и возвышенный». Подобные модуляции, сказано далее, невероятно трудны для перевода, и вся проза Горького поддается ему туго. Но чего добивается художник, можно заметить и по самым буквалистским версиям, и по ним можно заключить о «выразительной тонкости оригинала»[1].

Так увлечен писатель-интеллектуал вызывающе демократическими рассказами современника. Для обсуждения им выбран «Отшельник», где «тонко выполнен портрет доброго человека». Этот герой, бывший детски наивным во всем и в грехе, видится Хаксли в одной галерее с привлекательными диккенсовскими чудаками, братьями Чирибл. Но все же он — современный герой, и больше общего у него с «гротесками» Андерсона. Та же красота за видимым уродством (в рассказе это красота «пестро и хитро спутанной жизни»), тот же дар доброго контакта.

Желая показать развитие горьковской новеллистики, Боррас выбирает две другие вещи из книги рассказов 1922 — 1924 годов. В «Караморе», получившей творческий импульс от «Записок из подполья», он видит убедительную полемику с их автором на языке искусства. Совмещение боевика и провокатора в одном лице объясняется для Горького не изначальной предрасположенностью героя ко злу, а «моральной пустотой его натуры», без глубоко проникших убеждений, почему и тихо, без возмущения, проходит отступление от них. Эта критическая кульминация «Караморы» уловлена точно. Но для писателя-революционера, стоит добавить, очень важен здесь

[1] Цит. по: Maxim Gorki. Best short stories. New York, Grayson, 1947, p. VIII.

контекст крепостнической истории, ее вековой осадок в душáх, легкость, с какой открываются после нее шлюзы безотчетной подлости: об этом напоминает уже серия эпиграфов, раздвигая рамки исповедального рассказа, близкого потоку сознания.

Обращаясь к «Рассказу о безответной любви», той, что связывает жизни заурядного героя и актрисы, Боррас проводит известный тезис, что мыловар, всем ради нее пожертвовавший, в итоге необыкновеннее, чем она. Но и он — из той публики, что не пробита ее искусством, и дан далеко не умильно. Психологический анализ здесь замечательный — Боррас прав,— но соответственно и рассказ многозначный, не однолинейный.

А чаще всего из этой горьковской книги выделяют и комментируют «Голубую жизнь». Рассказ о юном воображении, далеко отлетевшем от реальности, чтобы вернуться потом на прозаические и торгашеские круги своя, давно известен на Западе. Еще в 20-е, после встреч с Горьким в Германии, американский критик Баррет Кларк включил эту вещь наряду со «Степным королем Лиром» в свою популярную антологию «Великие повести мира».

«Детство» остается на Западе самым бесспорным у Горького. Но это для исследователя, не для всей публики; Притчетт заметил: «Большинство иностранных читателей было в ужасе от сцен мрака и нищеты, которые Горький описал из своей жизни». Это надо помнить, читая энтузиастов, с подлинным увлечением набрасывающих характеристики бабушки Акулины и деда Каширина.

Но у тех же энтузиастов и на тех же страницах, порою тонких и чутких, может проявиться их чрезвычайно избирательный вкус. Вот Притчетт отмечает смелость и жизненную полноту этой прозы, не процеженной и не урезанной благодаря «исключительному глазу», слуху и памяти автора. И тут же довольно жестко определяет значение Горького как автобиографического писателя: оно — в том, что он пережил и увидел, не в том, что он сочинил, создал. И сразу повести и романы писателя вынесены за скобки.

А знакомые нам исследовательницы, воспринимающие образ бабушки в «Детстве» как мировое достижение, готовы сильно ограничить значение двух других частей трилогии. По сравнению с первой эти части, считает Э. Мучник, «многословны и монотонны», это «портретная галерея, беспорядочно подобранная и расположенная по хронологии».

Нет, конечно, у каждой части тут свои задачи и свое построение. И во второй и в третьей есть новизна: перед нами Россия, как она открывается герою из каширинского дома в его отрочестве и юности. И повесть «В людях», для которой взята пора с постоянными сменами места и среды, вовсе не хаотична композиционно.

Бабушка Акулина уже не в центре, но постоянны здесь возвращения Алеши к ней и деду — оба переходят во вторую часть со своей мудростью и словом. С ними почти всегда соотносятся и те лица, что более всего затронули героя. С дедом — вереница загадочных мужиков и крепких стариков, с пестрым опытом и складной речью, до кочегара Якова, до плотника Осипа. А с бабушкой — далекие от нее и друг от друга «Королева Марго», амазонка на диком дворе, и прачка Наталья Козловская, поражающая душевным светом среди этой дикости. Все они заставляют думать о предназначении женщины — и ее судьбе.

Книга об отрочестве была и книгой о народе, писавшейся в мировую войну. В повести возникал совершенно новый и до беспощадности правдивый собирательный образ массы — на пароходе и на дворе, в казарме, иконописной мастерской и плотничьей артели. Это делало ее книгой своего времени. Но еще более нов и ко времени был характер героя, создававшего себя как личность, не отворачиваясь от ранящих впечатлений.

Об этом можно судить по творческому отклику, вызванному повестью у искавшего себя Роберта Музиля; в его дневнике появились строки: «Мне уже случалось приниматься за описание моей жизни; я начал ее описывать сегодня, дочитав второй том автобиографии Горького. Собственно, как раз теперь мне следовало оставить эти попытки, ведь моя жизнь по сравнению с этой удивительной жизнью не содержит почти ничего примечательного. На самом деле, мною движет импульс — оправдаться и объяснить себя себе самому; как это связано с Горьким, я могу и не дознаваться»[1].

Тут видно, как непосредственно была воспринята повесть «В людях». Это чтение Горького было у истоков работы Музиля над романом-гигантом «Человек без свойств». Не только вошедшая в повесть жизнь могла творчески стимулировать писателя совсем иной жизни, но и горьковская концепция характера с его возможностями, никак не равного положению, которое отводит ему застойная и пережившая себя социальная система.

Столь же непосредственно восприняли западные писатели и «Мои университеты»: сошлемся на Франца Элленса, который впервые увидел Горького у костра и вспомнил сцену пожара в Красновидове. И в третьей части было два времени: то, давнее, босяков и народников, Казани и села,— и нынешнее, 20-х, после мировой войны и потрясшей мир революции. И для этого периода жизни Горький искал — и не сразу нашел — удовлетворившую его форму: прежде третья часть захватывала и времена «Сторожа». В окончательном же тексте рамка уже, и книга выиграла в цельности. Пожар сельской лавочки оказывается ее подлинной кульминацией, а отъезд на Каспий — эпилогом.

Литературные портреты Горького с момента появления и доныне славятся на Западе. Еще в 1920-м Вирджиния Вулф поражалась, как открывается наблюдению в его книге фрагментов внутренняя жизнь

[1] Robert Musil. Tagebücher, Aphorismen, Essays and Reden. Hamburg, Rowohlt, 1955, S. 176.

гения; для нее тут было торжество современной формы: «Жизнь Толстого нельзя «докончить». Но картина Горького ближе других к полноте, ибо он не пытается включить все, дать всему объяснение или свести все в одно завершенное полотно». В горьковских портретах и Толстого и Андреева поражала активность ясновидящей «модели», словно читающей, как открытую книгу, самого «портретиста»: в результате проза оказывалась на редкость объемной и стереофоничной. Вечная смена перспективы в воспоминаниях об Андрееве сочеталась с вечными «переброскими» действия: после туманного Питера — дождливый Арзамас, а там Капри красочной старины. Сами воспоминания были в необычном роде — летопись близкой и всегда готовой взорваться дружбы писателей-антиподов. Роллан отнес ее к «лучшим страницам» Горького. Немало энтузиастов на Западе и у его воспоминаний о Чехове: ирландские новеллисты, Фрэнк О'Коннор и Шон О'Фаолейн, обращались к этому «прекрасному очерку» в своих книгах о новелле.

Но как названные выше исследователи вводят в горьковский «канон» эти портреты, начиная с воспоминаний о Толстом? Акцент падает порой на проницательность самих отрывочных записей, делавшихся Горьким в начале века, там же, на месте, в Крыму. Не учитывается, что они стали выношенной книгой лишь в 1919-м — и после нелегкого монтажа и отбора. Но острые заметки и глубокие отрывки скорее можно противопоставить «неуклюжим романам» Горького, что и делается. Словно такая книга новаторского строя, как «Лев Толстой», не отозвалась на всем, что он писал после нее, включая и романы. Да и портретов Горького называется обычно два-три: и тут «канон» предельно сужен. Хотя еще в 1920-м Франц Кафка, пораженный свежим, непредвзятым подходом автора к Толстому, предсказал рождение еще одной книги Горького: «Я хотел бы прочитать его заметки о Ленине»[1]. Кафка был уверен, что у Горького, который «видит и все ощущает пером», накопились и ждут публикации не менее интересные заметки о его друге. Когда эти воспоминания появились, они нашли большой отклик у западной интеллигенции.

В нынешних обзорах о них упоминают невнятно, а чаще умалчивают. На этом фоне выделяются прямые и продуманные суждения Ирвина Уайла. Для него это работа мастера: «...очевидно, что Горький написал очерк, когда был на вершине творческих сил». Следуя тексту воспоминаний, Уайл стремится раскрыть, что представлял для Горького «Ленин в действии», чем было духовное общение с ним для автора, откликнувшегося на его смерть в выражениях «беспримесной нежности». В книге Уайла это — одна из центральных вещей Горького в прозе.

Уже в 1976-м Джорджетта Дончин нашла, что писатель дал больше драме, чем роману: она высоко ценит «На дне» и «Булычова», не сходящих с мировой театральной афиши, а к романам Горького не смягчается. Впрочем, по крайней мере один из них выделен у всех западных исследователей, и у нее тоже — «Фома Гордеев».

Нечто и ныне свежее ощущается в романе, впервые показавшем миру горьковских волгарей-купцов, до контраста несхожие, выхваченные из жизни характеры: Игната Гордеева, с его дикой силой и широтой, жадностью к жизни и к делу, и Якова Маякина, с его нажитой мудростью, цепкой витальностью, сочным словом. Поныне задевает и сам Фома, какие бы ни высказывались эстетические претензии к его образу.

Горький испытал с ним особые трудности: он взялся показать человека, не крепко сидящего в жизни, как Маякин, а бунтующего в полную силу — и обреченного. Автор мог судить себя строже всех («Фома — тускл»,— написал он Чехову); книгу он продолжал пересматривать до 20-х годов. Но вложил он в своего Фому так много, что образ этот волнует на Западе уже какое поколение.

В 1901 году Джек Лондон, увлеченный романом, заметил: «Можно усомниться, что средний буржуа — сытый, самодовольный, процветающий — в состоянии понять этого человека, Фому Гордеева». А в 60-е годы, когда в США появилось новое издание книги, этот герой показался очень знакомым послевоенной американской прозе: ведь он становится чужим и ищет себя в «угнетающем обществе», где делают большие деньги. В связи с этим романом Горького, на удивление долговечным, был тогда поставлен вопрос о переоценке и других его вещей в этом жанре.

Э. Мучник уверена, что и лучшие романы Горького, от «Фомы» до «Жизни Матвея Кожемякина»,— романы одного героя, ищущего, тоскующего, которому под конец брезжит свет: во всех «по существу тот же сюжет и та же мысль». Но почему? В каждом романе поток жизни, нередко впервые вводимой в литературу, и с этим потоком по-разному соотносится жизнь героя или антигероя — от Фомы до Самгина. И там, где есть некое сходство в изображаемой среде и героях — например, в «Гордееве» и «Кожемякине», где, впрочем, сходны отцы, не сыновья,— берется национальная жизнь в разных ракурсах: строй книги и качество романа здесь иные.

Роман XX века переживает процесс перестройки: Горький участвовал в ней активно, как немногие. Он настойчиво искал форму для своих смело введенных — и еще смелее сопоставленных — картин и характеров. Поиски большой формы шли и в его автобиографиях, и в циклах рассказов: в 20-е это чутко улавливалось. Базельская газета, отзыв который привлек у нас внимание, писала в 1927-м, что «Заметки из дневника» стоят романа: «Эта книга отдельных прозаических отрывков дает более наглядную картину подлинно человеческого в своих крайностях, чем иные аккуратно построенные, современные западноевропейские романы». Не были аккуратно построены и горьковские романы: поток жизни не укладывался в привычные формы. И поиски в них были общезначимы.

«Жизнь ненужного человека» вызвала резонанс в разных странах Запада. Русская

[1] «ИЛ», 1983, № 5, с. 179.

критика противопоставляла некогда эту книгу о крестьянине-сироте, ставшем политическим сыщиком в царской охранке, западным приключенческим книгам о сыщиках — «натпинкертоновщине». Выражалось сомнение — будет ли Запад восприимчив к психологической правде книги. И ныне во французской критике эту вещь противопоставляют романам «черной серии». Жан Бомье в «Эроп» (январь 1962) нашел, что Горький тут, повествуя об одной испуганной душе, проникает в глубину массового сознания и психики царского времени. И в США знаток наших классиков Эдуард Васиолек, чей отклик помещен в «Сатердей ревью» (16.X 1971), увидел в этой книге, обвиняющей царский режим, «летопись растраты» человеческой силы. У Ирвина Уайла внимание привлечено к эпизоду, когда появляется писатель и выслушивает от самого героя его историю. Так, словно удостоверена ее «правда»,— и автор здесь, по Уайлу, кажется, «экспериментировал с открытым изображением собственного присутствия в своей прозе».

Да, это важный эпизод, но для нас в ином смысле. Писатель входит в прозу, чтобы лично удивиться: Евсей, рассказав ему свою жуткую жизнь, ни о чем не задумался, ни в чем не усомнился, да и рассказал о себе, чтобы не отстать от сыщика из дворян (тот исповедался на бумаге). И читатель лично вовлечен тут в сценукульминацию, освещающую темную, запутанную душу. Но в этой сцене сведены и «ненужная» жизнь героя с жизнью-историей, из которой приходит писатель. Выслеживающий и предающий, как положено в охранке, герой приносит из деревни смутные мечты о другой жизни и видит воплощение ее в смелых речах революционеров; и если пути к жизни-истории ему нет, то расправиться со своей, ставшей невыносимой в 1905-м, он может. Так, сильно прозвучавшая на Западе «Жизнь ненужного человека» возвращает ощущение художественной прочности, неэфемерности большой прозы Горького.

А вышедший в 1983-м том интервью Томаса Манна напоминает, как полно воспринимал эту прозу автор «Будденброков». В беседе, опубликованной в газете «Бруклин дейли игл» (13. IX 1925), заостренно выражена мысль, что характерные черты и особенности французской прозы — аналитической, остроумной, раскрепощенной и социальной — можно скорее найти в новейшее время в прозе Англии и России. «Джозеф Конрад и Оскар Уайльд перенесли одну половину французской литературы в английскую, а Достоевский и Максим Горький другую половину — в русскую». Все названные здесь имена особенно важны для Манна в современной прозе, и Горького он, как видно, читал немало, выделяя среди ранних его рассказов «Каин и Артем», а среди всех книг — воспоминания о Толстом.

В его мир входил и роман «Мать», который Горький заново редактировал в 20-е годы. Манн сказал в интервью варшавской газете «Эпока» (13. III 1927): «По-моему, драмы сами не напрашиваются на экранизации, не то что романы. Повествование, превращенное в фильм, может стать иной раз куда интереснее. Только что, например, я смотрел в Берлине фильм по горьковской «Матери» и был просто очарован. Удивил меня и высокий уровень русского кино»[1].

Да, о картине Пудовкина тогда писали: «Великий русский фильм». Писали и так: «Мать» «в своем фильмовом образе повторяет мировой успех «На дне». Любопытно, что мысль о кинокартине по «Матери» приходила в голову автору, пересматривавшему эту вещь в 1922-м; он готов был взяться за сценарий, надеясь, что из романа выйдет «хороший фильм» (о чем вспоминает Б. Кларк). А итальянский критик Тино Раньери, автор статьи «Горький и кино»[2], увидел в фильме Пудовкина зрелое возвращение, после Октября, к описанным в романе событиям 1905 года; и в то же время свободное отношение к тексту тут — совершенно в духе автора. В пример приводились знаменитые кадры ледохода, отсутствующие в романе, но такие органичные для фильма, такие горьковские. (Тут можно вспомнить и «Ледоход» из цикла «По Руси», и не одно описание весенней реки в грилогии.) По выражению Раньери, это как «зримая цитата», забытая самим автором: сценаристы фильма не подарили ему, а «восстановили» ее.

И такие насыщенные романы Горького, как «Кожемякин» и «Самгин», могли вызвать на Западе и самый заинтересованный отклик. Нам страницы старых рецензий кажутся порой куда более живыми, чем страницы новейших работ: в чутких рецензиях более точные критерии и в итоге — более современное прочтение. Ведь если в «Кожемякине» все дело в герое, его затянувшейся на сотни страниц, после сильно написанной драмы, истории искупления и его поисках правды, едва брезжущей герою под конец, да, чудная тогда это книга! Но ведь как будто не о ней, а о другой отзывалась в 1927-м «Берлинер тагеблат»: «Этот эпос маленького города — совершенно из ряда выходящее художественное событие». Или «Винер цайтунг»: «Со смелостью подлинно великого эпика ведет Горький дорогой множества страниц», освещает ее всю и дает каждое событие «в многообразных преломлениях». По этим строкам видно, с каким увлечением читали тогда немецкий перевод «Кожемякина», выпущенный издательством «Малик»,— подобных отзывов в книге И. Груздева «Современный Запад о Горьком» приводится немало.

Они куда ближе к подлинной сути романа Горького. В нем чутко уловлен поток жизни в глуши, и в большой своей части эта жизнь, летописцем которой выступает герой, мертвая, темная, «арзамасская» по преимуществу. Почему Плеханов, прочитав роман, вспомнил пушкинские слова по поводу «Мертвых душ». Но он уловил и то, что в этом исследовании провинции всюду обнаружены микробы мысли, вызывающие

[1] Frage und Antwort. Interviews mit Thomas Mann. 1909—1955. Hamburg, Albrecht Knaus Verlag, 1983, S. 74. 105.

[2] "Il calendario del popolo". Milano, an XXIV, N 290. Dicembre 1968.

брожение: веками слежавшаяся жизнь уже поколеблена — рядом XX век.

И «Самгина», выходившего по-английски отдельными томами в 30-е годы, читали тогда иначе, чем в новейших работах. Решительно отвергает его Джорджетта Дончин, считая, что уже выбор антигероя в протагонисты предопределил тут неудачу. А Уайл не находит здесь и привычной горьковской наблюдательности, которую она не отрицает.

Но как задевала эта книга в 30-е! Поток жизни, вошедший в роман, находили замечательным и те, у кого могли оставаться сомнения по поводу антигероя в центре книги. Откликаясь на третий том — «Другие огни» — и имея в виду все три тома, Шон О'Фаолейн восхищался образом народа в романе: массы вышли тут на авансцену, «заняв то место, что в елизаветинских хрониках занимали лорды и принцы». О'Фаолейн отметил разнообразие народных сцен, их реализм: Горький не склонен «ни романтизировать, ни огрублять жизнь бедных» — немногие западные прозаики ему в этом подобны. В «Самгине» О'Фаолейн нашел «одно из самых теплых выражений признательности Горького» выдвинувшей его среде[1].

Левая интеллигенция 30-х вполне могла и приблизиться к горьковскому замыслу. Это заметно в отклике на второй том, «Магнит», помещенном в американском журнале «Нью рипаблик» (10. VI 1931). Там говорилось, что сомнения по поводу холодного эгоцентрика в центре книги исчезают после ее кульминации — «Кровавого воскресенья»: тут видишь, чего стоит его нежелание занимать позицию, и «признаешь обоснованность фигуры Клима». А в отклике на четвертый том — «Призрак», появившийся в лондонском еженедельнике «Нью стейтсмен энд нейшн» (14.V 1938), эта фигура на исходе 30-х признавалась «универсальной» и слишком знакомой Западу. Ибо Горькому великолепно удалось показать среду, парализованную ощущением, что она живет «при обреченной системе», это и делает книгу такой современной. В «Призраке» звучат политические дискуссии, которые поныне слышишь в западных столицах,— в романе находишь, кажется, «массу своих знакомых». Этот весьма сочувственный отклик на четвертый том, с отчетливыми нотами самокритики, был не случаен для левой интеллигенции 30-х: его выделила известная американская славистка Дороти Брюстер в книге «Путь с Востока на Запад».

Нет сомнения, что оценить «Самгина» как роман, где далеко расходятся поток жизни-

[1] "The New Statesman and Nation", v. VI, N 127, July 29, 1933.

истории и жизни пустого антигероя, нелегко и ввиду осуществленной тут смелой трансформации жанра. Критерии новейших горьковедов — по преимуществу традиционные, не учитывающие перестройку жанра. Но ведь И. Уайл, так охотно обращающийся к переписке Горького с советскими писателями, должен знать письмо Пастернака о «Самгине». А там с энтузиазмом принят первый том романа — и именно в его новизне. И духовной («дореволюционный пролог под пореволюционным пером») и эстетической. Поэт находил, что читать его «труднее», чем «Артамоновых», и это естественно: судьба и строй романа «подчинены более широким и основным законам духа, нежели беллетристика бесспорная». Можно добавить к письму Пастернака и постоянные обращения к «Самгину» Юрия Трифонова: как раз на этом примере видно непрерывное, идущее через поколения и эпохи живое влияние Горького, то самое, что хочет утвердить Уайл.

И на нынешнем Западе, скажем для точности, поспешным приговорам роману противостоят серьезные работы о нем. Есть и подлинные исследования, и живые журнальные отклики — они появились во Франции и Италии в связи с полным изданием «Самгина».

Западные писатели XX века возвращаются не только к Горькому-мастеру: их продолжает волновать его современное восприятие классического русского романа. То, что так важно для определения возможностей и перспектив жанра.

Завершим примером — по-своему неожиданным. Андре Мальро, отвечая в 1972-м на анкету о Достоевском, вспомнил речь Горького на Первом съезде писателей и свою более позднюю беседу с ним, после съезда. Мальро говорил: «То, что Максим Горький определял как шекспировский элемент в Достоевском, сильнее всего выражено в «Бесах»...» И дальше, говоря о влиянии на себя Достоевского,— это было влияние шекспировского у него, «в горьковском духе», уточнял Мальро и продолжал: Горький «думал в особенности о конце «Братьев Карамазовых», о совершенно исключительном диалоге между Дмитрием и его бывшей невестой, внезапно умолкшей, когда она увидела, что входит Грушенька. Совершенно поразительный эффект кино»[1]. Речь идет о романах, перечитывавшихся Мальро всю жизнь, и слово Горького звучит тут спустя десятилетия. Дополняя все сказанное, этот эпизод также позволяет судить о живом присутствии мастера в современной литературе.

[1] Wir und Dostojewskij. Hamburg, Hoffmann und Kampe, 1972, S. 87, 89.

◆

Критика

П. ТОПЕР

ДИТЕР ВЕЛЛЕРСХОФ И ЕГО НОВЫЙ РОМАН

Роман Дитера Веллерсхофа «Победителю достанется все» [1] принадлежит, без сомнения, к наиболее значительному, что было создано писателями Западной Германии за последние десятилетия. Появление его не прошло незамеченным: в многочисленных рецензиях отмечались и художественная сила романа, и весомость поднятых в нем проблем, и творческая смелость автора. В откликах печати звучала даже некоторая нота удивления: Веллерсхоф, давно и много печатающийся писатель, известный и как прозаик, и как поэт, и как драматург, и как литературовед и критик, был словно заново увиден в свете своего самого большого и бесспорного успеха. Писалось, что книги Веллерсхофа производят более сильное впечатление, чем «новейшие Бёль, Грасс или Вальзер» (то есть самые известные романисты ФРГ); что некоторые писатели Западной Германии переоцениваются критикой, а есть и такие, которые недооцениваются («Таков Дитер Веллерсхоф»), и так далее.

Много было сказано высоких и хвалебных слов. Но не было недостатка и в отзывах критических и даже ругательных. Утверждалось, что роман полон длиннот и излишних подробностей, что его надо было бы сократить более чем вдвое, что верные цифры и точные факты еще не делают повествование живым, что автор то и дело впадает в дидактику, что реализм его плосок, что роман полностью рушится, как только действие переносится в высшие общественные сферы. Эта критика, чаще всего имеющая очень малое отношение к вопросу о недостатках романа Веллерсхофа, мнимых или действительных, стремилась отрицать его социальный смысл и откровенно защитить тех, на кого писатель осмелился поднять руку — некоронованных королей западногерманской экономической жизни. Автор должен испытывать чувство удовлетворения, когда на него ополчаются те силы, против которых он выступает, когда его книга вызывает живые споры.

Путь Дитера Веллерсхофа к роману «Победителю достанется все» кажется последовательным и логичным, хотя и не быстрым и не всегда прямым.

Дитер Веллерсхоф родился в 1925 году в небольшом городе Нойс на Рейне, детство и юность его прошли в другом прирейнском городке — Грайфенбройхе, где его отец служил окружным архитектором. Об отце, призванном в гитлеровскую армию и не вернувшемся с войны, Веллерсхоф вспоминает мало, о матери, также скончавшейся в военные годы, говорит, что она все больше впадала в депрессию и что он испытывал по отношению к ней все растущее отчуждение. «Когда пришло известие о вторжении в Россию, она разрыдалась. Я чувствовал, что подспудно это имеет отношение ко мне — война теперь будет длиться так долго, что и я попаду на фронт». Веллерсхоф пошел в армию добровольцем, еще не окончив школы, участво-

[1] Публикуется в «ИЛ», 1986, № 6—8.

ТОПЕР ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ (род. в 1923 г.)

Литературовед и критик, доктор филологических наук. Автор многих работ по проблемам советской и зарубежной литератур, в том числе книг: «Арнольд Цвейг» (1960), «Ради жизни на земле. Литература и война. Традиции. Решения. Герои» (1970, 1975, 1985), «Овладение реальностью» (1980) и др., а также статей, публиковавшихся в периодике.

вал во многих боях, был ранен. После войны он сумел завершить среднее образование и получить аттестат зрелости, затем изучал германистику, психологию и историю искусств в Боннском университете, пытался заниматься литературной работой, но без особого успеха, бедствовал, пока не получил — неожиданно для себя — предложение стать сотрудником издательства «Киппенхойер унд Вич». С тех пор он живет в Кёльне, где находится это издательство. С ним Веллерсхоф связан долгие годы, сначала как служащий, а потом и как автор.

Таким образом, биография Веллерсхофа мало чем отличается от биографий многих других писателей Западной Германии его поколения: школа, затем казарма, служба в гитлеровской армии, случайные заработки в голодные, неустроенные послевоенные годы, наконец, университетское гуманитарное образование, редакторская и издательская деятельность. Веллерсхоф пробовал писать еще в школе и в университете, но все написанное тогда уничтожил. Печататься он начал, согласно библиографическим данным, в 1948 году, первая его книга вышла в свет в 1958 году; это была большая монография о творчестве Готфрида Бенна, в основе которой лежит защищенная Веллерсхофом диссертация.

Веллерсхоф начинал как литературовед, и в этом он тоже не отличается от многих писателей Западной Германии. Первой публикацией Мартина Вальзера, долгое время работавшего на радио и телевидении, была диссертация о творчестве Франца Кафки; первой книгой Альфреда Андерша, также годами связанного с радио и телевидением, много занимавшегося редакционной работой, было литературно-публицистическое исследование «Немецкая литература перед решением»; можно было бы назвать и другие имена (В. Йенс, К. Амери, Р. Шроерс и другие). Особенность Веллерсхофа, однако, состоит в том, что он не оставил литературоведение после того, как начал писать прозу. Библиография изданных им книг — начиная с 1958 года и по сей день — наполовину состоит из сборников статей. Имя Веллерсхофа, печатавшегося в газетах и журналах большими тиражами, стало широко известно еще в начале 60-х годов.

Другая особенность творчества Веллерсхофа, по сравнению с большинством западногерманских писателей его поколения, заключается в том, что он до сих пор не издал ни одной книги о второй мировой войне и времени фашизма. Фронтовой опыт давал всем этим писателям материал для страшных и трагических произведений; Веллерсхоф этим опытом пока не воспользовался, хотя война, судя по некоторым его высказываниям 70-х годов, оставила в нем непреходящий след: «Война была временем глубочайшего самоотчуждения и оглушения. Я участвовал в ней как пехотинец в течение двух лет, в Литве, Восточной Пруссии, а после ранения еще раз на Одере и в битве за Берлин; когда она кончилась, мне едва сравнялось девятнадцать лет, и я не мог представить себе, какая теперь будет жизнь. Меня не удивило бы, если бы все пришло к своему концу. Вероятно, я прожил войну, будучи наполовину мертвым». И в другом месте: «Я миную войну. Она для меня — все еще всполохи зловещих и неизгладимых видений».

Недавно, вспоминая свои детские и юношеские годы, Веллерсхоф резко и определенно говорил о той переоценке ценностей, которая произошла у него в конце войны: «Но главными идиотами были, пожалуй, мы сами — из глупой веры в идею общности и в смысл жизни, который способен подняться над уровнем будней и уготовить каждому из нас место в великой жизненной общности. Какие у нас еще были возможности найти себя? Мелкобуржуазный родительский дом, школа, контора, фабрика — разве это была жизнь, разве так можно было найти себя? В этом не было реального образа, не было перспективы, этого было недостаточно. Язык барабанов и флагов возносил нас над этой пустыней — к кровавой трансценденции. Смысл жизни оказался сильнейшим наркотиком, миллионам он стоил жизни. Но если проделать кардинальный курс отучивания, этого хватит на целую жизнь. Я рад, что проделал его».

Может быть, книга о гитлеровской войне еще впереди, но пока Веллерсхоф пишет только о современности. Действие всех его произведений, в том числе и романа «Победителю достанется все», происходит «сегодня», без какой-либо временной дистанции; нельзя, конечно, сказать, что память о войне вовсе не присутствует в них, но только как некий далекий фон.

В 60-е годы, будучи главным редактором издательства «Киппенхойер унд Вич», Веллерсхоф сплотил вокруг себя группу молодых писателей, помогая им войти в литературу. При его содействии — и при непосредственном участии — были изданы две антологии молодых: «Один день в городе» (1962) и «Конец недели» (1967). Подчеркнуто «деловые» названия этих антологий носили программный характер и подразумевали особую творческую манеру, основанную на конкретности описаний и точности деталей. Эта манера была вызовом господствующим литературным вкусам тех лет, «метафизике ложных обобщений» и демонстрировала внимание к сегодняшнему человеку, рядовому жителю современного города и его приватному «одному дню», его существованию в «конце недели», то есть в то время, когда он предоставлен самому себе.

Веллерсхоф выступил с обоснованием этой творческой манеры, требуя от искусства «концентрации на единичных случаях», «нового взгляда на повседневную жизнь»; в его статьях ей было дано имя: «новый реализм».

«Новый реализм» (или «кёльнская школа нового реализма», или просто «кёльнская школа») возник под непосредственным воздействием французского «нового романа» (имена Натали Саррот, Алена Роб-Грийе, Клода Симона часто встречаются в статьях Веллерсхофа того времени), но на западногерманской почве «бунт» против традиции приобретал гораздо более отчетливую социально-критическую направленность. Лозунгом «нового реализма» была

правда. Веллерсхоф писал: «Фантастическая, гротескная, сатирическая литература критиковала общество, показывая его сверх меры искаженный образ, новый реализм критикует его конкретно, на основе точного знания».

Однако метод, который стремились утвердить представители «кёльнской школы», оказался малоплодотворным и не был (да и не мог быть) развит в дальнейшем их творчестве. Преимущественное внимание к объективной реальности, замкнутой узкими рамками непосредственной конкретики, без глубокой общей идеи не создавало почвы для подлинного реализма; социальная критика с этих позиций оказывалась чаще всего весьма поверхностной; интерес к мельчайшим движениям внутреннего мира человека, оторванного от логики «внешней» действительности, превращало книги этих писателей, как бы искренни они ни были, в упражнения на психологические темы, часто болезненные. Каждый из них (Г. Зойрен, Г. Д. Бринкенман, Р. Расп, Г. Гербургер и другие) пошел в дальнейшем своим путем. Их декларации 60-х годов остались достоянием истории литературы, в том числе и программные выступления их общепризнанного ментора — Веллерсхофа (которого и в рецензиях на «Победителю достанется все» продолжали называть «отцом нового реализма»). Впоследствии Веллерсхоф, без сомнения самый талантливый и многообещающий среди этой писательской группы, говорил, что его трактовка «точного слова» восходит не столько к Натали Саррот, сколько к Гюставу Флоберу, и при этом решительно отмежевывался от холодного объективизма: «В субъективности автора я видел конструктивную силу. От того, на что направлено его внимание, от присущего именно ему особого взгляда зависит форма его произведений, в свою очередь служащая основой для поисков нового опыта, в котором и другие люди смогут узнать себя за пределами привычных представлений».

Все же ранние романы Веллерсхофа («Прекрасный денек», 1966, «Граница тени», 1969, «Приглашаются все», 1972) связаны, без сомнения, с попытками построить демонстративно новую эстетику на платформе «конкретного» знания человеческих поступков и душевного мира человека. По технике письма эти книги достаточно разные — писатель явно еще искал свое творческое лицо, исходя, в сущности, больше из умозрительно сконструированных «приемов», чем из особенностей самого замысла и жизненного материала, лежащего в его основе. Позднее Веллерсхоф даже попытается обосновать такую переменчивость писательского почерка, утверждая, что для писателя «любая другая тема, любой другой опыт требуют новой структуры».

Общее в этих романах прослеживается прежде всего не во внешних приемах и даже не в пристрастии к точной детали (несомненный признак всех книг Веллерсхофа), а в области идейно-тематической. Действие их происходит в Западной Германии наших дней, речь идет о людях, оказавшихся в разладе с обществом, неудачниках, «аутсайдерах». При этом симпатии автора — не на стороне устойчивой морали, тем более не на стороне сил порядка, а на стороне одиночки.

Взаимоотношения индивидуума и общества, человека и окружающего его мира постоянно интересовали Веллерсхофа, начиная с первых шагов в литературе. Присутствует эта проблема и в многочисленных статьях 60—70-х годов, в которых Веллерсхоф касался вопросов творчества. Изложенная в них программа — это программа реализма, правда, достаточно противоречивая и окрашенная в тона фрейдизма и экзистенциализма во всем, что касается понимания внутреннего мира человека. Сильную сторону концепции Веллерсхофа составляло то, что она всегда была направлена против попыток оторвать искусство от общественной жизни. Сборнику статей 1969 года «Литература и изменение» предпослано специальное предуведомление автора, где декларировалось, что в сборнике «литература рассматривается не так, словно она вещь в себе».

Объектом прямых нападок Веллерсхофа в те годы был Гюнтер Грасс, в котором он видел наиболее характерного представителя «маньеристской», «метафизической» литературы; исходный смысл этих нападок лежал глубже чисто эстетических проблем. Веллерсхоф был в числе первых, кто выступил против «Группы 47», обвинив ее в том, что из творческого объединения писателей-новаторов она превратилась в снобистскую законодательницу буржуазных вкусов, только прикрывающуюся показной и внутренне пустой формальной смелостью. В этой критике «официальной» литературы можно было уловить и некоторые ноты, совпадающие с левацкими лозунгами тех лет, но в годы наиболее активного «молодежного бунта» Веллерсхоф резко выступил против нигилистических взглядов на литературу и ее возможности воздействия на общество. Сборник «Литература и изменение» открывался статьей, направленной против Энценсбергера как носителя этих взглядов. Уже само понятие «изменение», вынесенное в название, подразумевало возможность активного воздействия литературы на человека и на общественную жизнь. Следует сказать, что Веллерсхоф всегда отличался независимостью мышления и умением идти наперекор всеобщим настроениям; он мог с полным правом сказать о себе, что никогда «не ориентировался на господствующие тенденции и модные течения в литературе».

Сильной и несомненно плодотворной стороной взглядов Веллерсхофа было и понимание реализма как явления не формального, а сущностного, связанного с задачами познания человека и общества; он относится к убежденным сторонникам социальной обусловленности литературы и всегда выступал в защиту романа. В одной из статей Веллерсхоф уподоблял писателя пассажиру, который смотрит из окна поезда на пробегающие мимо дома: «Во всех этих домах живут люди, в которых есть нечто от меня, и вместе с тем они совсем другие. Я отличен от них, я похожу на них. Я хочу понять их, хочу понять

самого себя, я хочу принять участие в чужой жизни, хочу провести границу между собой и окружающими. Следовательно, я напишу роман».

Однако после романа «Приглашаются все» Веллерсхоф опубликовал книгу совсем другого рода. Она вышла в свет в 1974 году и называлась «Морской берег в двойном освещении и другие тексты». В нее вошли четыре связанных друг с другом повести (название одной из них дало название всей книге [1]), две радиопьесы и сценарий «мульти-медиа оперы», стихотворения, а также автобиографическое послесловие, озаглавленное: «Я»-высказывания со сведениями и без». Ни рассказов, ни стихотворений раньше Дитер Веллерсхоф не печатал. В предисловии к этому сборнику разнородных произведений автор тем не менее настаивает на их единстве: «Все это — одна единая история, та, которую труднее всего рассказать,— то есть история о самом себе».

«Морской берег в двойном освещении и другие тексты» — самая трудная для восприятия, «эзотерическая» книга Веллерсхофа; объяснение этого — или во всяком случае обоснование — лежит, по автору, в ее исповедальной сущности («Почему так трудно говорить о себе самом?»). И в то же время в ней появляются необычные для Веллерсхофа жизненные проблемы. Герой повести — писатель, он уже не молод, не удовлетворен собой, он продумывает заново свою жизнь и свои сложные взаимоотношения с разными женщинами. Одна из них, умирающая от неизлечимой болезни (что оставляет героя равнодушным),— жена богатого промышленника, несчастливая в браке, пытавшаяся разорвать его. Новые для книг Веллерсхофа человеческие миры — известный писатель и богатый буржуа — предстают в критическом, отрицательном свете. Вне зависимости от того, в какой мере автобиографичность собранных в книге произведений реальна, а в какой она — плод нарочитой стилизации (для восприятия книги это, собственно говоря, существенного значения не имеет), перед нами повествование, ставящее вопрос о месте писателя, творческой личности в жизни буржуазного общества (в известном смысле слова эту книгу можно было бы сопоставить с фильмом Феллини «$8^1/_2$»). Главное в ней не «экзистенциальные» вопросы (которые занимают много места), касающиеся жизни и смерти, сущности человека и его существования в «чистом», «философском» виде, но вполне реальный и ответственный выбор, перед которым герой стоит в решающую минуту своей жизни. Хотя авторское отношение к изображаемому недвусмысленно ясно, он все же уходит от четких и однозначных ответов и предоставляет читателям самим делать выводы: пусть каждый решает сам, кто из героев прав, а кто не прав. Для Веллерсхофа, которого не раз обвиняли в «дидактичности», это обстоятельство необычное.

Книга «Морской берег в двойном освещении и другие тексты», весьма противоречивая, оказалась вехой на пути к значительному расширению пределов творческого мира Веллерсхофа.

Это видно уже по следующему роману «Красота шимпанзе», вышедшему в 1977 году. Здесь можно найти немало общего с ранними книгами Веллерсхофа: в центре романа — также неудачник, «аутсайдер», речь также идет об одиночестве, страхе, агрессивности. Однако он много глубже по постановке проблем и много сильнее художественно.

Его фабулу можно пересказать в нескольких словах: некий Клаус Юнг, мелкий служащий фирмы по установке игральных автоматов, неожиданно узнает, что конец недели у него свободен от работы. Вместо того чтобы, воспользовавшись неожиданным отпуском, вернуться домой (он уверен, что жена изменяет ему в его отсутствие), он едет к случайной знакомой, зверски убивает ее и вскоре, хотя ему удалось незамеченным скрыться, кончает с собой.

В таком кратком пересказе действие романа сводится к заметке в полицейской хронике. Однако, как и в предыдущих книгах Веллерсхофа, читателю не приходится разгадывать детективную тайну. Тайна, заявленная в самом начале, носит «экзистенциальный» характер. Первая же фраза говорит о том, что «искусственное равновесие, в котором живет человек», может внезапно нарушиться по самому ничтожному поводу, за чем последует «неизбежное падение», гибель, катастрофа. Такой «мелочью» оказалась освободившаяся пятница; но почему это так и в чем будет заключаться «неизбежное падение», мы не знаем до самого конца книги.

Неумение Клауса Юнга найти место в жизни идет, по автору, от внутренней слабости, «потерянности», нежелания жить. Он пытается завести собственное «дело» вместе с напарником, которому не доверяет, но читателю ясно, что для него, неудачника, эта попытка выбраться из бедности и стать самостоятельным хозяином с самого начала обречена на провал. Очень скоро мы начинаем понимать патологический характер его мироощущения, в котором пассивность и слабость так часто превращаются в агрессивность. Книга наполнена терминологией экзистенциализма: «существование», «тяга к смерти», «страх», «тошнота», «ничто», «другие»,— но в отличие от канонических экзистенциалистских сочинений здесь эта терминология направлена на объяснение не всеобщих законов бытия, а внутреннего мира Клауса Юнга, которому противно все здоровое, обычное, нормальное, а любое стремление к «человеческой общности» кажется непростительной слабостью: «Он не знал, в чем дело, но только от других его отделяло чувство скрытой неполноценности». Немало можно найти в книге и фрейдистского, прежде всего чувство любви-ненависти, которым определяется отношение Клауса Юнга к жене, Эллен. Особо подчеркнуто и значение тяжелой болезни, которую он пережил в детстве вскоре после смерти отца и которая оставила след в его психике на всю жизнь.

И сама идея убийства возникает в Клау-

[1] Повесть Д. Веллерсхофа «Морской берег в двойном освещении» опубликована в «ИЛ», 1978, № 2.

се Юнге как бы без внешнего повода, из глубин его «я» или из глубин мироздания: «Эту мысль, не возникшую в нем, а вложенную в него извне, он воспринял как глубокую неожиданность». Случайная знакомая становится для него своего рода представительницей «здоровой жизни», которой он боится и, будучи слабым, ненавидит; его самоубийство (он отравил себя выхлопными газами автомобиля) не связано ни со страхом перед возмездием, ни с угрызениями совести. Это самоубийство, совершенное в тот день, когда он должен был вернуться к жене, к обычной жизни, означало, как сказано в романе, «внутреннее удушение».

При всем том за патологическими объяснениями «аутсайдерства» Клауса Юнга, его преступления и гибели достаточно ясно проступает объективная обусловленность его судьбы. Хотя часть действия (в отличие от предыдущих книг Веллерсхофа) происходит на роскошном океанском курорте, часть — в полубогемной, полупреступной среде, весьма условно стилизованной под мафию с диктатором во главе, основное в романе — современная Западная Германия, такая, какой ее видит мелкий служащий и какой она поворачивается в его сторону.

Клаус Юнг беден, всю жизнь проводит в разъездах, останавливаясь в третьесортных гостиницах, и окружают его бедняки, женщина, к которой он приехал и которую убил, живет в убогом доме на окраине Гамбурга. Мир богатых предстает в книге как зло; Клаус Юнг ненавидит людей «с самовлюбленной улыбкой богатого человека, который знает, что он все может купить» Трагедия Эллен, продающейся богатым и уже не могущей жить иначе, заключается в том, что она оказалась в соприкосновении с этим миром; разлад с ней Клауса Юнга связан с тлетворным влиянием богатства, денег. «Внутреннее удушение» возникло из чувства невозможности жить в этой действительности. Чем дальше мы прослеживаем судьбу Клауса Юнга, его метания, его отчаяние, тем странным образом становится яснее, что, несмотря на зверское и бессмысленное убийство, он вызывает в нас больше симпатии, чем окружающие его «нормальные» люди, хотя объяснение его поступков и их побудительных причин лежит не столько в социальной области, сколько в сфере патологической психологии.

«Красота шимпанзе» может служить свидетельством того крепнущего внимания к реальной действительности и процессам современной жизни, которым отмечена литература Западной Германии (и других стран Запада) второй половины 70-х годов. В обстановке обострения социальных противоречий, спада промышленного производства, начавшихся массовых банкротств, безработицы, снижения уровня жизни на смену различного рода «неоавангардистским» течениям, которые были необычайно активны в 50-е и 60-е годы, пришел интерес к жизненно достоверным явлениям, социально и исторически конкретному изображению действительности.

Творческий путь Веллерсхофа весьма характерен с этой точки зрения. Границы действительности, охватываемые его книгами, значительно расширяются, «социальное» и «экзистенциальное» все меньше противопоставляются друг другу, концепция неловеческой личности значительно углубляется. Тот факт, что его книги стали «проще» и «яснее», Веллерсхоф сам отметил как «логику своего развития». Все чаще устоявшаяся, «нормальная» жизнь Западной Германии представала под его пером как лишенная истинного содержания, чреватая катастрофами, в нравственном смысле пустопорожняя. (Примером тому может служить небольшой социально-психологический этюд «Сирена», вышедший в 1981 году.) Движение Веллерсхофа по пути реализма заметнее всего по телефильмам, сценарии к которым он стал писать в это время и о которых он говорит: «Речь в них идет о западногерманском обществе 70-х годов. Конечно, не обо всем, а об отдельных социальных аспектах и проблемах. Но за ними стоит, как мне кажется, общее настроение». В одном из этих фильмов — он назывался «Фантазеры» — была уже намечена ситуация, легшая позднее в основу романа «Победителю достанется все». «Фантазеры» — это, по Веллерсхофу, те, кто свято верит в безоблачное небо западногерманской экономики и ее беспрерывный подъем без кризисов и спадов и кто поставил на карту все ради этой ошибочной веры.

Роман «Победителю достанется все», вышедший в 1983 году, написан на первый взгляд весьма традиционно; в нем нет ни специфического заострения сюжета, ни иных способов привлечения читательского внимания, ни тем более стилистических изысков или модных «экспериментальных приемов». Эпизод за эпизодом рассказывает автор жизнь своего главного героя и тех, кто с ним сталкивается. Действие, если не считать короткой вводной главки, носящей характер пролога (хотя она и рассказывает о смерти героя), развивается почти неукоснительно в хронологической последовательности. Нет ни наложения разных временных пластов, ни временных перебивок, ни метода киномонтажа, ни цитирования подлинных документов, ни причудливых ассоциативных связей. Тема романа стара, как само буржуазное общество. Он рассказывает о судьбе трех поколений буржуазной семьи, пришедшей к упадку,— как в «Будденброках» Томаса Манна или в «Деле Артамоновых» Максима Горького. В центре романа — преуспевающий делец, нувориш, история его подъема, разрушительного и для него самого, и для окружающих, а затем гибели, история, вызывающая в памяти Фрэнка Каупервуда из «Трилогии желания» Драйзера. В книге много внимания уделено технической стороне производства и тонкостям финансовых операций — совсем как в «Человеческой комедии» Бальзака. Имя Бальзака, называвшего себя «доктором социальных наук», вспоминается при чтении романа Веллерсхофа в первую очередь. На вопрос о теме романа Веллерсхоф дал ответ, звучащий почти как цитата из Бальза-

ка: «Деньги как средство исполнения желаний и осуществления мечты о власти, деньги как универсальная машина, которая все приводит в движение, представляют собой эпическую тему первого ранга».

Веллерсхоф не боится идти путями, проложенными до него великими классиками реалистической литературы. Именно этим определяется творческая смелость романа «Победителю достанется все». Новое же (причем не только в проблематике, но в образных средствах) определяется тем, что он не повторяет пройденного, а описывает и исследует сегодняшнее буржуазное общество Западной Германии, со свойственными ему специфическими особенностями.

За историей жизни Ульриха Фогтмана, предпринимателя, гибнущего в конкурентной борьбе, встают два десятилетия западногерманской истории — от «грюндерского» ажиотажа, начавшегося во второй половине 50-х годов до резкого спада экономики и обострения всех общественных противоречий на рубеже 70-х и 80-х годов. Хронологические рамки действия не случайно определены с полной точностью.

Западногерманское «экономическое чудо» было в 50-е годы самой яркой рекламой буржуазного Запада. Используя благоприятную послевоенную конъюнктуру и дешевые рабочие руки (ибо страна голодала), опираясь на отнюдь не бескорыстную помощь США, Западная Германия быстро восстановила свой промышленный потенциал и выдвинулась в число крупнейших капиталистических держав мира. Она стала одним из основных аргументов для идеологов «народного», «бесклассового» капитализма, теории «единого индустриального общества», в котором якобы стираются различия между буржуазным и социалистическим строем. Наиболее проницательные писатели Западной Германии быстро разглядели антигуманный характер общества потребления, жестокую борьбу всех против всех, идущую за его парадным фасадом, преступное «непреодоленное прошлое», которое вовсе не стало прошлым, а определяло направленность буржуазно-реставрационного процесса. Г. Бёль в сатирических «Веселых рассказах» («веселость» их была весьма относительна и больше напоминала гримасу страха) выводил рядом с ничему не научившимся битым гитлеровским генералом и людей, занятых бешеной пустопорожней деятельностью и видящих в ней цель жизни.

Широкую популярность получил тогда фильм Курта Гофмана «Мы — вундеркинды» (то есть «дети чуда»), сделанный по одноименному роману Хуго Хартунга. Это ироническое определение можно отнести ко многим героям западногерманской литературы.

Ульрих Фогтман — тоже дитя «экономического чуда». В начале романа один из его друзей говорит ему: «Экономика пошла в гору, смотри, какое кругом строительство! Уцепишься сейчас — и всегда будешь на коне, сам не заметишь, как тебя в гору потащит... Главное — не упустить момент». Дальнейшая его судьба могла бы стать иллюстрацией к американской сказке, согласно которой для каждого чистильщика сапог открыт путь в миллионеры. Превратившись из бедняка в главу фирмы, Ульрих Фогтман действует холодно, расчетливо, деловито, энергично. Все ему удается, фирма под его руководством процветает.

Прекрасно описан Ульрих Фогтман в минуту решающего выбора между двумя женщинами, что для него было одновременно и выбором судьбы. По отношению к обеим он действовал как насильник. Преодолевая смутную тревогу, он заставляет Йованку избавиться от ребенка и без всяких угрызений совести бросает ее. Холодно и расчетливо, несмотря на собственное равнодушие, он подчиняет себе Элизабет Патберг, дочь своего хозяина, а вместе с ней миллионы и все, чем она владеет.

Ульрих Фогтман еще не знает, что он совершил насилие и над самим собой и что это насилие не принесет ему счастья.

В романе Веллерсхофа стремительно развивающийся сюжет, увлекающий читателя, построен на ощущении неизбежности краха, что заявлено автором с самого начала, уже в вводной главе. В падении Ульриха Фогтмана есть нечто роковое, и весь роман представляет собой раскрытие механизма этого «рока», за которым скрывается вполне реальный и вполне объяснимый закон жизни современного буржуазного общества во вполне конкретных условиях Западной Германии второй половины XX века. Многих рецензентов удивила эта «старомодность» автора, выступающего в романе, как это было в классическом критическом реализме XIX века, «всеведущим».

Продажа дома Патбергов и вырубка старинного парка вместе с древним кедром, под которым собиралась вся семья, не случайно вызывает в памяти «Вишневый сад» Чехова. В романе это — почти символический знак смены эпох, ухода старого, «добропорядочного» предпринимательства и прихода капиталистов новой формации. Но не Фогтману суждено стать преемником, за ним остается только роль разрушителя. Новыми хозяевами становятся хищники империалистического размаха, играющие судьбами не людей, а народов.

Фогтман решил, что и он может вступить в круг этих новых хозяев жизни, и с удивлением обнаружил, что его судьба отныне связана с африканским народом, борющимся против американского империализма за свою независимость. Он равнодушен к судьбе далекой страны и мало интересуется тем, что вложил деньги в производство ядовитых веществ, которые используются в колониальной войне с «туземцами». Для него все это «товар», вопрос денег. Но он с ужасом ощущает, что не может управлять событиями, что они вырвались из-под его контроля: фирма на краю банкротства.

Закон крушения относится не только к Фогтману, он носит всеобщий характер, хотя и действует через него. Войдя в семью Патбергов, Фогтман ускоряет ее неизбежный распад, и в ней нет человека, которого бы этот распад не коснулся.

Старый Патберг описан Веллерсхофом с известной долей идеализации, как промышленник с давними рейнскими традициями, не подчинивший свою жизнь пого-

не за голым чистоганом. Подчеркивается его трудовое, крестьянское происхождение, добропорядочность, честность. Рядом с Фогтманом заметнее, что он хороший семьянин, мягок в обращении с людьми, с пониманием относится к рабочим. Но видна и его слабость: к темпам сегодняшней жизни он явно не подходит. Действия молодого зятя, приходящего ему на смену, Патберг воспринимает как узурпаторство и насилие. Его уход неизбежен, и физическая смерть только подтверждает то, что уже свершилось в мире коммерции.

Но рушатся одна за другой и судьбы всех его детей, включая Элизабет. Удел всех, кто сталкивается с безжалостной энергией Фогтмана,— утраты, несбывшиеся надежды, гибель. Ощущение неотвратимых потерь наполняет роман гнетущей атмосферой безнадежности.

Сильнее всего мотив крушения выражен в сыне Элизабет и Ульриха Фогтмана, Кристофе, не случайно внешне похожем на деда. Он упрямо идет своим путем, движимый отчуждением от семьи, а затем и прямой ненавистью к отцу. Он более чутко, чем взрослые, ощущает катастрофичность времени. Из протеста став вором, помещенный отцом в интернат, он ночью пишет красной краской на фасаде интернатского здания огромными английскими (правильнее сказать — «американскими») буквами: «Будущего нет», словно Ганно Будденброк, подводящий черту под историей своего рода.

«Будущее» и «страх» — едва ли не самые частые слова в романе. Но выясняется, что у всех героев есть реальные причины для тревоги за собственное будущее. Страх в этом романе теряет метафизичность, «экзистенциальный» характер; только изредка он напоминает об обреченности человеческого существования, неизбежности смерти для всего земного. Куда чаще и определеннее он выступает в своем прямом значении — как страх перед неудачей, разорением, перед конкурентом, перед разрывом человеческих связей, перед одиночеством.

Название большого, трагического романа Веллерсхофа взято, неожиданным образом, из популярной песенки, исполняемой американской киноактрисой и эстрадной певицей Барброй Стрейзанд, в которой говорится о том, что в этой жизни победителю достается все, а проигравший все теряет. Критика ФРГ не случайно писала, что острие романа направлено против американского образа жизни, то есть доведенного до предельной жестокости принципа буржуазной морали: человек человеку — волк.

Фогтман интересен как человеческий характер, как тип, воспитанный современной западногерманской действительностью. Основы его отношения к жизни закладывались еще в интернате, где он был самым бесправным и где все над ним издевались, отнимали лучшие куски. Там он и понял жизнь как борьбу всех против всех, уверился, что все лгут и притворяются; одиночество стало его естественным состоянием. С тех пор в нем жила ненависть — слабого к сильным, неудачника к удачливым, бедного к богатым, однако ненависть, лишенная поисков общности, товарищества, начисто лишенная классового содержания, ненависть одиночки, замешанная на зависти. Комплекс неполноценности — глубоко затаившийся в Фогтмане «визжащий щенок» — вполне определенно объясняется сиротством, бедностью, его происхождением, условиями, которые его воспитали.

В одном из мест романа Фогтман говорит, словно нечто само собой разумеющееся, что в социалистических странах неверно понимают человека. Каков же он сам как человек? Погоня за деньгами сделала его одержимым идеей материального успеха, лишенным нормальных чувств и эмоций, радостей жизни; необходимость постоянно сражаться за место под солнцем ожесточила. Ведя беспощадную борьбу против всех, он полагал, что тепло человеческих отношений можно приобрести за деньги; теперь его окружение возвращает ему долг той же монетой. Одиночество принимает для Ульриха Фогтмана уже не психологические, а вполне реальные формы. От него отворачиваются все, кто мог бы считаться его друзьями, они не хотят или просто не могут помочь ему. Жизнь превращается в судорожные попытки спасти то, что уже нельзя спасти, в беспрестанную гонку из города в город, из одной гостиницы в другую.

Несколько лейтмотивов проходит через всю книгу, служа постоянными характеристиками Ульриха Фогтмана: ступни его ног с изуродованными пальцами — знак бедности и унижения; вечеринка у Патбергов, когда Элизабет, его будущая жена, забыв приличия, до утра танцевала с ним одним,— знак поэтического, еще не осквернённого начала; постоянно возникает в книге и фотоснимок улыбающейся Йованки, с которым Фогтман не расставался всю жизнь,— знак того, что и в нем где-то в глубине души была заложена возможность нормального человеческого развития, загубленная погоней за деньгами.

Как лейтмотив часто появляется в романе и образ гостиницы, своего рода символ условий сегодняшнего существования.

За Веллерсхофом, как и за Бёлем, закрепилась слава «кёльнского писателя», но в отличие от Бёля, в его книгах нет ни кёльнского пейзажа, ни кёльнских соборов, ни древних римских развалин. Действие их происходит не в Кёльне, а в самых разных городах Западной Германии, от Гамбурга на севере до Мюнхена на юге. Герои его книг проводят жизнь преимущественно в разъездах, автомобиль или поезд — постоянные аксессуары повествования, так же как и гостиницы — холодные и равнодушные вместилища людского муравейника, находящегося в беспрерывном движении, неистинном, пустопорожнем, добровольном или вынужденном. Тому, у кого есть деньги, гостиница может предоставить комфорт, но уюта, домашнего очага, человеческого тепла она создать не может. Жалкая, одинокая смерть в номере равнодушной гостиницы — таков итог жизни Ульриха Фогтмана.

Крушение «идиллии» («экономического чуда») показано в романе на фоне многих реальных примет западногерманской жиз-

ни последних двух десятилетий; на его страницах появляются участники реваншистских сборищ, неофашисты, демонстрации протеста, бунтующие студенты, террористы; модные вернисажи, выставки «авангардистского» искусства, развлечения «высшего света» описаны в духе безумного, трагического балагана. В романе мало говорится об угрозе новой войны, о чем постоянно пишут западногерманские газеты, но багровый отсвет атомного гриба лежит на его страницах. Конечно, рисуя больное общество, где «иметь» значит больше, чем «быть», которое уже не может существовать, не подгоняя своего стремительного движения по гибельному пути, Веллерсхоф, как и в других своих книгах, «минует» войну и фашизм и в известном смысле облегчает себе задачу. Мы, например, ничего не узнаем о том, чем занималась фирма Патбергов в гитлеровские времена; история семьи самого Ульриха Фогтмана не уходит корнями дальше его пребывания в интернате. Тем самым Веллерсхоф словно бы отдает дань теории «нулевого часа» (согласно которой послевоенное развитие Западной Германии начиналось как бы на пустом месте), хотя он сам справедливо писал, что «часа ноль никогда не бывало в истории». Мы хорошо знаем, что первые послевоенные годы, которые Веллерсхоф определяет как время «приватизации» во всех областях жизни, были и началом реставрационных процессов — и самого буржуазного общества Западной Германии, и неонацистских и милитаристских тенденций в ней. И Оттер, хищник, окончательно разоривший Ульриха Фогтмана, поставляющий отравляющие вещества и сотрудничающий с американской армией (показанный в беспощадно-разоблачительном свете),— это тип нового хозяина западногерманской жизни, продолжающего в новых условиях империалистическую политику своих предшественников.

Но кроме пролога в романе есть и эпилог — небольшая главка, названная «Конец чего-то и как его распознать». Это необычный эпилог для «хозяйственного романа» («Wirtschaftsroman»), как назвал его сам Веллерсхоф, еще раз показывающий, что говорить о «старомодности» писательской манеры его автора надо с большой осторожностью. Действие эпилога происходит год спустя после смерти Ульриха Фогтмана; в нем нет речи о фирме, хотя именно ее судьба была двигателем стремительно развивающегося сюжета. Меняется и повествовательная перспектива — рассказ идет от первого лица (этим «я» может быть знакомый Ульриха Фогтмана по интернату, разговаривавший с ним накануне его смерти, а может быть — одновременно — и сам писатель, автор романа). На шумной, нервной вечеринке случайно встретившийся знакомый врач, участвовавший год назад во вскрытии тела Ульриха Фогтмана, рассказывает ему, каким он увидел его сердце — «кровавый, разорванный моллюск», плавающий в «чернильно-темном море». Образ приобретает всеобщее значение. Нет, дело не просто в судьбе мелкого хищника, опоздавшего прийти в этот мир, дело в крушении человеческих основ жизни. «То, что мы сейчас переживаем, это только прелюдия» — такова последняя фраза романа, своего рода гигантское «Будущего нет», начертанное Кристофом, последним отпрыском традиционного буржуазного рода промышленников и коммерсантов, но отнесенное к обществу в целом.

Когда Веллерсхофа спросили, можно ли считать его пессимистом, он ответил: «Кризисы, конфликты, внутренние и внешние опасности, которые угрожают человеческой жизни,— все это и составляет собственно тему литературы. И с пессимизмом это не имеет ничего общего. Скорее с реализмом. Ибо не существует долгосрочных абонементов на идиллию ни для отдельных лиц, ни для обществ».

Роман Дитера Веллерсхофа не случайно задел живой нерв современной жизни Западной Германии и оказался в центре споров — и эстетических, и идейных, и политических. Это — роман-предупреждение. Он может многое сказать нашему читателю и о западногерманской литературе, и о самой Западной Германии.

◆

Наши интервью

Антоние Исакович

Югославия

Побывавшая не так давно в Советском Союзе делегация писателей СФРЮ во главе с Антоние Исаковичем, видным югославским писателем, вице-президентом Сербской Академии наук, приняла участие в советско-югославской встрече за «круглым столом», посвященной «Военной теме в современной литературе». После встреч с советскими собратьями по перу, поездки по нашей стране, беседы в журнале «Иностранная литература» Антоние Исакович дал интервью нашему журналу.

— Вы участвовали в советско-югославской писательской встрече, которая была посвящена теме, по сей день интенсивно разрабатываемой в литературах наших двух стран, хотя недавно весь мир отмечал уже сорокалетие окончания второй мировой войны. Как вам кажется, почему не угасает интерес — и авторов и читателей — к этой тематике? Подобный вопрос тем более интересно задать вам, писателю, в чьем творчестве война занимает основное место.

— Для любого народа война и революция — чрезвычайные обстоятельства, состояние исключительное, по своей природе эти события таковы, что вовлеченными в них оказываются буквально все, тем или иным образом к ним причастен каждый. Война — это жесточайшая драма — ведь на первый план выходит вопрос жизни и смерти! Война и революция — такая «сцена», на которой очень быстро становится виден — до самой своей глубины — каждый. День, неделю, месяц на войне можно приравнять к годам мирной жизни. Здесь в человеке обнажаются все сплетения нервов, часто они рвутся. Может ли этот драматизм не привлечь писателя? Причем ведь это такие потрясения и переживания, от которых люди до сих пор не могут освободиться. И не только писатели, но и просто каждый, кто побывал на войне,— они все рассказывают и рассказывают своим детям и внукам о пережитом, часто даже вызывая раздражение родных и знакомых. И все это — устные рассказы, проза, поэтическое слово — выражает стремление отдельного человека, народа, поколения сохранить эти события для истории, спасти от забвения, войти в будущее и на основе своего опыта предупредить об опасности, которую несет в себе возможность войны, о необходимости ее предотвратить.

— В каком направлении изменялось, на ваш взгляд, освоение военной темы с течением времени? Как сейчас воспринимаются те произведения, которые создавались по горячим следам событий военных лет?

— Действительно, мы пишем о войне уже давно, и за это время обозначилось несколько периодов, я бы даже сказал — эпох в эволюции наших подходов к теме войны.

Очень немногое из того, что создано в литературе военных лет, можно отнести к выдающимся произведениям, хотя такие книги есть. Они есть и у вас и у нас.

После войны у нас начался процесс более глубокого осмысления военной темы. По своим художественным достоинствам литература этого этапа уже поднялась на новую ступень, более высокую При этом лишь несколько лет спустя после окончания войны наша литература обратилась к исследованию психологических мотивов, к анализу образов не только революционеров, но и тех, кто боролся против нас. Мы поняли, что примитивно, плоско изображая врага — иной раз он выглядел на страницах наших произведений просто болваном или трусом,— мы в какой-то мере обесценивали даже и наши собственные жертвы, страдания, подвиги. Ведь мы боролись с очень сильным и опасным врагом. Это была страшная борьба.

— Война особой связью объединяет народы, пережившие ее; в сознании их она оставляет след, который не зарастает, не заживает со временем. Вместе с тем каждый народ переживает эту историческую травму по-своему. О чем говорит здесь ваш опыт?

— Наша война была своеобразной: у нас не было тыла, со всех сторон мы постоянно находились в окружении. Нам некуда было деться, некуда отступать. У нас говорят, что нашим тылом был народ. Это так.

В оккупированной врагом стране у нас были так называемые свободные территории, они то возникали, то исчезали и появлялись вновь в другом месте, подобно подземным рекам, которые при любой возможности вырываются на поверхность, а потом вновь уходят под землю. Говоря о народно-освободительной борьбе и революции, мы употребляем эти два понятия вме-

сте: когда в сорок первом году началось вооруженное восстание, мы, коммунисты, начали создавать вокруг некоторых городов партизанские отряды. Люди переходили на нелегальное положение — уходили в партизаны или в подпольщики, получали конспиративные клички: многие оставляли на оккупированной территории родных и близких и должны были позаботиться об их безопасности на случай провала. Так вот, какие же клички мы давали друг другу? Во-первых, это были имена наших народных героев. Многие из партизан сражались под именем Зеко или Велько — так звали героев-гайдуков антитурецкой борьбы XIX века. Скажем, мой отряд, в котором я воевал в сорок первом, носил имя Йована Крсулы — это был воевода, прославившийся во время Первого сербского восстания. Но были и другие конспиративные имена, причем их было тоже очень много — Чапаев, Буденный, Корчагин, Рита, да, да, это были имена известных героев, героев гражданской войны и Октябрьской революции. Например, в моем отряде было несколько Буденных. И вовсе не каждый партизан мог получить такое имя, его давали за исключительную храбрость, мужество, стойкость, да, только такие люди могли стать Корчагиным или Ритой.

Мне кажется, даже этот пример помогает почувствовать, как тесно переплелись в нашем сознании идеи народно-освободительной борьбы и революции.

Несколько коротеньких историй моих встреч с Советской Армией — тоже на эту тему.

Первая встреча. Мы перешли реку Саву, но Белград еще не был освобожден. Я тогда был членом политотдела бригады — по тем временам немалая должность. Мне, правда, еще не было и двадцати одного года, ведь я начал воевать с семнадцати... Итак, я с группой партизан, форсировав реку, оказался рядом с позицией которую занимали два советских противотанковых орудия. Советский командир кричит нам: «Окапывайтесь! Окапывайтесь!» А как мы окопаемся, мы же партизаны: у нас нет полного боевого снаряжения, лопаток например. Опять кричит: «Подкати камень побольше, и укройтесь за ним». Я так и сделал — и тут же огонь немецкой артиллерии.

Воздушной волной меня несколько раз подбрасывало за моим камнем. И вдруг что-то ударило прямо в этот камень, очень сильно. Я схватил рукой «это», и руку мне обожгло. Это был осколок снаряда. Если бы не русский офицер, меня бы уже не было в живых. Тут пошли в атаку немецкие танки, «тигры». Два — советские орудия сразу же уничтожили, еще один — повредили, и атака сорвалась, подбитые танки преградили путь другим, место там было довольно узкое, и им пришлось отступить. И вот в этот момент я увидел, что советский офицер — у него был полевой телефон — покрутил ручку и сообщает куда-то, видимо на командный пункт что наводчик такой-то, лейтенант Козлов кажется, он сказал, поразил два вражеских танка и так далее, короче докладывает. А я все это слышу и из его ответов понимаю: по телефону с командного пункта ему говорят, что этот наводчик награждается боевым орденом, офицер тут же вызывает наводчика, сообщает о награждении, тот: «Служу Советскому Союзу!» — как и положено, а я удивляюсь про себя, как это, думаю, так, почему такая срочность, чтобы прямо на позиции награждать? Не могу этого понять. Атаки немцев продолжаются, мы держимся, не отступаем, но во время одной из атак этот самый наводчик, который подбил два танка и только что был награжден, погибает. На месте, от осколка. И тогда я понял, почему такая срочность...

Или еще эпизод. Белград уже частично освобожден. Идут уличные бои. И я со своим подразделением партизан действую вместе с советскими частями. Нужно было захватить одно из зданий. На подходе нас остановили советские солдаты и говорят: «Вы, ребята, совсем еще молодые, а мы уже всего повидали, подождите-ка здесь, за углом, а мы пойдем вперед». Ведь они буквально отдавали нам свои жизни, ведь кому-то из них суждено было погибнуть, чтобы мы остались жить.

Я все это рассказываю, чтобы подчеркнуть: мы должны писать обо всем, что было на войне, даже о самых страшных вещах. Я тоже об этом пишу. Я убежден: ни для ваших, ни для наших писателей не должно быть запретных тем, мы постоянно должны осваивать новые художественные пространства... И у вас и у нас написано много хороших книг о войне — романы, рассказы, драмы, стихи, поэмы. Многое из этого переведено, но нужно переводить еще больше и лучше...

— Ваше творчество в переводах знакомо советским читателям, а сами вы лично встречались с нашими читателями?

— Я бывал у вас и раньше. Более того, уже не впервые я и в редакции журнала «Иностранная литература», правда, предыдущая встреча состоялась много лет назад. Кстати говоря, я считаю ваш журнал весьма интересным, он делает важное дело, отражая то, что происходит в современной мировой литературе. Дело это непростое, и вы ведете его с успехом — иногда бóльшим, иногда меньшим...

Я не раз бывал в вашей стране, видел многие города, в некоторых — Москве, Ленинграде — даже жил подолгу. Видел и такой далекий город, как Ташкент. На этот раз осуществил свое давнее желание — познакомился с Арменией. Всякий мой приезд в Советский Союз был для меня интересным событием, ваша страна огромна, и здесь сосуществуют различные культуры и цивилизации, так что даже целой человеческой жизни было бы мало для того, чтобы все увидеть и понять. Ваша страна меня всегда обогащала новыми знаниями, новым опытом. Я видел многое в вашей жизни, и не только ваши успехи, но и трудности, и мне это кажется очень важным. И я очень ценю, что меня давно переводят в вашей стране. Надеюсь, что и впредь я смогу через переводы осуществлять духовный контакт с советскими читателями и критиками.

Беседу вела Л. САВЕЛЬЕВА

◆

Среди книг

По страницам поэтических переводов

Переводческое мастерство в наши дни приобретает все большее значение как средство духовного общения народов. О том, что дело перевода издавна стояло в центре внимания русской словесности, свидетельствует книга доктора филологических наук Ю. Левина, которую в рубрике «Среди книг» рецензирует известный исследователь творчества Шекспира и Гёте А. Аникст. Отдел критики разделяет надежду А. Аникста на то, что не за горами обобщающее исследование о практике и теории нашего переводческого дела XX века, тем более что советские переводчики достигли больших успехов в ознакомлении читателей со многими выдающимися явлениями зарубежной культуры и в том числе иноязычной поэзии.

Об этом говорят и публикуемые в этом номере рецензии на сборники поэтов Китая, Японии, Анголы, Франции.

Проблема перевода с иностранных языков имеет непосредственное отношение к тому, как осваивается наше художественное богатство в других странах. Мы знаем, что есть Тургенев в творческом восприятии Голсуорси, что Толстой и Достоевский, Чехов и Гоголь завоевали широкое признание зарубежных писателей и читателей.

Для нас важно и каждое свидетельство возрастающего внимания на Западе к творчеству величайшего русского поэта, что особенно отрадно отметить в очередную годовщину со дня его рождения, традиционно отмечаемую в нашей стране. Такое внимание — результат мощного процесса взаимообогащения культур разных народов, общего духовного и гуманистического потенциала.

Издано в СССР

О ПЕРЕВОДЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ

Ю. Д. Левин. Русские переводчики XIX века и развитие художественного перевода. Ленинград, «Наука», 1985.

Вклад русского переводческого искусства в духовную жизнь народа огромен. Культура художественного перевода достигла у нас больших высот. Это явилось следствием напряженного труда многих поколений переводчиков. Традиции художественного перевода в России и посвящено интересное и глубокое исследование ленинградского ученого, много лет работающего над этой проблемой.

Задачу своего труда автор определяет так: «Нам хотелось показать этих людей, внесших такой важный вклад в развитие отечественной культуры, чьими глазами Россия прошлого века читала мировую литературу, выяснить сколько возможно их судьбы, мотивы, побудившие их обратиться к переводческой деятельности». Книга состоит из 12 глав, каждая посвящена выдающемуся переводчику. Естественно, она открывается очерком о В. А. Жуковском, корифее русской переводной поэзии. За этим следуют главы, освещающие жизнь и переводческую деятельность М. П. Вронченко, Э. И. Губера (первого переводчика «Фауста»), А. Н. Струговщикова, раздел о В. Г. Белинском как теоретике перевода, об Иринархе Введенском, А. В. Дружинине как переводчике Шекспира, о Н. В. Гербеле, М. Л. Михайлове, Д. Е. Мине, Д. Л. Михайловском, П. И. Вейнберге. Список солидный, но, как признает сам автор, далеко не полный. Не вошли в книгу Н. Х. Кетчер, А. И. Кронеберг, Н. В. Берг, П. А. Козлов, Н. А. Холодковский и, добавим, А. А. Фет. Автор ограничился фигурами достаточно показательными, чтобы заострить внимание на принципах и проблемах литературного перевода.

Особенно большое место занимает в исследовании Ю. Левина проблема поэтического перевода. Как он показал, уже В. Жуковский видел в переводчике поэзии оригинального творца. «Конечно, первая мысль, на которой основано здание стихотворения, и план этого здания принадлежат не ему... но, уступив это почетное преимуще-

ство оригинальному автору, переводчик остается творцом выражения», и он выполнит свою задачу «только тогда, когда, наполнившись идеалом, представляющимся ему в творении переводимого им поэта, преобразит его, так сказать, в создание собственного воображения; когда, руководствуемый автором оригинальным, повторит с начала до конца работу его гения». Жуковский учил также, что переводчик должен не только проникнуться духом переводимого поэта, но «искать его красот в самом их источнике, то есть в природе». Жуковский понимал это буквально, советуя для лучшего изображения природы поселиться в деревне. Он был, однако, безусловно прав, считая необходимым для переводчика знание того, что составляет содержание поэмы.

Наконец, Жуковскому принадлежит положение, признаваемое и теперь: «...прекрасное редко переходит из одного языка в другой, не утратив своего совершенства: что же обязан делать переводчик? Находить у себя в воображении такие красоты, которые бы могли служить *заменою*, следовательно, производить *собственное*, равно превосходное: не значит ли это быть творцом»?

Сам Жуковский был именно таким оригинальным поэтом. Суммируя мнение современников о нем, Белинский считал, что поэт не переводит, а воссоздает, «берет у немцев и англичан только свое». То же самое считал и Гоголь: «Переводчик теряет собственную личность, но Жуковский показал ее больше всех наших поэтов». Он не Шиллер, не Уланд, не Вальтер Скотт, «но — поэт, от них всех отдельный, достойный поместиться не у ног их, но сесть с ними рядом, как равный с равным».

Кратко касаясь Пушкина, Ю. Д. Левин отмечает развитие им традиции Жуковского. Пушкин пошел дальше своего учителя. Он освоил стилистическое богатство мировой литературы, превратив его в достояние литературы русской. У Пушкина наблюдалось необыкновенное разнообразие обращения с подлинником — от вольного переложения, переложения, переходящего подчас в пародию, до весьма точного перевода.

Высоко ценя значение Жуковского, Ю. Левин показывает, что со временем изменились и оценка его переводов, и принципы переводческого искусства. Так, уже Белинский писал, что он был «способен верно и глубоко воспроизводить только таких поэтов и такие произведения, с которыми натура его связана родственною симпатиею». Белинский первым выдвинул требование воссоздания в переводе поэтической формы оригинала; но, конечно, во главу угла он ставил передачу духа оригинала, по возможности сохраняя национальный колорит произведения.

Сочетая рассмотрение теории с практикой перевода, Ю. Д. Левин подробно останавливается на том, как переводили «Фауста» Э. Губер и А. Струговщиков, а Шекспира — М. Вронченко, Н. Полевой, А. Дружинин, Н. Гербель, Д. Михайловский и П. Вейнберг. Много внимания уделено разбору лирики М. Л. Михайловым и другими поэтами. Останавливается исследователь и на знаменитом переводе Д. Е. Мином «Божественной комедии». Приводятся переводческие удачи и ошибки, попутно характеризуются особенности подлинника.

Большой интерес представляет и глава об Иринархе Введенском — единственная, посвященная проблеме прозаического перевода. Выбор автора верен. Именно этот переводчик дает наибольшие основания для проблемного рассмотрения прозаического перевода. Как пишет Ю. Левин, «Введенский-переводчик был для своего времени явлением исключительным», создавшим яркие переводы романов Диккенса и Теккерея. И. Введенский явился основателем школы «творческого перевода» прозы, Ю. Левин показывает, что теория Введенского опиралась на принципы, впервые выдвинутые В. Белинским. Так, он считал, что иностранного писателя нельзя переводить буквально или слишком близко к оригиналу. Настаивая на том, что переводчик должен усвоить дух писателя, сущность его идей и присущий данному автору «образ выражения этих идей», Введенский, однако, утверждал и необходимость такого перевода, который учитывал бы дух литературы той страны, на язык которой переводится книга. Его принцип гласит: надо представить себе, какую форму избрал бы писатель, если бы жил в стране, на язык которой переводится данное произведение. Сам И. Введенский придерживался этого правила, почему писал Диккенсу: «Понимая Вас как англичанина, я в то же время мысленно переносил Вас на русскую почву и заставлял Вас выражать свои мысли так, как Вы сами могли бы их выразить, живя и развиваясь под русским небом». Но в применении этого принципа Введенский иногда присваивал себе права автора, расширял авторский текст, дописывал его, добавлял обстоятельства, подробности и эпитеты, отсутствующие в оригинале. Было ли это произволом? И. Введенский действительно как бы ставил себя на место Диккенса и Теккерея, приближая их романы к реалистической манере русской литературы. «Своими переводами,— пишет Ю. Левин,— Введенский несомненно способствовал развитию русского литературного языка. Он старался использовать все доступное ему богатство родной речи. В переведенных им романах в зависимости от развития содержания сочетаются различные стилистические пласты: возвышенная литературная речь, официальный канцелярский жаргон (...) и многообразные виды просторечия, варьирующиеся в зависимости от изображаемого объекта». Бесспорно и то, что И. Введенский придал прозаическому переводу подлинно художественные качества, под его пером романы английских писателей становились литературными произведениями, обладавшими таким же богатством выразительных средств русского языка, как и подлинник по отношению к современному языку Англии.

Сказанное далеко не исчерпывает принципиальных вопросов перевода поэзии и прозы, освещенных Ю. Левиным. Теоретические положения перемежаются в книге конкретными разборами переводов в соотношении с оригиналами. Очень интересны сопоставления вариантов работы одного и того же переводчика, как и сопоставления одного и того же текста в переводе разных мастеров. Автор подчеркивает актуаль-

ность проблем, волновавших переводчиков того, казалось бы, отдаленного от нас времени, причем дело не только в принципах, но и в индивидуальности мастеров перевода. Перед нами проходит жизнь и деятельность русских переводчиков, чьи биографии и характеристики написаны не только обстоятельно, но и с симпатией, и уважением к их труду.

Проблемы, освещенные в книге, остаются злободневными. К сожалению, важность задач переводческого искусства не всегда сознается. Так, издательство «Художественная литература» прекратило выпуск ежегодников «Мастерство перевода», а они очень нужны: и для освоения опыта, и для дальнейшего развития искусства перевода. Остается сказать, что, читая книгу Ю. Левина, невольно задаешь вопрос: когда же появится труд, который полно и глубоко осветил бы русское переводческое искусство нашего века? Потребность в такой книге давно назрела.

А. АНИКСТ

И МЫСЛЬ, И ЧУВСТВО

Поль Элюар. Стихотворения. Москва, «Художественная литература», 1985. Серия «Поэтическая библиотека».

Несмотря на то что у нас издан широкий круг современных французских писателей, несколько известных поэтов, прозаиков и драматургов не нашли своих переводчиков.

Так, М. Кудинов превосходно перевел Г. Аполлинера и Блеза Сандрара, но не менее увлекательную задачу представляли бы переводы Поля Клоделя, получившего мировое признание поэта-драматурга. Ну, а Фейдо? На первый взгляд парадоксально, что даже видные наши переводчики еще не подступились к текстам его комедий и мелодрам.

На самом же деле мы здесь встречаемся отнюдь не с парадоксом. Это действительно, как говорят, «непереводимые» авторы. И можно назвать еще десятки поэтов, не обретших своего голоса в русских переводах.

В одном ряду с названными писателями до некоторых пор стоял и Поль Элюар, младший современник Аполлинера и один из самых влиятельных поэтов-новаторов нашего века.

Если Аполлинер был тесно связан с сюрреалистами и большой группой художников 20-х годов, был в значительной степени их теоретиком, то Элюар, совершая свой путь к «горизонту всех», уже в 20-х годах заговорил языком на первый взгляд загадочным, но отнюдь не языком сюрреалистов, с которыми одно время был связан. Ему были свойственны

Ясность приемов:
Прозрачные стекла,
Терпенье...

(«Салон», перевод М. Ваксмахера)

Мысль молодого Элюара сразу обрела полет, ассоциативность его поэтического мышления была иной, чем у Андре Бретона и молодого Арагона.

Даже когда поэзия Элюара осложнилась, стала более рафинированной, подчас малодоступной (в сборниках 30-х годов), оценившие ее читатели утверждали, что Элюара надо читать не глазами, а «эхом собственного сердца».

Впрочем, содержание его стихов никогда не было загадкой. Загадочными были расстановка и соотношение слов, сам поэтический размер, целиком опиравшийся на интонацию поэта.

В отличие от Луи Арагона, который создавал яркие, зримые образы, виртуозно пользуясь рифмой, Элюар отображал внешний мир только по отдаленной аналогии. Образ города, пейзаж, человеческое лицо никогда не всплывают в поэзии Элюара в их обычном прочтении. Поэт не овеществляет мир своей души, он создает сплав мысли — чувства, мыслит чувства. Даже в стихах с «сюжетом», надо всем господствует не действие, а размышление о нем.

Не стоит кривить душой и утверждать, что сложности переводов поэзии Элюара заключались лишь в своеобразии ее формы. Должны были пройти годы (а точнее тридцатилетие), чтобы его стихи полнозвучно зазвучали по-русски — таким естественным казалось желание кое-что «прояснить», переосмыслить в его поэзии.

Поддавшись этому поветрию, даже Павел Антокольский, превосходно переведя поэму «Оружие горя», в стихотворении «Couvre-feu» заключительную строку «Que voulez-vous nous nous sommes aimés» перевел словами: «Довольны вы? Мы с вами братья, да» [1].

Но затруднения с работой над текстами Элюара заключались не только в том, что переводившие его поэты видели в нем лирика, а не мыслителя. Действительно, совсем не просто быть точным в передаче слова Элюара и поэтичным в духе подлинника. Поэтому важной вехой в развитии нашей переводческой школы явилось издание стихов Поля Элюара в серии «Литературные памятники». Не менее отрадным событием для нас стало массовое издание стихов поэта, приуроченное к девяностолетию со дня его рождения.

Здесь по справедливости преобладают переводы М. Ваксмахера, но в сборник вошли в большинстве случаев новые переводы Элюара — А. Ладинского, С. Северцева, А. Тверского, А. Голембы, а также ранее публиковавшиеся переводы П. Антокольского и Н. Разговорова.

Именно благодаря их участию в издании расширился и стал более полным состав отдельных поэтических книг Элюара.

Теперь полнее представлена последняя книга стихов Поля Элюара — «Феникс» (1951). А. Ладинский удачно перевел вступительное стихотворение по которому книга получила свое название.

---

[1] П. Элюар. Избранные стихи. М., 1961, с. 14.

В той же книге очень хорошо звучит по-русски стихотворение «Ты со мной сегодня Доминика» в переводе С. Северцева, которому всегда удавались переводы интимной лирики Элюара.

Читатели найдут здесь также стихотворения «Легкая мелодия» (новый перевод М. Ваксмахера), «Мы двое» (перевод П. Антокольского), «Весна» (перевод С. Северцева).

Таким образом из 17 стихотворений сборника «Феникс» у нас переведены уже десять.

Но вернемся к основному составу сборника. Среди многочисленных переводов М. Ваксмахера хочется отметить прежде всего цикл стихов, озаглавленный «Жаркая жажда жить» («Le dur désir de durer», 1946).

Основной принцип отражения внешнего мира у Элюара можно с некоторым упрощением назвать стереоскопичным. Все частицы вселенной как бы притягиваются магнитом, мгновенно соединяясь под пером Элюара. В этом отношении его можно сравнить с Марком Шагалом, которому посвящено первое стихотворение цикла.

Морис Ваксмахер так точно следует за поэтом, что стихотворение «Марк Шагал», как образец и эталон, хотелось бы привести в параллельном переводе.

Столь же близок Ваксмахер к Элюару, когда передает его логические построения:

Мои глаза разлучены с твоими
Они утратили доверие и свет
Мои уста разлучены с твоими
И у меня все валится из рук
И ноги у меня разлучены с твоими
Им больше не ходить им больше нет дорог
Им ни усталости ни отдыха не знать
. . . . . .
Я рядом был с тобой мне холодно
с другими.

(«Моя живая покойница»)

Тот же принцип изложения применен в замечательном цикле «Памятное тело». Несколько стихотворений этого цикла еще ждут своего переводчика.

Дополнилась новыми переводами и книга стихов «Суметь все сказать» (1951) — итог раздумий поэта о современном мире и призвании человека. Трудности, с которыми встретился Элюар, обращаясь к политической поэзии, хорошо переданы в первых же словах поэмы: «Все в том, чтобы все сказать»... А сказать надо было о «Тревоге людей нашего времени» (перевод А. Ладинского).

Цикл этот украшен стихотворением о Маяковском («Вдохновение поэта», перевод С. Северцева).

«Стихотворения» Поля Элюара не только включают все лучшее, что уже было издано у нас — раннюю лирику, поэзию 30-х годов, большой раздел стихов эпохи Сопротивления, послевоенную политическую лирику и известные стихи Элюара, борца за мир. Книга концентрирует внимание читателей на наиболее актуальной стороне поэзии Элюара, полнее вводит нас в его внутренний мир.

И. ДЮШЕН

ЖИВОЕ ДЫХАНИЕ ТРАДИЦИИ

Синь Цицзи. Перевод с китайского. Вступительная статья и примечания М. Басманова. Москва, «Художественная литература», 1985.

У искусства слова особая роль в жизни людей. Оно приносит, будит возвышенные чувства, наделяет мудростью. Призывает к доброте и человечности. Язык искусства интернационален. Он понятен людям, живущим в разных землях Востока и Запада.

Четверть века назад советский читатель получил возможность познакомиться с творчеством необыкновенного китайского поэта Синь Цицзи, и вот теперь вновь вышел в свет значительно дополненный сборник переводов стихотворений поэта.

Синь Цицзи (литературное имя — Цзя Сюань) жил на закате Сунской эпохи (960—1279). Под эгидой Сунской династии страна была объединена, расцветали наука, искусство и литература. Однако в первую четверть XII века остро проявились социальные противоречия, как следствие гнета феодалов и изощренных поборов императорского двора. В разных концах Китая разгораются крестьянские восстания. Страну с нарастающей силой захлестывают вторжения воинственных кочевых племен.

В 1127 году под ударами полчищ чжурчженей пала столица Сунской империи Бяньцзин (ныне — Кайфын); ими были захвачены почти все земли к северу от Янцзы и образовано государство Цзинь.

Поэт родился в 1140 году в провинции Шаньдун, которой к этому времени уже завладели чжурчжэни. Своими глазами будущий художник видел бедствия и лишения соотечественников. Получив классическое образование, Синь Цицзи имел возможность по примеру многих сверстников стать чиновником цзиньского двора, но предпочел путь мужественной борьбы. Двадцатилетним юношей он возглавил отряд воинов-патриотов и провел молодость «не сходя с седла, в походах ратных, в подвигах геройских».

Поэзия Синь Цицзи — живое дыхание времени, летопись патриота и гражданина, для которого личная жизнь неотделима от судеб родины. Лейтмотив большинства его произведений — страстный призыв следовать свободолюбивым традициям предков и возродить патриотический дух героев древности. Воскрешая в памяти образы легендарных полководцев с их самоотверженным служением народу, поэт клеймил позором погрязших в междоусобицах и интригах правителей южносунского двора, раболепствовавших перед завоевателями, лишь бы сохранить свои привилегии. Придворной камарилье поэт противопоставил «просвещенного мужа, высокой души человека», готового перенести любые лишения, но не запятнать себя подлостью и бесчестьем.

Смелая, обличительная поэзия Синь Цицзи встречала одобрение крупнейших поэтов-патриотов: Лу Ю и Чэнь Ляна, философа Чжу Си и других носителей освободительных идей и вольнодумства. Сторонни-

ки же примирения с цзиньцами, в свое время погубившими не знавшего поражений полководца и поэта-патриота Юэ Фея, спешили свести с Синь Цицзи счеты. Оклеветанного перед императором поэта отсылали на службу в отдаленные районы, он дважды принужден был уходить в многолетнюю отставку. Однако, куда бы ни бросала его судьба, он всюду оставался человеком гордого и независимого характера, открыто высказывал свои мысли в докладах на «высочайшее имя», в военных трактатах и литературных произведениях, озабоченный лишь тем, как «спасти от крушенья державу».

Поэтическое наследие Синь Цицзи составляет свыше четырехсот стихотворений, значительная часть которых представлена в рецензируемой книге. Стихотворения в ней сгруппированы в пять разделов: «Строфы мужества и гнева», «Горы и реки», «Разлуки и встречи», «Строфы любви», «Раздумья». Названия разделов говорят сами за себя. Это — патриотическая, пейзажная, любовная и философская лирика.

Обращаясь к страницам китайской истории, прославляя близких его сердцу героев, Синь Цицзи не обходит вниманием и простых смертных: крестьян, чья бесхитростная трудовая жизнь видится поэту исполненной особого значения и смысла; танцовщицу, чье исполнительское мастерство может даже «бегущие облака остановить», молоденькую служанку, которую, к радости поэта, судьба не столкнула с развратником и негодяем.

В годы скитаний на чужбине поэт предается воспоминаниям о друзьях, в заочных беседах с которыми высказывает свои политические взгляды и как бы полемизирует с ними или с самим собой; грустит в разлуке с любимой и, размышляя над смыслом жизни, приходит к выводу: «Жизнь человека — это труд, а труд земледельца превыше всего».

Почти во всех стихотворениях Синь Цицзи присутствует природа, образы которой так мастерски используются им для передачи тончайших оттенков настроений, для выражения своего отношения к тем или иным событиям:

...Листвы густой волнуется поток,
И в нем затерян розовый цветок.
И нежной красоте его не надо
Ни почестей,
Ни славы,
Ни награды...

(«Лазурные взмывают в небо горы...»)

Но Синь Цицзи тяготится жизнью отшельника, а высказываемое иной раз чувство упоения жизнью в одиночестве на лоне природы, в общении с чайками и цаплями не больше как дань поэтической традиции, насильственная самоуспокоенность и бравада. Действительное же настроение поэта звучит в таких или подобных строках:

...Горько смеюсь над моей
Хижиной, всеми забытой.
Двор утопает в траве,
Мхом затянулась дорожка.
Руки томятся мои —
Им не найду примененья.
Разве затем, чтоб держать
Чарку, даны эти руки?
Нет же, еще и теперь
Я о мече помышляю,
И для стихов у меня
В сердце живет вдохновенье!..

(«Золото крыши дворца...»)

И не тщеславие это, не вожделение карьериста, а крик души гражданина и патриота, горящего желанием служить мечом и стихом бедствующей родине, своему народу. Служить только им, а не прислуживать царедворцам, покушающимся на святая святых — независимость поэта.

Во многих стихотворениях Синь Цицзи обнаруживается естественность слова, многообразие интонационного рисунка, тонкое ощущение динамического строя стиха.

Я вовсе не рвусь на вершину,
И цель моей жизни не в этом.
Творить, оставаясь свободным,—
Иного не надо поэтам!

(«Брожу в одиночестве на горе Сиянь»)

Бескорыстно служивший родине, поэт, как свидетельствуют биографы, умер в бедности, оставив после себя бесценное литературное наследство. К творчеству Синь Цицзи как нельзя лучше применимы его же слова, сказанные о гениальном Тао Юаньмине: «Тысячелетье в вечность отлетело, но все живут бессмертные творенья».

Дочитываю сборник, но медлю закрыть его. Перелистываю страницы в обратном порядке, внимание задерживается на особо полюбившихся строках. В них — дыхание далекой эпохи, ясно видятся приметы времени, чувствуется колорит древней китайской поэзии с ее традиционными образами, символикой, афористичностью и недосказанностью завершающих стихотворение строк.

Нет, Синь Цицзи не любит поучать. Предпочитает скорее недосказанность. И в этом таится особая прелесть — готовность к приятию нового, неизведанного ощущения. Душевная предрасположенность к чувству, открывающемуся нам на поэтическом вдохновении. И кажется, перед тобой не перевод, но явление русской поэзии.

В этом, как мне представляется,— главная особенность и достоинство переводческого мастерства М. Басманова. Китаист, он переводит с иероглифического оригинала сам, глубоко проникая в духовный мир поэта и его произведения, с максимальной точностью воссоздавая содержание, образную систему и художественные особенности подлинника.

Выход в свет сборника стихотворений Синь Цицзи, несомненно, отрадное событие в литературной жизни нашей страны, новое свидетельство неослабевающего интереса в Советском Союзе к литературному наследию Китая, определенный вклад в развитие духовного понимания китайского народа и его художников.

Подлинное искусство слова, проникнутое общечеловеческой мыслью, свободно от национальных ограничений. Это, однако, вовсе не означает, что оно лишено таких измерений, как время и место возникновения, своеобразие века и родного очага, оригинальность и самобытность. Именно благодаря всему этому творения искусства и выходят за национальные пределы и становятся фактом художественного творчества человечества. В духовную нашу жизнь

вошло живое наследие великого поэта китайской древности.

Н. ФЕДОРЕНКО

МЕНЯЯСЬ И ОБНОВЛЯЯСЬ...

Времена года. Из современной японской поэзии классических жанров. Перевод с японского. Составление и предисловие А. Долина. Москва, «Радуга», 1984.

Открывая новый сборник переводов японской поэзии, каждый раз неизбежно испытываешь волнение: удалось ли переводчикам донести до нашего читателя ее неповторимое своеобразие. И дело не столько в незнакомых, экзотических реалиях, в неожиданных образах и темах, в странных аллегориях, которые в конечном счете непременно присутствуют во всякой переводной поэзии, сколько в непривычности самой формы. Не всякий согласится безоговорочно признать за семнадцатисложными трехстишиями или за тридцатиодносложными пятистишиями право называться поэтическим произведением высокого уровня. Два этих традиционных жанра — хайку и танка — существуют на протяжении многих веков. Имена таких крупнейших поэтов, как Сайгё, Басе, Исса, Бусон, Исикава Такубоку, уже известны и в нашей стране. И все же японская поэзия в классических жанрах часто воспринимается лишь как любопытный феномен.

Кстати, не виртуозное жонглирование изящными образами и мастерски построенными фразами не многословное мудрствование, не история, облеченная в стихотворную форму, а лишь намек, абрис, пунктир — таковы законы хайку и танка. Вместо изящной вычурности — предельная простота. Правда, эта простота только кажущаяся. Малейший, едва уловимый намек влечет за собой цепь очевидных или трудноуловимых ассоциаций.

Классическая японская поэзия обычно имела два (или несколько) уровней понимания текста, что часто достигалось за счет словесной игры, омонимии. Под внешне непритязательной оболочкой часто скрывалось глубокое философское видение мира. Считалось, что поэзия должна непременно обладать свойством югэн («сокровенной красоты»). Остановить мгновение и, руководствуясь принципом югэн претворить его в слова — такой была задача средневековых поэтов. Прошли века, утратили былую актуальность буддийские концепции, но японские поэты по-прежнему продолжали «останавливать мгновения» и все тот же принцип югэн непременно ассоциирующийся с неброской красотой, полумраком, грустью, ощущением зыбкости и непостоянства всего сущего, можно ощутить и в стихах современных поэтов.

Более семидесяти лет назад московское издательство «Мусагет» выпустило тоненькую книжечку с гравюрой Хокусая на обложке и скромным названием «Японская поэзия».

Так начиналось знакомство русских читателей с поэзией Страны восходящего солнца, и хотя переводы были выполнены не с оригинала, а с немецких источников, уже тогда в них ощущался пульс живой русской поэзии.

Новый сборник «Времена года» позволит читателям познакомиться с творчеством двенадцати крупных японских поэтов нашего века, творивших в жанрах хайку или танка, почему они — красноречивое свидетельство того, что поэзия в классических жанрах и в XX веке сохранила свою чарующую привлекательность.

Книгу открывают подборки стихотворений двух признанных мэтров — Масаока Сики и Такахама Кёси, оказавших сильнейшее влияние на все последующее развитие японской поэзии в традиционных жанрах. Безвременно ушедший из жизни Масаока Сики приложил немало усилий, чтобы разрушить сложившийся в поэтической среде культ Басё, который привел к появлению построенных на устойчивых штампах безжизненных стихотворений, где не оставалось места для искреннего чувства. Сики ратовал за создание нового лирического и реалистического стиля. В то же время сам Сики, демонстративно отвергая традиции Басё, на деле оставался лучшим его продолжателем и обновителем:

Зимний сумрачный день —
одиноко летит над лугом
большая птица...

(Перевод А. Долина)

На память невольно приходят знаменитые строки Басё:

На голой ветке
ворон сидит одиноко
Осенний вечер.

(Перевод В. Марковой)

При всем очевидном сходстве эти два стихотворения кардинально противоположны. Не по содержанию — по вызываемым ими эмоциям. У Басё — осень, у Сики — зима, хотя неотвратимость ее прихода ощущается уже в стихотворении Басё. Вместо голой ветки у Сики — луг. Вместо сидящего ворона появилась летящая птица — конкретность образа сменилась расплывчатостью, неопределенностью. Только тема одиночества остается центральной, связующей оба стихотворения. И все же в этих едва приметных деталях и заключено основное отличие принципиально нового взгляда Сики на мир. Он отстаивал принцип «сясэй» (изображения с натуры), смысл которого в максимальной отстраненности и беспристрастности субъекта при реалистическом отображении внешнего мира. Для Басё пейзаж служит лишь внешним средством для передачи настроения: не просто одинокий ворон однажды увиденный и запечатленный в его сердце, изображен в хайку, а то душевное состояние, которое наиболее адекватно можно передать при помощи осеннего пейзажа,— такова задача Басё. Сики же ставит перед собой иную задачу. Он стремится не к воплощению в стихотворении своих душевных эмоций, а к тому, чтобы нарисовать пейзаж таким каким он предстает его взору независимо от личных переживаний и чувств, которые он вызывает. Поэтому основным является противопоставление статичного, вырванного из круга перемен ворона (сидит? сидел? будет

сидеть?) — птице, летящей над зимним лугом (сейчас, и только сейчас!). У Басё — мгновение, приравненное к вечности, у Сики — повседневность, застывшая на мгновение.

Непосредственным и самым любимым учеником Сики был Такахама Кёси, бессменный редактор главного печатного органа поэтов, творивших в жанре хайку,— «Хототогису» («Кукушка»). В отличие от своего учителя, не чуравшегося и приземленной, бытовой тематики, Кёси создавал преимущественно пейзажную лирику. Его хайку отвечают основным требованиям «сезонной поэзии», непременно содержат устойчивые ассоциации, указывающие на конкретное время года. Название сборника — «Времена года» — с полным правом может быть отнесено именно к поэзии Кёси. Не случайно он — единственный, чьи стихи составитель распределил не по названиям книг, а по сезонам.

Иида Дакоцу и Мидзухара Сюоси начинали как ученики Кёси, но впоследствии отмежевались от учителя, неудовлетворенные его чрезмерной отстраненностью от реальной действительности. В хайку этих поэтов в большей степени нашли отражение простые человеческие чувства и переживания, порой не лишенные налета романтизма. Они уже не только воспевали мир природы в духе «объективного реализма», но старались быть ближе к реальной действительности.

В еще большей степени отошел от традиционной тематики и образности хайку Мацумото Кёсо. Его хайку напоминают повседневные записи, бытовые экспромты. Они лишены излишней красивости, насыщены разговорной лексикой. Именно в его поэзии отчетливо чувствуется, что время наложило свой отпечаток и на традиционные жанры. Именно контрастность между конкретно-земным и возвышенно-поэтическим придает хайку Кёсо особую выразительность:

В траве зеленой
окурок сигареты
ногою.

Свет зажигаю —
и вижу, как проходит
во тьме лифт ливня.

Яйцо сырое
пью после обливаний
водой холодной.

(Перевод В. Бурича)

Остальные поэты представлены в сборнике исключительно поэзией в жанре танка. Каждый из них индивидуален и по-своему оригинален, что и удалось в значительной мере передать переводчикам.

Лиризм окрашенный легкой грустью, пристальное внимание к окружающей действительности характерны для поэзии Сайто Мокити, известного ученого-литературоведа и поэта, который подверг творческому осмыслению некогда провозглашенный Сики принцип «объективного реализма».

Совершенно в иной тональности выдержана поэзия Ёсии Исаму, который первоначально приобрел известность как певец хмельного застолья, чувственных наслаждений и богемной раскованности. Но уже в ранних стихах звучащие нотки грусти с годами все усиливаются, беззаботная, нарочито шокирующая поэзия сменяется грустной, задумчивой лирикой.

Каждый из представленных в сборнике поэтов интересен по-своему. Сяку Тёку (поэтический псевдоним крупнейшего ученого-этнографа и филолога Оригути Синобу) сумел привнести в свои необычайно лиричные танка многолетний опыт этнографических поездок по глухим уголкам японских провинций. В поэзии Кавада Дзюн значительное место занимают поэтические зарисовки, сделанные автором во время посещения знаменитых храмов и священных мест, но особенно ярко запоминается его нежная и искренняя любовная лирика из цикла «Обнаженное сердце». В поэзии Маэда Югурэ сквозь романтическую дымку прорываются нотки натурализма и скептицизма, который нередко поднимается до уровня подлинного трагизма. Социальные мотивы отчетливо звучат в танка Мия Сюдзи, в которых нашли отражение и фронтовой опыт поэта, и тяготы послевоенных лет. Гражданская позиция Икэда Сумиёси получила воплощение и в его злободневной, почти публицистической лирике.

Двенадцать японских поэтов — ровно по числу месяцев в году — представлены в сборнике «Времена года». Неодинаков литературный талант и неравноценно литературное наследие всех этих авторов, но ясно одно — хайку и танка выдержали испытание временем. В двадцатом веке они продолжают оставаться столь же необходимыми, как и много веков назад. Хотя неизменной в них осталась лишь внешняя форма. Другими стали лексика, тематика, тональность. Утонченный эстетизм уступил свои позиции под натиском трагической повседневности. Позволю себе привести слова выдающегося аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса: «Возможно, что чувства, возбуждаемые литературой, вечны, однако средства должны меняться хотя бы в малейшей степени, чтобы не утратить свою действенность. По мере того как читатель их постигает, они изнашиваются. Вот почему рискованно утверждать, что существуют классические произведения и что они будут классическими всегда». Эти слова с полным правом можно отнести и к классическим жанрам японской поэзии, которые продолжают жить и ныне — меняясь и обновляясь.

А. КАБАНОВ

...НАПРЯЖЕННАЯ ПОЭЗИЯ ЖИЗНИ...

Современная ангольская поэзия. Сборник. Перевод с португальского. Составление Е. Ряузовой. Москва, «Радуга», 1985.

После пятисот лет рабства и десяти лет свободы Ангола и сейчас остается одной из «горячих точек». Это страна, вынужденная созидать, защищаясь. Одну из своих основных задач народ Анголы видит в развитии национальной культуры и в первую очередь — лите-

ратуры, способной воплотить ее лучшие традиции и отразить те перемены, которые произошли (и происходят) в жизни и сознании ангольцев.

Об ангольской прозе можно сказать, что она находится еще в процессе становления, что вовсе не исключает наличия талантливых писателей, разрабатывающих в основном малые прозаические жанры. Из писателей старшего поколения — это Ж. Луанди-но Виейра, Антонио Кардозо, Мануэл Руй, а среди молодых — Жоржи Маседо, Жофре Роша, Октавиан Коррейа. Напротив, ангольская поэзия уже сегодня вполне определившееся явление африканской культуры. В этом советский читатель и сам может убедиться, ознакомившись со сборником «Современная ангольская поэзия», содержащим произведения двадцати пяти поэтов,— первое издание такого рода на русском языке; в предыдущие сборники и антологии африканской поэзии были включены лишь некоторые образцы поэзии Анголы.

В антологию вошли новые переводы уже известных авторов, поэтов старшего поколения, стоящих у истоков современной ангольской поэзии,—Т. Виейры да Круз, М. де Алмейды Гомеса. Здесь и молодые авторы, пришедшие в литературу сравнительно недавно,—Ж. Маседо, Р. Дуарте де Карвальо, Д. Местре. Антология объединяет поэтов разных творческих манер и направлений, стараясь по возможности наиболее полно представить характерные тенденции и основные этапы развития ангольской поэзии 30-х — начала 80-х годов.

То, что поэзия оказалась способной выполнить задачи, поставленные перед ангольской литературой самой жизнью, отнюдь не случайно. Именно поэзия с ее экспрессивностью, непосредственным обращением к чувству, способностью мгновенно реагировать могла в полной мере передать динамику событий революционных лет, найти свою аудиторию — зачастую слушателей, а не читателей. С другой стороны, стремительное развитие событий, требующее разработки новых тем и привлечения новых средств выразительности, обращение к традиционной народной поэзии, освоение лучших образцов европейской (в первую очередь португальской) поэзии — все это дает возможность постоянного обновления и развития поэзии Анголы, определяет многообразие ее жанров, тем и направлений. Это лирические стихи, воспевающие красоту родной земли, характерные для Т. Виейры да Круз, Ж. Бесы Виктора, и окрашенные в трагические тона стихи-гимны прекрасной, но порабощенной родине, в которых поэты обращаются к истории и культуре Анголы, находя в событиях далекого прошлого предвестие грядущих перемен: стихи А. Кардозо, Ж. Абела, Р. Дуарте де Карвальо. Это элегические воспоминания о детстве (А. де Алмейда Сантос «Засохла мулемба», «У кого канье»; Э. Ларасын «Утраченное детство», «Был сезон тамариндов»; М. Антонио «Улица Майанга»), бытовые зарисовки, жанровые сценки (А. де Алмейда Сантос «Стеклянные бусы», Ж. М. Виланова «Субботними вечерами», «Песнь о рабовладельческом корабле»). Это и поэзия партизанских отрядов — новый жанр в африканской португалоязычной литературе, появившейся в 50—60-е годы: стихи-призывы, стихи-лозунги, проникнутые высоким революционным пафосом, в простой и доступной форме раскрывающие героику будней революции (Т. Жоржи «Подымайся, подневольный!», Ж. М. Виланова «Агитация», А. Абреу «Реквием», «Товарищ команданте», стихи 70-х годов А. Сантоса, А. Барбейтоса, Ж. Роши, М. Руя). Это и стихи-поэмы последнего десятилетия с усложненной образной системой, стремлением к изощренности формы, широким использованием достижений европейской поэзии (Р. Д. де Карвальо, Д. Местре, А. Барбейтос, Ж. Маседо). Только перечень основных тем и жанров ангольской поэзии последних четырех десятилетий дает представление о сложности и многообразии литературного процесса в стране.

И все же хотелось бы выделить одну из сквозных тем, которая во многом определяет тональность сборника, свидетельствуя о зрелости ангольской поэзии. Поэт и поэзия, цель и предмет поэзии, предназначение поэта, его поэтическое кредо — тема «программных» стихотворений-манифестов, широко представленных в антологии. Ведь еще в 30-е годы поэты Анголы утверждали, что национальная поэзия должна обрести неповторимость, самобытность. Все вокруг, считает Алмейда Гомес, может стать источником поэтического вдохновения, «пейзажи, люди, звери», человеческие деяния и «тайны души» — все это тема новой поэзии:

Эта новая поэзия,
сильная, нежная, прекрасная,
омытая кровавыми слезами,
выстраданная и возвышенная,
будет символом веры.

О высоких требованиях, предъявляемых к поэту, о его бескомпромиссности в вере и ненависти, способности повести за собой людей и, если надо, погибнуть в борьбе, говорят А. Кардозо («Поэты», «Предупреждение»), А. Даскалос («Пробуждение»), А. Лара («Предназначение»), Ж. Маседо («Поэты»). Миссия поэта, поэзия как выразительница народной души — одна из доминирующих тем у Агостиньо Нето, политического вождя и талантливого поэта. Нескончаемый источник обновления и обогащения новой поэзии — в традиционной африканской культуре, возрождение и развитие ее — одна из основных задач ангольской революции. Для поэта нет тем больших и маленьких, все проявления повседневной жизни есть поэзия («За гранью поэзии»). Каждый человек — будь то продавец газет или прачка, бродяга или грузчик — все материал для стихотворения или поэмы: эту мысль разделяют А. Жасинто («Чужая поэма»), Ж. Абел («Моя улица»).

Ангольская поэзия — «поэзия, родившаяся в пороховом дыму» — действенная сила, способная «приблизить мечту», разбудить в душе людей надежду и волю к борьбе и созиданию.

Антология «Современная ангольская поэзия» представляет обширнейший и разнообразный материал, адресованный самым разным читательским кругам. Именно поэтому обращают на себя внимание некоторые просчеты, хотя они не умаляют достоинств сборника в целом. Так, хотелось бы

составить более полное впечатление о поэтах, чьи стихи вошли в антологию,— кратких «справок об авторах» явно недостаточно. В сборнике отражена целая эпоха — зарождение, становление, развитие национальной поэзии,— а все комментарии по этому поводу сводятся к нескольким строкам «От издательства». Думается, что столь серьезное издание можно было сопроводить предисловием (послесловием) или расширенными комментариями.

Меняются времена, меняются условия, в которых развивается ангольская поэзия, изменяются и требования, предъявляемые к ней жизнью. От разрушения, ниспровержения — к созиданию; от социальных проблем, связанных с колониализмом,— к проблемам национального самосознания; от специфически национального — к общечеловеческому. Эту динамику развития в полной мере передает новый сборник.

Е. ГОРБАНЬ

Издано за рубежом

НОВЫЕ РАБОТЫ АМЕРИКАНСКИХ ПУШКИНИСТОВ

Сто лет назад, в 1886 году, в Соединенных Штатах появились переводы «Войны и мира», «Анны Карениной», «Детства, отрочества, юности». То был памятный год, когда Америка прочитала Толстого, «Мертвые души» и повести Гоголя, «Преступление и наказание» Достоевского, «Что делать?» Чернышевского (в двух разных переводах). В конце века Тургенев и Толстой стали любимыми писателями американцев.

Вторая волна интереса к русской литературе возникла в Америке в 1920-е годы. Огромный интерес вызывали Достоевский и Чехов, которые, по признанию американских критиков, воспринимались как свои, американские, писатели — столь близка была их проблематика читателям за океаном.

После второй мировой войны пришло время более углубленного восприятия в Америке Гоголя. Он уже вошел в сознание американских писателей, критиков и читателей.

Когда в 1899 г. в Калифорнии праздновалось 100-летие рождения Пушкина, русский публицист П. Тверской, проживший 12 лет в США, сообщал: «Насколько мне известно — а я навел самые тщательные справки,— это первый случай публичного чествования в Америке самими американцами памяти не только русского, но и какого бы то ни было другого иностранного поэта» («Вестник Европы», 1899, № 9, с. 334). За восемьдесят семь лет, прошедших с тех пор, появились и переводы произведений поэта, и книги о Пушкине, но, думается, его время в США еще впереди. До сих пор поэзия Пушкина не переведена полностью на английский язык. Прозе повезло больше: в 1983 году профессор русской литературы университета Северной Каролины Пол Дебречни выпустил полный перевод прозы Пушкина и фундаментальное исследование о ней [1].

Для Дебречни проза поэта представляет интерес в двух отношениях. Одни произведения («Станционный смотритель», «Пиковая дама») он относит к вершинам русской и европейской литературы, они заслуживают рассмотрения сами по себе. Другие, как законченные, так и незаконченные и даже фрагменты, важны не только для характеристики наследия писателя, но и потому, что знаменуют собой начало одной из наиболее плодотворных эпох в истории русской прозы.

«Станционный смотритель», пишет Дебречни, вдохновил Гоголя на «Шинель», а обе эти повести явились тематической основой для «Бедных людей» Достоевского. Германн из «Пиковой дамы» послужил «прототипом» для Алексея Ивановича в «Игроке» и для Раскольникова в «Преступлении и наказании». Пушкинский Белкин стал «отцом» гончаровского Обломова, а «Капитанская дочка» как «семейная хроника» сослужила свою роль, когда Л. Толстой искал романическую форму для «Войны и мира». Художественное наследие Пушкина, не говоря о прямом влиянии его произведений, определило все направление русской литературы XIX века.

Обращение Пушкина к прозе отвечало общим тенденциям развития русской литературы в 30-х годах прошлого столетия, справедливо отмечает исследователь. В конце 20-х годов поэзия начала уступать ведущую роль прозе. Исключительной популярностью в России пользовались романы Вальтера Скотта, затем Фенимора Купера. В этих условиях становится понятно, почему выпал успех и на долю такого слабого произведения, как «Иван Выжигин» Ф. Булгарина, переведенного в 1831 году даже в Америке. Не случайно Пушкин советовал критикам обращать внимание на общественные причины успеха литературного произведения, не ограничиваясь анализом внутренних его достоинств.

Интересны наблюдения П. Дебречни над отношением Пушкина к художественной специфике прозы. Когда весной 1825 года во время ссылки в Михайловское Пушкин вынашивал планы выезда за границу «для лечения», Жуковский и Вяземский, к которым он обратился за помощью, не восприняли этого всерьез. Пушкин писал, что его друзья лишают его права жаловаться «не в стихах, а в прозе, дьявольская разница». Если бы он излил свои страдания в элегии или в сатире, его друзья радовались бы появлению новых прекрасных стихов, ибо

[1] Pushkin A. Complete prose fiction. Transl. with an introduction and notes by Debreczeny P. — Stanford, Stanford univ. press, 1983—XII, 545 pp. Debreczeny P. The other Pushkin: A study of Alexander Pushkin's prose fiction. — Stanford, Stanford univ. press, 1983. — XI, 386 pp.

он «играл бы» роль гонимого поэта, но, поскольку он жаловался в прозе, было очевидно, что он говорит всерьез, и его друзья должны всерьез отвечать. Иными словами, поэзия была развлечением, а проза — языком деловых сношений, не допускающим «игры».

Первый перевод стихов Пушкина появился в США в 1849 году. То был «Бахчисарайский фонтан», переведенный Уильямом Льюисом, несколько лет прожившим в России. Поэт Дж. Г. Уитьер, борец за освобождение негров, откликнулся на десятую годовщину гибели поэта статьей, в которой впервые в Америке рассказал о великом поэте, чьи предки были африканцами, а через несколько лет в США вышло первое исследование русской литературы, принадлежащее Талви (псевдоним Терезы Робинсон, в юности жившей в России), в котором о поэзии Пушкина говорится в связи с восстанием декабристов.

В XX веке в США время от времени появлялись работы о творчестве Пушкина, однако подлинный исследовательский интерес к его поэзии возник у американцев лишь в самое последнее время: книги о великом русском поэте стали появляться ежегодно.

Монография А. Д. П. Бриггса «Александр Пушкин: критическое исследование» (1983) [1] раскрывает перед англоязычным читателем художественные достижения поэта. Для зарубежного читателя поэзия Пушкина требует специального объяснения, поскольку перевод не в силах передать изобразительное богатство и пластичность пушкинского стиха. «Роль Пушкина в русской истории не имеет параллелей в других странах,— пишет Бриггс.— Он почитаем по трем причинам. Пушкин создал поэзию, сохранившую притягательную силу до наших дней и никем в России не превзойденную. Вместе с тем он преобразовал русский литературный язык, изменив направление развития литературы и языка, его художественное наследие стало для последующих поколений писателей живым подспорьем в их творческой деятельности. К сожалению, итоги деятельности Пушкина, выразившиеся в творчестве Толстого, Достоевского, Тургенева, Гоголя, Чехова и многих других знаменитых русских писателей, известны в мире гораздо лучше, чем его собственное творчество».

Третью причину славы Пушкина, по словам Бриггса, определить гораздо сложнее, хотя она остается вполне реальной для русских читателей. Пушкин стал духовным и нравственным оплотом национальной культуры. «Он... сопровождает русского человека в его глубочайших духовных исканиях, укрепляет и помогает превозмочь тяготы жизни и превратности судьбы. Литературно-художественное и нравственное значение Пушкина иностранцу просто трудно понять и оценить по достоинству».

Анализируя художественную систему «Евгения Онегина», исследователь отмечает, что Пушкин, к сожалению, остался непонятым по-настоящему читателями Англии и Америки и после публикации в 1937 году трех новых изданий романа на английском языке и после известного перевода В. Набокова.

Исследования американских славистов нередко обращены к частным вопросам биографии Пушкина или историческим реалиям, в связи с чем английский пушкинист Доналд Дэви как-то заметил: «Мы по-прежнему изучаем все о Пушкине-поэте, кроме его поэзии».

Особое внимание американских пушкинистов привлекают отдельные пушкинские произведения. Славистка из университета штата Техас Лесли О'Белл посвятила книгу творческой истории неоконченной повести «Египетские ночи» [1].

Как известно, к образу Клеопатры Пушкин обращался в произведениях различных жанров на протяжении более десяти лет. Сопоставление многих фрагментов, считает О'Белл, дает представление о развитии и направленности всего пушкинского наследия. Исследовательница полагает, что рассмотрение творчества Пушкина по периодам только затемняет его целостное восприятие и не следует удивляться, если романтические элементы сильны у позднего Пушкина, например в его «Египетских ночах», лиризм которых в известной мере преобладает над строгой реалистической формой пушкинской прозы.

В 1985 году университет Торонто выпустил исследование Дж. Дугласа Клейтона «Лед и пламень»: «Евгений Онегин» Александра Пушкина», но внимание американских пушкинистов чаще привлекают «южные поэмы» и сравнительное изучение наследия поэта.

За последние годы американская пушкиниана обогатилась новыми работами, и ныне их число превышает пятьсот наименований. Они свидетельствуют, что «всяк сущий язык» называет имя поэта не в одной России. О том же говорил и состоявшийся недавно в Москве первый советско-американский симпозиум по пушкинистике, в котором приняли участие американские исследователи И. Уайл, Дж. Майкелсон и Лесли О'Белл.

А. НИКОЛЮКИН

«МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ» ПУШКИНА

Nyota Thun. Puschkinbilder, Bulgakow. Tynjanow Platonow. Soschtschenko. Zwetajewa. Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag 1984.

Нюота Тун. Образы Пушкина. Булгаков, Тынянов, Платонов. Зощенко, Цветаева. 1984.

«Пушкин — наше все» — эти крылатые слова русского поэта и критика Аполлона Григорьева обрели новый и необычайно действенный

[1] Briggs A. D. P. Alexander Pushkin: A critical study. — Totowa (N. J.), Barnes & Noble Books, 1983, 257 pp.

[1] O'Bell L. Pushkin's "Egyptian Nights": The biography of a work. Ann Arbor (Mich.), Ardis, 1984. — XI, 160 pp.

смысл после Октябрьской революции. Они могли бы стать эпиграфом к богатой фактами и мыслями книге известной исследовательницы из ГДР, которая несомненно обогащает наше восприятие пушкинской темы в советской литературе.

Во введении к книге Н. Тун сопоставляет два знаменательных события — пушкинскую речь Достоевского (1880) и пушкинские торжества 1921 года в революционном Петрограде, когда именем Пушкина Блок клялся в верности «тайной свободе» и народу.

Такое начало создает своего рода лирический камертон ко всей книге, в которой строгая точность ученого сочетается с живым поэтическим восприятием литературы. Не пытаясь охватить тему «Пушкин и советские писатели» во всей ее полноте, Ниота Тун сознательно обращается к вопросам менее исследованным: к творчеству тех советских писателей, которыми наука о литературе занималась еще недостаточно. Несомненен полемический заряд книги. Она направлена в равной мере и против вульгаризаторов, которые поныне неприязненно относятся к Цветаевой или Зощенко, и против тех буржуазных литературоведов, которые, играя на драматических обстоятельствах биографии тех или иных писателей, искусственно расчленяют советскую литературу на мнимые «фракции». Н. Тун соблюдает верность исторической правде.

Читая книгу, мы вновь убеждаемся в том, как неисчерпаемо богат мир Пушкина и сколь богата советская литература. Одних писателей (как Тынянова и Булгакова) больше привлекала яркая жизнь Пушкина, других — его творчество. Эпический роман «Пушкин» Юрия Тынянова, посвященный юности поэта, и пьеса Михаила Булгакова «Последние дни» как бы дополняют друг друга по закону контраста.

Роман «Пушкин» написан выдающимся филологом, тщательно изучившим поэта и его эпоху. Опираясь на статьи и черновые наброски Тынянова, автор книги уясняет эстетический принцип романа: внимательно проследить, как история формирует великую личность, понять законы ее духовного роста. Колоритное, обстоятельное подчас ироничное изображение семьи поэта, его друзей, литературной среды, уже затронутой вольнолюбивыми идеями, позволяет яснее увидеть, как «смуглый отрок» (А. Ахматова) стал Пушкиным. Удача Тынянова неоспорима (хотя, по мнению автора, очевиден и его композиционный просчет: иногда повествование как бы увязает в деталях и ход действия слишком замедляется).

На прозе Тынянова лежит золотой отблеск пушкинской юности. Пьеса Булгакова озаглавлена «Последние дни». Н. Тун отмечает, с каким мастерством изображен здесь «механизм общественной и литературной борьбы в эпоху правления Николая I. Этот механизм работает в пьесе, как часовое устройство, безостановочно и неприметно», обрекая поэта на гибель. В удушливой атмосфере николаевского царствования для Пушкина нет места. При этом, как пишет автор, «Пушкин, хотя и незримый, постоянно участвует в действии своими стихами» Пушкинские строки («Зимний вечер», «Пора, мой друг, пора...» и другие) звучат в пьесе, вызывая восхищение у одних, страх и ненависть у других.

Как в античной трагедии, действие с самого начала движется к роковому концу. Желанный «покой и волю» Пушкин обрел только в могиле. Раскрывая творческую историю пьесы, Н. Тун указывает, что Булгаков создал ее под впечатлением тех новых фактов из биографии поэта, которые могли быть обнародованы лишь после Октября.

Отметим, однако, что современные советские исследователи, не отрицая мрачной роли Николая I и Бенкендорфа в жизни Пушкина, уже не возлагают на них целиком ответственности за гибель поэта. Этой гибели хотели не столько они, сколько «жадною толпой стоящие у трона» (Лермонтов). Однако Н. Тун едва ли права, полагая, что Булгакова не интересовала личность Пушкина. Его оригинальный замысел — написать пьесу о Пушкине «без Пушкина» — был подсказан целомудренным отношением к великому поэту. Автор книги и сам признает, что, хотя Пушкина и нет на сцене, своеобразный эффект его «косвенного присутствия» в пьесе неотразим.

Долгим путем шел к своей пьесе об А. Пушкине («Ученик лицея») Андрей Платонов. В отличие от Булгакова его меньше интересовала историческая дистанция и колорит времени. Еще до войны он выступил с важными статьями о Пушкине, которые подробно изучены в книге. Он видел в Пушкине современника социалистического обновления мира. Именно эта концепция дала ему возможность вывести на сцену самого Пушкина. Силу пьесы автор видит в том, что Платонов более свободно обращался с фактами, и поэтому в его пьесе «исторические события обретают сказочные черты», Пушкин похож на юного героя сказки. «Лейтмотив пьесы,— отмечает Н. Тун,— свобода человека, отмена рабства в государстве, где крепостная зависимость имела силу закона».

Михаила Зощенко увлекало не изображение самого Пушкина, а заветная мысль извлечь для современности прямые уроки из пушкинского творчества. Пушкин укреплял его в мысли о том, что в литературе надо вернуться к целительной простоте, к чистому и ясному народному слову. Н. Тун воскрешает забытые статьи Зощенко 30-х годов, где эта мысль развита подробно (подчас и полемически). Но как художник Зощенко не мог ограничиться только теорией. Он уже отходил от стиля своей ранней прозы, где с таким сатирическим блеском запечатлен уродливый жаргон обывателя. Он справедливо полагал, что природное чувство слова поможет ему как бы вновь воссоздать пушкинскую гармонию речи. Таким необычным опытом стала его «Шестая повесть Белкина», в которой автор книги справедливо видит рубеж между «ранним» и «поздним» Зощенко.

Последняя глава посвящена Марине Цветаевой, любившей Пушкина с детства. Именно Пушкин помог ей быстрее изжить трагические заблуждения молодости когда она (говоря словами ее стихов) приняла было «черных воронов» из белой гвардии за «жаворонков». Может быть, это была та

поэтическая смелюта, о которой говорил Пушкин:

Поэт идет: открыты вежды
Но он не видит никого...

В эмиграции она прозрела. Свидетельством прозрения были и ее «Стихи к Пушкину», напечатанные за два года до ее возвращения на родину. На нас обрушивается стремительный каскад ритмов, поток образов. Славя мятежного «африканского самовола», Цветаева бросает гневный вызов «пушкиньянцам» из эмиграции, тем, кто стремился намертво привязать наследие Пушкина к памяти о старой России. Презрение звучит в строфах о венценосных гонителях поэта. Поразительна и та откровенность, с которой Цветаева заявляет о своей личной причастности к пушкинскому поэтическому цеху:

Прадеду — товарка:
В той же мастерской!
Каждая помарка —
Как своей рукой.

Эти (по выражению Цветаевой) «опасные стихи» означали, пишет автор, фактический разрыв с эмиграцией. Вскоре появился очерк «Пушкин и Пугачев», а затем Цветаева вернулась на родину.

Книга Ниоты Тун основана на обширном фактическом материале. Кажется, здесь учтено почти все — от ранних статей Б. Эйхенбаума до наших современников: С. Бочарова, В. Лакшина, М. Чудаковой, безвременно скончавшегося талантливого исследователя Платонова Льва Шубина. Но отдельные неточности автора требуют поправок, например, тезис о «враждебности» разночинцев Пушкину. (Белинский, Чернышевский, Добролюбов в этом вопросе занимали совсем иную позицию, чем Писарев!)

Закрывая эту книгу, мы, разумеется, помним о том, что тема «Пушкин и советская литература» многогранна (пушкинские традиции живы и сегодня!), и автор книги не мог — и не ставил себе целью — раскрыть эту тему целиком. Видимо, это дело будущего. Но и те грани этой темы, которые здесь раскрыты, существенны для исследователей и читателей.

Автор не умалчивает о суровых тяготах, выпавших на долю его героев, и честно говорит о том, что они не раз сомневались или заблуждались. Но они мыслили и писали свободно и не хотели жить, «копаясь во мраке своих неудач и обид» (Н. Заболоцкий). Пушкин укреплял их в этой решимости. Булгаков, Тынянов, Платонов, Зощенко, Цветаева видели в Пушкине не только высшее воплощение своей художнической совести, но как бы первого гражданина нового общества, возникшего на «обломках самовластья». Таков главный вывод из этой книги.

РОМАН ГРИНЕВ

◆

Из месяца в месяц

АЛЖИР

СОВРЕМЕННАЯ АЛЖИРСКАЯ ПОЭЗИЯ

Алжирским издательством «Аль-муассаса аль-ватанийя лиль-китаб» выпущена книга литературоведа и критика Салеха Харфи «Современная алжирская поэзия», в основу которой положена докторская диссертация, недавно защищенная автором в Каирском университете.

Как сообщает журнал «Ас-сакафа», в книге С. Харфи рассматриваются различные жанры алжирской поэзии — революционно-патриотический, религиозный, лирический — с 1930 года до нынешнего периода. Автор не случайно избрал точкой отсчета 1930 год: именно в это время, считает он, «произошли серьезные изменения в литературной форме вслед за изменениями тематики и задач литературных произведений». Сто лет Алжир был под гнетом французской оккупации, и алжирский народ боролся за свободу и независимость. Но именно в 30-е годы начался новый подъем национально-освободительного движения, что нашло яркое отражение в алжирской поэзии.

В своей книге С. Харфи, исследуя развитие поэзии в тесной связи с общественной и политической жизнью страны, анализирует творчество более чем тридцати алжирских поэтов.

БОЛГАРИЯ

НОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

В Софии открылась галерея Фонда имени Людмилы Живковой, так много и плодотворно работавшей на посту председателя Комитета по культуре. Впервые в Болгарии создан музей, в котором собраны произведения изобразительного искусства разных стран и эпох: рядом с коллекцией африканской скульптуры здесь выставлены гравюры замечательных японских мастеров Хокусая и Утамаро, полотна кисти Риберы и Рубенса, Курбе и Домье.

Но особенно хорошо представлена в экспозиции живопись конца XIX века и нашего столетия — от Дега, Сезанна, Дерена, Стейнлена до Р. Гуттузо, Ж. Паскина, Э. Домановского, Корнелиу Бабы, Р. Мишевича. Трудно перечислить всех выдающихся художников, с которыми знакомит посетителей галерея. Известный болгарский художник Светлин Русев в статье, опубликованной в газете «Народна култура», назвал галерею «домом, знакомящим с культурой многих народов, с искусством, в котором воплотились страдания, радость и духовный поиск человечества».

Фильм «Память» — еще одна примечательная работа болгарских кинематографистов, созданная по сценарию Константина Павлова. К. Павлов начинал как поэт, особая поэтичность отличает и его кинодраматургию. Большую роль в его фильмах играют воспоминания героев о своем прошлом — и в «Воспоминаниях о сестре-близнеце», и в «Белой магии». В центре нового фильма — образ матери, хранящей память о сыне, который погиб в трудные годы антифашистской борьбы. Газета «Отечествен фронт» отмечает прекрасную игру исполнительницы главной роли Кати Паскалевой и своеобразный почерк молодого режиссера Дочо Боджакова, сумевшего передать углубленную философичность литературного сценария К. Павлова.

На снимке: кадр из фильма «Память»

(Газета «Отечествен фронт»)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«МАЛАЯ ПРОЗА» ВИРДЖИНИИ ВУЛФ

До недавнего прошлого творческое наследие английской писательницы Вирджинии Вулф (1882—1941) было известно далеко не в полном объеме, и лишь в последнее десятилетие появилась возможность представить его читателям целиком. Открываются семейные архивы, собираются эссе и статьи писательницы, разбросанные по многочисленным литературным журналам и еженедельникам, в которых она сотрудничала. И вот совсем недавно издательство «Чатто энд Уиндус» выпустило в свет «Полное собрание рассказов и новелл Вирджинии Вулф». Как пишет рецензент «Таймс литерари сапплмент» Линделл Гордон, это очень добротное, тщательно прокомментированное академическое издание — «образец на долгие годы». В сборник вошли уже известные, а также ранее не публиковавшиеся вещи. Если «Сады Кью» (1917) и «Струнный квартет» (1921), которыми восхищался еще Т. С. Элиот,— уже классика, достояние многих антологий, то поздние рассказы Вулф «На водах» и «Символ», никогда не издававшиеся прежде, стали настоящим открытием для читателя: он впервые познакомился с шедеврами «малой прозы» одного из основателей психологического романа XX века.

Ранние и поздние рассказы Вирджинии Вулф, по мнению критика, посвящены важной проблеме — исследованию психологии «обыкновенного человека», редких моментов полноты его бытия. Ее рассказы убеждают нас, пишет рецензент, что мгновения эти вспыхивают в самые серые будни, в какой-нибудь ничем не примечательный понедельник или вторник (именно так — «Понедельник или вторник» — называется сборник, выпущенный писательницей в 1921 году). Вулф ясно показывает, как под давлением социальных условностей, общепринятых штампов поведения и навязываемого человеку образа жизни гаснут драгоценные «мгновения счастья», будь то минуты упоения музыкой Моцарта или наивные радости детства. И хотя в некоторых рассказах, отмечает рецензент, авторская идея чересчур обнажена, герои Вулф весьма разнолики, и читателю открываются новые, неожиданные грани человеческого характера. Так, одно из открытий Вулф в литературе начала века — исследование характера современной женщины. Она одной из первых обратилась к неведомой, «теневой» стороне человеческой психологии в своих ранних рассказах «Филлида и Розамунда» (1906), «Дневник госпожи Джоан Мартин» (1906) и «Мемуары романиста» (1909), впервые ставших доступными широкому читателю благодаря осуществленному изданию.

«ЕГИПЕТСКИЙ ДНЕВНИК»

Уильям Голдинг «заболел» египтологией шесть десятилетий назад и с тех пор, по его признанию, старался не пропускать ни одной интересной книги, посвященной этой стране. Сам он посвятил ей аллегорическую повесть «Бог Скорпион» (1971). Памятуя о пристрастии писателя, издательство «Фабер» предложило ему совершить в феврале 1984 года путешествие по Нилу. Впечатления от поездки отразились в «Египетском дневнике», щедро иллюстрированном фотографиями, причем многие из них сделаны самим Голдингом.

«Книга получилась не совсем такой, какой ее задумали издатели и какой сначала представлял ее себе автор»,— отмечает в «Таймс литерари сапплмент» Джон Рэй. Это не рассказ о путешествии в древний экзотический край, чьи памятники привлекают туристов со всего света: картины, увиденные с крошечного суденышка, вызвали у писателя размышления прежде всего о сегодняшнем Египте, о последствиях столь явно выраженного здесь столкновения эпох, о социальных и морально-этических проблемах страны, обусловленных еще и болезненной ломкой патриархального уклада.

Пишет Голдинг и о том, как изменяет современная действительность внешний облик этой своеобразнейшей страны. Иные из этих перемен вызывают у него сожаление — например, то, что больше не строят традиционных египетских домиков, кирпичи для которых лепились из ила... Романтическое видение этой страны, продолжающее жить в душе писателя, отразилось в «Египетском дневнике»: реальные картины современности чередуются здесь с теми, что пригрезились автору еще в юности. Описание воображаемого путешествия по ночным улицам древнего Мемфиса рецензент считает одной из несомненных удач Голдинга.

О Египте писали многие известные прозаики, отмечает критик. Но в повествовании об этой стране иной раз чувствуется некоторый привкус сенсационности или же сентиментальность (как, например, в книгах Агаты Кристи), а то и преобладает явный гротеск (как у Нормана Мейлера); прозу же Голдинга отличают удивительная человечность и мягкий юмор.

ВЕНГРИЯ

«И ТОГДА СЕРГЕЙ...»

У этой книги, выпущенной будапештским издательством «Мора», как считает само издательство, три автора: Сергей Курепов, любимый клоун венгерской детворы, Бела Риго, известный детский поэт, и художница Каталин Ирша.

За пятнадцать лет работы на арене венгерского цирка

Обложка книги «И тогда Сергей...».

(Журнал «Кёнъввилаг»)

с Сергеем Куреповым произошло немало занятных историй, которые он и поведал Беле Риго. Бела Риго — в стихах и прозе — записал их, а Каталин Ирша сделала к ним иллюстрации.

«На первый взгляд может показаться,— пишет в журнале «Кёнььвилаг» критик Габриелла Ф. Комароми,— что структура книги несовершенна, что истории, рассказанные в прозе и перемежающиеся стихами, «неплотно» подогнаны друг к другу, монтаж их случаен. Но на самом деле у книги есть свой ритм, есть элементы символики, есть внутренняя взаимосвязь эпизодов. Она словно создана по самым строгим законам строфики. Стихи как бы делят прозаический текст на строфы, и главный мотив каждой «строфы» спрятан в предваряющем ее стихе-эпиграфе».

Анализируя эту и другие книги Белы Риго, рецензент отмечает его поэтическое видение мира, игру воображения, веселую словесную эквилибристику.

У себя на родине Бела Риго известен не только как поэт, но и как критик, и как переводчик советской поэзии — стихов А. Блока, В. Брюсова, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы, Р. Гамзатова, С. Михалкова. Выступал он как критик и на страницах журнала «Иностранная литература» (см. «ИЛ», 1984, № 8).

МАСТЕРСКАЯ МОЛОДОЙ ДРАМАТУРГИИ

В декабре 1985 года в городе Залаэгерсег состоялся «открытый форум» молодой венгерской драматургии, в работе которого приняли участие драматурги, режиссеры, театральные критики, актеры. Хозяевами форума были литературный журнал «Элетюнк» (г. Сомбатхей) и театр им. Шандора Хевеши (г. Залаэгерсег).

«Нам всегда не хватало такой театральной мастерской, где бы писатель мог вступить в непосредственный деловой контакт с театральным коллективом. Драматические произведения пишутся, как правило, для воображаемой труппы, автор зачастую не ощущает связи с театром... Цель форума — восстановить эту связь, укрепить содружество писателя и театра»,— так сформулировали задачи форума главный редактор журнала «Элетюнк» Дёрдь Пете и директор театра имени Ш. Хевеши Йожеф Руст.

На встрече были обсуждены шесть пьес начинающих венгерских драматургов, из них две экспромтом были тут же поставлены. Эксперимент заключался и в том, что авторы пьес Ласло Мартон и Ласло Бараняи сами осуществили постановку, а режиссеры театра были лишь их помощниками.

На теоретической дискуссии форума обсуждались проблемы сценического изображения исторической среды, обсуждались причины отставания драматургии — по сравнению с прозой — в изображении острых социальных конфликтов, сравнивались традиции европейского «психологического» театра с традициями театра стран Востока.

Участники дискуссии выразили надежду, что регулярное проведение подобных форумов будет способствовать рождению новой венгерской драмы. В заключение главный режиссер театра имени Ш. Хевеши Бела Мерё заявил, что в следующем сезоне поставит одну из рассмотренных на форуме пьес и очередной форум может начаться с обсуждения этой работы.

Актеры Катрин Засс и Манфред Горр в фильме «Дом на реке».

(Газета «Берлинер цайтунг»)

ГДР

ПО ПОВЕСТИ ФРИДРИХА ВОЛЬФА

Новый фильм студии ДЕФА «Дом на реке» создан по повести «Русская шуба», написанной в 1942 году известным писателем-антифашистом Фридрихом Вольфом.

События, рассказанные в повести и воспроизведенные на экране, относятся ко времени второй мировой войны. Как считают критики, режиссеру Роланду Грэфу удалось придать фильму современное звучание. «Это — высокохудожественный фильм о тяжелом периоде нашей истории»,— пишет газета «Берлинер цайтунг».

«В фильме показаны трагические последствия политической пассивности и трудности борьбы с этой пассивностью»,— отмечает еженедельник «Зоннтаг».

«Миллионы молодых людей в нашей стране родились уже после войны. Они знают о войне и фашизме из книг, из рассказов старших, — пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».— В фильме «Дом на реке» правдиво воссоздано это страшное время».

ГРЕЦИЯ

ПАСИОНАРИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

«Общество греческих писателей провело в Афинах вечер, посвященный 80-й годовщине со дня рождения замечательной поэтессы-коммунистки Риты Буми-Папа (1906—1984)», — сообщает газета «Ризоспастис». Открыл вечер ответственный секретарь общества писатель В. Месолонгитис. «У нашего известного писателя и критика-марксиста Маркоса Авгериса,— сказал В. Месолонгитис, — были все основания назвать Риту Буми-Папа Пасионарией греческой поэзии. Ведь ее стихи проникнуты духом борьбы за социальную справедливость, пафосом жизнеутверждения, неугасимой верой в торжество гуманистических идеалов».

Выступившие перед многочисленной аудиторией председатель Общества греческих писателей И. Симопулос, известный писатель и литературовед Г. Коцирас, муж поэтессы поэт Н. Папас

Рита Буми-Папа.

(Газета «Ризоспастис»)

рассказали о многогранном творческом наследии Р. Буми-Папа, о ее весомом вкладе в греческую поэзию и в борьбу народа за демократию и прогресс. В 40-е годы поэтесса в ряде своих глубоко эмоциональных поэтических циклов и поэм воспела легендарное антифашистское Сопротивление греков. Не случайно на конкурсе поэзии национального Сопротивления в 1946 году сборнику стихов Р. Буми-Папа «Афины» была присуждена первая премия.

В годы военно-фашистской диктатуры (1967—1974) стихи поэтессы были запрещены в Греции. Несмотря на преследования властей и издевательства фашиствующих молодчиков, Р. Буми-Папа продолжала работать. В этот период она создала целый ряд произведений остросоциального, антифашистского звучания. Поэтесса горячо приветствовала в своих стихах выступления студенческой и трудящейся молодежи Греции против диктаторского режима.

Как отметили выступавшие, Рита Буми-Папа была большим и искренним другом Советского Союза. Она хорошо знала русскую и советскую литературу, ею переведены на греческий «Тихий Дон» М. Шолохова, стихи А. Блока, С. Есенина, А. Ахматовой, Б. Пастернака.

ЕГИПЕТ

ЗАВЕРШЕНИЕ ТРИЛОГИИ

Недавно в Каире вышел новый роман молодого писателя-новеллиста, романиста и драматурга Мустафы Насра под названием «Гебель Наиса» (Гебель Наиса — буквально «гора дремлющей женщины» — один из районов Старого Каира, где происходит действие романа).

В рецензии, опубликованной багдадским журналом «Аль-анклям», египетский критик Галяль аль-Ашари отмечает, что «Гебель Наиса» вместе с двумя предыдущими романами М. Насра — «Подъем по гладкой стене» и «Аль-Гохейни» — составляет трилогию, достойную внимания литературной критики». Новый роман, пишет Галяль аль-Ашари, «выдвигает ряд актуальных проблем, он отличается значительностью содержания и оригинальностью художественного решения».

Аль-Ашари относит роман М. Насра к произведениям так называемого «нового реализма», пришедшего в египетской литературе на смену «натуральному реализму» 60-х годов и «социальному реализму» 70-х. Критик называет «новый реализм» «зеркалом, отразившим весь драматизм социальных изменений, которые произошли в египетском обществе в конце 70-х — начале 80-х годов». В этот период, полагает он, «новый класс, состоящий из специалистов - профессионалов, а также из обладателей нечестно получаемых доходов, занимает место среднего класса, то есть мелкой буржуазии».

В романе «Гебель Наиса» писатель изобразил представителей нового социального слоя, ведущих паразитический образ жизни и занимающихся подпольными махинациями. Это разного рода «темные» дельцы, торговцы наркотиками, содержатели тайных притонов, сутенеры. Главный герой романа — скатившийся «на дно» драматург-неудачник Габир Абдельвахид. В свое время дела у него шли неплохо, но потом он был оттеснен более удачливыми соперниками. История падения этого человека и составляет основную сюжетную линию романа.

Имя Мустафы Насра, заключает Галяль аль-Ашари, «достойно упоминания в ряду имен выдающихся писателей, авторов современного арабского и египетского романа».

ИНДИЯ

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» НА ХИНДИ

В Дели вышел в свет перевод «Слова о полку Игореве» на язык хинди. В культурной жизни Индии произошло событие, значение которого трудно переоценить: впервые осуществлено переложение гениального памятника древнерусской литературы на самый распространенный в этой стране язык.

Автор перевода Варьям Сингх — талантливый индийский филолог, литературовед, переводчик. Первая книга его переводов — сборник стихотворений А. А Блока — была удостоена премии имени Джавахарлала Неру, присуждаемой за большой вклад в укрепление индийско-советской дружбы. Затем последовали книги стихов В. В. Маяковского, осетинского поэта Косты Хетагурова, антология современной белорусской поэзии.

Созданию поэтического переложения «Слова» на хинди предшествовала большая работа В. Сингха по изучению текста памятника в оригинале, поэтических и прозаических переводов «Слова» на современный русский язык, монографий и статей, анализирующих произведение. Поэтическое переложение предваряется содержательной вступительной статьей: в кратком экскурсе в историю Киевской Руси Варьям Сингх знакомит индийского читателя с событиями, о которых повествует «Слово». Значительное место в предисловии отведено проблематике жанра, художественным особенностям языка произведения, а также рассказу о драматической судьбе рукописи.

Просодия короткого нерифмованного стиха хинди очень близка просодической структуре «Слова». Результатом мастерски выполненного «дословного» перевода тропов древнерусского оригинала является высокая адекватность поэтического переложения, его ясность и четкость. К передаче метафор и эпитетов «Слова» традиционными художественными средствами языка хинди переводчик прибегает редко, но довольно успешно.

Велико значение перевода «Слова» на хинди в контексте крепнущих культурных связей между СССР и Индией. Труд Варьяма Сингха сопоставим с исследованиями и переводами на русский язык советскими востоковедами «Махабхараты» и «Рамаяны». Он дает возможность индийским ученым включить «Слово» в сферу своих научных изысканий.

Выход в свет перевода «Слова о полку Игореве» на хинди стал замечательным вкладом индийских русистов в празднование во всем мире 800-летней годовщины создания произведения.

ИТАЛИЯ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ДОНАТЕЛЛО

600-летие со дня рождения своего великого скульптора Италия отмечает целой программой культурных мероприятий; в их числе — две выставки. Первая развернута во флорентийском музее Барджелло, история которого схожа с судьбой выставленных там творений: более трех столетий старинный дворец был тюрьмой и лишь в 1865 году наконец превратился в музей, где центральное место заняли скульптуры Донателло, можно сказать, тоже преданного в XVII—

XVIII веках забвению, пишет газета «Унита». Поводом к «реабилитации» дворца и его драгоценных экспонатов послужил во второй трети XIX века, накануне объединения страны, «взрыв» интереса итальянцев к своей национальной истории, к культурному наследию средневековых городов.

С ростом славы Донателло росло и число копий, подражаний, подделок, что и привело к возникновению в 1887 году при Барджелло собрания гипсовых слепков с работ Донателло; позже собрание пополнялось и копиями наиболее известных скульптур Возрождения. Открывшаяся после полувекового перерыва Гипсотека — ныне в ней 2100 фигур — также входит в юбилейную экспозицию.

Мода на Донателло во второй половине XIX — начале XX века привела к значительному числу ложных атрибуций, но в последние два десятилетия перечень работ, приписываемых великому флорентийцу, значительно сократился; именно поэтому каждый случай доказанного авторства имеет принципиальное значение.

В «год Донателло», подчеркивает «Унита», ученым удалось подтвердить подлинность полуметровой бронзовой статуэтки и бюста Никколо ди Удзано. Осуществлена реставрация гипсовых «круглых статуй» в старой ризнице собора св. Лаврентия, созданных Донателло в 1438 году.

Вторая выставка, подготовленная Детройтским институтом искусств, ныне экспонируется в США и прибудет во Флоренцию в начале июня. Она посвящена влиянию Донателло на ваятелей раннего Возрождения и помимо нескольких его произведений включает собранные из музеев всего мира оригиналы творений Лоренцо Гиберти, Якопо делла Кверче, Микелоццо, Андреа дель Верроккьо, семьи делла Роббиа, других выдающихся мастеров, коллег и учеников Донателло.

«Детройтская экспозиция поражает своим размахом,— пишет обозреватель еженедельника «Панорама» Омар Калабрезе, — но поразителен и размах деятельности сотрудников музея Барджелло, выполняемые ими реставрационные работы, выкуп гипсовых слепков, изучение истории музея, подготовка популярного аудиовизуального материала, который можно было бы использовать для преподавания истории искусств в школах».

РАЗНЫЕ ЛИКИ ФЕЛЛИНИ

Героев нового фильма Федерико Феллини «Джинджер и Фред» на самом деле зовут Амелия Бонетти и Пиппо Боттичелли. А название картине дали их сценические имена: когда-то этот танцевальный дуэт ловко копировал виртуозные па, которые

Кадр из фильма «Джинджер и Фред».

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

выделывали в фильме «Цилиндр» американские актеры Джинджер Роджерс и Фред Астер. За это герои и были спустя тридцать лет приглашены некой крупной телекомпанией для участия в шоу.

О чрезвычайной злободневности фильма пишут ведущие итальянские критики, называя его главным кинематографическим событием сезона. «Воображение Феллини питают три разные склонности, — считает Умберто Эко, — склонность к воспоминаниям, к анализу нравов и к гротеску. В каждом из его фильмов они проявляются в разной мере и в разных комбинациях. В картине «Джинджер и Фред» он дал волю всем трем. Феллини — аналитик нравов — выступает на первый план в сценах прибытия героев в Рим и проезда по городу, но как только они окунаются в стихию телевидения, режиссер переключается на «регистр гротеска». Он не скрывает своего язвительного отношения к телеиндустрии, все превращающей в балаганное зрелище». Бесконечную череду однообразных телепередач Феллини как бы сконденсировал в одну, гротескную, — и производит она то же впечатление, что и все реально существующие программы, вместе взятые.

«Джинджер и Фред» со своей главной темой «подражания» — на сегодняшний день лучший фильм о кодифицированной телевидением ирреальности, в которой все мы живем. Этой картиной Феллини напоминает, что мы все давно уже — чьи-то двойники и, может быть, именно поэтому чувствуем себя не в своей тарелке: мы перестали понимать, на кого походим»,— пишет обозреватель газеты «Коррьере делла сера». «Телевидение, которое, казалось бы, должно объединять людей, на самом деле их разобщает», — отмечает в той же газете известный поэт Андреа Дзандзотто.

Если в первой, богатой пародийными типами и ситуациями половине фильма в полной мере проявился талант Феллини — обличителя и сатирика, то во второй берет верх его лирическое дарование, и уже не маскам, а людям из плоти и крови доверяет он донести до зрителя «экзистенциальные» метафоры и собственную ностальгию, отмечает в «Эспрессо» Альберто Моравиа.

«На самом деле главных героев в фильме — трое,— шутливо утверждает У. Эко. — Ибо Джинджер — это Джульетта Мазина плюс Феллини, а Фред — это Феллини плюс Марчелло Мастроянни».

КАНАДА

АНТИУТОПИЯ МАРГАРЕТ ЭТВУД

Новый роман известной канадской писательницы и поэтессы Маргарет Этвуд «История служанки», как и многие другие ее книги, посвящен вопросам равноправия полов, положению женщины в обществе.

В предыдущих романах Этвуд обращалась к сегодняшней жизни, к жизни своего поколения, а «История служанки» — роман фантастический, по времени отнесенный на много десятилетий вперед.

Место действия романа — Галаад, республика, созданная в Новой Англии сектой фундаменталистов, которые пришли к власти после убийства президента и уничтожения конгресса. Помимо распрей между различными сектами страну терзает острая проблема бездетности, которая в наибольшей степени затрагивает господствующий класс — «вождей правоверных». «Вожди», по примеру библейских Иакова и Рахили, считают ребенка служанки, рожденного от главы семейства, законным отпрыском рода.

Всех незамужних женщин, способных к деторождению, после медицинского обследования направляют в дом к одному из вождей в качестве «служанок». Подобная судьба уготована и главной героине, от лица которой ведется повествование. Она лишилась мужа и дочери, когда ее семья в поисках свободы пыталась покинуть Галаад и тайно переселиться в Канаду. Теперь она лишилась и имени — ее зовут просто Принадлежащая Фреду, по имени того «вождя правоверных», в чьем доме она живет...

Книга М. Этвуд — своего рода антиутопия. В отличие от многих других произведений этого жанра, роман отнюдь не изобилует подробными описаниями технических новинок и грядущих научных открытий. Цель автора — показать, к чему могут привести некоторые опасные, по ее мнению, антифеминистские тенденции в современном буржуазном обществе. Книга, однако, повествует и о настораживающих писательницу характерных особенностях феминистского движения.

Рецензент журнала «Букин Кэнада» считает истинной удачей книги блистательное умение писательницы раскрывать суть происходящего постепенно, предлагая читателям загадки, разрешающиеся самым неожиданным образом. Роман Этвуд, по мнению рецензента журнала,— это не только едкая сатира, но и суровое предупреждение.

КУБА

«ПЛОДОТВОРНЫЙ РЕАЛИЗМ»

Под этим заголовком газета «Гранма» опубликовала статью, посвященную 75-летию известной кубинской писательницы и общественной деятельницы Доры Алонсо.

«Она принадлежит к поколению наших писателей, еще в дореволюционное время прочно связавших свою жизнь и творчество с судьбой народа,— пишет обозреватель газеты.— Их талант проявился в полной мере после победы революции. Это поколение дало кубинской литературе таких выдающихся мастеров слова, как Алехо Карпентьер, Феликс Рита Родригес, Онелио Хорхе Кардосо, Дора Алонсо».

На редкость многогранное дарование Доры Алонсо с блеском проявилось в создании произведений самых разных жанров, будь то роман, пьеса, стихи или остропублицистическое произведение, как, например, «Год 61-й» («ИЛ», 1982, № 2).

Не случайно Дора Алонсо стала одним из первых лауреатов известной литературной премии «Каса де лас Америкас». Этой награды она была удостоена трижды, последний раз — в 1980 году, за книгу «Долина меченой птицы», явившуюся новым свидетельством популярности ее как детской писательницы (см. «ИЛ», 1980, № 6). «Появление каждой новой книги Д. Алонсо, адресованной самым маленьким или юным читателям,— отмечает обозреватель газеты «Гранма»,— становится памятным событием в их жизни, ибо произведения эти, согретые доброй улыбкой и лиризмом, лишенные сухой назидательности, способствуют воспитанию патриотизма, мужества, культуры чувств будущих строителей социалистической Кубы».

ЛИВАН

«ПРАХ ЛЕТ»

Бейрутским издательством «Дар аль-андалус» выпущена книга воспоминаний известного ливанского ученого-литературоведа доктора Омара Фарруха под названием «Прах лет». По сообщению журнала «Ас-сакафа», воспоминания охватывают период с 1916 по 1982 год. Книга состоит из коротких глав-очерков, в которых автор рассказывает о бурной политической, общественной и культурной жизни Ливана в XX веке.

НОРВЕГИЯ

ЛИТОВСКАЯ ЛИРИКА НА НОРВЕЖСКОМ

«Литовские голоса» — так озаглавил свою статью рецензент крупнейшей норвежской газеты «Афтенпостен». Это отклик на недавно вышедшую в издательстве «Дрейер» антологию переводов литовской поэзии «Голос полей». В ней представлено творчество десяти литовских поэтов. Среди них — Юстинас Марцинкявичюс, Янина Дегутите, Марцелиюс Мартинайтис, Юдита Вачинайте, Сигитас Геда.

Рецензент дает восторженную оценку литовской поэзии, отмечая ее национальную самобытность, ощущение тесной, почти мистической связи с родной природой, умение глубоко проникать в духовный мир нашего современника.

Автор статьи выражает восхищение многообразием творческих индивидуальностей в литовской поэзии, диапазоном художественных средств. По его мнению, выход в свет антологии «Голос полей» явился событием в литературной жизни Норвегии: «Состоялась волнующая встреча норвежского читателя с новым, неведомым миром».

ПОРТУГАЛИЯ

ИНТЕРВЬЮ С ИЗВЕСТНЫМ НОВЕЛЛИСТОМ

Урбано Тавареш Родригеш — один из крупнейших современных новеллистов Португалии. Его произведения неоднократно переводились на русский язык (см. «ИЛ», 1975, № 8, а также 1976, № 4 и 1984, № 1).

Последней книге новелл «Океан с двойным дном» посвящено интервью писателя, данное корреспонденту крупнейшего португальского литературного журнала «Жорнал де летраш артеш э идейаш».

На вопрос корреспондента «Жорнал де летраш», почему писатель стал заметно меньше печататься, чем до апрельской революции 1974 года, Тавареш Родригеш ответил, что здесь имеет значение занятость — много времени отнимает у него работа преподавателя на филологическом факультете Лиссабонского университета, а также боязнь повториться.

Писатель сказал что сейчас работает над фантастическим романом: «Это как бы возвращение в детство, в юность. Но сюда, в этот фантастический мир, который я создаю сам, доносится и эхо реального мира — бомбардировки Бейрута и разгон кооперативов в Алентежу».

Говоря о современном положении Португалии, писатель признал, что в стране наблюдается довольно значительное отступление от

позиций, завоеванных революцией 1974 года. А это не может не придать оттенок горечи его книгам, в том числе новеллам нового сборника, трагической и печальной окраски характерам его героев. «Перспективы моего поколения темны, хотя я не хочу сказать, что не верю в будущее». Об этом, в частности, рассказ «Окровавленные гвоздики», вошедший в новый сборник.

Говоря о своем поколении, о тех, кто был молод в 40-е годы, Тавареш Родригеш отметил, что ему в этой книге хотелось показать в истинном свете определенный слой людей. В прошлом они были настроены весьма революционно, а сегодня приспосабливаются, идут на сделку с собственной совестью. То общество, против которого они когда-то боролись, теперь подчинило их себе.

РУМЫНИЯ

СТОЛЕТИЕ РУМЫНСКОЙ ОПЕРЫ

Общественность Румынии торжественно отметила 100-летие бухарестской оперы. «За особый вклад в развитие румынского оперного и хореографического искусства коллектив первой сцены республики был удостоен ордена «За заслуги в области культуры», — сообщает газета «Ромыния литерарэ».

За истекшее столетие бухарестская опера показала зрителям не один яркий спектакль, в ее стенах работали известные певцы и танцовщики, режиссеры и хореографы. Труппа театра на протяжении многих лет уделяла особое внимание развитию национального музыкального творчества: все выдающиеся произведения румынской оперы и балета были поставлены на сцене столичной оперы. В то же время с каждым годом репертуар театра обогащали шедевры мировой музыки самых разных направлений.

Румынская сцена была создана по инициативе энтузиастов оперного искусства — в первую очередь композитором Дж. Штефэнеску, отмечает газета «Ромыния литерарэ». Начало было нелегким: у оперы не было собственной крыши над головой, она не располагала постоянной труппой, не получала государственной субсидии. Не хватало и чуткой, компетентной публики — ведь со второй половины XVIII века в Бухаресте давали спектакли в основном итальянские труппы. Дж. Штефэнеску не уставал повторять, что «театр должен служить народу, а не нескольким богатеям», призывал государство «взять оперу под свою опеку и не оставлять таланты на произвол судьбы».

Однако только в годы народной власти музыкальное искусство республики обратилось к широким массам, продолжает «Ромыния литерарэ». В школах и консерваториях социалистической Румынии готовятся достойные продолжатели дела, начатого основателями оперы.

За годы социалистического строительства значительно расширился репертуар театра, почетное место в котором занимает опера Дж. Энеску «Эдип». Наряду с другими шедеврами мировой классики на первой оперной сцене республики широко представлены произведения русских и советских композиторов — опера «Евгений Онегин», балеты «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, «Жар-птица» И. Стравинского, «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева, — на сцене театра неоднократно выступали советские артисты. В стране и за рубежом получили широкую известность мастера румынского вокала Д. Оханесян, Н. Херля, Д. Иордэкеску.

Сцена из оперы Дж. Энеску «Эдип».

(Газета «Ромыния литерарэ»)

США

НОВЫЙ АЛЬБОМ ДИЛАНА

Альбом популярного американского поэта и композитора, исполнителя собствен-

Боб Дилан на концерте, организованном в помощь голодающим Африки.

(Журнал «Тайм»)

ных песен, выпущенный фирмой «Коламбиа», называется «Биография Боба Дилана».

Самое сенсационное в этом «издании», пишет журнал «Тайм»,— то, что в альбом, состоящий из 53 произведений Боба Дилана, вошли 18 песен, которые прежде не были известны широкой публике.

В подготовке этого альбома Боб Дилан участия не принимал и его появление встретил со смешанным чувством: «Я еще не вышел из образа, созданного предыдущим альбомом («Empire Burlesque», 29-й его альбом, появился в продаже летом 1985 года), а тут — другой альбом: я словно сам с собой состязаюсь». Составители «Биографии», как сообщает «Тайм», придерживались не хронологического, а скорее тематически-ассоциативного принципа, и от этого уже известные песни зазвучали свежо, по-новому. Этот ретроспективный альбом, заключает «Тайм», помогает точнее определить место и значение 44-летнего поэта-композитора в мире сегодняшней музыки.

«ПАМЯТНИК НЕИЗВЕСТНОМУ УИЛЬЯМСУ»

Так называет критик газеты «Вашингтон пост» Симор Крим недавно вышедшее собрание 50 рассказов Теннесси Уильямса. Действительно, эта сторона литературной деятельности всемирно известного драматурга оставалась в тени. Мало кто из видевших спектакли и фильмы по его пьесам знает, что некоторые из них — в том числе «Ночь игуаны», «Стеклянный зверинец», «Кошка на раскаленной крыше» — «выросли» из его рассказов. Объем настоящего сборника, пишет критик,— свидетельство того, что к этому жанру автор обращался не от случая к случаю, а постоянно:

похоже, что создание рассказов заменяло писателю ведение дневника. Эту догадку подтверждает и пренебрежение Уильямса к канонам этого жанра — но, возможно, этим как раз и объясняется успех его рассказов у читателя.

Авторская манера Уильямса-прозаика сложилась на удивление рано — к семнадцати годам. В этом возрасте он написал рассказ «Месть Нитокрис», где «театральные» эффекты, выдававшие в юном авторе будущего драматурга, контрастируют с простотой и общей выдержанностью стиля. О чем бы ни писал Уильямс — о древнем Египте (как в этой первой пробе пера) или об университетском городке американского Среднего Запада (как в рассказе «Поле голубых детей»),— он был всегда искренним и не боялся затрагивать проблемы, которые многие предпочитают обходить стороной, напоминает критик.

Впечатление от впервые собранных под одной обложкой рассказов ошеломляющее: оказывается, Уильямс знал о жизни провинциальной Америки гораздо больше, чем можно было предположить. Он успел исколесить всю страну и изучил трудовой люд не хуже, чем впоследствии — «богемную» среду. Опыт этих странствий и отражен в его ранних рассказах — может быть, самых сильных и свежих. Их герои — рабочий, студентка, официант, библиотекарша, бродяга и даже чудаковатый молодой поэт, похожий на самого Уильямса. «Возможно, в число «Избранных рассказов»,— если такое издание будет предпринято,— многие из произведений этого сборника не войдут, но основой для него так или иначе послужит именно эта книга, подготовленная с большой любовью», — отмечает С. Крим.

ТУНИС

НОВАЯ КНИГА АЛЬ-БАШИРА БЕН СЛАМЫ

Журнал «ИБЛА» сообщает о выходе в свет новой книги ученого, писателя и государственного деятеля, министра культуры Туниса Аль-Башира Бен Сламы под названием «Теория ритмического обогащения арабского литературного языка». В этой книге Бен Слама рассматривает проблемы, связанные с историей арабского языка и литературы и их нынешним состоянием. Среди них — вопросы о влиянии писателей неарабского происхождения, таких как перс Ибн Мукаффа, автор знаменитой книги «Калила и Димна», на развитие арабского языка, аспекты воздействия окружающей среды и климата на культуру и письменность, причины расхождения письменного языка с разговорным.

ФРАНЦИЯ

ГЮГО-ХУДОЖНИК

В юбилейный год Гюго во Франции были переизданы многие произведения писателя, вышли объемистые монографии о его творчестве, состоялись посвященные ему лекции, концерты, вечера (см. «ИЛ», 1985, № 12). Торжества завершились выставкой рукописей и рисунков Гюго в залах парижского Пти-Пале.

Талант Гюго-художника был признан еще его современниками. «Он стал бы великолепным художником, если бы не предпочел стать великолепным поэтом», — писал Теофиль Готье в предисловии к первому альбому рисунков «патриарха» французской литературы.

Однако эта часть наследия Гюго все же принадлежит не истории изобразительного искусства, а истории литературы. Его рисунки, наброски, акварели, как часто бывает у владеющих кистью поэтов, дополняют слово, отражают поиск образа, позволяют угадать, как протекает процесс литературного творчества, пишет парижский журнал «Кензен литтерер».

Откликаясь на имевшую огромный успех у публики выставку в Пти-Пале, «Кензен литтерер» отмечает и выход в свет двух книг, также приуроченных к юбилею и знакомящих публику с рисунками великого писателя и поэта. Это переиздание монографии Гаэтана Пикона «Солнце — тушью», дополненное многочисленными иллюстрациями, и отдельное издание рисунков Гюго к его роману «Труженики моря». В обеих книгах прослеживаются особенности творчества Гюго-графика, взаимосвязь словесной и графической выразительности в черновых листах его произведений.

Рисунки к «Труженикам моря», пишет рецензент «Кензен литтерер», — это не просто авторские иллюстрации. В течение целых десяти лет, пока замысел романа еще не вылился в определенную форму, на бумагу ложились зарисовки и записи, — и многое в буквальном смысле слова было сна-

«Женщина в маске». Рисунок Виктора Гюго к «Отверженным».

(Каталог выставки, выпущенный Домом Гюго)

чала нарисовано, а потом уже написано. В своих воспоминаниях Гюго сам рассказывал о том, как некоторые детали повествования и даже целые эпизоды рождались именно в рисунке. Вслед за искусствоведом П. Жоржелем «Кензен литтерер» называет новое издание «Тружеников моря», объединившее текст и рисунки Гюго, «уникальной графической партитурой романа».

Людвиг Эмиль Гримм. Портрет Вильгельма и Якоба Гриммов.

(Газета «Оберхессише прессе»)

ФРГ

ЮБИЛЕЙ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ ГЕРМАНИСТИКИ

Уже второй год отмечают в ФРГ двойной 200-летний юбилей великих немецких филологов — братьев Якоба (р. 1785) и Вильгельма (р. 1786) Гриммов. Отмечают этот большой праздник не только немецкоязычные страны, но и вся мировая культурная общественность.

Необычная по своим масштабам, свидетельствующая о неохватности творческого наследия Гриммов, выставка «Братья Гримм — документы их жизни и деятельности» была организована в музее «Фридерицианум» города Марбурга при поддержке Общества братьев Гримм в Касселе. Вот уже почти два года она путешествует по гриммовским местам — Марбургу, Касселю, Штейнау, Берлину, а в конце нынешнего лета переедет в Ханау — на родину Гриммов.

Выставка, необыкновенно полно отразившая жизнь Германии первой половины XIX века, пишет газета «Оберхессише прессе», показывает Гриммов прежде всего не «романтическими сказочниками», а активными участниками общественно-политической жизни Германии, универсальными учеными-филологами, которые заложили основы современной фольклористики, сравнительной мифологии, а также германистики, включающей языкознание, литературоведение, правоведение, историю германских народов, дали имя этой науке, явились фактическими создателями современной немецкой грамматики и одного из лучших в мире национальных словарей.

Людвиг Эмиль Гримм. Эскиз титульного листа для первого издания сказок, собранных Вильгельмом и Якобом Гриммами.

(Газета «Оберхессише прессе»)

Одновременно с этой обзорной экспозицией открылась и первая наиболее полная выставка работ младшего брата сказочников, Людвига Эмиля, одного из крупнейших живописцев и графиков немецкого романтизма. Юбилею Гриммов посвящено около десятка других выставок, среди них — «Сочинения братьев Гримм в первых изданиях», «Мотивы гриммовских сказок», на которой представлены работы 60 современных художников различных направлений, букинистическая выставка-продажа старинных немецких книг и гравюр, в том числе ранних изданий гриммовских работ и гравюр Людвига Эмиля.

Большим сюрпризом даже для специалистов, сообщает «Оберхессише прессе», стала выставка редких рукописей гриммовского собрания народных песен. Лишь совсем недавно эта коллекция была научно обработана и в прошлом году издана марбургским издательством «Эльверт». В этом году выйдет в свет второй том, содержащий комментарии.

В гриммовских городах проходят многочисленные лекции, семинары, дискуссии. Среди них выделяются «диалектальные чтения», на которых писатели выступают с чтением своих произведений и вместе со слушателями обсуждают проблемы взаимосвязи литературного языка и диалекта, проблемы современной немецкой диалектологии — науки, основы которой заложил Якоб Гримм в своей «Немецкой грамматике».

В земле Гессен и по всей ФРГ ставятся спектакли по мотивам сказок Гриммов, проводятся юношеские конкурсы чтецов. Марбургским университетом учреждены Гриммовские премии за достижения в германистике и в исследовании творчества великих филологов — братьев Вильгельма и Якоба Гриммов.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН НА ПРАЖСКОЙ СЦЕНЕ

В пражском театре «На забрадли» состоялась премьера спектакля «Пазухин и...» по комедии М. Е. Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина». Спектакль был с большим интересом встречен чешской прессой. Как подчеркивает рецензент газеты «Руде право» Мария Слупецкая, пьеса актуальна и сейчас благодаря своей «беспощадной, едкой критике — ведь вокруг денег, имущества, наследства и сегодня порой кипят страсти».

Постановку в Праге осуществил советский режиссер Борис Щедрин, ранее поставивший эту пьесу на Малой сцене Московского театра имени Моссовета. Пражский спектакль отличается, однако, новизной художественного решения. Сцена и зрительный зал «На забрадли» образуют почти одно целое: интерьер зала продолжен на сцене, актеры нередко выходят в зал или прямо из него поднимаются на сцену. Черные костюмы, в которые одеты все персонажи, создают атмосферу некоей панихиды не только по Пазухину, но и по всему общественному устройству, породившему таких, как он.

Успеху спектакля, отмечает «Руде право», способствует и блестящая игра актеров: прежде всего Л. Мрквички — Пазухина и

К. Германенка — Живновского.

«Комедия о Пазухине не только развлекает, но и предостерегает: Пазухины еще живы!» — заканчивает свою статью критик М. Слупецкая.

ЮАР

СИМВОЛ БОРЬБЫ ПРОТИВ АПАРТЕИДА

В конце 1985 года в лондонском издательстве «Пенгвин букс» вышла книга Винни Мандела — жены лидера освободительного движения Южной Африки Нельсона Манделы — «Часть моей души» (впервые опубликована на немецком языке в Западной Германии). «Со страниц этой книги, — пишет газета «Морнинг стар», — встает образ искренней, честной, гонимой, но борющейся женщины». Западногерманский журнал «Шпигель» посвящает В. Мандела обширную публикацию. Это составленный на материале книги рассказ о жизни женщины, «имя которой стало символом борьбы против апартеида».

Винни Мандела родилась в 1934 году в Транскайе. После окончания школы переехала в Иоханнесбург. Там она встретилась с деятелями «Африканского национального конгресса», в том числе с одним из его руководителей, адвокатом по профессии Нельсоном Манделой. В 1958 году Винни и Нельсон поженились. Однако, как пишет в своей книге Винни Мандела, «жизнь с ним всегда была жизнью без него». Сразу же начались преследования, аресты. В 1964 году Нельсон Мандела был приговорен к пожизненному заключению, и его жена не колеблясь продолжила начатое им дело. «Государство использовало против нее весь арсенал репрессивных средств: ссылки, гонения, аресты, — подчеркивает «Шпигель».— Но сломить Винни Мандела не удалось. Она выглядит не жертвой, а обвинительницей расистского режима». Когда в 1977 году Винни Мандела выгнали из ее дома в Соуэто и сослали в Брандфорт (Оранжевая провинция), она не пала духом. Живя в труднейших условиях, она помогала черному населению городка, сумела пробудить самосознание у забитых людей, приобрела единомышленников среди белых. Тесная дружба, например, связывает Винни Мандела с «бурским адвокатом» Питом

Винни мандела.

(Журнал «Шпигель»)

де Ваалом и его семьей. Эта поддержка, а также убежденность в правоте своего дела, высокое чувство собственного достоинства помогают Винни Мандела, пишет журнал «Шпигель», дерзко держаться столь независимо, открыто пренебрегать запретами и ограничениями, которые навязывают ей расистские власти.

■

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**.

Адрес редакции: 109017 Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 26.03.86. Подписано в печать 05.05.86. А 05237. Формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая 22,4 усл. п. л., 27,40 уч-изд. л.

Тираж 490 000 экз. (1-й завод: 1—440 000 экз.) Зак. 1115.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

КОСТОС КОНСТАНТИНУ (6 лет). Кипр. «Весна»

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394